

ДЖОНАТАН САФРАН ФОР

Вот я



”

ФОР БЛЕСТЯЩЕ ПИШЕТ О ЕЖЕДНЕВНЫХ
ПЫТКАХ СЕМЕЙНОГО РАЗЛАДА.

— *The Observer*

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

В

Annotation

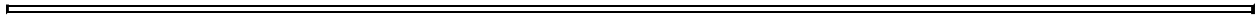
Новый роман Фоера ждали более десяти лет. «Вот я» — масштабное эпическое повествование, книга, явно претендующая на звание большого американского романа. Российский читатель обязательно вспомнит всем известную цитату из «Анны Карениной» — «каждая семья несчастлива по-своему». Для героев романа «Вот я», Джейкоба и Джулии, полжизни проживших в браке и родивших трех сыновей, разлад воспринимается не просто как несчастье — как конец света. Частная трагедия усугубляется трагедией глобальной — сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь между людьми — одиночество ощущается с доселе невиданной остротой, каждый оказывается наедине со своими страхами. Отныне героям придется посмотреть на свою жизнь по-новому и увидеть зазор — между жизнью желаемой и жизнью проживаемой.

- [Джонатан Сафран Фоер](#)
 -
 - [I](#)
 - [Назад к счастью](#)
 - [Вот не я](#)
 - [Счастье](#)
 - [Рука размером с твою, дом размером с этот](#)
 - [Вот не я](#)
 - [Истинный](#)
 - [И-э-т-о-н-е-п-р-о-й-9-ё-т](#)
 - [Истинный](#)
 - [Вот не я](#)
 - [Кто-нибудь! Кто-нибудь!](#)
 - [Слово на "н"](#)
 - [II](#)
 - [Антиетам](#)
 - [Дамаск](#)
 - [Сторона, повернутая прочь](#)
 - [Нет еще](#)
 - [Иная жизнь другого человека](#)
 - [Выдуманная тревога](#)

- [Чужая иная смерть](#)
- [Полное перерождение](#)
- [III](#)
 - [Письмо, драка, самоудовлетворение](#)
 - [Слово на "л"](#)
 - [Может быть, дело в расстоянии](#)
 - [В конце концов лучше дома ничего нет](#)
 - [Израильтяне приехали!](#)
 - [По-настоящему настоящее](#)
 - [Вей из мир!](#)
 - [Вторая синагога](#)
 - [Землетрясение](#)
- [IV](#)
- [V](#)
 - [Слово на "и"](#)
 - [Жест и тяжесть](#)
 - [Что знают дети?](#)
 - [Исходная версия](#)
 - [Есть вещи, которые сегодня сказать непросто](#)
 - [Имена были великолепны](#)
 - [Реинкарнация](#)
 - [Только плач](#)
 - [Смотри! Еврейский ребенок плачет](#)
 - [Вольер со львами](#)
 - [В двери](#)
 - [Кто в пустой комнате?](#)
 - [За ту же цену](#)
- [VI](#)
 - [Спешите домой](#)
 - [Сегодня я не мужчина](#)
 - [Евреи, пробил ваш час!](#)
 - [Спешите домой!](#)
 - [Сегодня я не мужчина](#)
 - [Евреи, пробил ваш час!](#)
 - [Спешите домой](#)
 - [Сегодня я не мужчина](#)
 - [Евреи, пробил ваш час!](#)
 - [Спешите домой](#)
 - [Сегодня я не мужчина](#)

- [Евреи, пробил ваш час!](#)
 - [Спешите домой](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)



Джонатан Сафран Фоер

Вот я

*Эрику Чински, который смотрит сквозь меня, и
Николь Аражи, которая видит меня насквозь*

© Мезин Н., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“»,
2018

* * *

I

До войны

Назад к счастью

Когда началось разрушение Израиля, Исаак Блох выбирал между самоубийством и переездом в Еврейский дом. Он жил в квартире с книжными стеллажами до потолка и коврами, в ворсе которых могли без следа утонуть игральные кости; затем в квартирке-полуторке с грязным полом; в лесных хорах под равнодушными звездами; в погребе у христианина, для которого через три четверти века на другом конце света выросло дерево, увековечившее его праведность; а затем жил в норе, причем столько дней, что колени у него потом так и не разогнулись до конца; жил среди цыган, партизан и почти благочинных поляков; в лагерях для беженцев, мигрантов и перемещенных лиц; на корабле, где имелась бутылка с кораблем, который один страдавший бессонницей агностик чудесным образом внутри нее построил; на другом берегу океана, которого так и не переплыл до конца; над полудюжиной бакалейных лавок, на устройстве и продаже которых за малую цену гробил здоровье; рядом с женщиной, что без конца перепроверяла замки, пока не изломала их все, и умерла, состарившись, в сорок два без единого звука благодарности, но с клетками убитой матери, все еще делившимися в ее мозгу; и наконец, последние четверть столетия в тихом, замеченном снегом домике в Сильвер-Спринг: десятифунтовый Роман Вишняк, цветущий на кофейном столике; "Враги. История любви" — кассета, размагничивающаяся в последнем исправном видеоманитоне планеты; яичный салат, становящийся птичьим гриппом в холодильнике, залепленном, как мумия, фотографиями чудесных, гениальных, не страдающих от опухолей правнуков.

Немецкие садоводы подрезали семейное дерево Исаака до самой галисийской почвы. Но интуиция и удача без всякой помощи сверху помогли ему укорениться на тротуарах города Вашингтона, округ Колумбия, и увидеть, как дерево снова вытянется и раскинет ветви. И если Америка не обернется против евреев — пока не обернется, поправил бы его сын Ирв, — это дерево будет ветвиться и будет давать отростки. К тому времени Исаак, разумеется, опять будет в норе. И пусть он так и не разогнет колен, и пусть никто не знает точно, сколько ему лет и насколько приблизились неведомые новые унижения, пришла пора разжать свои еврейские кулаки и признать начало конца. Признание от принятия отличает депрессию.

Даже не говоря о гибели Израиля, момент был вовсе неудачный: какие-то недели до бар-мицвы его старшего правнука, что Исаак считал чем-то вроде финишной линии собственной жизни с тех пор, как пересек предыдущую финишную линию — рождение младшего правнука. Но не ведаешь, когда старая еврейская душа освободит твоё тело, а тело освободит лакомую однушку для следующего тела из списка очередников. Но годы не поторопишь и не удержишь. Опять же, покупка дюжины невозвратных авиабилетов, бронирование целого крыла в вашингтонском "Хилтоне" и внесение двадцати трех тысяч долларов депозита на бар-мицву, вписанную в календарь, ещё когда шли последние Олимпийские игры, не гарантируют, что все это произойдет.

По коридорам "Адас Исраэль" протопал табун пацанов, смеющихся, пихающихся; их кровь так и носилась от формирующихся мозгов к формирующимся гениталиям, а потом обратно, в антогонистической игре полового созревания.

— Ну серьезно, — сказал один, теряя "З", зацепившееся за брекеты, — с минетом одно только хорошо, что заодно подрочат тебе не всухую.

— Аминь.

— А иначе ты просто пихаешь в стакан воды с зубами.

— Что бессмысленно, — согласился рыжий паренек, у которого мурашки бежали от одной мысли об эпилоге "Гарри Поттера и Даров Смерти".

— Нигилистично.

Если бы Бог был и судил, Он простил бы этим шалопаям все, зная, что их обуревают стихии, и внешние, и внутренние, ведь и они по Его подобию.

Мальчишки примолкли, замедлив ход у питьевого фонтанчика, чтобы попятиться на Марго Вассерман. Говорили, что её родители паркут две тачки рядом со своим гаражом на три места, поскольку всего машин у них пять. Говорили, что её карликовому шпицу не отрезали яйца и они здоровые, как дыньки.

— *Черт*, хотел бы я быть этим фонтанчиком, — сказал малый с еврейским именем Перец-Ицхак.

— А я бы лоскутком, который вырезали из её трусов с окошком.

— А я бы хотел накачать член ртутью.

Пауза.

— Это че ещё за херня?

— Ну, — пояснил Марти Коэн-Розенбаум, урожденный Хаим бен Кальман, — типа... чтобы он стал как градусник.

— Суши его подкормишь?

— Да просто накачать бы. Да хоть как. Чуваки, вы же поняли зачем. Четыре синхронных кивка, как у зрителей в настольном теннисе.

Шепотом:

— *Засунуть ей в задницу.*

Остальным повезло иметь матерей из двадцать первого века, которые знали, что температуру можно измерить электронным градусником в ухе. А Хаиму повезло, что внимание его товарищей что-то отвлекло и они не успели припечатать его прозвищем, от которого он нипочем бы не избавился.

Сэм сидел на скамье у кабинета рава Зингера, голова опущена, взгляд на раскрытые ладони, сложенные на коленях, как у монаха, изготовившегося идти на костер. Мальчишки остановились, и их отвращение к себе обратилось на него.

— Мы слышали, что ты написал, — начал один, ткнув в Сэма пальцем. — Это уже не шуточки.

— Поднастрал, брат.

Выходило странно, потому что обычно непомерное потоотделение у Сэма начиналось не раньше, чем угроза минует.

"Я это не писал, и я тебе не... — кавычки пальцами, — *брат*".

Он мог бы так сказать, но не стал. И мог бы объяснить, почему все было не так, как все думают. Но не стал. Вместо этого просто стерпел, как всегда поступал в жизни по херовую сторону экрана.

По другую сторону двери рава, по другую сторону стола от рава сидели родители Сэма — Джейкоб и Джулия. Им совсем не хотелось там быть. И остальным не хотелось. Все там было против желания. Раву нужно было измыслить какие-то глубокомысленно звучащие слова о некоем Ральфе Кремберге, которого в два часа предадут земле. Джейкоб предпочел бы работать над своей библией для "Вымирающего народа", или обшаривать дом в поисках пропавшего телефона, или на худой конец ползать по интернету, вызывая прилив дофамина. И еще сегодня Джулия собиралась взять выходной, вышло все наоборот.

— Разве Сэм не должен быть здесь? — спросил Джейкоб.

— Думаю, лучше, если сначала поговорят взрослые, — ответил рав Зингер.

— Сэм взрослый.

— Сэм *не* взрослый, — сказала Джулия.

— Оттого что трех стихов не доучил в благословении после благословения после гафтары?^[1]

Не обращая на Джейкоба внимания, Джулия положила ладонь на стол рава и сказала:

— Разумеется, огрызаться с учителем недопустимо, и нам нужно найти способ как-то все уладить.

— В то же время, — сказал Джейкоб, — может быть, отстранение — чересчур жесткая мера за не *такой* уж, по большому счету, серьезный проступок?

— Джейкоб...

— Что?

Стараясь что-то сказать мужу, но не раву, Джулия прижала два пальца ко лбу и слегка качнула головой, раздув ноздри. Сейчас она больше походила на помощника тренера у третьей базы, чем на жену, мать и члена общины, пытающуюся отвести океан от песочного замка ее сына.

— "Адас Исраэль" — прогрессивная школа, — сказал рав, на что Джейкоботреагировал закатыванием глаз, равно задумчивым и брезгливым.

— У нас долгая и славная традиция видеть дальше культурных норм, господствующих сегодня или вчера, находить божественный свет, Ор Эйн Соф, в каждом ребенке. Расовые оскорбления для нас серьезный проступок, без сомнения.

— *Что?* — переспросила Джулия, меняя позу.

— Этого не может быть, — сказал Джейкоб.

Рав испустил долгий раввинский вздох и по столу подвинул Джулии листок бумаги.

— Он это *сказал*? — спросила Джулия.

— Написал.

— *Что* написал? — спросил Джейкоб.

Недоверчиво качая головой, Джулия ровным голосом прочла:

— Вшивый араб, китаеза, манда, япошка, педик, мекс, жид, слово на "н".

— Он написал "слово на "н"?" — вмешался Джейкоб. — Или само слово на "н"?

— Само слово, — ответил рав.

Хотя Джейкоба должны были занимать неприятности сына, его развлекло то обстоятельство, что только одно это слово не может быть произнесено.

— Тут, видимо, какое-то недоразумение, — проговорила Джулия, передавая наконец листок. — Сэм нянчится с животными до...

— *Цинциннатский галстук?* Это не расовое оскорбление. Это форма

секса. По-моему. Кажется.

— Тут не только оскорбления, — пояснил рав.

— Знаете, я почти уверен, что и "вшивый араб" — это тоже форма секса.

— Мне остается только поверить вам на слово.

— Я к тому, что, может, мы вообще не так поняли этот список.

Вновь не слушая мужа, Джулия спросила:

— А что об этом говорит Сэм?

Рав запустил пальцы в бороду, выискивая слова, будто макака, выискивающая блох.

— Он не признается. Категорически. Но до урока этих слов там не было, а за этим столом сидит только он.

— Это не Сэм, — сказал Джейкоб.

— Его почерк, — заметила Джулия.

— В тринадцать у всех мальчишек почерк одинаковый.

— Он не смог объяснить, как там оказался листок, — сказал рав.

— Он и не обязан, — заметил Джейкоб. — И кстати, если Сэм написал эти слова, то чего ради он оставил листок на столе? Дерзость доказывает его невиновность. Как в "Основном инстинкте".

— Но в "Основном инстинкте" она же и убила, — вступила Джулия.

— Она?

— Ножом для колки льда.

— Наверное, так. Но это кино. Ясно, все подстроил какой-то ученик, настоящий расист, затаивший злобу на Сэма.

Джулия обратилась к раву:

— Мы все сделаем, чтобы Сэм понял, почему его записка так оскорбительна.

— Джулия, — вступил Джейкоб.

— Достаточно ли будет извиниться перед учителем, чтобы не отменять бар-мицву?

— Именно это я собирался предложить. Только, боюсь, слухи об этой записке уже прошли в нашей общине. Так что...

Джейкоб громко и с огорчением выдохнул — привычка, которую либо он передал Сэму, либо сам перенял у него.

— И кстати, оскорбительна для кого? Огромная разница — разбить кому-то нос или боксировать с тенью.

Рав посмотрел на Джейкоба.

— У Сэма были какие-нибудь проблемы дома? — спросил он.

— Его перегружают домашними заданиями, — начала Джулия.

— Он этого *не* делал.

— И он стал готовиться к бар-мицве, а это, по крайней мере в теории, еще час каждый вечер. И виолончель, и футбол. А у его младшего брата Макса сейчас возрастной кризис, и это для всех испытание. А самый младший, Бенджи...

— Похоже, у него куча забот, — подытожил рав. — Тут я ему безусловно сочувствую. Мы много требуем от детей. Столько никогда не требовали от нас. Но боюсь, расизму у нас места нет.

— Конечно, — согласилась Джулия.

— Секунду. Теперь вы называете Сэма расистом?

— Я этого не сказал, мистер Блох.

— *Сказали. Только* что. Джулия...

— Я не помню точных слов.

— Я сказал: "Расизму нет места".

— Расизм — это то, что исповедуют расисты.

— Вы когда-нибудь лгали, мистер Блох?

Джейкоб инстинктивно еще раз пошарил в кармане пиджака в поисках пропавшего телефона.

— Полагаю, что, как любому живому человеку, вам приходилось говорить неправду. Но это не делает вас лжецом.

— Вы меня называете лжецом? — Джейкоб оплел пальцами пустоту.

— Вы боксируете с тенью, мистер Блох.

Джейкоб посмотрел на Джулию.

— Да, слово на "н", конечно, гадкое. Скверное, ужасное. Но оно ведь там одно из многих.

— По-вашему, в общем контексте мизогинии, гомофобии и извращений оно выглядит *лучше*?

— Только он *этого не писал*.

Рав поерзал на стуле.

— Если позволите, я скажу начистоту. — Он помолчал, помял большим пальцем ноздрю, как бы тут же отступаясь. — Сэму явно нелегко — быть внуком Ирвина Блоха.

Джулия откинулась на спинку стула, думая о песочных замках и синтоистских воротах, которые вынесло на берег в Орегоне через два года после цунами.

Джейкоб обернулся к раву:

— Простите?

— Как ролевая модель для ребенка...

— Это отличная модель.

Рав продолжил, обращаясь к Джулии:

— Вы, должно быть, понимаете, о чем я.

— Я понимаю.

— Мы не понимаем, о чем вы.

— Пожалуй, если Сэму не кажется, что любые слова, как их ни...

— Вы читали Роберта Каро — второй том биографии Линдона Джонсона?

— Не читал.

— Что ж, если бы вы были равом светского толка и читали эту классику жанра, вы бы знали, что страницы с 432 по 435 посвящены тому, что Ирвин Блох больше, чем кто-либо в Вашингтоне, да и вообще где бы *то ни было*, сделал для того, чтобы Закон об избирательных правах прошел в конгрессе. Мальчику *не найти* лучшей ролевой модели.

— Мальчику и не надо искать, — сказала Джулия, глядя прямо на рава.

— Что ж... мой отец писал в блоге такое, за что его можно упрекнуть? Да. Писал. Досадное. И жалел потом. Представьте себе огромный шведский стол сожалений. Но чтобы вам заявлять, будто его добродетельность никак не может быть примером для его внуков...

— Со всем уважением, мистер Блох...

Джейкоб обернулся к Джулии:

— Пойдем отсюда.

— Давай лучше сделаем то, что нужно Сэму.

— Сэму здесь ничего не нужно. Напрасно мы заставили его праздновать бар-мицву.

— Что? Джейкоб, мы его не заставляли. Может, слегка подтолкнули, но.

— Подтолкнули, когда обрезали. С бар-мицвой просто заставили.

— Последние два года твой дед только и говорит, что единственное, ради чего он еще живет, — увидеть бар-мицву Сэма.

— Значит, она тем более не нужна.

— И мы же хотим, чтобы Сэм знал, что он еврей.

— А у него был какой-то шанс этого не знать?

— Чтобы он *был* евреем.

— Евреем, да. Но *религиозным*?

Джейкоб никогда не понимал, как ответить на вопрос, религиозен ли ты. Он никогда не жил вне синагоги, никогда не обходился без попыток соблюдения кашрута, никогда не допускал — даже в моменты величайшей досады на Израиль, отца, американское еврейство или отсутствие Бога, — что будет воспитывать детей без какого-то знакомства с еврейскими

традициями и обрядами. Но двойное отрицание не религия. Или, как скажет брат Сэма Макс на своей бар-мице тремя годами позже, "Сбережешь только то, что отказываешься отпустить". И как бы Джейкоб ни ценил преемственность (истории, культуры, мыслей и ценностей), как бы ни хотел верить, что есть какой-то глубокий смысл, доступный не только ему, но и его детям, и их детям тоже, — свет пробивался у него между пальцами.

Когда Джейкоб и Джулия только начали встречаться, они часто говорили о "религии двоих". Если бы она не облагораживала, то ее следовало бы стыдиться. Их Шаббат: каждую пятницу вечером Джейкоб читал вслух письмо, которое всю неделю писал Джулии, а она наизусть декламировала стихи; затем, убрав верхний свет, отключив телефон, сунув наручные часы под подушку красного вельветового кресла, они не спеша съедали ужин, который приготовили вместе, наполняли ванну и любили друг друга, пока поднималась вода. Рассветные прогулки по средам, невзначай превращенный в ритуал, маршрут, прокладываемый раз за разом из недели в неделю, пока на тротуаре не протапывалась дорожка, — неосязаемая, но явная. Празднуя Новый год — Рош-Ашан, — вместо похода в синагогу они всегда проводили обряд ташлих: бросали хлебные крошки — символ сожалений уходящего года — в Потомак. Иные тонули, иные течение уносило к другим берегам, а часть сожалений подхватывали чайки, чтобы накормить ими своих еще слепых птенцов. Каждое утро, прежде чем встать с кровати, Джейкоб целовал Джулию между ног — без вожделения (обычай требовал, чтобы этот поцелуй ничего за собой не влек), но с благоговением. Они начали собирать в поездках предметы, которые, как кажется, внутри больше, чем снаружи: океан, заключенный в раковине, испечатанная лента пишущей машинки, мир в зеркале из посеребренного стекла. Все как будто превращалось в ритуал — появление Джейкоба, каждый четверг забиравшего Джулию с работы, утренний кофе в обоюдном молчании, сюрпризы Джулии, заменявшей закладки Джейкоба в книгах записочками, — пока, словно Вселенная, расширившаяся до последних пределов и схлопнувшаяся в исходное состояние, все не рассыпалось.

Иные пятничные вечера выходили слишком поздними, а утренние часы сред слишком ранними. После трудных разговоров не бывало поцелуев между ног, а когда в тебе нет великодушия, многое ли покажется больше, чем на первый взгляд? (А обиду на полку не положишь.) Они держались за то, что могли удержать, и старались не признавать, какими приземленными стали. Но то и дело, обычно в моменты самозащиты,

которая, несмотря на все мольбы всех лучших ангелов, просто не могла не принять форму обвинения, кто-нибудь из них говорил: "Мне не хватает наших Шаббатов".

Рождение Сэма как будто давало новый шанс, как и появление на свет Макса и Бенджи. Религия троих, четверых, пятерых. Они церемониально отмечали рост детей на дверном косяке в первый день нового года — иудейского и светского — неизменно с самого утра, пока сила земного тяготения не внесла свои коррективы. Каждое 31 декабря бросали в огонь бумажки с обещаниями, по вторникам после обеда всей семьей выгуливали Аргуса и читали школьные табели по дороге в "Ваче" на запрещенные во всех иных случаях аранчиатас и лимонатас. В строгом порядке происходило укладывание в постель, по сложному протоколу, а на дни рождения все спали в одной кровати. Они, бывало, блюли Шаббат — равно и в смысле его соблюдения, и в смысле свидетельства собственной религиозности — с халой из "Здоровой пищи", кедемовским виноградным соком и конусами из воска оказавшихся на грани исчезновения видов пчел в серебряных подсвечниках исчезнувших предков. Между благословением и едой Джейкоб и Джулия подходили к каждому сыну и, охватив его голову ладонями, шептали на ухо, за что они им гордились на этой неделе. От такой полной интимности — запускать пальцы в волосы, от любви, что не была тайной, но говорить о которой полагалось лишь шепотом, дрожали нити накаливания в померкших лампах.

После обеда исполняли обряд, происхождение которого никто не мог вспомнить, но смысл никогда не подвергался сомнению: ходить по дому с закрытыми глазами. Было здорово болтать, дурачиться, смеяться, но в этой слепоте они всегда замолкали. Раз за разом у них вырабатывалась привычка к беззвучной темноте, и они могли не открывать глаз сначала десять минут, а потом и двадцать. Они встречались вновь у кухонного стола и там одновременно открывали глаза. И каждый раз это было как откровение. Как два откровения: чуждость дома, в котором дети жили от рождения, и чужеродность зрения.

В один из Шаббатов, по дороге в гости к прадеду, Исааку, Джейкоб сказал:

— Человек напился на празднике и по дороге домой насмерть сбил ребенка. Другой напился так же, но добрался домой без происшествий. Почему первый до конца своих дней будет сидеть в тюрьме, а второй наутро проснется как ни в чем не бывало?

— Потому что тот насмерть сбил ребенка.

— Но с точки зрения того, что они сделали неправильно, они виноваты

одинаково.

— Но второй ребенка не сбил.

— Однако не потому, что не виноват, а просто ему повезло.

— И все равно, первый-то сбил.

— Но если рассуждать о вине, то не надо ли учитывать кроме результата еще действия и умысел?

— А что за праздник это был?

— Что?

— Да, и что тот ребенок делал на улице так поздно?

— По-моему, дело не в...

— Родители должны были за ним следить. Их надо посадить в тюрьму. Наверное, тогда у него не было бы родителей. Если только он не жил с ними в тюрьме.

— Ты забыл, что он уже мертв.

— А, точно.

Сэма и Макса идея умысла захватила. Как-то раз Макс вбежал на кухню, держась за живот.

— Я его стукнул, — объявил Сэм из гостиной, — но не нарочно.

Или когда в отместку Макс наступил на почти достроенный из лего домик Сэма и заявил:

— Я не нарочно. Я хотел наступить только на ковер под ним.

Брокколи скармливались Аргусу под столом "нечаянно". К контрольным не готовились "специально". Макс, первый раз сказав Джейкобу "Заткнись!" в ответ на несвоевременное замечание о том, что пора бы отдохнуть от реинкарнации тетриса, когда Макс вот-вот должен был войти в десятку лучших результатов дня, хотя вообще-то ему не разрешалось в нее играть, положил смартфон Джейкоба, метнулся к нему, обнял и, с глазами в слезной глазури, повинился: "Я не хотел".

Когда Сэму пальцы на левой руке разможило тяжелой стальной дверью и он кричал: "Зачем это?" снова и снова, а Джулия, прижав его к себе, так что кровь струилась по ее блузке, как некогда на крик младенца грудное молоко, просто сказала: "Я тебя люблю, я с тобой", а Джейкоб добавил: "Едем в неотложку", Сэм, боявшийся врачей больше любой болячки, какую только эти врачи лечат, взмолился: "Нет! Не едем! Я это нарочно!"

Время прошло, мир проступил яснее, и Джейкоб с Джулией стали забывать о том, чтобы делать что-то нарочно. Они не отказывались отпускать, и вслед за новогодними обещаниями и вторичными прогулками, звонками на дни рождения израильским кузенам и тремя

переполненными мешками с еврейскими деликатесами, привозимыми в первое воскресенье каждого месяца прадедушке Исааку, прогуливанием школы ради первого в сезоне домашнего матча "Натс" и распеванием "Поющих под дождем" во время проезда на "Гиене Эде" сквозь автомойку, дневниками благодарностей и "проверкой ушей", ежегодным сбором и резьбой тыкв с поджариванием семян шепот со словами гордости тоже ушел.

Жизнь внутри стала меньше, чем снаружи, образовалась полость, каверна. И потому бар-мицва была так важна: она стала последней нитью в перетершейся привязи. Отмена ее, как отчаянно хотелось Сэму и как теперь предлагал вопреки собственному желанию Джейкоб, не только Сэма, но и всю семью вытолкнула бы в пустоту: кислорода более чем хватило бы для поддержания жизни, но какой жизни?

Джулия повернулась к раву:

— Если Сэм извинится...

— За что? — спросил Джейкоб.

— Если он извинится...

— Перед кем?

— Перед всеми, — ответил рав.

— Перед всеми? Всеми живущими и умершими?

Джейкоб составил эту формулу — *всеми живущими и умершими* — не в свете всего того, чему предстояло произойти, а в крошечной темноте мгновения: это было прежде, чем из Стены Плача цветами взойшли свернутые мольбы, прежде японского кризиса, десяти тысяч пропавших детей и Марша миллионов, прежде, чем имя Адия стало самым часто запрашиваемым в истории интернета. Прежде опустошительных афтершоков, прежде союза девяти армий и раздачи йода в таблетках, прежде, чем Америка никуда не послала "F-16", прежде, чем Мессия оказался слишком занят или слишком бессущностен, чтобы разбудить живых или мертвых. Сэм становился мужчиной. Исаак раздумывал, наложить на себя руки или переехать из дома в казенный дом.

— Мы хотим покончить с этой историей, — сказала Джулия раву. — И мы хотим поступить верно, и чтобы бар-мицва состоялась, как запланировано.

— Извинившись за все перед всеми?

— Мы хотим, чтобы снова все были счастливы.

Джейкоб и Джулия молча отметили надежду, и печаль, и странность, прозвучавшие в этом слове, и оно рассеялось по комнате и осело на стопки богословских книг и нечистое ковровое покрытие. Они сбились с пути,

потеряли ориентир, но не утратили веры, что все можно вернуть, — даже если ни один из них не понимал вполне, о каком счастье она говорит.

Рав сплел пальцы, точно как подобает раву, и сказал:

— Есть хасидская поговорка: "В погоне за счастьем мы бежим от довольства".

Джейкоб встал, сложил листок, сунул в карман и объявил:

— Вы не на того думаете.

Вот не я

Пока Сэм дожидался на скамейке у кабинета рава Зингера, Саманта подошла к биме. Биму Сэм соорудил из цифрового старого вяза, поднятого со дна цифрового озера, которое он вырыл и где затопил небольшой лес год назад, когда, подобно одному из тех несчастных псов на полу, по которому пущено злое напряжение, узнал, что такое беспомощность.

— Не имеет значения, хочешь ты или нет проходить бар-мицву, — сказал тогда его отец, — но попробуй отнестись к этому, как к чему-то воодушевляющему.

Но в конце концов, почему его так захватила тема жестокости к животным? Почему так неодолимо тянули видео, которые, он знал, лишь укрепят его мнение о человечестве? Пропасть времени он тратил на свидетельства насилия: жестокость к животным, а также схватки животных (как устроенные людьми, так и в естественной среде), нападения животных на людей, тореадоры, получающие, что заслужили, скейтбордисты, тоже получающие свое, колени спортсменов, сгибающиеся не в ту сторону, драки бродяг, обезглавливание вертолетным винтом, и более того: несчастные случаи с мусоровозами, лоботомия автомобильной антенной, мирные жители — жертвы химического оружия, травмы при мастурбации, головы шиитов, насаженные на колья суннитских заборов, запоротые хирургические операции, обваренные паром, обучающие ролики о том, как отсекают сомнительные части тела погибших на дороге животных (как будто бывают и не сомнительные), видеоинструкции по самоубийству без боли (как будто невозможность этого не таится в самом слове), и еще, и еще, всякое и всякое. Образы были как острые предметы, которыми он колот в себя: столько всего внутри требовало выхода наружу, что никак не обойтись без ран.

В молчании по пути домой он изучал молитвенный зал, который построил вокруг бимы: невесомые двухтонные скамьи на трехпалых когтистых лапах; запутавшаяся в гордые узлы бахромы на концах ковровой дорожки в центральном проходе; молитвенные книги, в которых каждое слово непрерывно обновляется синонимом: *Бог Един... Властелин-Одиночка... Абсолют покинут...* Давно разошедшиеся, молящиеся хотя бы на миг возвращаются к своим началам. Но даже если средняя продолжительность жизни будет с каждым годом расти на год, понадобится вечность, чтобы люди стали жить вечно, так что до этого, наверное, никто

не дотянет.

Давление невысвобожденного нутра у Сэма нередко принимало форму неразделенного и бесполезного великолепия, и пока его отец, братья и бабка с дедом обедали внизу, и пока они, разумеется, обсуждали то, в чем его обвиняют, а Сэм должен был зубрить древнееврейские слова и заучивать песнопения из гафтары, значения которых никого никогда не заботили, он творил оконные витражи. Витраж справа от Саманты изображал, как младенец Моисей плывет вниз по Нилу от матери к матери. Это была петля, но замкнутая, как бы говорящая о бесконечном пути.

Сэму показалось крутым в самом большом окне молитвенного зала поместить движущиеся картины Еврейского Сегодня, так что вместо заучивания идиотской и никому не нужной Ашрейи^[2] он написал скрипт, который брал ключевые слова из новостной ленты "Гугла" на еврейскую тему, пропускал через наскоро сляпанный поиск по видео (который вычесывал раздутости, фейки и антисемитскую пропаганду), а *результаты* поиска прогонял через наскоро сляпанный видеоконвертер (который масштабировал матрицу, чтобы лучше вписалась в круглый витраж и подтягивал цвета для завершенности картины) и проецировал в окон-розетку. Представлялось лучше, чем вышло в реальности, ну так в воображении все бывало лучше.

Вокруг молельни он выстроил саму синагогу: лабиринт в буквальном смысле бесконечных разветвляющихся коридоров; питьевые фонтанчики, льющие аранчиату, и писсуары, сделанные из кости браконьеров-слонобоев; стопки искренне-человечного фейс-ситтинг порно в шкафу в холле мужского клуба; веселенькое место для инвалидов на колясочной парковке; мемориальную стену с горошинками никогда не зажигающихся лампочек напротив фамилий тех, кому Сэм желал быстрой и безболезненной, но все же смерти (бывшие лучшие друзья, люди, которые специально делают антиугревые салфетки жгучими, и т. п.); разнообразные гроты для обжиманцев, где отзывчивые и законно прикольные девчонки, одетые как для рекламы "Американ Аппарель" и сочиняющие фанфики про Перси Джексона, дают рохлям пососать свои идеальные сиськи; грифельные доски, шарахающие разрядом в 600 вольт, если их поскребет ногтями один из этих ушлых мудаковатых жлобов, которые с полной очевидностью — для Сэма, но не для остальных — через каких-то пятнадцать лет будут пузатыми шмоками при скучных работах и унылых женах; кругом небольшие таблички, сообщающие каждому, что только благодаря Саманте, ее врожденной добродетели, ее любви к милосердию и справедливости и благотворному сомнению, ее любезности, ее

естественной значимости, ее нетоксичной безговнистости и существует лесенка на крышу, существует крыша, существует без конца кэширующий Господь.

Изначально синагога стояла на краю поселка, выросшего вокруг разделенной любви к роликам, в которых провинившиеся собаки выказывают раскаяние. Такие ролики Сэм мог смотреть целый день напролет — и не раз так и бывало, — не слишком задумываясь, что в них ему так нравится. Очевидным объяснением было бы, что Сэм сочувствует собаке, и очевидно, своя правда в этом была. ("Сэм, это кто натворил? Кто написал эти слова? Кто плохо себя вел?") Но кроме того, его привлекали хозяева. Все и каждый из этих роликов снял тот, кто любит свою собаку больше себя: "устыжение" неизменно комически драматизировано и добродушно, и все неизменно кончается примирением. (Сэм пробовал и сам записывать такие ролики, но Аргус оказался слишком старым и усталым, мог только ходить под себя, а в этом никто не станет добродушно упрекать собаку.) В общем это было как-то завязано и на провинившегося, и на судью, и на страх остаться без прощения, сменяющийся успокоением: тебя снова любят. Может, в следующей жизни переживания сожрут его не целиком и останется какая-то часть, способная понимать.

Изначальное местопребывание в общем-то ничем особо не напрягало, но в жизни он удовлетворялся приемлемым, а вот в "Иной жизни" можно было расставить все вещи в те места, по которым они тоскуют. Сэм втайне верил, что тосковать может все, и более того — что все предметы постоянно тоскуют. Так что после устыжающей выволочки, полученной днем от матери, Сэм заплатил кой-каким цифровым грузчикам кой-какие цифровые деньги, чтобы разобрали синагогу на самые крупные блоки, которые поместятся в самые крупные грузовики, перевезли на новое место и вновь сложили в одно целое согласно скриншотам.

— *Мы поговорим, когда папа вернется с работы, но мне надо тебе что-то сказать. Это обязательно.*

— *Ладно.*

— *Перестань говорить "ладно".*

— *Прости.*

— *Перестань говорить "прости".*

— *Я думал, все дело в том, чтобы я извинился?*

— *За то, что ты сделал.*

— *Но это не я.*

— *Ты меня сильно разочаровал.*

— *Я знаю.*

— И это все? Тебе больше нечего на это сказать? Типа такого, например: "Это сделал я, и я сожалею"?

— Это не я.

— Прибери этот бардак. Смотреть тошно.

— Моя комната.

— Но наш дом.

— Доску нельзя трогать. Мы не доиграли партию. Папа сказал, мы закончим позже, когда все утрясется.

— Знаешь, почему ты всегда его обыгрываешь?

— Он поддается.

— Уже много лет не поддается.

— Он не старается.

— Он старается. Ты обыгрываешь, потому он увлекается взятием фигур, а ты продумываешь ходы вперед. Потому ты хорошо играешь — и в шахматы, и по жизни.

— Я не хорошо играю по жизни.

— Хорошо, если задумываешься.

— А папа плохо играет по жизни?

Все шло почти идеально, но грузчики чуть менее совершенны, чем остальное человечество, и были кое-какие накладки, но вряд ли хоть одна заметная — кто, как не Сэм, мог бы знать, что еврейская звезда сорвалась и висит вверх ногами? И вообще вряд ли хоть одна из них была замечена. Микроскопическое несоответствие между идеалом и тем, что вышло, обращало все в дерьмо.

Отец дал Сэму прочесть статью о мальчике в концлагере, который провел обряд бар-мицвы, вырыв в земле воображаемую синагогу и заполнив ее сучьями — безмолвными прихожанами. Само собой, отец никогда не задастся вопросом, прочел ли ее Сэм, и они ее ни разу не обсуждали, и считается ли, что ты вспоминаешь о чем-то, если ты непрерывно об этом думаешь?

Все затевалось к случаю — целое культовое сооружение организованной религии задумано, построено и предназначено для единственной краткой церемонии. При всей непостижимой необъятности "Иной жизни" синагоги в ней не было. И несмотря на глубокое нежелание Сэма даже ногой ступить в настоящую синагогу, здесь синагога должна была появиться. Он не стремился ее иметь, она была ему необходима: нельзя разрушить то, что не существует.

Счастье

Все счастливые утра похожи друг на друга, как и все несчастливые: именно это в основном и делает их столь беспросветно несчастливыми — чувство, что несчастливость ощущалась, что попытки ее избежать в лучшем случае укрепят, а в худшем усугубят ее, что вся вселенная по какой-то непостижимой, ненужной и несправедливой логике в сговоре против невинной последовательности: одежда, завтрак, зубы и неподатливые вихры, рюкзаки, ботинки, куртки, прощание.

Джейкоб настоял — на встречу с равом Зингером Джулия должна была приехать на своей машине, чтобы потом уехать одной и все-таки как-то использовать выходной. Через школу к стоянке шли в суровом молчании. Сэм никогда не слышал о правиле Миранды, но интуитивно чувствовал: что-то такое есть. Это, впрочем, не имело значения — родители не хотели обсуждать дело при нем, не обсудив сначала за его спиной. Так что они оставили Сэма у ворот, среди усатых подростков, игравших в "Ю-ги-о!", и направились к своим машинам.

— Хочешь, чтобы я куда-нибудь заехал? — спросил Джейкоб.

— Когда?

— Сейчас.

— Тебе надо успеть домой позавтракать с родителями.

— Пытаюсь снять часть ноши с твоих плеч.

— Хлеб для сэндвичей может пригодиться.

— Какой-то конкретно?

— Конкретно тот, какой мы все время берем.

— Что?

— Что "что"?

— Тебя что-то беспокоит?

— А тебя нет?

Не нашла ли она телефон?

— Нам не надо поговорить о том, что сейчас там было?

Она не нашла телефона.

— Конечно, надо, — сказал он, — но не тут, на стоянке, пока Сэм дожидается нас на крыльце, а родители ждут дома.

— Так когда?

— Вечером?

— Вечером? С вопросительным? Или *вечером*.

— *Вечером.*

— Обещаешь?

— Джулия.

— И не давай ему засесть в комнате с планшетом. Пусть знает, что мы в расстройстве.

— Он знает.

— Да, но я хочу, чтобы он знал, даже когда меня нет.

— Он *будет* знать.

— Обещаешь? — Она спросила, на этот раз скорее обронив вопрос, а не беззаботно возвысив.

— Провалиться мне, не сходя с места.

Она могла бы сказать больше — привести примеры из недавнего прошлого или объяснить, почему ее заботит не наказание, а укрепление их недавно кальцинировавшихся и совершенно не так, как надо, распределенных родительских ролей, — но в итоге предпочла нежно, но крепко взять Джейкоба за локоть.

— До вечера.

Раньше прикосновения всегда спасали их. Какова бы ни была злость или обида, какова бы ни была глубина отчуждения, прикосновение, даже легкое или мимолетное, напоминало им об их долгой общности. Ладонь на шее — все нахлынуло снова. Положить голову на плечо — закипают гормоны, память любви. Временами преодолеть расстояние, протянуть руку было почти невозможно. Временами это *было* невозможно. Оба знали это чувство слишком хорошо, в тишине темной комнаты, глядя в один и тот же потолок: "Если б я мог разжать пальцы, то и пальцы моего сердца могли бы разжаться. Но я не могу. Я хочу дотянуться до тебя и хочу, чтобы ты дотянулась до меня. Но не могу".

— Извини, что испортил утро, — сказал Джейкоб. — Я хотел, чтобы ты отдыхала целый день.

— Не ты же написал эти слова.

— И не Сэм.

— Джейкоб...

— Что?

— Так не может быть, и так не будет, чтобы один из нас ему верил, а другой нет.

— Так верь ему.

— Ясно, что это он.

— Все равно верь. Мы его родители.

— Именно. И нам нужно его научить, что действия имеют

последствия.

— Верить ему — это важнее, — сказал Джейкоб, и выходило, что разговор слишком быстро переключился на его собственные тревоги. Чего ради он решил упираться?

— Нет, — возразила Джулия, — важнее его любить. И пройдя через наказание, он будет знать, что наша любовь, которая заставляет нас время от времени причинять ему боль, и есть самое важное.

Джейкоб открыл перед Джулией дверцу ее машины со словами:

— Продолжение следует.

— Да, следует. Но мне надо услышать от тебя сейчас, что мы на одной странице.

— Что я ему не верю?

— Нет, что независимо от этого ты поможешь мне дать ему понять: он нас расстроил и должен извиниться.

Джейкоба это бесило. Он злился на Джулию за то, что она заставляла его предать Сэма, злился на себя за то, что сдался. Если оставалась еще какая-то злоба, то это уже на Сэма.

— Угу, — согласился Джейкоб.

— Да?

— Да.

— Спасибо, — сказала она, забираясь в машину. — Продолжим вечером.

— Угу, — подытожил Джейкоб, захлопывая дверцу, — и можешь не тропиться, времени у тебя сколько хочешь.

— А если сколько хочу не поместится в один день?

— А у меня вечером это совещание в Эйч-Би-Оу.

— Какое совещание?

— Но не раньше семи. Я говорил тебе. Но ты все равно, наверное, еще не вернешься.

— Как знать.

— Неудачно, что оно в выходной, но это всего на часок-другой.

— Вот и хорошо.

Он пожал ее локоть и сказал:

— Возьми все, что осталось.

— От чего?

— От дня.

Домой ехали в молчании, если не считать "Национального общественного радио", чье проникновение повсюду превращает его в разновидность тишины. Джейкоб взглянул через зеркало на Сэма.

— Я зашел и съел тут банку вашего тунца, мисс Дейзи.

— У тебя припадок или что?

— Это из кино. Только там мог быть и лосось.

Джейкоб понимал, что не нужно позволять Сэму у себя за спиной утыкаться в планшет, но бедный парень довольно получил за утро. Было бы только справедливо дать ему немного утешиться. И тем самым отодвинуть разговор, который Джейкоб не хотел начинать сейчас, да и вообще.

На обед Джейкоб собирался приготовить что-нибудь замысловатое, но после звонка, поступившего от рава Зингера в девять пятнадцать, он попросил родителей, Ирва и Дебору, прийти пораньше и присмотреть за Максом и Бенджи. Так что никаких французских тостов из бриошей с рикоттой. Ни чечевичного салата, ни салата из шинкованной брюссельской капусты. Зато будут калории.

— Два куса ржаного с мягким арахисовым маслом, порезаны наискось, — сказал Джейкоб, протягивая тарелку Бенджи.

Еду перехватил Макс:

— Это вообще-то мое.

— Точно, — согласился Джейкоб, подавая Бенджи его миску, — потому что у *тебя* медовые мюсли с рисовым молоком.

Макс заглянул Бенджи в миску:

— Это обычные мюсли с медом.

— Да.

— Чего же ты ему врешь?

— Спасибо, Макс.

— А я просил *поджарить* хлеб, а не *испекать*.

— *Испекать*? — не понял Бенджи.

— Уничтожать огнем, — пояснила Дебора.

— А где наш Камю? — спросил Ирв.

— Не трогайте его, — сказал Джейкоб.

— Эй, Макси, — произнес Ирв, подтягивая внука к себе, — мне как-то рассказали про один невероятный зоопарк...

— Где Сэм? — спросила Дебора.

— Врать некрасиво, — сказал Бенджи.

Макс хохотнул.

— Молодец, — одобрил Ирв. — Правда же?

— Утром у него были неприятности в Еврейской школе, и он сейчас отбывает срок у себя в комнате. — Макс обратился к Бенджи: — Я не врал.

Макс посмотрел в миску Бенджи и заявил:

— Ты видишь, это даже не мед. Это агава.

- Хочу к маме.
- Мы ей дали выходной.
- Выходной от нас? — уточнил Бенни.
- Нет, нет. От вас, мальчики, выходных не бывает.
- Выходной от тебя? — спросил Макс.
- У одного моего друга, Джоуи, два отца. Но дети рождаются из вагины.

Зачем?

- Что зачем?
- Зачем ты мне соврал?
- Никто никому не врал.
- Хочу мороженое буррито.
- Морозилка сломалась, — сказал Джейкоб.
- На завтрак? — спросила Дебора.
- На поздний, — уточнил Макс.
- *Sí se puede*^[3], — заметил Ирв.
- Я могу сбежать и принести, — вызвалась Дебора.
- Мороженое.

В последние месяцы Бенджи в своих пищевых предпочтениях склонялся к тому, что можно было бы назвать "несостоявшейся едой": мороженые овощи (то есть поедаемые без разморозки), сухая овсянка, быстрая лапша прямо из пачки, сырое тесто, сырая крупа киноа, сухие макароны, посыпанные не восстановленным сырным порошком. Джейкоб с Джулией только вносили коррективы в список покупок, но никогда это не обсуждали: это касалось слишком тонких психологических проблем, чтобы их касаться.

— И что там Сэмми натворил? — спросил Ирв с набитым глютенами ртом.

- Потом скажу.
- Мороженое буррито, пожалуйста.
- "Потом" может и не быть.
- Видимо, он написал плохие слова на листе бумаги в классе.
- Видимо?
- Он говорит, что не писал.
- Ну, а на самом деле?
- Не знаю. Джулия думает, писал.
- Как бы то ни было на самом деле и что бы ни думал каждый из вас, вам нужно разобраться в этом вместе, — заметила Дебора.
- Я в курсе.
- А напомни мне, что такое плохие слова? — попросил Ирв.

— Ты можешь догадаться.

— Ты знаешь, не могу. Я могу представить плохие *контексты*.

— В еврейской школе слова и контексты вообще-то одно и то же.

— Что за слова?

— Это имеет серьезное значение?

— Естественно, это имеет значение.

— Не имеет значения, — сказала Дебора.

— Ну, скажем, слово на "н" там фигурирует.

— Хочу мороженое. А что за слово на "н"?

— Доволен? — спросил Джейкоб отца.

— Он его употребил активно или пассивно? — спросил Ирв.

— Я тебе потом расскажу, — сказал Макс младшему брату.

— Это слово нельзя употребить пассивно, — ответил Джейкоб отцу. — И нет, ты не расскажешь, — добавил он, обращаясь к Макс.

— "Потом" может и не быть, — сказал Бенджи.

— Неужели я и в самом деле растил сына, который говорит о слове *это слово*?

— Нет, — ответил Джейкоб. — Ты не растил сына.

Бенджи кинулся к бабуле, у которой ни в чем не было отказа:

— Если ты меня любишь, ты мне купишь мороженое буррито и скажешь, что такое "слово на "н"".

— Ну, а контекст? — спросил Ирв.

— Это не имеет значения, — ответил Джейкоб, — и мы закончили это обсуждать.

— Это самое важное. Без контекста мы все окажемся чудовищами.

— Слово на "н", — повторил Бенджи.

Джейкоб положил нож и вилку.

— Ладно, раз ты спрашиваешь, контекст такой: Сэм смотрит, как ты каждое утро валяешь дурака в "Новостях", и смотрит, как тебя каждый день выставляют дураком в вечерних передачах.

— Ты позволяешь своим детям слишком долго смотреть телевизор.

— Да они вообще его не смотрят.

— Можно мы пойдем смотреть телевизор? — спросил Макс.

Джейкоб, не отозвавшись, продолжил разговор с Ирвом:

— Его отстранили от занятий, пока он не извинится. Не извинится — бар-мицвы не будет.

— Извинится перед кем?

— Кабельное? — спросил Макс.

— Перед всеми.

— Почему тогда не пройти весь путь и не выслать его в Уганду, чтоб ему там ток через мошонку пускали?

Джейкоб, подавая Максу тарелку, что-то прошептал ему на ухо. Макс кивнул и вышел из-за стола.

— Он поступил плохо, — сказал Джейкоб.

— Воспользовавшись свободой слова?

— Свободой *ненавистного* слова.

— Ну ты хотя бы стукнул там кулаком по столу?

— Нет, нет. Ни в коем случае. Мы побеседовали с равом и теперь полностью перешли в режим спасения бар-мицвы.

— Вы *побеседовали*? Ты думаешь, это *беседы* нас вывели из Египта или из Энтеббе? Угу. Казни египетские и автоматы "узи". А беседы преспокойно приведут тебя в очередь в душевую, которая вовсе не душевая.

— Боже мой, пап. Всегда?

— Конечно, всегда. "Всегда", поэтому "больше никогда".

— Почему бы тебе не дать мне самому разобраться?

— Потому что ты так хорошо справляешься?

— Потому что он — отец Сэма, — вмешалась Дебора, — а ты нет.

— Потому что одно дело собирать говно за собакой, — сказал Джейкоб, — а другое — за своим отцом.

— Говно, — повторил Бенджи.

— Мам, можешь пойти с Бенджи наверх почитать?

— Хочу сидеть со взрослыми, — сказал Бенджи.

— Я здесь единственный взрослый, — ответила Дебора.

— Пока не озверел, — сказал Ирв, — я должен удостовериться, что все понял. Ты считаешь, что можно провести связь между моим превратно истолкованным блогом и проблемой Сэма с Первой поправкой?

— Никто твой блог не толкует превратно.

Полностью извращают.

— Ты написал, что арабы ненавидят своих детей.

— Поправка: я написал, что ненависть арабов к евреям перекрывает их любовь к собственным детям.

— И что они животные.

— Да. Это я тоже написал. Они животные. Человек — это животное. Это научное определение.

— Евреи животные?

— Все не настолько просто, нет.

— Что за слово на "н"? — Бенджи шепотом допытывал Дебору.

— Наггетсы, — прошептала та в ответ.

— Нет, не оно.

Дебора взяла Бенджи на руки и понесла прочь из комнаты.

— Словно на "н" — это "нет", — сказал Бенджи. — Правда?

— Правда.

— Нет, неправда.

— Один доктор Фил — это уже на одного больше нужного, — заметил Ирв. — Сейчас Сэму требуется юрист. Это в чистом виде наступление на свободу слова, и, как ты знаешь, или должен знать, я не только в национальном совете Союза защиты гражданских свобод, и ребята оттуда рассказывают мою историю, рассказывают каждый Песах. Будь ты *мною*...

— Я бы удавился, чтобы семья не страдала.

— ...Ты бы натравил на этот "Адас Исраэль" дичайше умного, до аутизма упертого адвоката, который отвергает земные награды ради счастья защищать гражданские свободы. Слушай, я не хуже других понимаю, как приятно жаловаться на несправедливость, но здесь ты в своем праве — это твой сын. Никто тебя не осудит, если ты на себя махнешь рукой, но никто не простит, если не поможешь сыну.

— Ты романтизируешь расизм, мизогинию и гомофобию.

— Ты хоть *читал* у Каро?..

— Я видел кино.

— Я пытаюсь помочь внуку выпутаться из неприятной ситуации. Это такой уж грех?

— Если он не должен выпутываться.

В комнату рысцой вбежал Бенджи:

— Это мошонка?

— Какая еще мошонка?

— Слово на "н".

— Мошонка на "м".

Бенджи развернулся и убежал.

— Твоя мать сейчас сказала, что вам с Джулией нужно разобраться с этим делом вместе? Это ерунда. Тебе надо защитить Сэма. Пусть кого другого заботит, что там было на самом деле.

— Я ему верю.

И тут, будто впервые заметив ее отсутствие:

— А где вообще-то Джулия?

— У нее выходной.

— Выходной от чего?

— *Выходной*.

— Благодарю вас, Энн Салливан, но вообще-то я слышал. Выходной от чего?

— От не-выходных. Тебя не устраивает просто выходной?

— Ладно, ладно, — согласился Ирв, кивая. — Пусть будет. Но позволь мне сказать тебе мудрые слова, которых не знает даже Мать Мария.

— Весь внимание.

— Ничего не проходит. Само не проходит. Или ты занимаешься ситуацией, или она тобой.

— А "И это пройдет"?

— Соломон не был совершенным. Никогда в истории человечества ничего не рассасывается само.

— Только пердеж, — заметил Джейкоб, как бы в честь отсутствующего Сэма.

— У тебя тут воняет, Джейкоб. Ты не чуешь, потому что это твой дом.

Джейкоб мог бы сказать на это, что где-то в пределах ближних трех комнат лежит Аргусово дерьмо. Он это понял, едва ступив на порог.

Снова пришел Бенджи.

— Я вспомнил свой вопрос, — сказал он, хотя до этого, по виду, ничего не пытался вспоминать.

— Ну?

— Звук времени. Что с ним стало?

Рука размером с твою, дом размером с этот

Джулии нравилось, если что-нибудь уводило взгляд туда, куда не могло пробраться тело. Нравилась неровная кладка, когда не скажешь, небрежно работал каменщик или виртуозно. Нравилось ощущение закрытости, побуждающее к экспансии. Ей нравилось, если вид в окне не отцентрован, но нравилось и помнить, что виды, по природе природы, центруются. Ей нравились дверные ручки, которые хочется задержать в ладони. Лестницы вверх и лестницы вниз. Тени, упавшие сверху на другие тени. Кухонные стулья. Ей нравилось светлое дерево (бук, клен) и не нравились "мужские" породы (орех, красное дерево), ее не трогала сталь и бесила нержавейка (если только она не исцарапана как следует), она отвергала любые имитации природных материалов, если только их фальшь не подчеркивалась, не становилась приемом, тогда подделка могла быть даже прекрасной. Джулии нравились фактуры, которые узнают пальцы и ступни, даже если их не узнает глаз. Нравились каминные, поставленные в центре кухни, расположенной в центре главного жилого объема. Нравился избыток книжных полок. Нравились световые люки в душевых, но больше нигде. Нравились намеренные несовершенства, но выводила из себя небрежность, однако и нравилось помнить, что не существует намеренного несовершенства. Люди всегда ошибочно принимают то, что приятно выглядит, за то, что приятно в обращении.

ты умоляешь меня трахнуть твою тугую мандёшку, но ты это еще не заслужила

Ей не нравились однородные фактуры — они не в природе вещей. Не нравились коврики в комнатах. Хорошая архитектура — это когда ты будто находишься в пещере с видом на горизонт. Ей не нравились высокие потолки. И еще избыток стекла. Задача окна — пропускать внутрь свет, а не обрамлять вид. Потолок должен располагаться так, чтобы самому высокому из обитателей дома лишь чуть-чуть не хватало роста дотянуться до него кончиками пальцев, встав на цыпочки. Джулии не нравились продуманно расставленные безделушки — предметам место там, где им не место. Одиннадцать футов — слишком высоко для потолка. Под таким чувствуешь себя потерянным, брошенным. Десять футов — слишком высоко. Ей казалось, что ни до чего не дотянуться. Девять футов слишком высоко. Тому, что вызывает приятные чувства, — надежному, удобному, сконструированному для жизни, — всегда можно придать и приятный вид.

Джулия не любила встроенные светильники и лампы с настенным выключателем — отсюда бра, люстры и усилие. Ей не нравились потайные удобства: холодильники в стене, шкафчики за зеркалом, телевизоры, убирающиеся за комод.

ты еще не захотела этого как надо

хочу видеть, как ты сочишься прямо на очко

Каждый архитектор фантазирует, как будет строить собственный дом, и так же каждая женщина. Сколько себя помнила, Джулия втайне волновалась, проходя мимо небольшой автостоянки или незастроенного участка земли: потенциал! Для чего? Построить что-нибудь прекрасное? Умное? Новое? Или просто дом, где будешь чувствовать себя дома? Радости она делила, они принадлежали не только ей, но нервный трепет она оставляла для себя.

Ей никогда не хотелось стать архитектором, но всегда хотелось построить себе дом. Она избавлялась от кукол, чтобы освободить коробки, в которых они пребывали. Целое лето она провела, расставляя мебель у себя под кроватью. В ее комнате все поверхности были увешаны одеждой, потому что использовать шкафы — это убить их. И лишь только когда начала проектировать дома для себя лично — все на бумаге, и каждый предмет становился источником и гордости, и стыда, — она и начала понимать, что значит "она сама".

"Это так здорово", — сказал Джейкоб, когда она показала ему план этажа. Джулия никогда не показывала ему свою работу, если только он не просил об этом. Никаких тайн, но каждый показ как будто оставлял чувство униженности. Джейкоб ни разу не выразил достаточного воодушевления, или оно было каким-то не таким. А когда он все-таки воодушевлялся, то было это словно подарок со слишком пышным бантом. (Это его "так" убило все.) Джейкоб будто протоколировал свое воодушевление на будущее — чтобы предъявить в следующий раз, когда Джулия скажет, что он никогда не воодушевляется ее работой. А еще Джулию унижало, что ей требовалось воодушевление Джейкоба, даже хотелось этого воодушевления.

А что же в этой потребности и желании нездорового? Да ничего. А зияющая пропасть между тем, где ты есть, и тем, что ты всегда воображала, вовсе не означает провала. Разочарование не должно разочаровывать. Желание, потребность, пропасть, разочарование: расти, знать, участвовать, стареть рядом с другим. В одиночестве можно жить идеально. Но не всю жизнь.

— Великолепно, — сказал он, наклоняясь так близко, что почти коснулся носом двухмерной прорисовки ее мечты. — Удивительно, вообще.

Как ты выдумываешь все эти штуки?

— Не уверена, что я их выдумываю.

— А вот тут что, внутренний сад?

— Да, винтовая лестница поднимается по колонне.

— Сэм сказал бы: *"Натянута на колонну"*.

— А ты бы засмеялся, а я бы не обратила внимания.

— Или мы оба не обратили бы. В любом случае это правда, правда мило.

— Спасибо.

Джейкоб поднес палец к рисунку, провел через несколько комнат, неизменно сквозь двери.

— Понимаю, что я не очень умею читать такие схемы, но где будут спать дети?

— Что ты имеешь в виду?

— Если только я чего-то не упускаю, а видимо, так и есть, здесь спальня только одна.

Джулия склонила голову, прищурилась.

— Помнишь анекдот, — сказал Джейкоб, — про пару, которая пошла разводиться после восьмидесяти лет брака?

— Нет.

— Все спрашивают: "Зачем сейчас-то? Почему не пару десятков лет назад, когда еще оставалось что-то впереди? Почему не оставить теперь все как есть?" И те отвечали: "Мы ждали, пока умрут внуки".

Джулии нравились печатающие калькуляторы — евреи среди канцелярских машин, упорно пережившие столько более перспективных офисных устройств, — и пока дети собирались в школу, она выстукивала длинные столбцы цифр. Один раз она подсчитала, сколько минут осталось до поступления Бенджи в колледж. Джулия сохранила результат для истории.

Дома ее были всего лишь наивными этюдами, увлечением. У них с Джейкобом никогда не будет достаточно денег, времени, сил, и Джулия довольно напроектировала жилых помещений и знала, что стремление выжать еще несколько капель счастья практически неизменно отравляет то счастье, которое ты так удачно обрел и так глупо не признавал. Так выходило всякий раз: обновление кухни на сорок тысяч долларов становится обновлением на семьдесят пять тысяч (потому что все теперь думают, будто небольшая разница превращается в большую), становится новым выходом в сад (чтобы в улучшенную кухню падало больше света), становится дополнительной ванной (если уже все равно бетонируешь

полы...), становится дурацким переоборудованием электросетей под умный дом (чтобы можно было с телефона сделать погромче музыку на кухне), становится пассивной агрессией по поводу того, должны ли быть книжные полки на ножках (чтобы не скрывали рисунок паркета), становится агрессивной агрессией, а откуда она взялась, уже не вспомнить. Построить идеальный дом можно, но жить в нем нельзя.

*тебе нравится, как мой язык проталкивается в твою тугую устрицу?
покажи мне
кончи мне в рот*

Была такая ночь в пенсильванском отельчике в начале их супружеской жизни. Они с Джейкобом курили косяк — у обоих это был первый раз со студенческих времен — и, лежа голыми на кровати, обещали друг другу делиться всем-всем без исключения, невзирая на стыд, смущение или боязнь ранить. Это казалось самым смелым обещанием, какое только могут дать друг другу два человека. Обычная правда становилась откровением.

— Никаких исключений, — провозгласил Джейкоб.

— Одно-единственное исключение все похоронит.

— Писался в постель. Такого типа.

Джулия взяла Джейкоба за руку и спросила:

— Знаешь, как я тебя люблю, что делишься вот таким?

— Я, кстати, не писался. Просто показываю границы.

— Нет границ. В этом смысл.

— Бывшие сексуальные партнеры? — спросил Джейкоб, понимая, что именно тут его самое уязвимое место и значит, то опасное поле, на которое должна завести такая откровенность. Неизменно, даже когда у него пропало желание прикасаться к Джулии или желать ее прикосновений, ему были мучительны мысли о том, что она прикасается к другому мужчине или кто-то прикасается к ней. Люди, что были с ней, удовольствие, что она давала и получала, звуки, которые она выдыхала со стоном. В других ситуациях Джейкоб не был уязвим, но мысленно поневоле, с одержимостью человека, вновь и вновь переживающего давнюю травму, воображал Джулию в интимной близости с другими. Говорила ли она им то же, что ему? Почему такой повтор кажется самым страшным предательством?

— Конечно, будет больно, — сказала она. — Но штука в том, что я хочу знать о тебе всё. Не хочу, чтобы ты хоть что-то утаил.

— Ну, я не утаю.

— И я не утаю.

Они раз-другой передали друг другу косяк, чувствуя себя такими

смелыми, такими все-еще-молодыми.

— Что ты утаиваешь вот сейчас? — спросила Джулия, уже почти забывшись.

— Вот сейчас ничего.

— Но что-то *утаил*?

— Вот такой я.

Она рассмеялась. Ей нравилась сообразительность, а ход его мыслей странным образом успокаивал.

— И что последнее ты от меня утаил?

Джейкоб задумался. Под действием травки думать было труднее, но делиться мыслями легче.

— Ладно, — сказал он, — просто мелочь.

— Хочу все мелочи.

— Лады. Мы были в квартире на днях. В среду вроде? Я готовил для тебя завтрак. Помнишь? Омлет по-итальянски с козьим сыром.

— Ага, — сказала Джулия, пристраивая руку у него на бедре, — вкусно было.

— Я не стал тебя будить и потихоньку приготовил.

Джулия выдохнула струю дыма, который не менял формы дольше, чем это казалось возможным, и сказала:

— Я бы сейчас такого Навернула.

— Я его зажарил, потому что мне хотелось о тебе позаботиться.

— Я это почувствовала. — Джулия сдвинула руку выше по его бедру, отчего член Джейкоба зашевелился.

— И я его по правде красиво выложил на тарелку. Даже чуток салата сбоку.

— Как в ресторане, — сказала она, забирая его член в ладонь.

— И после первой вилки ты...

— Да?

— Знаешь, вот потому-то люди и не рассказывают.

— Мы не какие-то "люди".

— Ладно. Ну вот, после первой вилки, вместо того чтобы поблагодарить или сказать, что вкусно, ты спросила, солил ли я его.

— И? — спросила она, двигая кулак вверх-вниз.

— И это был сраный облом.

— Что я спросила, солил ли ты?

— Ну, может, не облом. Но досада. Или разочарование. Но что бы я ни почувствовал, я это утаил.

— Но я просто задала рутинный вопрос.

— О, как хорошо.

— Хорошо, милый.

— Но сейчас-то ты, в контексте тех стараний, которые я для тебя приложил, понимаешь, что такой вопрос скорее содержал упрек, чем благодарность?

— А ты так уж старался приготовить мне завтрак?

— Это был особый завтрак.

— А так хорошо?

— Так — забавно.

— Значит, теперь если мне покажется, что еда недосолена, мне надо будет оставить это при себе?

— Или я должен оставить при себе свою обиду.

— Твое разочарование.

— Я уже могу кончить.

— Кончай.

— Но я не хочу уже кончать.

Она замедлила движение, остановилась, сжав пальцы.

— Что ты сейчас утаиваешь? — спросил Джейкоб. — И не говори, что ты слегка обижена, раздосадована и разочарована моей обидой, досадой и разочарованием, потому что этого ты не таишь.

Она рассмеялась.

— Так что?

— Я ничего не таю, — сказала Джулия.

— Копни.

Она со смехом покачала головой.

— Что?

— В машине ты пел "All Apologies" и пел каждый раз "Возопил мой стыд".

— И что?

— То, что там же не так.

— Разумеется, там так.

— "Воск топил мосты".

— *Что?!*

— Угу.

— *Воск топил... Мосты?*

— Ладонь на еврейской Библии.

— Ты мне говоришь, что моя абсолютно осмысленная фраза — осмысленная и сама по себе, и в контексте песни — на самом деле подсознательное выражение моего подавленного чего-то там и что Курт

Кобейн нарочно написал слова "*Воск топил мосты*"?

— Именно так.

— Ну, в это я отказываюсь верить. Но в то же время я дико смущен.

— Не смущайся.

— Ага, это обычно помогает, если человек смущается.

Джулия рассмеялась.

— Это не считается, — сказал Джейкоб. — Это любительское утаивание. Давай что-нибудь хорошее.

— Хорошее?

— Ну, по-настоящему серьезное.

Она улыбнулась.

— *Что?* — спросил он.

— *Ничего.*

— *Что?*

— *Ничего.*

— Да нет, я слышу, явно что-то есть.

— Ладно, — сдалась она, — я кое-что утаиваю. Действительно серьезное.

— Отлично.

— Но не думаю, что я достаточно эволюционировала, чтобы этим поделиться.

— Динозавры так думали.

Она прижала к лицу подушку и скрестила ноги.

— Тут всего лишь я, — ободрил ее Джейкоб.

— Ладно. — И вздохнула. — Ладно. Что ж. Вот мы укурились и лежим голые, и я вдруг кое-чего захотела.

Он безотчетно сунул руку ей между ляжек и обнаружил, что она уже мокра.

— Ну, скажи, — попросил он.

— Не могу.

— Уверен, можешь.

Она рассмеялась.

— Закрой глаза, — сказал Джейкоб, — так легче.

Джулия закрыла глаза.

— Не-а, — сказала она. — Не легче. Может, ты тоже закроешь?

Он закрыл.

— Вот, я захотела. Не знаю, откуда оно взялось. Или почему мне этого захотелось.

— Но тебе хочется.

— Да.

— Рассказывай.

— Вот, мне хочется. — Она вновь засмеялась и уткнулась лицом ему в подмышку. — Мне хочется раздвинуть ноги, а ты чтобы опустил голову и смотрел мне туда, пока я не кончу.

— Только смотрел?

— Без рук. Без языка. Я хочу, чтобы ты меня довел глазами.

— Открой глаза.

— И ты свои открой.

Он не произнес ни слова, не издал ни звука. С необходимой, но не чрезмерной силой перевернул Джулию на живот. Он интуитивно понял: ее желание предполагает, что она не сможет видеть, как он на нее смотрит, что у нее не будет и этой последней страховки. Она застонала, давая понять, что он все понял верно. Джейкоб сполз к ее ногам. Раздвинул ей бедра, потом еще, шире. Поднес лицо так близко, что ощутил ее запах.

— Ты смотришь?

— Смотрю.

— Нравится, что ты видишь?

— Я хочу то, что вижу.

— Но тебе нельзя трогать.

— Не буду.

— Но ты можешь потеревить себе, пока смотришь.

— Уже.

— Хочешь насадить то, что видишь?

— Да.

— Но нельзя.

— Да.

— Хочешь потрогать, какая я мокрая?

— Да.

— Но нельзя.

— Но я это вижу.

— Но не видишь, как там все сжимается, когда я готова кончить.

— Не вижу.

— Скажи мне, на что я там похожа, и я кончу.

Они кончили одновременно, не касаясь друг друга, и на том могли бы успокоиться. Джулия повернулась бы на бок, устроила голову у Джейкоба на груди. Они бы заснули. Но что-то произошло: она посмотрела на него, поймала его взгляд и снова закрыла глаза. И он закрыл глаза. И все могло завершиться тут. Они могли бы изучать друг друга в постели, но Джулия

поднялась и принялась изучать комнату. Джейкоб не видел ее — он знал, что лучше не открывать глаз, — но слышал. Ни слова не говоря, он тоже встал с кровати. Они оба потрогали ступень в изножье, письменный стол, стакан с карандашами, кисти на гардинных вязках. Джейкоб потрогал глазок, Джулия — ручку настройки потолочного вентилятора, Джейкоб положил ладонь на теплую поверхность мини-холодильника.

Она сказала:

— Ты понимаешь меня.

Он сказал:

— Ты меня тоже.

Она сказала:

— Я тебя правда люблю, Джейкоб. Но, прошу, скажи просто: "Я знаю".

Он сказал: "Я знаю" и пошел ощупью по стене, по плетеным настенным коврикам, пока не нащупал выключатель.

— Кажется, я сейчас все затемнил.

Через год Джулия забеременела Сэмом. Потом Максом. Потом Бенджи. Ее тело изменилось, но вождение Джейкоба осталось прежним. Что изменилось, так это объем утаиваемого. Они не перестали заниматься сексом, вот только то, что прежде происходило само собой, теперь требовало либо внешнего толчка (опьянения, просмотра "Жизни Адель" в постели на ноутбуке Джейкоба, Дня святого Валентина) или усиленного продиранья сквозь смущение и страх неловкости, что обычно приводило к мощным оргазмам и отказу от поцелуев. Они все еще иногда произносили такие слова, которые уже через секунду казались унижительными настолько, что приходилось физически отдаляться, например, отправиться за ненужным стаканом воды. Оба по-прежнему мастурбировали, фантазируя друг о друге, даже если эти фантазии не имели никакой кровной связи с реальной жизнью и нередко включали другого "друга". Но даже воспоминания о той ночи в Пенсильвании нужно было утаивать, потому что она будто стала горизонтальной чертой на дверном косяке: *Посмотри, как сильно мы изменились.*

Было то, чего хотелось бы Джейкобу, причем хотелось бы от Джулии. Но возможность разделить эти желания таяла следом за тем, как в Джулии нарастала потребность о них слышать. И то же у нее. Они любили компанию друг друга и всегда предпочли бы ее одиночеству или иной компании, но чем уютнее им было вместе, чем больше у них было общего в жизни, тем больше они отдалялись от собственных внутренних миров.

Вначале они всегда либо поглощали друг друга, либо вместе поглощали мир. Каждый ребенок хочет видеть, как отметки роста ползут

вверх по дверному косяку, но многие ли пары способны увидеть прогресс, просто оставаясь прежними? Многие ли могут, повышая доход, не задумываться, что можно купить на дополнительные деньги? Многие ли, приближаясь к концу детородного возраста, могут сказать, что уже имеют достаточно детей?

Джейкоб с Джулией никогда не относились к тем, кто противится обычаю из принципа, но все же они не могли бы подумать, что станут такими заурядными: приобрели вторую машину (и страховку на вторую машину); записались в спортзал с двадцатистраничным выбором курсов; доверили подсчет налогов специалисту; время от времени отправляли бутылку вина обратно на кухню; купили дом с парными раковинами в ванной (и страховку на дом); удвоили набор туалетных принадлежностей; соорудили тиковую загородку для мусорных баков; заменили кухонную плиту на новую, потому что лучше смотрится; родили ребенка (и застраховали его жизнь); заказывали витамины из Калифорнии и матрасы из Швеции; покупали экологичную одежду, цена которой, разделенная на число случаев, когда ее надевали, практически заставляла родить еще одного ребенка. И они родили еще одного ребенка. Они принимали во внимание, сохранит ли ковер свою цену, знали лучших во всем (пылесосы — "Миле", блендеры — "Витамикс", ножи — "Мисоно", краска — "Фэрроу и Болл"), поглощали суши фрейдистскими объемами и работали все больше, чтобы нанимать самых лучших людей заботиться о детях, пока сами работают. И родили еще одного ребенка.

Их внутренние миры перегружались всей этой житейской рутинной — не только в смысле времени и сил, которых требует семья из пяти человек, но и в смысле того, какие мускулы крепили, а какие дрябли. Незыблемая собранность Джулии в общении с детьми так укрепилась, что превратилась как будто в неиссякаемое терпение, а вот ее умение вызвать в муже желание ужалось до эсэмэсок со Стихотворением дня. Волшебный фокус Джейкоба — без рук снять с Джулии лифчик — заменился угнетающе виртуозной способностью собирать детский манеж, чтобы занести его по лестнице наверх. Джулия умела зубами обкусывать ногти новорожденным, кормить грудью, не отрываясь от приготовления лазаньи, вынимать занозы без пинцета и без боли, дети умоляли ее о вшивой расческе, и она усыпляла их массажем третьего глаза, — но забыла, как прикасаться к мужу. Джейкоб объяснял детям разницу между "дальше" и "в дальнейшем", но разучился разговаривать с женой.

Свои внутренние миры они вскармливали в одиночестве — Джулия проектировала себе дома, Джейкоб работал над своей библией и купил

второй телефон — и между ними возник губительный кругооборот: при неспособности Джулии выказывать желание, у Джейкоба еще убывало уверенности, что она его хочет, и прибывало боязни оказаться в глупом положении, что увеличило расстояние между рукой Джулии и телом Джейкоба, а чтобы заговорить об этом, у Джейкоба не хватало слов. Желание стало угрозой — врагом — их семейственности.

В детском саду Макс любил все раздаривать. Любой друг, приведенный поиграть, неизбежно уходил с пластмассовой машинкой или мягким зверьком. Любые деньги, какие он тем или иным способом приобретал, — мелочь, найденная на тротуаре, пятидолларовая купюра от деда в награду за убедительный аргумент, — предлагались Джулии в очереди на кассу или Джейкобу возле паркометра. Он предлагал Сэму любую часть, сколько тот захочет, своего десерта. "Давай, — уговаривал он замаявшегося Сэма, — бери, бери".

Макс не откликался на призывы и нужды ближних: он, похоже, умел их не замечать не хуже любого другого ребенка. И он не был щедр — щедрость требует сознавать, что отдаешь, а этого он как раз и не мог. У каждого есть труба, через которую он проталкивает вовне то свое, что хочет и может разделить с миром, и всасывает все из мира, что хочет и может принять. У Макса этот тоннель был не шире, чем у всех, просто — ничем не забит.

То, чем Джейкоб с Джулией гордились, стало их беспокоить: Макс раздаст все. Стараясь ни намеком не показать, что его образ жизни в чем-то порочен, они осторожно познакомили Макса с идеей ценности и дали представление об ограниченности ресурсов. Сначала он упирался: "Всегда же есть еще", но, как свойственно детям, наконец понял, что живет не так.

Он стал сравнивать ценность всего на свете. "А сорок машин хватит на дом?" ("Смотря какой дом и смотря какие машины".) Или: "Ты бы выбрала полную руку алмазов или полный дом серебра? Рука размером с твою, дом размером с этот". Принялся со всеми торговаться: с друзьями речь шла об игрушках, с Сэмом о вещах, с родителями о действиях. ("Если я съем половину капусты, ты мне позволишь пойти спать на двадцать минут позже?") Он хотел знать, кем лучше быть: водителем в "Федэксе" или учителем музыки, и огорчался, когда родители оспаривали то, как он употребляет слово "лучше". Он хотел знать, правильно ли, что папа платит за лишний билет, когда они берут с собой в зоопарк его друга Клайва. Если ему нечем было заняться он, бывало, восклицал: "Я напрасно теряю время!" Однажды утром спозаранку он забрался к родителям в постель, чтобы спросить, не это ли и значит быть мертвым.

— Что это, малыш?

— Ничего не иметь.

Подавление плотской потребности друг в друге было для Джейкоба и Джулии самой глубинной и горькой разновидностью лишения, но вряд ли самой пагубной. Путь к отчуждению — друг от друга и от самих себя — совершался совсем малыми, незаметными шажками. Они неизменно становились ближе друг другу в сфере действий — упорядочивая все усложняющиеся дела, больше (и более успешно) разговаривая и переписываясь, прибирая кавардак, устроенный детьми, которых они родили, — и отдалялись в чувствах.

Как-то раз Джулия купила белье. Она положила ладонь на стопку мягкой материи не потому, что захотела посмотреть, а лишь потому, что, как и ее мать, в магазине не могла удержать импульсивного желания потрогать товар. Она сняла пять сотен в банкомате, чтобы покупка не отразилась в истории расходов. Ей хотелось поделиться с Джейкобом, и она изо всех сил постаралась выбрать или создать подходящий повод. И как-то вечером, когда уснули дети, она надела эти трусы. Она думала спуститься к нему, забрать ручку и, не говоря ни слова, сообщить: *"Смотри, какой я могу быть"*. Но не смогла. Как не смогла надеть их, ложась в постель: из страха, что Джейкоб не заметит. Как не смогла даже просто положить на постель, чтобы он увидел и спросил. Как не смогла вернуть их.

Однажды Джейкоб написал реплику, как ему показалось, лучшую из всех написанных им. Он хотел поделиться с Джулией — не затем, что он собой гордился, а затем, что хотел увидеть, можно ли еще до нее дотянуться, как получалось у него когда-то, и побудить ее сказать что-нибудь вроде *"Ты мой писатель"*. Он принес страницы на кухню и положил на стойку текстом вниз.

— Ну, как продвигается? — спросила она.

— Продвигается, — ответил он, именно тем тоном, который больше всего не мог терпеть.

— Есть прогресс?

— Да, только не ясно, в том ли направлении.

— А есть то направление?

Ему хотелось ответить: *"Ты только скажи 'Ты мой писатель'"*. Но он не смог преодолеть расстояние, которого не было. При той многогранной жизни, которую они делили, невозможно было делиться собственной особостью. Необходимо было не расстояние-отталкивание, а расстояние-заманивание. И, вернувшись к этой реплике наутро, Джейкоб с удивлением и огорчением увидел, что она все-таки превосходна.

Однажды Джулия мыла руки в ванной над раковиной, убрав очередную кучу Аргусова дерьма, и, когда она смотрела, как мыло образует паутину между ее пальцами и отсвет лампы мерцает, но не исчезает, ее неожиданно охватила такая грусть, что не относится ни к чему и ничего не значит, но придавливает тяжко. Ей захотелось отнести эту грусть Джейкобу — не в надежде, что он поймет что-то такое, чего не смогла она, но в надежде, что он поможет нести то, что не под силу ей. Но расстояние, которого не было, оказалось слишком большим. Аргус нагадил на подстилку и либо не понял этого, либо не счел нужным шевелиться; все размазалось по его боку и хвосту. Оттирая его с шампунем для волос мокрой майкой какой-то забытой футбольной команды, прежде разбиравшей сердца, Джулия говорила: "Вот так. Хорошо. Почти закончили".

Однажды Джейкоб захотел подарить Джулии брошь. Он забрел в магазинчик на Коннектикут-авеню — в лавку того типа, где торгуют салатницами, сделанными из деревянного утиля, и салатными щипцами с черенками из рога. Он не собирался ничего покупать, а в ближайшее время не было никаких поводов для подарка. Та, кого он ждал на ланч, прислала эсэмэс, что ее машину заблокировал мусоровоз. Прихватить с собой книгу или газету он не догадался, а в "Старбаксе" все стулья заняли люди, что скорее расстанутся с жизнью, чем оторвутся от своих писательских потуг, чтобы дать Джейкобу возможность покопаться в своем смартфоне.

— А что, вот эта вроде милая? — спросил он женщину по ту сторону прилавка. — Глупый вопрос.

— Мне очень нравится, — ответила она.

— Ну да, вам-то конечно.

— Вот эта мне не нравится, — продолжила женщина, указывая на браслет в витрине.

— А это брошь, правильно?

— Да, брошь. Серебряная отливка с настоящего сучка. Уникальная вещь.

— А это опалы?

— Точно.

Он перешел к другой витрине, сделав вид, что рассматривает разделочную доску с инкрустацией, потом вернулся к броши.

— Ну, то есть она милая, правда? Но не слишком ли блестящая?

— Совсем нет, — сказала продавщица, вынимая брошь из витрины и выкладывая на бархатный лоток.

— Пожалуй, — сказал Джейкоб, не касаясь броши.

Хороша ли она? Дело рискованное. Броши вообще носят? Не чересчур ли она наивно-реалистичная? Не пролежит ли она в футляре, не видя белого света, пока не достанется как семейная реликвия невесте кого-нибудь из мальчиков, чтобы вновь исчезнуть в футляре до того дня, когда ее вновь передадут по наследству? Уместно ли отдавать за такую вещь семьсот пятьдесят долларов? Его тревожили не расходы, а опасность промахнуться, стыд попытаться и не суметь — выпрямленную конечность сломать куда легче, чем согнутую. После ланча Джейкоб вновь зашел в магазин.

— Простите, это уже смешно, — сказал он, обращаясь к той же продавщице, с которой беседовал, — но не могли бы вы ее надеть на себя?

Она вынула брошь из витрины и приколола к свитеру.

— Не тяжелая она? Не вытягивает ткань?

— Довольно легкая.

— А стильная?

— Можно носить на платье, жакете, джемпере.

— А вы бы обрадовались, если бы вам такую подарили?

Отстранение порождает отстранение, но если отстранения не существует, то в чем его источник? Не было ни вторжения, ни жестокости, ни даже безразличия. Изначально отстранение было близостью — неспособностью одолеть стыд подспудных потребностей, которым не осталось места на поверхности.

кончи мне

тогда получишь мой член

Только в уединении собственного сознания Джулия задумывалась о том, как мог бы выглядеть ее собственный дом. Что бы она обрела и что потеряла. Смогла бы она жить, не видя детей каждое утро и каждый вечер? А что, если она признает, что смогла бы? Через шесть с половиной миллионов минут ей придется. Никто не осудит мать за то, что она отпускает детей учиться в колледж. Отпустить не преступление. Преступление — хотеть отпустить.

ты не заслужила, чтобы тебя нялить в жопу

Если она построит себе новую жизнь, то построит и Джейкоб. Он женится снова. Мужчины так и делают. Они это переживают, все продолжается. Каждый раз. Несложно было представить, что Джейкоб женится на первой же, с кем начнет встречаться. Он заслуживает подруги, которая не рисует воображаемых домов для себя одной. Не заслуживает Джулии, но заслуживает кого-то лучше нее. Такую, что, проснувшись, потягивается, а не зажимается. Не нюхает еду, прежде чем съесть. Не

считает домашних животных обузой, называет его домашним прозвищем и при друзьях выдает шутки о том, как славно Джейкоб ее трахает. Новый, не забитый илом канал к новому человеку, и даже если этой попытке суждено в конце концов провалиться, по крайней мере, провалу будет предшествовать счастье.

вот теперь ты заслужила, чтобы тебя пялить в жопу

Ей необходим был выходной. Она порадовалась бы чувству, когда не знаешь, чем заполнить время, с удовольствием побродила бы бесцельно по Рок-Крик-парку, насладившись каким-нибудь блюдом вроде того, что ее дети ни за что не стали бы терпеть, или почитала бы что-то объемное, серьезное, а не колонку о правильном управлении эмоциями или употреблении специй. Но один из клиентов просил помочь с выбором фурнитуры для дверей. Разумеется, в субботу, ведь когда еще человек, способный позволить себе такую фурнитуру, располагает временем на ее выбор? И разумеется, никому не нужна помощь с выбором фурнитуры, но Марк и Дженнифер необычайно беспомощны, когда приходится маневрировать между их взаимно несовместимой эстетической темнотой, и дверная ручка была равно пустяком и символом, чтобы потребовался посредник.

К вящей досаде Джулии, Марк и Дженнифер были родителями одного из друзей Сэма и считали Джулию и Джейкоба своими приятелями, они хотели потом вместе выпить кофе, чтобы "пообщаться". Джулии они нравились, и в той мере, в какой могла наскрести энтузиазма на отношения вне семьи, она считала их друзьями. Но наскребалось не очень. По крайней мере до тех пор, пока ей не удастся "пообщаться" с самой собой.

Кому-то следовало бы изобрести способ поддерживать близость, не встречаясь, не перезваниваясь, не читая (и не строя) писем, имейлов и текстовых сообщений. Разве только матери понимают, сколь драгоценно время? Что его никогда нет вообще? И нельзя просто попить кофе, даже и тем более с теми, кого редко видишь, поскольку нужно полчаса (это если повезло), чтобы добраться до кафе, и полчаса, чтобы вернуться домой (опять же, если повезет), не говоря уж о двадцатиминутном налоге, который платишь просто за перешагивание через порог, и кофе на бегу превращается в сорок пять минут по олимпийскому сценарию. Потом эта кошмарная канитель утром в Еврейской школе, а меньше чем через две недели приедут израильские родичи, а бар-мицва повисла на капельницах, и вот-вот придется распрощаться с ней, и при том, что есть все возможности получить помощь, помощь кажется неправильным, стыдным. Продукты можно заказать по интернету, и их привезут на дом, но здесь

ощущается какая-то несостоятельность, пренебрежение материнскими обязанностями — материнской привилегией. Проехать до дальнего магазина, где продукты получше, выбрать авокадо, чтобы к моменту употребления оно стало идеально спелым, проследить, чтобы не помялось в пакете, а пакет не помялся в тележке... это обязанность матери. Нет, не обязанность, а радость. А что, если она способна только выполнять эти обязанности, но не радоваться им?

Джулия никогда не знала, куда деть ощущение, что ей хотелось бы больше для себя времени, пространства, покоя. Может, с девочками было бы иначе, но у нее мальчики. По году она носила их на руках, но после этих бессонных каникул она оказывалась во власти их телесной природы: воплей, брыканий, стука по столу, состязаний в том, кто громче пернет, и бесконечного исследования собственных мошонок. Она это любила, все это любила, но ей не хватало времени, пространств и покоя. Может, будь у нее девочки, они были бы задумчивыми, менее грубыми, более сознательными, не такими зверятами. Даже проростки подобных мыслей казались ей отступничеством от материнства, хотя она всегда знала, что хорошая мать. Почему же все так сложно? Другие женщины отдали бы последний пенни, лишь бы делать то, что она презирала. Все блага, обещанные бесплодным библейским героиням, дождем пролились ей прямо в ладони. И утекли сквозь пальцы.

хочу слизывать сперму с твоего очка

С Марком они встретились в салоне фурнитуры. Это было изящное место и отвратительное; в мире, где на пляжи выносит тела сирийских детишек, оно было неэтичным, или, по меньшей мере, вульгарным. Но следовало учесть ее бонус.

В момент появления Джулии Марк уже разглядывал образцы. Он хорошо выглядел: подстриженная, припорошенная сединой бородка; намеренно тесноватая одежда, явно не покупавшаяся по три вещи разом. Он излучал физическую уверенность человека, который не всегда сможет назвать с точностью до тысячи долларов сумму на своем банковском счету. Это не располагало к нему, но не замечать этого было нельзя.

— Джулия.

— Марк.

— Похоже, Альцгеймера у нас нет.

— Какого еще Альцгеймера?

Невинный флирт так оживляет — нежная щекотка от слов, которые нежно щекочут твоё самомнение. Джулия хорошо это умела, любила и не упускала случая поупражняться, только вот за годы замужества это занятие

обросло угрызениями совести. Она понимала, что ничего страшного в такой игривости нет, ей хотелось, чтобы и Джейкоб допускал ее в свою жизнь. Но она знала его иррациональную, безудержную ревность. И как бы это ни расстраивало — Джулия не смела и обмолвиться о любовном или сексуальном опыте из прошлого, и ей приходилось дотошно объяснять всякий опыт в настоящем, если он хоть в чем-то мог быть превратно истолкован, — это была часть его натуры, значит, и надо было брать это в расчет.

Притом эта его особенность притягивала ее. Сексуальная неуверенность Джейкоба была столь глубока, что могла идти лишь из самых глубин. И даже когда ей казалось, что она знает о нем все, Джулия не могла ответить, что породило в нем эту ненасытную жажду ободрения. Бывало, расчетливо избежав какого-то невинного события, которое точно поколебало бы его хрупкий душевный покой, она с любовью смотрела на мужа и думала: "Что это с тобой?"

— Извини, опоздала, — сказала она, поправляя воротник. — У Сэма нелады в Еврейской школе.

— Ой-вэй.

— Точно. Ну, как бы оно ни было, вот я. Физически и духовно.

— Может, сначала по кофе?

— Я пытаюсь его не пить.

— Почему?

— Слишком завишу от него.

— Но это беда, только если кофе нет под рукой.

— И Джейкоб говорит...

— И это беда, только если Джейкоб рядом.

Джулия хихикнула, не вполне понимая, смеется его шутке или своей девчоночьей неспособностью устоять перед его мальчишеским обаянием.

— Надо заслужить кофеин, — сказала она, принимая из его руки чрезмерно состаренную бронзовую шишку.

— Тогда у меня есть новости, — сказал Марк.

— И у меня. А мы не будем ждать Дженнифер?

— Нам не нужно. Это и есть моя новость.

— Ты о чем?

— Мы с Дженнифер разводимся.

— *Что?*

— Мы разошлись еще в мае.

— Ты сказал разводиться.

— Мы разошлись. Теперь разводимся.

— Нет, — сказала Джулия, сжимая бронзовый шар и еще больше его состаривая, — вы — нет.

— Что мы — нет?

— Не разошлись.

— Я бы знал.

— Но вы были вместе. Мы же ходили в Кеннеди-центр.

— Да, мы были на постановке.

— Вы смеялись и касались друг друга, я видела.

— Мы друзья. Друзья сменяются.

— Но не касаются друг друга.

Марк протянул руку и тронул Джулию за плечо. Она невольно отстранилась, отчего оба они рассмеялись.

— Мы друзья, которые были женаты, — пояснил Марк.

Джулия заложила прядь волос за ухо и добавила:

— Которые все еще *женаты*.

— Которые скоро не будут.

— Не думаю, что это правильно.

— *Правильно?*

— Происходящее.

Марк выставил руку без кольца:

— Происходит уже настолько давно, что полоска загорела.

К ним подошла тощая служащая:

— Могу я вам чем-то помочь сегодня?

— Может быть, завтра, — сказала Джулия.

— Думаю, мы тут разберемся, — произнес Марк с улыбкой, показавшейся Джулии столь же игривой, сколь и та, с которой Марк встретил ее.

— Если что, я здесь, — сказала продавщица.

Джулия положила ручку, пожалуй, чересчур резко, и взяла другую, стальной многоугольник — до смешного тугой, до отвращения маскулинный.

— Что ж, Марк... И не знаю, что тебе сказать.

— "Поздравляю"?

— "*Поздравляю*"?

— Ну, конечно.

— Это вообще не кажется уместным.

— Но мы сейчас говорим о моих ощущениях.

— Поздравить? Серьезно?

— Я молод. Ну, не совсем, но все-таки.

— Без "не совсем".

— Ты права. Мы определенно молоды. Будь нам по семьдесят, тогда все было бы иначе. Даже, наверное, и в шестьдесят, и в пятьдесят. Может, тогда я бы сказал: "Ну, вот это и есть я. Таков мой удел". Но мне сорок четыре. Еще огромная часть моей жизни впереди. И то же самое у Дженнифер. Мы поняли, что будем счастливее, если проживем каждый свою жизнь. Это хорошо. Уж точно лучше, чем притворяться, или подавлять себя, или с головой уйти в чувство ответственности за свою роль и не спрашивать себя, та ли это роль, которую ты бы выбрал сам. Я еще молод, Джулия, и я выбираю счастье.

— Счастье?

— Счастье.

— Чье счастье?

— Мое счастье. И Дженнифер тоже. Наше счастье, но по отдельности.

— Гонясь за счастьем, мы убегаем от удовлетворения...

— Ну, ни мое счастье, ни мое удовлетворение точно не рядом с ней. И ее счастье точно не возле меня.

— Где же оно? Под диванной подушкой?

— Строго говоря, под ее учителем французского.

— Черт! — воскликнула Джулия, громче, чем намеревалась, припечатав себя по лбу стальной ручкой.

— Не понимаю, почему ты так реагируешь на хорошие новости.

— Она даже *не говорит* по-французски.

— И мы теперь знаем, почему.

Джулия поискала взглядом анорексичную продавщицу. Лишь только затем, чтобы не смотреть на Марка.

— Ну а *твое* счастье? — спросила она. — Какой язык ты не учишь?

Он рассмеялся:

— Пока мое счастье быть одному. Я всю жизнь прожил с другими — родители, подружки, Дженнифер. Наверное, мне хочется чего-то другого.

— Одиночества?

— Один — не значит одинокий.

— Эта ручка совершенно уродлива.

— Ты расстроилась?

— Чуть больше сплуснуть, чуть больше вытянуть. Ну ведь не ракетостроение.

— Именно потому ракетостроители не занимаются ручками.

— Не могу поверить, что ты даже не упомянул детей.

— Это тяжело.

— Как это все скажется на них. Как скажется на тебе — видеть их в строго определенное время.

Джулия прижалась к витрине, чуть откинувшись назад. Как ни устраивайся, разговор не станет приятным, но так, по крайней мере, удар немного отклонится. Она положила стальную ручку и взяла другую, которая, если честно, напоминала с дилдо, что подарили ей на девичнике перед свадьбой 16 лет назад. Та штука столь же мало напоминала фаллос, как эта дверная ручка дверную ручку. Подруги смеялись, и Джулия смеялась, а через четыре месяца она наткнулась на подарок, обшаривая шкаф в надежде передарить нераспакованный венчик для взбивания мятта^[4], и поняла, что то ли скука, то ли разгул гормонов вполне располагают ее попробовать. Ничего хорошего из этого не получилось. Слишком сухо. Слишком вяло. Но теперь, вертя в руках эту смешную шишку, она не могла думать ни о чем другом.

— Мой внутренний монолог прервался, — сказал Марк.

— Твой *внутренний монолог*? — переспросила Джулия с презрительной ухмылкой.

— Именно.

Она вручила Марку болванку:

— Марк, поступил звонок от твоего внутреннего монолога. Он захвачен в заложники твоим подсознанием в Нигерии, которому ты должен перевести двести пятьдесят тысяч долларов до конца дня.

— Может, это прозвучит глупо. Может, покажется, эгоизмом...

— Да и да.

— ...Но я потерял то, что делало меня мной.

— Марк, ты взрослый человек, не персонаж Шела Сильверстайна, созерцающий свои эмоциональные вавочки на пне дерева, которое пошло у него на строительство дачи или еще чего-то.

— Чем сильнее ты сопротивляешься, — сказал Марк, — тем вернее я убеждаюсь, что ты согласна.

— Согласна? С чем? Мы же говорим о *твоей* жизни.

— Мы говорим о постоянно стиснутых зубах в тревоге за детей, о бесконечном мысленном прокручивании несостоявшихся ссор с твоей половиной. Вот ты не была бы счастливее или не стала более честолюбивым и плодовитым архитектором, если бы жила одна? Разве не была бы ты менее *вымотанной*?

— Что, я вымотанная?

— Чем больше ты отшучиваешься, тем больше уверенности...

— Конечно, не была бы.

— А отпуск? Разве ты не хотела бы отдыхать без них?

— Не так громко.

— А то вдруг услышит кто-нибудь, что ты человек?

Джулия провела большим пальцем по шишке ручки.

— Конечно, я буду скучать по детям, — сказала она. — А ты не будешь?

— Я спрашивал не об этом.

— Да, я предпочла бы, чтобы они были со мной, но на отдыхе.

— Трудно формулируется, да?

— И все же я хотела бы видеть их рядом. Если бы имелся выбор.

— Ну, то есть ранние вставания, еда без удовольствия, неусыпная бдительность у самого края прибоя в шезлонге, но при этом твоя спина так и не коснется спинки?

— Это счастье, которого не доставляет ничто другое. Первая мысль по утрам и последняя, с которой я засыпаю, — о детях.

— Об этом я и говорю.

— Это я говорю.

— А о себе ты когда думаешь?

— Когда я думаю о дне, что наступит через несколько десятков лет, которые покажутся несколькими часами, то представляю, что буду умирать в одиночестве, но я буду умирать не в одиночестве, ведь меня будет окружать моя семья.

— Прожить не ту жизнь куда хуже, чем умереть не той смертью.

— Вот черт! Вчера вечером мне достался этот же афоризм в печенье с предсказаниями!

Марк наклонился к Джулии.

— Ну скажи мне, — начал он, — не хочется тебе снова владеть своими мыслями и своим временем? Я не прошу тебя говорить плохо о муже или детях. Давай примем по умолчанию, что ничто другое тебя и вполонину никогда так не заботило, как они. Я прошу не такого ответа, который ты хочешь дать или чувствуешь себя обязанной дать. Я понимаю, об этом нелегко думать, а тем более говорить. Но честно: не была бы ты счастливее одна?

— Ты говоришь, счастье — это главнейшее устремление.

— Не говорю. Просто спрашиваю, не была бы ты счастливее одна.

Разумеется, Джулия не в первый раз задавалась этим вопросом, но впервые его поставил перед ней другой человек. И впервые у нее не было возможности уклониться от ответа. Была бы она счастливее одна? Я — *мать*, подумала она, но это не ответ на заданный вопрос, она не просто

стремится к счастью, это стремление — ее истинная сущность. У нее нет примеров для сравнения с собственной жизнью, нет параллельного одиночества, чтобы приложить к ее собственному одиночеству. Она просто делала то, что считала правильным. Вела ту жизнь, которую считала правильной.

— Нет, — сказала она, — я не была бы счастливее одна.

Марк провел пальцем вокруг платонически сферической ручки и заметил:

— Тогда ты молодец. Повезло тебе.

— Да. Повезло. Повезло, я так и чувствую.

Несколько долгих секунд молчаливого осязания холодного металла, затем Марк положил ручку на прилавок и спросил:

— Ну?

— Что?

— А у тебя какие новости?

— О чем ты?

— Ты сказала, у тебя есть новости.

— А, да, — ответила Джулия, покачав головой, — нет, это не новости.

Нет, не новости. Они с Джейкобом когда-то обсуждали, что надо подумать не начать ли присматривать местечко за городом. Что-нибудь простенькое, на переосмысление. Да, в сущности, *даже и не обсуждали*, просто заездили шутку до того, что она перестала быть смешной. Это не было новостью. Это был процесс.

Утром после той ночи в пенсильванском отельчике полтора десятка лет назад Джулия с Джейкобом отправились погулять по заповеднику. Необычно многословный приветственный щит на входе объяснял, что существующие дорожки протоптаны срезающими путь туристами и со временем они стали выглядеть как специально проложенные.

Семья Джулии и Джейкоба теперь могла быть описана как некий процесс с бесконечными переговорами и улаживаниями, утрясание мелочей. Может, стоило наплевать на сомнения и в этом году снять оконные решетки. Может, фехтование — уже лишнее занятие для Макса и слишком явный признак буржуазности для его родителей. Может, если заменить металлические лопатки резиновыми, это позволит не выкидывать все антипригарные сковородки, от которых бывает рак. Может, стоит приобрести машину с третьим рядом сидений. Может, неплохо было бы обзавестись проекционным телевизором, или как он там называется. Может, преподаватель Сэма по скрипке прав и следует позволить мальчику играть только песни, которые ему нравятся, даже если это означает

"Смотри на меня (Вип-нэ-нэ)". Может, побольше природы — это часть ответа. Может, если заказывать продукты на дом, домашняя еда будет лучше и это облегчит ненужное, но неотвязное чувство вины от заказа продуктов на дом.

Семейная жизнь у них складывалась из подвижек и поправок. Бесконечные микроскопические добавочки. Новости бывают в клиниках "скорой помощи" и в кабинетах юристов, и, как оказывается, в "Альянс франсе". Их ищут и избегают всеми возможными средствами.

— Давай посмотрим фурнитуру в другой раз, — предложила Джулия, сунув ручку в сумочку.

— Мы не будем делать ремонт.

— Не будете?

— Там даже никто больше не живет.

— Ясно.

— Прости, Джулия. Разумеется, мы тебе заплатим за...

— Нет, все правильно. Конечно. Что-то я сегодня торможу.

— Ты вложила столько труда.

После снегопада есть только протоптанные стежки. Но обязательно потеплеет, и даже если снег лежит дольше обычного, он рано или поздно тает, обнажая выбор людей.

мне плевать, кончишь ли ты, но я все равно заставлю тебя кончить

На десятую годовщину свадьбы они вернулись в тот пенсильванский отельчик. Первый раз они наткнулись на него нечаянно — это было до спутниковой навигации, до "Трипэдвайзера", до того, как редкое обретение свободы отравило саму свободу.

Поездке предшествовала неделя подготовки, начавшаяся с решения самой трудной задачи — найти то место. (Где-то в землях амишей, лоскутные коврики на стенах спальни, красная входная дверь, грубо отесанные перила, не было ли там еще подъездной аллеи?) Затем нужно было выбрать день, когда Ирв и Дебора смогут переночевать у них и присмотреть за детьми, и чтобы, когда ни у Джулии, ни у Джейкоба не было никаких неотложных дел по работе, не было родительского собрания, посещения врача, занятий у мальчиков, чтобы следовало присутствовать родителям, и чтобы в этот день в Пенсильвании оказалась свободной та самая комната. Ближайшая дата, связывающая одной нитью все иглы в игольнице, нашлась через три недели. Джулия не понимала, скоро ли это или нескоро.

Джейкоб забронировал номер, а Джулия наметила расписание поездки. Доберутся они не раньше заката, но к закату приедут. На следующий день,

позавтракав в отеле (Джулия заблаговременно позвонила справиться о меню), они повторят первую половину своей прогулки по заповеднику, заглянут в старейший амбар и третью по возрасту церковь всего Северо-Востока, прошвырнутся по сувенирным лавочкам — как знать, может, найдут что-то для коллекции.

— Коллекции?

— Вещи, которые изнутри больше, чем снаружи.

— Отлично.

— Потом ланч в небольшой винодельне, про которую я прочитала на "Ремоделисте". Ты отметишь, что надо где-то купить безделушек мальчикам.

— Отметил.

— И мы успеем домой к семейному ужину.

— И у нас хватит времени на все это?

— Пусть лучше планов будет больше, — сказала Джулия.

(Они так и не добрались до сувенирных лавочек, потому что их поездка изнутри оказалась больше, чем снаружи.)

Как и обещали себе, они не стали писать инструкций для Деборы и Ирва, не стали заранее готовить обед или заранее паковать ланчи, не стали говорить Сэму, что он, пока они в поездке, остается "за старшего". Они всем дали понять, что не станут звонить сами, но, конечно, если нужно, телефоны будут держать поблизости и заряженными.

По дороге они разговаривали — не о детях, — пока не исчерпали все, что могли сказать. Молчание не было неловким или тяжелым, оно было обоюдным, уютным и спокойным. Стоял канун осени, как и десять лет назад, и они катили на север вдоль разноцветья меняющихся красок: несколько миль по дороге — на несколько градусов холоднее, на несколько оттенков ярче. Десятилетие осени.

— Ничего, если я включу подкаст? — спросил Джейкоб, смущенный одновременно и своим желанием отвлечься, и потребностью получить разрешение Джулии.

— Будет здорово, — ответила она, сглаживая неловкость, которую заметила в словах Джейкоба, хотя и не поняла ее причины.

Через несколько секунд Джейкоб сказал:

— Э... этот я уже слушал.

— Включи другой.

— Нет, этот в принципе отличный. Хочу, чтобы ты послушала.

Она накрыла ладонью его руку на рычаге коробки передач и сказала: "Ты так любезен", и расстояние между ожидаемым "так любезно с тобой

стороны" и "ты любезен" и было любезностью.

Подкаст начинался с рассказа о чемпионате мира по шашкам 1863 года, на котором каждая игра из сорока закончилась вничью, а двадцать одна партия была сыграна абсолютно одинаково, с точностью до хода.

— Двадцать одна одинаковая партия. Ход в ход.

— Невероятно.

Проблема в том, что в шашках число возможных комбинаций относительно невелико, а поскольку есть варианты безусловно предпочтительные, ты можешь выстроить и заучить "идеальную" игру. Лектор объяснил, что термин "книга" относится к истории всех предшествующих игр. Партия считается "из книги", если расстановка фигур на доске уже существовала прежде. Партия "не из книги" или "не в книге", если расположение ранее не отмечалось. Чемпионат 1863 года показал, что шашки, в сущности, достигли совершенства и их "книга" выучена наизусть. Не осталось ничего, кроме монотонного повторения, и каждая игра заканчивается вничью.

Шахматы, впрочем, сложны, практически, безгранично. Возможных шахматных партий больше, чем атомов во Вселенной.

— Задумайся. Больше, чем атомов во Вселенной!

— Как можно узнать, сколько во Вселенной атомов?

— Думаю, надо сосчитать их.

— Задумайся, сколько для этого понадобится пальцев.

— Смешно.

— Вижу, что нет.

— Нет, я смеюсь в душе. Молча.

Джейкоб сплел пальцы с пальцами Джулии.

Шахматная хрестоматия появилась в XVI веке и к середине XX занимала все помещение библиотеки Московского шахматного клуба — сотни коробок, заполненных карточками, на которых записаны все когда-либо сыгранные профессионалами партии. В 1980-е книгу шахмат оцифровали — и многие увидели в этом событии предвестие конца игры шахматы, даже если к этому концу никогда и не придут. Это был рубеж, теперь шахматисты перед матчем имеют возможность изучить историю игр друг друга: как соперник вел себя в тех или иных ситуациях, в чем он силен, а в чем слаб, чего от него следует ждать.

Доступ к хрестоматии целые фрагменты шахматных партий уподобил шашкам — заученные идеальные последовательности ходов, особенно начальных. От шестнадцати до двадцати первых ходов можно отщелкать прямо "с листа". И при этом за редчайшим исключением в каждой

шахматной партии возникает "новелла" — расположение фигур, которого еще никто не видел в истории Вселенной. В нотации шахматной партии следующий ход будет помечен как "не из книги". И противники остаются один на один, без истории, без мертвых путеводных звезд.

В отель Джейкоб с Джулией прибыли в момент, когда солнце опускалось за горизонт, как и десять лет назад.

— Немного сбрось скорость, — попросила Джулия, когда до цели оставалось минут двадцать. Джейкоб подумал, что ей хочется дослушать подкаст, и это его тронуло, но она хотела, чтобы приезд получился таким же, как в прошлый раз, и это бы тронуло его, если бы он понял.

Заехав на парковочное место немного не до конца, Джейкоб оставил машину на нейтральной скорости. Он выключил стерео и долго смотрел на Джулию, свою жену. Вращение Земли увело Солнце за горизонт, а оставшееся пространство парковки — под дно машины. Стало темно: десятилетие заката.

— Ничего не изменилось, — сказал Джейкоб, проводя рукой по ограде, сложенной из камня, пока они шагали по мшистой дорожке ко входу. Джейкоб гадал, как и десять лет назад, как ухитряются класть такие стены.

— Я помню все, кроме нас, — заметила Джулия с отчетливым смешком.

Они зарегистрировались, но прежде чем нести в номер вещи, подошли к камину и опустили в отрубающие все чувства кожаные кресла, которых не помнили, но после уж вспоминали то и дело.

— Что мы пили, когда сидели тут в прошлый раз? — спросил Джейкоб.

— Я-то помню, — ответила Джулия, — потому что меня тогда очень удивил твой выбор. — Розовое.

Джейкоб, весело хохотнув, спросил:

— А что такого в розовом?

— Ничего, — рассмеялась Джулия, — просто это было неожиданно.

Они заказали два бокала розового.

Они пытались вспомнить о первом приезде все до мельчайших деталей: кто в чем был (какая одежда, какие украшения), что и когда говорилось, какая играла музыка (если она была), что шло по телевизору над баром самообслуживания, какие дополнительные закуски подавали, какие анекдоты рассказывал Джейкоб, стараясь произвести на нее впечатление, какими пытался увести разговор в сторону, когда о чем-то не хотел говорить, что думали они, кто набрался храбрости подтолкнуть

недавних молодоженов на невидимый мост между местом, где они находились (и где было волнующе, но ненадежно) и где хотели оказаться (там и волнующе и надежно), над бездной столь многих возможных бед.

Глядя грубо вытесанные перила, они поднялись в столовую, где их ждал ужин при свечах, приготовленный почти полностью из продуктов, выращенных тут же, при отеле.

— Кажется, как раз в этой поездке я объяснял, почему не складываю очки, а оставляю их на тумбочке у кровати.

— Кажется, да.

— Еще по бокалу розового.

— Помнишь, ты вышла из ванной и минут двадцать не могла заметить записку, которую я начертил в масле у тебя на тарелке?

— "Мои помаслы о тебе".

— Ага. Тупейшая шутка. Прости за то.

— Если бы мы сидели ближе к огню, ты бы, может, и спасся.

— Ну да, трудно толковать лужицу. А, ладно. В другой раз мой "замасел" будет получше.

— Другой раз — это сейчас, — сказала Джулия, с намеком и с призывом.

— Что ж, мне теперь сбивать сливки? — И подмигнул: — Сбивать?

— Да, я поняла.

— Твоя мягкость сделает честь любому маслу.

— Так скажи мне что-нибудь хорошее.

— Я знаю, что ты думаешь: *масляные шуточки, молочные!*

Это вызвало смешок. Джулия неосознанно попыталась скрыть желание рассмеяться (не от Джейкоба, а от себя), и неожиданно ей захотелось привстать через стол и коснуться его.

— Что? Не справляюсь?

Еще смешок.

— Масло предшествует эссенции.

— Вот тут не поняла. А что скажешь, не перейти ли нам к шуткам про хлеб? Или, может, даже к диалогу?

— Выдоил досуха?

— Пощади, Джейкоб.

— Да я просто квашу!

— Вот это лучшая из всех. Определенно на ней-то и надо остановиться.

— Ну, чтобы развеять всю это молочницу: я ведь самый веселый парень из всех, кого ты встречала в жизни?

— Только потому, что Бенджи еще не парень, — ответила Джулия, но его всепоглощающая спешка и всепоглощающая потребность быть любимым подняли в ней волны любви, уносящей в океан.

— Людей убивает не оружие, людей убивают другие люди. Тостеры не жарят тосты, жар жарит тосты.

— Тостеры жарят хлеб.

— Кефир-циент погрешности невелик!

Что, если она даст ему сполна ту любовь, которая ему нужна и которую ей необходимо отдать, если она скажет: "От твоего ума мне хочется тебя касаться?"

Что, если он смог бы удачно отшутиться или, еще лучше, промолчать?

Еще бокал розового.

— Ты украл часы с комода! Я внезапно вспомнила!

— Я не крал часов.

— Крал, — сказала Джулия, — это точно ты.

Единственный раз в жизни он изобразил голос Никсона:

— Я не жулик!

— Ну, ты определенно им *был*. Там лежала мелкая грошовая чепуховина. После того как мы кончили. Ты подошел к комоду, остановил часы и сунул их в карман пиджака.

— Зачем мне это понадобилось?

— Ну, наверное, должно было показаться романтичным? Или смешным? Или ты пытался предъявить мне свидетельство своей непредсказуемости? Я не знаю. Вернись туда и спроси себя.

— Ты точно меня вспоминаешь? А не другого какого-то парня? Другую романтическую ночь в отеле?

— Никогда не было у меня романтической ночи в отеле с кем-то еще, — сказала Джулия то, что не нужно было говорить и не было правдой, но ей хотелось угодить Джейкобу, в этот момент — особенно. Ни он, ни она не знали, сделав лишь несколько шагов по невидимому мосту, что мост никогда не кончится, что весь остаток их совместной жизни каждый шаг к доверию будет требовать следующего шага к доверию. В тот момент ей хотелось угодить Джейкобу, но так будет не всегда.

Они просидели за столом до тех пор, пока официант покаянно не объявил, что ресторан закрывается до утра.

— Как назывался тот фильм, который мы не смотрели?

Им теперь нужно было идти в свой номер.

Джейкоб положил сумку на кровать, как и в тот раз. Джулия переставила ее на ступень в изножье, как в тот раз. Джейкоб вынул

косметичку.

Джулия сказала:

— Понимаю, что не надо, но интересно, что сейчас дети делают.

Джейкоб усмехнулся. Джулия переоделась в свою "соблазнительную" пижаму. Джейкоб наблюдал за этим, не замечая никаких перемен, произошедших с ее телом за десять лет с их последнего приезда, потому что с тех пор он видел ее тело практически каждый день. Он до сих пор, будто подросток, украдкой бросал взгляды на ее груди и бедра, до сих пор фантазировал о том, что было реальным и принадлежало ему. Джулия чувствовала, что он ее разглядывает, и ей это нравилось, поэтому она не спешила. Джейкоб переделся в трусы-боксеры и футболку. Джулия подошла к умывальнику и ритуально запрокинула голову — старинная привычка, — изучая себя и осторожно оттягивая нижнее веко, будто собиралась вставить контактную линзу. Джейкоб вытащил обе зубные щетки и выдавил на каждую зубной пасты, затем положил щетку Джулии вверх щетиной на раковину.

— Спасибо, — сказала она.

— Не. За. Что, — ответил Джейкоб дурашливым роботским голосом, совершенно беспричинное включение которого могло быть только отражением беспокойства о тех эмоциях и действиях, которых они от себя вроде бы ожидали теперь. Или Джулии так показалось.

Чистя зубы, Джейкоб думал: "Что, если у меня не встанет?" Джулия, чистя зубы, выискивала в зеркале то, чего не хотела бы видеть. Джейкоб побрызгал по пять секунд "Олд спайса" на каждую подмышку (хотя во сне не потел и особенно не ворочался), обтер лицо пенкой для нормальной и жирной кожи (хотя у него была сухая), затем нанес ежедневный увлажняющий лосьон широкого спектра с фотозащитой на 30 (хотя солнце село несколько часов назад, а спать ему предстояло под крышей). Он еще подмазал лосьоном в проблемных зонах: вокруг ал (это слово он узнал только благодаря невротичным поискам в "Гугле": *Бедный Йорик, где алы твоего отсутствующего носа*), между бровями и над верхними веками. У Джулии схема была посложнее: умывание лица основным тоником, нанесение суперсильного ночного восстанавливающего крема с витамином А, увлажняющего крема, нанесение вокруг глаз осторожными постукиваниями подтягивающего мультиактивного ночного крема от "Ланком". Джейкоб отправился в спальню и сделал растяжку, над которой неизменно потешались все домашние, зато на ее необходимости для человека с сидячей работой настаивал мануальный терапевт, и она действительно помогала. Джулия почистила зубы нитью "Орал-би глайд",

которая, хотя одновременно и кошмар для экологии и мошенничество, спасала ее от рвотных позывов. Джейкоб вернулся в ванную и использовал самую дешевую нить, какую нашел в аптеке: нитка и есть нитка.

— А щеткой? — спросила Джулия.

— Минуту назад. Бок о бок с тобой.

В ладонях Джулии без следа исчезла плюшка крема для рук.

Они перешли в спальню, и Джейкоб сказал: "Надо отлить", как всегда говорил в такой момент. Вернулся в ванную, заперся, выполнил свой одинокий вечерний ритуал и для полной видимости спустил воду в унитазе, которым не пользовался. Когда он вернулся, Джулия сидела на кровати, привалившись спиной к спинке, и втирала в бедро согнутой в колене ноги ночной крем "Л'Ореаль" с коллагеном. Джейкобу нередко хотелось ей сказать, что в этом нет необходимости, что он ее будет любить такой, какая она есть, так же как и она будет любить его; но желание чувствовать себя привлекательной было частью ее натуры, так же, как это было частью и его натуры, и это тоже следовало любить. Джулия собрала волосы сзади.

Джейкоб потрогал настенный коврик с изображением морского сражения, увенчанным лентой с надписью "Война 1812: Американский инцидент" и заметил:

— Мило.

Помнит ли она?

Джулия сказала:

— Пожалуйста, вели мне не звонить детям.

— Не звонить детям.

— Ясно, я не должна.

— Или позвони им. Отпускной фундаментализм не для нас.

Джулия рассмеялась.

Перед ее смехом Джейкоб никогда не мог устоять.

— Иди сюда, — позвала она, похлопав рядом с собой по кровати.

— Завтра у нас большой день, — заметил Джейкоб, подсветив сразу несколько аварийных выходов: им нужно отдохнуть, завтрашний день важнее сегодняшнего вечера, он не расстроится, если она скажет, что устала.

— Ты, наверное, вымотался, — сказала Джулия, слегка перенаправив ход событий, — она переложила бремя решения на Джейкоба.

— Ага, — ответил он, почти вопросительно, почти принимая роль. — Да и ты ведь тоже, — предлагая ей принять ее роль.

— Ложись, — попросила Джулия, — обними меня.

Джейкоб погасил свет, положил, не складывая, очки на прикроватную тумбочку и лег на кровать, подле своей уже десять лет как жены. Джулия повернулась на бок, устроив голову у мужа под мышкой. Он поцеловал ее в макушку. И теперь они были сами по себе, без истории, без мертвых звезд, по которым предстояло плыть.

Если бы они произнесли вслух, что в этот миг думали, Джейкоб сказал бы: "Говоря по совести, не так уж хорошо, как помнилось".

А Джулия сказала бы: "А так и не могло быть".

"Мальчишкой я частенько скатывался на велике с горки за нашим домом. И я каждый заезд комментировал. Ну знаешь: "Джейкоб Блох пытается побить мировой рекорд скорости. Он крепко сжимает руль. Получится ли у него?" Я называл горку Большим Холмом. За все годы детства там я больше, чем где-либо, чувствовал себя смелым. Я заехал туда на днях. Возвращался со встречи, и у меня было несколько минут. И я не смог найти холм. Нашел место, где он был или должен был быть, но его там не оказалось. Едва заметный уклон!"

"Ты вырос", — сказала бы Джулия.

Если бы они высказали вслух, что в этот миг думали, Джейкоб сказал бы:

"Я думаю о том, как мы не занимаемся сексом. А ты?"

И без всякой обиды или неприятия Джулия ответила бы:

"И я думаю".

"Я не прошу тебя ничего говорить. Обещаю. Я просто хочу тебе сказать, как чувствую я. Ладно?"

"Ладно".

И рискнув сделать еще шаг по невидимому мосту, Джейкоб сказал бы:

"Я переживаю, что ты не хочешь секса со мной. Не хочешь меня".

"Тебе не о чем переживать", — сказала бы Джулия, глядя его ладонью по щеке.

"А я тебя всегда хочу, — сказал бы он. — Я смотрел, как ты раздеваешься..."

"Знаю. Я почувствовала".

"Ты абсолютно так же прекрасна, как десять лет назад".

"Это явная неправда. Но спасибо".

"Правда для меня".

"Спасибо".

Тут Джейкоб понял бы, что стоит на середине невидимого моста, над бездной возможных бед, в самой дальней от берега точке.

"Как думаешь, почему мы не занимаемся сексом?"

И Джулия, встав над ним и не глядя на него, сказала бы:

"Не оттого ли, что так велики ожидания?"

"Может быть. И мы на самом деле устали".

"Да, я — точно".

"Я сейчас скажу такое, что нелегко говорить".

"Тебе нечего бояться", — пообещала Джулия.

Он повернулся бы к ней и сказал бы:

"Мы ни разу не говорили о том, что у меня иногда не встает. Ты не думаешь, что дело в тебе?"

"Думаю".

"Дело не в тебе".

"Спасибо, что успокаиваешь".

"Джулия, — сказал бы он, — дело не в тебе".

Но ни Джейкоб не произнес ни слова, ни Джулия. Не потому, что они намеренно сдерживали себя, а потому, что канал между ними оказался забит. Слишком много мелкого мусора: ненужных слов, несказанных слов, вынужденного молчания, легко отрицаемых уколов в известные уязвимые места, упоминаний того, что не нужно упоминать, недоразумений и случайностей, мгновений слабости, мелких актов гаденькой мести за мелкие акты гаденькой мести за какую-то обиду, которой уже никто не вспомнит. Или вовсе без всякой обиды.

В тот вечер они не отвернулись друг от друга. Не откатились на разные края кровати, не втянулись в отдельные коконы молчания. Они обнялись и в темноте делили свое молчание. Но молчание. Ни он, ни она не предложил исследовать комнату с закрытыми глазами, как они сделали, когда были тут в последний раз. Каждый изучал комнату сам, в мыслях, рядом с другим. И в кармане пиджака у Джейкоба лежали остановленные часы — десять лет показывающие 01:43, — он выжидал удачного момента показать их.

ты у меня будешь кончать и после того, как взмолишься остановиться

На парковке у салона Джулия сидела в своей машине — "вольво", как и у всех, того цвета, который оказался ошибкой в первую же секунду после того, как стало поздно передумать, — не понимая, что ей с собой делать, понимая только: что-то делать нужно. Она не так хорошо умела занимать себя телефоном, чтобы убить столько времени, сколько требовалось. Но, по крайней мере, немного потранжирить могла. Она нашла компанию, которая выпускает ее любимые макетные деревья для архитекторов. Это не самые реалистичные макеты, их даже не назовешь хорошо изготовленными. Джулии они нравились не потому, что напоминали деревья, а потому, что

вызывали грусть, которую навевают деревья, — так размытые фотографии иногда наилучшим образом схватывают суть предмета. Совершенно невероятно, чтобы изготовитель задумывал что-то такое, но это можно было допустить, что, впрочем, не имело значения.

Компания выпустила новую серию осенних деревьев. Кто может быть покупателем таких штукovin? Оранжевый клен, красный клен, желтый клен, осенний платан, рыжая осина, желтеющая осина, облетающий клен, опадающий платан. Она вообразила лилипутского молодого Джейкоба и лилипутскую молодую Джулию в лилипутском, оцарапанном и мятом "саабе". Они едут по извилистой дороге, обсаженной бесконечными лилипутскими осенними деревцами, под бесконечностью лилипутских крупных звезд, и, как деревья, лилипутская молодая пара не отличалась ни реалистичностью, ни качеством изготовления, и они не напоминали свои большие и старшие ипостаси, но напоминали о грусти, которую все чаще будут испытывать "оригиналы".

Марк постучал ей в стекло. Она хотела опустить его и поняла, что надо завести машину, а ключей нет ни в замке зажигания, ни у нее в руках, и ей не хотелось рыться в сумке, так что она неловко отворила дверцу.

— Увидимся на сессии детского ООН.

— Что?

— Через пару недель. Я тоже сопровождающий.

— О! Не знала.

— Так что сможем продолжить разговор там.

— Не знаю, много ли еще можно сказать.

— Всегда что-то можно добавить.

— Иногда и нет.

И тут, в свой выходной, желая только как можно дальше отстраниться от своей жизни, она обнаружила, что мчится домой кратчайшим путем.

Хватит, когда я скажу хватит

Вот не я

- > Кто-нибудь знает, как сделать хорошее фото звезд?
- > Которые на небе или ладонями в мокром цементе?
- > У меня из-за вспышки все белое выходит. Отключаю, но тогда слишком долго открыта шторка, а рука дрожит и все размазывается. Пробовала придерживать другой рукой, все равно плывет.

- > Ночью телефоном бесполезно.
- > Кроме как в темном коридоре посветить.
- > У меня сдыхает телефон.
- > Или позвонить кому-нибудь.
- > Постарайся облегчить ему уход.
- > Саманта, тут света до хера!
- > Чума.
- > Ты где, что видишь звезды?
- > Чувак сказал, аппарат исправен. А я: "Если с ним все нормально, почему он сломан?" А он: "Почему сломан, если с ним все нормально?" И тут я еще раз попробовала ему показать, но, ясно дело, он опять работал. То ли разреветься, то ли убить его, такое чувство.

- > Что там с бат-мицвой?

В любой момент на Земле есть сорок значений времени. Другой интересный факт: в Китае было пять часовых поясов, но теперь только один, и для некоторых китайцев солнце встает не раньше десяти утра. Еще один: задолго до того, как человек полетел в космос, раввины спорили, как в космосе соблюдать Шаббат — и не потому, что они предвидели полеты в космос, а потому, что буддисты умеют сосуществовать с нерешенными вопросами, а евреи скорее умрут. На земле солнце встает и садится один раз в течение суток. Космический корабль облетает Землю за девяносто минут, а значит, Шаббат наступает раз в девять часов. Одна теория предполагала, что еврей просто не должен находиться в таком месте, где возникают сомнения относительно порядка чтения молитв и соблюдения правил. Другая — что земные заповеди привязаны к Земле, и все, что происходит в космосе, остается в космосе. Одни доказывали, что еврейский астронавт должен следовать тому же ритуалу, какого придерживается на Земле. Другие — что время Шаббата следует устанавливать по приборам на корабле, при том что в Хьюстоне евреев не больше, чем в раздевалке "Рокетс". Два еврейских астронавта погибли в космосе. Ни один еврейский

астронавт не соблюдал Шаббат.

Отец дал Сэму прочесть статью об Илане Рамоне — единственном израильтянине, летавшем в космос. Перед полетом Рамон пришел в Музей холокоста, чтобы взять что-нибудь с собой. Он выбрал рисунок Земли неизвестного еврейского мальчика, сгинувшего в войну.

— Представь, как этот милый ребенок рисует, — сказал Сэму отец, — а ему на плечо сел бы ангел и сказал: "Тебя убьют раньше, чем придет твой следующий день рождения, а через шестьдесят лет представитель еврейского государства возьмет с собой твой рисунок летящей в космосе Земли в *этот самый космос...*"

— Если бы существовали ангелы, — возразил Сэм, — его бы не убили.

— Если бы ангелы были добрыми ангелами.

— А мы верим в злых ангелов?

— Мы вроде бы не верим ни в каких.

Сэм любил узнавать новое. Накапливая и распределяя факты, он как будто начинал чем-то управлять, в этом была польза и чувство, противоположное бессилию, которое ощущаешь, если у тебя некрупное, не слишком хорошо развитое тело, не способное безупречно выполнять команды большого, перевозбужденного мозга.

В "Иной жизни" всегда стоят сумерки, так что один раз за день "иное время" соответствовало "реальному времени" игрока. Некоторые называли это момент Гармонией. Кто-то стремился не пропустить. Кто-то не любил находиться у экрана, когда этот момент наступал. Бар-мицва Сэма была все еще далека. Бат-мицва Саманты была сегодня. А когда шаттл взорвался, рисунок просто сгорел? Может, какие-то его мельчайшие частички еще кружат по орбите? Или они упали в воду, опустились за несколько часов на океанское дно и припорошили какое-то из глубоководных существ, настолько странных, что они выглядят пришельцами из космических бездн?

На скамьях расселись люди, которых знала Саманта, а Сэм ни разу не видел. Они приехали из Киото, Лиссабона, Сакраменто, Лагоса, Торонто, Оклахома-Сити и Бейрута. Двадцать семь сумерек. Они собрались вместе в цифровой синагоге, созданной Сэмом, — они видели красоту; Сэм же видел все, что было неладно в ней, все, что было неладно в нем. Они собрались к Саманте, община из ее сообществ. Повод, насколько они знали, был радостный.

> Покажи еще кому-нибудь. Потребуй, чтобы открыли.

> Выкинь его на хер с моста.

> Кто-нибудь объяснит, что тут творится?

> Забавно, я как раз еду по мосту, но я в "амтраке", и тут не открываются окна.

> Скинь фотку воды.

> Саманта сегодня станет женщиной.

> Окно можно открыть разными способами.

> У нее месячные?

> Представь тыщи телефонов, вынесенных на берег.

> Любовные письма в цифровых бутылках.

> Зачем представлять? Поезжай в Индию.

> Сегодня она станет еврейкой.

> О, я тоже в "амтраке"!

> Еврейкой?

> Скорее письма с проклятиями.

> Давай не вычислять, не в одном ли мы поезде, ОК?

> Израиль на хер хуже.

> Вики: "По достижении 12 лет девочка становится "бат мицва" — дочерью Завета — и согласно еврейской традиции наделяется всеми правами взрослого человека. С этого момента она морально и этически ответственна за все свои решения и поступки".

> Включи таймер в камере своего телефона и положи на землю вверх глазом.

> Евреи хуже всех.

> Тук-тук.

> Зачем тебе вообще снимать звезды?

> Кто там?

> Чтобы запомнить их.

> Ну не шесть миллионов евреев!

>?

> Я валяюсь.

> Антисемит!

> Валяюсь, угар.

> Я еврей!

Никто ни разу не спросил Сэма, почему он сделал своим аватаром латиноамериканку, потому что никто, кроме Макса, этого не знал. Такой выбор мог бы показаться странным. Кто-то мог бы счесть его даже вызовом. Они бы ошиблись. Быть Сэмом — вот где странность и вызов. Иметь такие продуктивные слюнные и потовые железы. Во время ходьбы не уметь не думать о ходьбе. Скрывать прыщи на спине и на заду. Не было опыта унижительнее и экзистенциально более унижительнее, чем покупка

одежды. Но как объяснить матери, что пусть лучше у него не будет вещей, которые нормально сидят, чем в зеркальной камере пытаться убедиться, что такой одежды не существует? Рукава всегда кончаются не там, где нужно. Воротник не может не быть слишком острым, или слишком высоким, или не топорщиться. Пуговицы на любой рубашке обязательно пришиты так, что вторая сверху либо душит, либо раскрывает все горло. Есть такая точка — буквально уникальное расположение во Вселенной, где нужно расположить эту пуговицу, чтобы было удобно и естественно. Но ни одной рубашки с таким расположением пуговицы никто никогда не сшил — наверное, потому, что ни у кого пропорции верхней части тела не были еще такими непропорциональными, как у Сэма.

Поскольку родители Сэма были в отношении технологий полные олухи, он знал, что они время от времени просматривают историю его поисковых запросов, — регулярная чистка, которая всякий раз тыкала его угреватым носом в ничтожность существования подростка с Y-хромосомой, который смотрит на Ютубе обучающие видео по пришиванию пуговиц. И в такие вечера, запершись у себя в комнате, пока родители тревожились, не серфит ли он огнестрел, бисексуальность или ислам, он занимался переносом предпоследней пуговицы и петли на своих проклятых рубашках в нужную точку. Половина его занятий изобличала в нем голубого. А вообще-то значительно больше половины, если вычесть такие занятия, как выгуливание средних размеров собаки и сон, которые равно свойственны геям и натуралам. Сэму было плевать. Геи не вызывали у него никакого неприятия, даже эстетического. Но он не преминул бы внести ясность, потому что больше всего не терпел, когда его не понимали.

Однажды за завтраком мать спросила, не перешивает ли он пуговицы на рубашках. Он отрицал с небрежной горячностью.

Она сказала:

— По-моему, ловко.

И с тех пор верхней половиной его каждодневной всесезонной униформы стали футболки "Американ Аппарель", даже несмотря на то, что они демонстрировали титьки, загадочным образом торчавшие из довольно-таки скукоженного торса.

Станным казалось иметь волосы, которые ни разу, сколь бы ты их ни приглаживал и сколь бы ни мазал на них всяких средств, не легли как нужно. Станным казалось ходить, и часто он ловил себя на том, что включает чрезмерно (или недостаточно) подчеркнутый подиумный шаг, при котором вихляет задницей, а ногу впечатывает в землю так, будто пытается не просто давить насекомых, а осуществить геноцид насекомых.

Зачем он так ходил? Потому что ему хотелось ходить так, как не ходит никто другой, и его упорные старания этого добиться оборачивались кошмарным зрелищем кошмарного передвижения субъекта, настолько подобного непокорному вихру, что только передвижением это и можно было назвать. Станным казалось сидеть на стульях, с кем-нибудь встречаться глазами, говорить голосом, который он знал, как свой, но не узнавал, или узнавал в нем голос очередного самозванного шерифа "Википедии", что никогда не обзаведется биографической статьей, которую будет читать или тем более редактировать кто-то, кроме него самого.

Он допускал, что были такие моменты, помимо мастурбации, когда он чувствовал себя комфортно в своем теле, но не мог вспомнить их — может, это было до того, как он переломал пальцы? Саманта была не первым его аватаром в "Иной жизни", но первой, чья логарифмическая шкура села по нему. Ему не приходилось кому-то объяснять свой выбор — Макс ухватало наивности или правильности не интересоваться, — но как он объяснял это себе? Он не жалел, что не был девочкой. Не жалел, что он не был латиноамериканкой. И опять же не жалел, что он не девочка-латиноамериканка. При всей своей почти непрерывной досаде на то, какой он есть, Сэм никогда не обманывался и не считал, что проблема в нем. Проблемой был мир. Это мир ему не подходил. Но много ли радости принесло Сэму это предъявление счета к несовершенству мира?

> Я не спал до 03:00, шарился на "Гугл-стритвью" по своему району и увидел себя.

> А будет после этого какая-нибудь туса?

> Кто-нибудь знает, как редактировать PDF? Искать очень уж лениво.

> Заголовок моих звездных мемуаров: "То были худшие времена, худшие времена".

> Какой именно PDF?

> У нас через три года кончится кленовый сироп?

> А там все будет на иврите? Если так, может, кто не такой ленивый, как я, создаст скрипт, чтобы все прогнать через переводчик?

> Я тоже его читал.

> Почему он кажется мне таким невероятно грустным?

> У кого-нибудь есть некстековская флешка?

> Потому что ты любишь всякую бодягу.

> Заголовок моих звездных мемуаров: "Я все делал по-вашему".

> Я пропустил статью про сирийских беженцев. Я в курсе, что там ужасная жесь, и знаю, что теоретически я от этого расстроюсь, но не могу найти способ почувствовать что-нибудь. Но от сиропа я хочу спрятаться

под кровать.

- > Они работают несколько недель, и все.
- > Так спрячься и плачь кленовыми слезами.
- > Саманта, у меня для тебя есть такое, что ты полюбишь, если у тебя еще нет этого, хотя, наверное, есть. По-любому, скидываю.
- > Чудеснейшая песенка играет в наушниках у девушки через проход от меня.
- > Сегодня самое популярное среди запросов: какие-то детишки в России на самодельной тарзанке, аллигатор кусает электрического угря, корейский старичок-лавочник отмудохал грабителя, пять смеющихся близнецов, две черные девчонки мутузят друг дружку на школьном дворе...
- > Какая песня?
- > Хочется сделать что-то значительное, но что?
- > Уже все, я вычислил.
- > Черт, я не знал, что на бат-мицву положено дарить подарки.
- > Перекачивается вечность.

Сэм думал, не написать ли Билли — спросить, не присоединится ли она к нему на концерте современных танцев (или шоу, или как там это называется) в субботу. Штука прикольная, судя по описанию Билли в дневнике, который Сэм стащил из ее брошенного рюкзака, пока она была в спортивном зале, спрятал за своим куда более толстым и куда менее интересным учебником химии и проштудировал. Сэм не любил писать с телефона, потому что приходилось смотреть на собственный большой палец — палец, которому досталось больше других или который хуже других зажил. Который люди старались не замечать. Спустя недели после того, как к другим пальцам вернулся нормальный цвет и более или менее нормальная форма, большой оставался черным и перекошенным в суставе. Врач сказал, что палец не восстанавливается, и предлагал ампутировать его, чтобы инфекция не распространилась на всю кисть. Он сказал это при Сэме. Отец спросил: "Вы уверены?" А мать настояла на втором мнении. Второе мнение было таким же, и отец вздохнул, а мать потребовала показать руку еще одному врачу. Третий врач сказал, что прямого риска заражения нет, что у детей сверхчеловеческая сопротивляемость и "почти всегда эти существа находят способ исцелиться". Отец не очень поверил этим словам, но мать поверила, и через две недели чернота стала отступать к кончику пальца. Сэму еще не было восьми. И он не запомнил ни одного из врачей, не запомнил, как его лечили. Он плохо помнил даже сам несчастный случай и, бывало, гадал, не родительские ли воспоминания вспоминает.

Сэм не запомнил, как во весь голос кричал: "Зачем меня?" — не от ужаса, не от гнева, не от смущения, но из-за обширности вопроса. Ходят легенды о матерях, руками подымавших автомобили, чтобы освободить зажатого машиной ребенка: это Сэм помнит, но не помнит сверхчеловеческого самообладания собственной матери, когда, встретив дикий взгляд Сэма, она пригасила его, объявив: "Я тебя люблю, я тут". Он не помнит, как металлическими скобами хирург собирал заново кончики его пальцев. Не помнит, как, очнувшись от пятичасового послеоперационного забытья, увидел, что отец заполнил его комнату всевозможными игрушками. Но помнит, во что они часто играли, пока он был совсем мал: "Где большой пальчик? Где большой пальчик? Вот я! Вот я!" После его травмы с Бенджи в это уже не играли ни разу, и ни разу никто не признал, что в это больше не играют. Родители старались щадить Сэма, не понимая, что стыд, скрывавшийся за этим молчанием, — как раз то, от чего его бы надо было избавить.

> Вот какое должно быть приложение: наводишь телефон на какой-то предмет, и он показывает видео, как эта штука выглядела несколько секунд назад. (Ясно, для такого нужно, чтобы практически каждый снимал и грузил практически все, что видит практически всегда, но ведь уже практически так и есть.) Тогда будешь видеть, что в мире происходит прямо сейчас.

> Чума. И можно поменять установки, чтобы выставить задержку побольше.

>?

> Можно увидеть мир вчерашний, или месяц назад, или в твой день рождения, или — ну это будет можно, когда подгрузят нужный объем видео, — люди смогут гулять по своему детству.

> Представь, как умирающий человек, который еще не родился, гуляет по своему дому детства.

> А если его снесли?

> И там тоже будут призраки.

> Призраки какие?

> "Умирающий, который еще не родился".

> А это вообще когда-нибудь начнется?

Стук в дверь перенес Сэма на другую сторону экрана.

— Проваливай.

— Ладно.

— Что? — спросил он, открывая Максу.

— Уже ухожу.

- Что это?
- Тарелка с едой.
- Нет, это не так.
- Тосты — это еда.
- За каким чертом мне могут понадобиться тосты?
- Чтобы заткнуть уши?

Сэм жестом пригласил Макса войти.

- Про меня говорят?
- Ага!
- Плохое?
- Ну, точно не поют "Наш друг хороший парень", не сомневайся.
- Папа расстроился?
- Я бы сказал, да.

Сэм вновь обратился к экрану, а Макс тем временем невозмутимо изучал комнату брата.

- Из-за меня? — спросил Сэм, не поворачиваясь.
- Что?
- Расстроился из-за меня?
- Я думал, ты этого и хотел.
- Ну, он не может быть таким сосунком.
- Да, зато мама может быть с железными яйцами.

Сэм рассмеялся:

— Абсолютно точно. — Он отключился и повернулся к Макс. — Они отдирают пластырь с такой скоростью, что новые волоски успевают вырасти и прилипнуть к нему.

- А?
- Я бы хотел, чтобы они уже развелись.
- Развелись? — переспросил Макс, и его организм срочно перенаправил кровоток в ту часть мозга, что маскирует панику.

- Конечно.
- Правда?
- Ты что такой темный?
- Типа, глупый?
- Ничего не знаешь.
- Не знаю.

— Ну, — начал Сэм, обводя пальцем край планшета — границу прямоугольной брешы в физическом мире, — ты бы кого выбрал?

- Для чего?
- *Выбирать.* С кем остаться.

Максу это не понравилось.

— Разве дети не делят, типа, время, или как-то так?

— Да, сначала так, но потом, понимаешь, обязательно придется выбирать.

Максу это сильно не понравилось.

— По-моему, с отцом веселее, — сказал он. — И гораздо меньше будут дергать. И наверное, больше всяких классных штук, и дольше у компа сидеть...

— Успеешь поразвлечься, пока не помрешь, от цинги или от меланомы, загорать-то будешь без защитного крема, или пока тебя не посадят в тюрьму за опоздания в школу каждый день.

— За это сажают?

— Посадят, если не свалишь сейчас отсюда.

— И я бы скучал по маме.

— А что мама?

— Она — это она.

Сэму его ответ не понравился.

— Но если бы остался с мамой, я бы скучал по папе, — продолжил Макс, — так что, наверное, я не знаю. А ты бы кого выбрал?

— Для тебя?

— Для себя. А я хочу там, где ты будешь.

Сэму это сильно не понравилось.

Макс запрокинул голову и смотрел на потолок, чтобы слезы закатились обратно в глаза. Почти как робот, но именно неспособность принимать неотъемлемое человеческое чувство и делала его человеком. Ну, или сыном своего отца.

Макс сунул руки в карманы — фантик от тянучки, огрызок карандаша с игры в мини-гольф, чек, на котором испарился текст, — и сказал:

— Вот я раз был в зоопарке...

— Ты был в зоопарке тыщу раз.

— Это анекдот.

— А.

— Ну вот, я раз пошел в зоопарк, поскольку слышал, что это, типа, лучший зоопарк в мире. Ну и, понимаешь, захотел увидеть сам.

— Наверное, было на что посмотреть.

— Ну, странность в том, что во всем зоопарке было только одно животное.

— Кроме шуток?

— Да. И это была собака.

— Аргус?
— Ты мне сбил весь рассказ.
— Повтори последнюю строчку.
— Я начну с самого начала.
— Давай.
— Однажды я пошел в зоопарк, поскольку слышал, что это лучший зоопарк в мире. Но дело в том, что там было только одно животное, на весь зоопарк. И это была собака.
— Надо же!
— Да, и оказалось, что это шитцу. Сечешь?
— И впрямь смешно, — сказал Сэм, не умея рассмеяться, несмотря на то, что искренне считал анекдот смешным.
— Ты понял, да? Шит зу?^[5]
— Да.
— Ши. Тцу.
— Спасибо, Макс.
— Я тебе уже надоедаю?
— Совсем нет.
— Да, да.
— Вообще наоборот.
— А какой наоборот у надоедания?
Сэм запрокинул голову и, метнув взгляд в потолок, сказал:
— Спасибо, что не спрашиваешь, я ли это написал.
— А, — сказал Макс, комкая стершийся чек между большим и указательным пальцем, — это потому что мне наплевать.
— Я знаю. Ты единственный, кому наплевать.
— А оказалось, тут шитцу-семья, — заключил Макс, гадая, куда он направится, выйдя за дверь.
— Вот это не смешно.
— Может, ты просто не понял.

Истинный

— Па-ап? — позвал Бенджи, вновь вбегая на кухню с бабушкой на буксире.

Он всегда произносил "пап" с вопросительным знаком, как будто спрашивая, где отец.

— Да, дружище?

— Вчера, когда ты приготовил обед, у меня брокколи касались цыпленка.

— И ты вдруг об этом вспомнил?

— Нет. Весь день думаю.

— Все равно в животе все смешивается, — сказал Макс с порога.

— Откуда ты? — спросил Джейкоб.

— Из маминой вагины, — сказал Бенджи.

— И ты все равно умрешь, — продолжил Макс, — так не все ли равно, что там касалось цыпленка, который все равно мертв.

Бенджи обернулся к Джейкобу:

— Это правда, пап?

— Что именно?

— Я умру?

— Макс, зачем? Для чего это было нужно?

— Я умру!

— Через много-много-много лет.

— А это что-то сильно меняет? — спросил Макс.

— Могло быть и хуже, — заметил Ирв. — Ты мог бы быть Аргусом.

— А почему Аргусом быть хуже?

— Ну, знаешь, одной лапой уже в печи.

Бенджи испустил жалобный вой, и тут, будто принесенная невесть откуда световым лучом, Джулия распахнула дверь и вбежала в комнату:

— Что случилось?

— А ты почему дома? — спросил Джейкоб, которого в этот момент все достало.

— Папа говорит, я умру.

— Вообще-то, — сказал Джейкоб с натужным смешком, — я говорил, что ты проживешь очень-очень-очень долгую жизнь.

Джулия взяла Бенджи на руки со словами:

— Конечно, ты не умрешь.

— Тогда приготовьте два замороженных бурито, — попросил Ирв.
— Привет, дорогая, — сказала Дебора, — а я уже тут начала ощущать эстрогеновое голодание.
— Мама, откуда у меня вава?
— У тебя нет никакой вавы, — вмешался Джейкоб.
— На коленке, — сказал Бенджи, указывая на совершенно здоровое колено, — вот тут.
— Наверное, ты упал, — предположила Джулия.
— Почему?
— Там нет абсолютно никакой вавы.
— Потому что падать — это часть жизни, — сказала Джулия.
— Это истинная жизнь, — сказал Макс.
— Красиво сказал, Макс.
— *Истинная?* — спросил Бенджи.
— Настоящая, — пояснила Дебора.
— Почему падать — это настоящая жизнь?
— Это не так, — сказал Джейкоб.
— Земля все время падает к Солнцу, — сказал Макс.
— Почему? — спросил Бенджи.
— Из-за притяжения, — ответил Макс.
— Нет, — настаивал Бенджи, обращаясь к Джейкобу, — почему падать не истинная жизнь?
— Почему не истинная?
— Да.
— Не уверен, что понял твой вопрос.
— Почему?
— Почему я не уверен, что понял твой вопрос?
— Да, это.
— Потому что разговор стал непонятным и потому что я всего лишь человек, у меня крайне ограниченный ум.
— *Джейкоб.*
— Я умираю!
— Ты перегибаешь палку.
— Нисколько!
— Ни в коем случае!
— Я нет.
— *Нет*, Бенджи.
Дебора:
— *Поцелуй там*, Джейкоб.

Джейкоб поцеловал несуществующую ваву.

— Я могу поднять наш холодильник, — заявил Бенджи, не вполне понимая, готов ли он прекратить плакать.

— Это замечательно, — сказала Дебора.

— Ни фи́га не можешь, — возразил Макс.

— Макс говорит: "Ни фи́га не можешь".

— Отстань от ребенка, — попросил Джейкоб театральным шепотом: — Если говорит, что может поднять холодильник, значит, может поднять.

— Я могу его далеко унести.

— Я разберусь, — сказала Джулия.

— Я могу мысленно управлять микроволновкой, — сказал Макс.

— Только не ты, — ответил ей Джейкоб, слишком небрежно, чтобы можно было поверить. — У нас все отлично. Мы шикарно проводим время. Ты просто пришла в неудачный момент. Нерепрезентативный. Но у нас все классно, и сегодня у тебя выходной.

— Выходной от чего? — спросил Бенджи маму.

— Что? — не поняла Джулия.

— От чего тебе нужен выходной?

— Кто сказал, что мне нужен выходной?

— Папа только что сказал.

— Я сказал, что мы даем тебе выходной.

— От чего? — спросил Бенджи.

— Вот именно, — добавил Ирв.

— От нас, ясно же, — сказал Макс.

Сплошная сублимация: домашняя близость обернулась чувственным отдалением, чувственное отдаление обернулось стыдом, стыд обернулся отчуждением, отчуждение обернулось страхом, страх обернулся возмущением, возмущение обернулось самозащитой. Джулия порой думала, что, если бы им удалось проследить цепочку до самого истока их отстраненности, они могли бы и в самом деле вернуть былую открытость. Травма Сэма? Ни разу не заданный вопрос — как это могло случиться? Ей всегда казалось, что этим умолчанием они оберегают друг друга, но быть может, они старались ранить, перенести рану с Сэма на себя самих? Или все началось еще раньше? Не предшествовало ли взаимное отчуждение их знакомству? Принятие этого изменило бы все.

Возмущение, выросшее из страха, выросшего из отчуждения, выросшего из страха, выросшего из отдаления, выросшего из близости, было слишком большой тяжестью, чтобы нести весь день, каждый день.

Так куда же переложить это с себя? На детей, конечно. Виновны были и Джейкоб, и Джулия, но Джейкоб в большей степени виновен. Он становился с ними все суше, понимая, что они стерпят. Он понукал, потому что они не отвечали. Он боялся Джулии, но не боялся их, так что они получали предназначенное ей.

— Хватит! — приказал он Макс, возвышая голос до рычания. — Хватит!

— Себя затыкай, — огрызнулся Макс.

Джейкоб с Джулией переглянулись, отмечая этот первый случай открытого бунта.

— Чего-чего?

— Я молчу.

Джейкоб пустился во все тяжкие:

— Макс, я ничего с тобой не обсуждаю. Я устал от обсуждений. Мы *слишком много* обсуждаем в нашей семье.

— Кто обсуждает? — спросил Макс.

Дебора подошла к сыну:

— Переведи дух, Джейкоб.

— Я только и делаю, что перевожу.

— Поднимемся наверх на минуточку, — сказала Джулия.

— Нет. Это *наше* с ними дело, а не *твое* со мной. — И потом, вновь обращившись к Макс: — Иногда в жизни, в семье нужно просто делать то, что нужно, без нескончаемых разбирательств и переговоров. Действуешь по программе.

— Да, действуешь по погрому, — сказал Ирв, изображая Джейкоба.

— Пап, перестань, ладно?

— Я могу поднять всю кухню, — сказал Бенджи, трогая отца за локоть.

— Кухни вообще не поднимают, — сказал Джейкоб.

— Нет, поднимают.

— Нет, Бенджи. Кухню нельзя поднять.

— Ты *такой сильный*, — сказала Джулия, охватывая пальцами запястья Бенджи.

— Испепелен, — сказал Бенджи и добавил шепотом: — Я могу *поднять нашу кухню*.

Макс посмотрел на мать. Она прикрыла глаза, не имея желания или возможности защитить его, как защитила младшего брата.

Удачно разразившаяся на улице собачья свара всех притянула к окну. Драки не было, но две собаки облаивали надменную белку на суку. И все

же удача. К моменту, когда семейство заняло прежние места на кухне, минувшие десять минут уже будто отделились словно бы на десяток лет.

Джулия, извинившись, отправилась в душ. Она обычно не принимала душ в середине дня, и ее удивила сила той руки, что направила ее в ванную. Она услышала звуки, доносившиеся из комнаты Сэма, — тот явно нарушал ограничение своей ссылки, — но не задержала шагов.

Она захлопнула и заперла дверь, бросила сумку, разделась, изучила себя в зеркале. Подняв руку вверх, она рассмотрела вену, идущую по нижней стороне правой груди. Грудь у Джулии опала, проступил живот. Такое происходит мелкими, незаметными шажками. Кустики лобковых волос, поднимающиеся к животу, потемнели — казалось, что потемнела и сама кожа. Все это было не новостью, а процессом. Неприятные обновления в своем теле Джулия начала отмечать и чувствовать, по крайней мере, с рождения Сэма: раздувающиеся, а потом усыхающие грудь, раздавшиеся и шершавые бедра, ослабление всего, что было упругим. Джейкоб говорил и во вторую пенсильванскую ночевку, и еще не раз, что любит ее тело, каким бы оно ни стало. Но даже веря ему, Джулия в иные вечера чувствовала побуждение извиниться.

И вдруг она вспомнила. Конечно, вспомнила: для того эта вещь и оказалась при ней, чтобы она вспомнила именно в этот момент. Тогда она этого не понимала. Не понимала, зачем она, ни разу в жизни ничего не укравшая, крадет. Именно затем.

Поставив ногу на край раковины, она поднесла дверную ручку ко рту, согревая и увлажняя своим дыханием. Раздвинув срамные губы, она сунула в них ручку и, нажав сначала осторожно, потом смелее, принялась вращать. Джулия почувствовала, как по телу прошла первая волна какого-то добра и ее колени ослабли. Она присела на корточки и, оттянув вниз горло свитера, обнажила одну грудь. Еще раз смочила металлическую шишку языком и вновь вставила ее между губ, потеряла небольшими круговыми движениями о клитор, затем слегка постучала, и ей нравилось, как теплый металл стал льнуть к ее плоти, каждый раз слегка оттягивая ее.

Джулия оказалась на четвереньках. Нет. Она на ногах. Где она вообще? На улице. Да. Привалилась к машине. На стоянке. В поле. Нет, согнулась, лежит животом на заднем сиденье машины, ступни на земле. Брюки и трусы спущены, чтобы оголить зад. Она вжимается лицом в сиденье, отставляя зад. Расставляет ноги, насколько позволяют брюки. Ей хочется, чтобы их трудно было расставить, чтобы что-то не пускало. В любой момент их могут застать. Тебе стоит поторопиться, говорит она ему. Ему? Отдери меня. Это Джейкоб. Заставь кончить. Отымей меня как хочешь,

Джейкоб, и иди себе. А меня брось тут, чтобы по бедрам стекала твоя сперма. Отдери и уходи. Нет. Все не так. Вот она снова в том самом салоне фурнитуры. Мужчин нет. Только дверные шишки. Вжимая ручку в клитор, она полизала три пальца и сунула внутрь, чтобы почувствовать сокращения мышц, когда будет кончать.

Внезапный толчок, как резкая судорога, что так часто вырывает из полузабытья. Но это не было падение — не Джулия упала с кровати, а что-то упало на нее сверху. Что за чертовщина? Не вызвал ли слишком обильный прилив крови к тазу какой-то неврологический синдром? Мастурбация — это, в сущности, напряжение сознания, но внезапно Джулия оказалась беззащитной перед собственным сознанием.

Сквозь крышку своего соснового гроба она видит Сэма, такого красавца, в костюме, стоящего над ней с лопатой в руке. Этого она не хотела. Это не доставляет ей удовольствия. Какой красивый мальчик. Какой красивый мужчина. Все нормально, любимый. Все нормально, все хорошо. Она застонала, он завыл, оба животные. Он зачерпнул лопатой землю и опрокинул на Джулию. Так вот как оно бывает. Теперь я знаю, и ничего не поменяется.

И тогда Сэм ушел.

И Джейкоб, и Макс с Бенджи ушли.

Все ее мужчины ушли.

И снова земля, теперь с лопат чужаков, по четыре лопаты враз.

Потом и они ушли.

И она осталась одна, в самом тесном за всю жизнь доме.

Обратно в мир, к жизни, ее вернуло жужжание — звук стряхнул с нее оцепенение невольной фантазии, и ее обожгла полная абсурдность того, чем она занята. Кем она себя возомнила? Внизу сидят родители мужа, через коридор — ее сын, ее пенсионный счет больше, чем сберегательный. Она не устыдилась, а просто почувствовала себя душой.

Она не могла определить источник шума.

Телефон, но такого гудка она еще ни разу не слышала.

Может, Джейкоб купил Сэму смартфон на замену подержанной раскладушке, на которой тот весь последний год строчил сообщения со скоростью Джозефа Митчелла? Они обсуждали вариант сделать ему такой подарок на бар-мицву, но до нее еще оставались недели, и тогда Сэм еще не угодил в историю, да и все равно они эту идею отвергли. И так уже слишком много штук, затягивающих всех в глубины трескучего где-то-там. Эксперимент с "Иной жизнью" практически похитил личность Сэма.

Она слышит гудок.

Джулия поискала в плетеной корзине со всякими туалетными штучками, в медицинском шкафчике: малые и большие пузырьки адвилла, жидкость для снятия лака, органические тампоны, детское масло, перекись водорода, медицинский спирт, бенадрил, неоспорин, полиспорин, детский ибупрофен, судафед, пьюрелл, имодиум, колэйс, амоксициллин, аспирин, мазь ацетонид триамцинолона, лидокаиновый крем, ранозаживляющий спрей, ушные капли, физраствор, мазь бакторбан, зубная нить, лосьон с витамином Е... все, что только может потребоваться. И когда мы успеваем обзавестись столькими потребностями? Столько лет ей ничего не было нужно.

Она слышит гудок.

Где же это? Она смогла бы убедить себя, что гудок доносится от соседей за стеной, или даже что он ей почудился, но жужжание послышалось вновь, и на этот раз она поняла: источник звука в углу, возле пола.

Джулия опустилась на четвереньки. В корзине с журналами? За унитазом? Она просунула руку за стульчак, и едва ее пальцы коснулись телефона, как он зажужжал снова, будто тоже прикоснувшись к ней. Чей это? Еще один гудок: пропущенный вызов от ДЖУЛИЯ.

Джулия?

Но Джулия это она.

Что с тобой стряслось?

И-э-т-о-н-е-п-р-о-й-9-ё-т

Сэм знал, что все рухнет, только не знал, как именно и когда это случится. Родители разведутся и в конце концов возненавидят друг друга, сея беды, как тот японский реактор. Это было ясно, хотя и не им. Сэм старался не следить за их жизнью, но трудно было не замечать, как часто отец засыпает перед телевизором, где уже закончились новости, как мать только и делает, что подрезает деревья на своих архитектурных моделях; как отец каждый вечер выставляет на стол десерты, как мать всякий раз, когда ее лижет Аргус, говорит, что ей "мало места", как она увлеклась статьями о путешествиях, а у отца вся история поиска состоит из сайтов о недвижимости, как мать неизменно берет Бенджи на руки, едва в комнате появляется отец; с какой яростью отец стал ненавидеть зажавшихся спортсменов, которые "даже не стараются"; как мать пожертвовала три тысячи Национальному общественному радио, а отец в отместку купил "веспу"; трудно было не замечать отмену аперитивов в ресторане, отмену третьей сказки перед сном для Бенджи, отмену взглядов в глаза.

Сэм видел то, что родители не могли или не позволяли себе видеть, и это только сильнее бесило его, потому что быть не таким глупым, как твои родители, отвратительно, это как сделать большой глоток молока, ожидая, что в бутылке апельсиновый сок. Оказавшись не таким глупым, как родители, Сэм знал, что однажды ему скажут: выбирать не придется, а на самом деле нужно будет выбирать. Он знал, что скоро не захочет или не сможет притворяться в школе и его оценки покатаются по наклонной плоскости в соответствии с каким-то законом, который он, как считалось, знал; что выражения родительской любви будут тем ярче, чем больше их будет печалить его печаль, и что за разлуку он получит компенсацию. Виня себя за то, что так много на него взвалили, родители позволят ему соскочить с крючка спортивной секции, и он сможет выторговать побольше времени за компьютером, и обеды пойдут все менее экологичные и здоровые, и довольно скоро Сэм двинется прямым курсом на айсберг, а его родители тем временем будут друг с другом соревноваться в игре на скрипках.

Сэм любил интересные факты, но его почти безостановочно мучили странные повторяющиеся мысли. Например такая: что, если он увидит чудо? Как сможет убедить других, что не валяет дурака? Если вдруг новорожденный шепнет ему тайну? Или дерево сойдет с места? А если он

встретит себя старшего и узнает обо всех катастрофических ошибках, которых иначе он бы не избежал? Сэм воображал разговор с матерью, с отцом, с фальшивыми друзьями в школе, с настоящими друзьями в "Иной жизни". Большинство просто посмеялось бы. Может, одного-другого удалось бы склонить к какому-то проявлению доверия. Например, Макс, по крайней мере, захотел бы поверить. Бенджи поверил бы, но лишь по той причине, что верил всему. А Билли? Нет. Поделиться своим чудом Сэм не смог бы ни с кем.

Раздался стук в дверь. Не в дверь святилища, а в дверь его комнаты.

— Вали отсюда, пиздюк.

— Извини, что?

Отворив дверь, вошла мать.

— Прости, — повинился Сэм, кладя планшет на стол экраном вниз, — я думал, там Макс.

— И ты полагаешь, так нормально говорить с братом?

— Нет.

— Или хоть с кем-то?

— Нет.

— Тогда в чем дело?

— Не знаю.

— Может, стоит задуматься, спросить себя?

Сэм не мог понять, риторический ли вопрос, но понимал, что для иного толкования ее слов, кроме буквального, момент не самый лучший.

Поспрашивав себя секунду, он не смог выдать ничего лучше, чем:

— Думаю, я тот, кто произносит слова, хотя знает, что их не нужно говорить.

— Видимо, так.

— Но я исправлюсь.

Джулия оглядела комнату. Боже, как же бесили Сэма ее быстрые шпионские осмотры: его раскрытой тетради, его вещей, его самого. Ее постоянное стремление оценивать разрезало его, будто река, создавая два берега.

— Чем занимаешься?

— Не сижу ни в почте, ни в чате, ни в "Иной жизни".

— Ладно, но чем-то все же занимаешься?

— Да я и сам не знаю.

— Я что-то не понимаю, как это может быть.

— Разве у тебя сегодня не выходной?

— Нет, у меня не *выходной*. У меня день доделывания дел, которые я

давно откладывала. Например, вздохнуть и подумать. Но утром у нас, как ты, возможно, помнишь, случился незапланированный визит в "Адас Израэль", а потом мне надо было встретиться с клиентом...

— Зачем надо?

— Затем, что это моя работа.

— Но зачем сегодня?

— Ну, я решила, что так надо, хорошо?

— Хорошо.

— И потом в машине мне пришло в голову, что хотя ты, можно сказать, все уже запарол, наверное, надо вести себя так, будто твоя бар-мицва дело решенное. И среди многого и многого, что я только смогла упомянуть, твой костюм.

— Какой костюм?

— Вот и я о том.

— Точно. У меня нет костюма.

— Стоит произнести, и это становится очевидным, верно?

— Ага.

— Не перестаю удивляться, как часто наблюдаю этот эффект.

— Извини.

— За что?

— Я не знаю.

— В общем, надо купить тебе костюм.

— Сегодня?

— Да.

— Серьезно?

— В первых трех местах, куда придем, того, что нам надо, не будет, а если вдруг найдем что-то приличное, оно не подойдет по размеру, а портной только еще больше испортит.

— Мне надо там быть?

— Где?

— В костюмном месте.

— Что ты, нет, конечно, тебе не надо там быть. Давай сделаем проще: соорудим себе 3D-принтер из палочек от мороженого и макарон и напечатаем на нем точную анатомическую модель твоей фигуры, с которой я попрусь в свой выходной в *костюмное место* одна.

— Да, и пусть он выучит мою гафтару.

— Меня сейчас не смешат твои шутки.

— Это и говорить не нужно.

— Что, прости?

— Не надо говорить, что тебе не смешно, чтобы человек понял, что ты не смеешься.

— И это тоже не нужно говорить, Сэм.

— Ладно. Извини.

— Мы с тобой побеседуем, когда папа вернется с работы, но я кое-что должна тебе сказать.

— Ладно.

— Перестань говорить "ладно".

— Извини.

— Перестань извиняться.

— Я думал, от меня как раз и ждали, что извинюсь.

— За то, что ты сделал.

— Но я *не*...

— Ты меня очень расстроил.

— Знаю.

— И все? Тебе больше нечего сказать? Ну, например: "Это сделал я, и я виноват"?

— Но это не я.

Она положила ладони на бедра, сунув большие пальцы в поясные петли.

— Прибери этот бардак. Кошмарно.

— Это моя комната.

— Но наш дом.

— Доску нельзя двигать. Мы не доиграли партию. Папа сказал, закончим, когда мои неприятности останутся позади.

— Ты знаешь, почему ты его всегда обыгрываешь?

— Потому что он поддается.

— Он уже много лет не поддается тебе.

— Он не старается.

— Старается. Ты обыгрываешь, потому что он бьет фигуры, не задумываясь, а ты всегда думаешь на четыре хода вперед. Поэтому ты хороший шахматист и в жизни умеешь принимать верные решения.

— Я не умею.

— Умеешь, когда задумываешься.

— А папа не умеет?

— Это не относится к теме нашего разговора.

— Если сосредоточится, он может меня разделить.

— Вероятно, но мы никогда этого не узнаем.

— А какая тема нашего разговора?

Джулия вынула из кармана телефон.

— Что это?

— Сотовый телефон.

— Это твой?

— Мне не разрешили иметь смартфон.

— Именно поэтому меня расстроит, если он твой.

— Ну значит, не придется расстраиваться.

— Чей же он?

— Не имею представления.

— Телефоны — это не кости динозавров. Не появляются из-под земли.

— Кости динозавров тоже, вообще-то, сами не появляются.

— На твоём месте я бы сейчас не умничала. — Она перевернула телефон. Потом ещё раз перевернула. — Как мне в него забраться?

— Я думаю, там стоит пароль.

— Так и есть.

— Значит, тебе не повезло.

— Хотя я могу попробовать *"иэтопройдѐт"*, так ведь?

— Наверное.

— Все взрослые члены семьи Блох всюду использовали этот смехотворный пароль: от "Амазона" и "Нетфликса" до охранной сигнализации и телефонов.

— Не вышло, — сказала Джулия, показывая Сэму экран.

— Ну, стоило попробовать.

— Может, отнести в магазин или ещё куда-нибудь?

— Даже телефоны террористов не могут вскрыть.

— Может, попробовать с заглавными?

— Может.

— А где здесь регистры?

Сэм взял телефон. Набирал он со скоростью дождя, сыплющегося на стеклянную крышу, но Джулия видела только изувеченный большой палец и словно в замедленной съемке.

— Не-а, — сказал он.

— Попробуй буквами.

— Что?

— Не девять, а *д-ѐ-т*.

— Довольно глупо было бы.

— Виртуозно было бы по сравнению с использованием того же самого пароля для всего на свете.

— *И-э-т-о-п-р-о-й-д-ѐ-т...* не-а. Извини. Ну в смысле, я не извиняюсь.

— Попробуй число буквами, а первую прописную.

— А?

— Прописная *И*, *д-е-в-я-т-ь* вместо цифры.

На этот раз он набирал медленнее, внимательно.

— Хм...

— Открыл?

Джулия потянулась за телефоном, но Сэм задержал его на долю секунды — довольно, чтобы вышла неловкая заминка. Сэм посмотрел на мать. Ее огромный старый палец выгонял слова на лилипутскую стеклянную гору. Она посмотрела на Сэма.

— Что? — спросил он.

— Что — что?

— Чего ты на меня смотришь?

— На тебя смотрю?

— Почему ты так смотришь?

Джейкоб не мог заснуть без подкастов. Он говорил, что его успокаивает информация, но Джулия знала, что дело было в компании. Обычно она уже засыпала, когда Джейкоб приходил в постель — непризнаваемая хореография, — но время от времени она замечала, что слушает одна. Однажды, пока муж храпел рядом, Джулия слушала, как специалист по сновидениям объяснял осознанные сновидения — сны, в которых мы сознаем, что все нам только снится. Самый обычный способ вызвать осознанное сновидение — это сформировать привычку: наяву посмотреть на текст — страницу в книге или журнале, рекламный щит, экран — и отвести глаза, а потом посмотреть вновь. В сне тексты не остаются неизменными. Если повторять это вновь и вновь, возникнет рефлекс. А если не останавливаться на этом, то он перетечет в сновидения. Замена текста покажет тебе, что ты спишь, и с этого мгновения ты будешь не только сознать, что видишь сон, но и управлять им.

Она бросила взгляд в сторону, потом вновь на телефон.

— Я знаю, что в "Иную жизнь" ты не *играешь*. А что ты делаешь?

— А?

— Как назвать то, чем ты занимаешься?

— Живу? — предположил Сэм, пытаясь понять суть перемен, происходивших в лице матери.

— В смысле, в "Иной жизни".

— Да, я понял.

— Ты живешь в "Иной жизни"?

— Обычно мне не нужно объяснять, что я там делаю, но вообще-то

конечно.

— Ты можешь жить в "Иной жизни".

— Конечно.

— Нет, я говорю, что разрешаю тебе.

— Сейчас?

— Да.

— Я думал, я наказан.

— Так и есть, — сказала Джулия, пряча телефон в карман, — но если хочешь, можешь сейчас пожить там.

— Можем пойти за костюмом.

— В другой раз. Время есть.

Сэм отвел взгляд, потом снова посмотрел на мать.

Он проверит все зацепы. Он не злился, просто хотел сказать то, что нужно сказать, а потом сровнять синагогу с землей. Она не подошла ему, не стала домом. Он с двойным запасом проложил провода, а взрывчатки насовал втрое больше необходимого: под каждую скамью, в незаметном месте высоко на книжных полках, где лежали сиддурим, погребенные под сотнями ермолок в высоком деревянном ящике.

Саманта вынула Тору из ковчега. Прорекламирала несколько строк заученной белиберды, расчехлила Тору и развернула ее на биме, положив перед собой. Все эти чудные битумно-черные буковки. Эти чудные лаконичные фразы, одна за другой передающие все те чудные, вечно передаваемые истории, которые должны были кануть в Лету и еще могут кануть. Детонатор стоял в указке-пальце. Саманта взяла указку, нашла нужную строчку в свитке и стала читать.

> Барху эт Адонай Хам-ворах.

> Чего?

> Я привел младшего брата в зоопарк, а носороги стали трахаться, такая дичь. А он стоит и смотрит. Он даже не понимал, что это смешно, и в этом был самый смех.

> Позаботился!

> Смешно, когда кто-то не понимает, что надо смеяться.

> Как можно скучать по тому, с кем ни разу не виделся?

> Барух Адонай Хам-ворах Лэолам ваэд.

> Я всегда, всегда, всегда предпочту бессовестность фальшивой совестливости.

> Учти: все, что ты говоришь, однажды будет использовано против тебя.

> Барух ата Адонай...

- > Понял: Славим Тебя...
- > У меня бывало такое странное чувство, что я не мог вспомнить, как выглядят знакомые люди. Или я убеждал себя, что не могу. И вот ловлю себя на мысли, что пытаюсь представить лицо брата и не могу. Это не то что я его не замечу в толпе или не узнаю при встрече. Но когда пытаюсь его представить, не могу.
- > Элогейну мэлэх ха олам...
- > Загрузи прогу VeryPDF. Она довольно простая.
- > Бессмертный Боже, Царю Небесный...
- > Пардон, я уходил обедать. Я в Киото. Звезды уже не первый час на небе.
- > Кто-нибудь видел видео, где тому еврейскому журналисту отрубают голову?
- > а шер бахар бану миколь гаамим...
- > У VeryPDF миллион багов.
- > Ты призвал нас на служение Тебе...
- > У меня от моего айфона морская болезнь.
- > венатан лану эт Торато...
- > Тебе надо запретить вращение экрана. двойной клик по главной кнопке вызывает меню настроек. Смахивай, пока не увидишь что-то типа круговой стрелки — она включает и снимает запрет на вращение.
- > Можно ослепнуть, если смотреть Солнце на видео?
- > Кто-нибудь знает что-нибудь про новый телескоп, который китайцы обещают построить? Вроде в два раза дальше будет видеть в прошлое, чем любой другой сейчас.
- > Барух ата Адонай...
- > Не думайте, я не упоротый, но почему никто не видит странности в том, что ты только что сказал? Видит в два раза дальше в прошлое?
- > Все слова, что написал в жизни, я могу поместить на флешку.
- > То есть?
- > Славим Тебя...
- > Представь, что в космосе, по-настоящему далеко от нас, поставили огромное зеркало. Сможем ли мы, наведя туда телескоп, увидеть самих себя в прошлом?
- > В смысле?
- > Чем дальше зеркало, тем глубже в свое прошлое мы можем заглянуть: наше рождение, первый поцелуй родителей, пещерные люди.
- > Динозавры.
- > Мои родители никогда не целовались, а трахались ровно один раз.

> Жизнь, выбирающаяся из океана.
> нотэйн-га Тора.
> И если его поставить ровно напротив, ты сможешь посмотреть на себя самого, которого нет здесь.

> Податель Закона.

Саманта подняла глаза.

Что вообще должен сделать безусловно хороший человек, чтобы его увидели? Не заметили, а увидели. Не ценили, не лелеяли, и даже не чтобы любили. Но чтобы хорошо видели.

Она просмотрела собрание аватаров. Вполне порядочные, великодушные, по большому счету приятные нереальные люди. Самые по большому счету приятные люди, каких только ей доведется встретить, были людьми, которых она никогда не встретит.

Она смотрела одновременно на и сквозь витражное еврейское настоящее.

Сэм подслушал все до единого слова сквозь дверь кабинета рава Зингера. Он знал, что отец ему верит, а мать нет. Знал, что мать пытается поступать наилучшим, как ей кажется, образом и что отец пытается поступать наилучшим, как ему кажется, образом. Но наилучшим для кого?

Он нашел телефон на целый день раньше, чем мать.

Много извинений нужно было принести, но он ни перед кем не должен был извиняться.

Саманте не требовалось откашливаться цифровым горлом, и она начала говорить, чтобы сказать то, что должно быть сказано.

Истинный

Чем старше становишься, тем труднее приспособляться ко времени. Дети спрашивают: "Мы еще не приехали?" А взрослые: "Как же мы оказались здесь так быстро?"

Почему-то уже было поздно. Каким-то образом час за часом куда-то улетучились. Ирв и Дебора уехали домой. Мальчики съели ранний ужин, рано приняли ванну. Джейкоб с Джулией научились взаимодействовать, избегая друг друга: ты выводишь Аргуса, пока я помогаю Максусу с математикой, пока ты складываешь постиранное белье, я ищу деталь из лего, от которой все зависит, пока ты делаешь вид, что знаешь, как остановить течь в унитазе. И каким-то образом день, начавшийся у Джулии как предназначенный ей одной, закончился тем, что Джейкоб будто бы выпивал с кем-то там из Эйч-Би-Оу, а Джулия совершенно определенно пыталась справиться с бардаком, устроенным другими. Какой беспорядок от столь немногих людей за столь короткое время! Появление Джейкоба застало Джулию за мытьем посуды.

— Затянулось дольше, чем я думал, — поспешил оправдаться он. И чтобы уменьшить собственную вину, добавил: — Тоска смертная.

— Ты, наверное, пьян.

— Нет.

— Как же ты пьешь четыре часа и не напиваешься?

— Всего стаканчик, — сказал он, бросая пиджак на табурет у стойки, — а не "пьешь". И всего три с половиной.

— Как же это ужасно медленно надо цедить?

Она взяла ядовитый тон, но причин тому могло быть много: потерянный выходной, утренний стресс, бар-мицва.

Джулия вытерла лоб рукой, еще не покрытой пеной, и сказала:

— Мы должны были поговорить с Сэмом.

"Отлично", — подумал Джейкоб. Из всех возможных скандалов этот пугал его меньше других. Он извинится, все исправит, и счастье вновь восторжествует.

— Я помню, — сказал он, чувствуя вкус алкоголя на зубах.

— Ты говоришь "я помню", а между тем уже ночь, а мы с ним до сих пор не говорим.

— Я только вошел. Я собирался выпить стакан воды, а потом пойти поговорить с Сэмом.

— Но мы планировали поговорить с ним вместе.
— Ну, я могу избавить тебя от роли плохого копа.
— Избавить его от присутствия плохого копа, ты хочешь сказать.
— Я буду обоими копами.
— Нет, ты будешь врачом "скорой".
— Не понимаю, что это значит.
— Ты извинишься за то, что тебе приходится его немножко воспитывать, и в итоге вы вдвоем будете смеяться, а я опять окажусь в стороне, как надоедливая мамаша-придира. Ты получишь свои семь минут хитрых подмигиваний, а я — месяц обид.
— Все, что ты сейчас сказала, неверно.
— Ну конечно.
Она поскребла пригоревшие остатки еды на сковороде.
— Макс спит? — спросил Джейкоб, нацеливаясь губами на ее губы, а глазами в сторону.
— Сейчас *пол-одиннадцатого*.
— Сэм у себя?
— Один стаканчик за четыре часа?
— Три с половиной. К середине разговора подтянулись новые люди, ну и...
— Да, Сэм в своем эмоциональном бомбоубежище.
— Играет в "Иную жизнь"?
— Живет в ней.
Они уже слишком боялись, что без детей заполнить зияющие пустоты будет нечем. Иногда Джулия задавалась вопросом: не затем ли она позволяет им не ложиться, чтобы только оградить себя от тишины, не затем ли берет Бенджи на руки, чтобы он был ей щитом.
— Как Макс?
— Депрессирует.
— Депрессирует? Нет, конечно.
— Ты прав. Видно, у него просто свинка.
— Ему всего *одиннадцать*.
— Всего *десять*.
— *Депрессия* — серьезное слово.
— Оно хорошо подходит для описания сильных переживаний.
— А Бенджи? — спросил Джейкоб, заглядывая в выдвижной ящик.
— Что-то потерял?
— Что?
— Ты что-то ищешь.

- Пойду поцелую Бенджи.
- Разбудишь.
- Я буду как ниндзя.
- Он засыпал целый час.
- Буквально час? Или это тянулось как целый час?
- Буквально шестьдесят минут размышлений о смерти.
- Удивительный он ребенок.
- Потому что заиклен на смерти?
- Потому что чувствительный.

Пока Джулия загружала посудомоечную машину, Джейкоб просмотрел почту: ежемесячные желтые страницы "Реставрационной фурнитуры", заполненные серой скобянкой, ежедневное вторжение в частную жизнь со стороны Американского союза защиты гражданских свобод, предложение пожертвовать на ежегодный бал выпускников Джорджтауна, которое никогда не вскрыют, купон от какого-то риелтора с брекетами, объявляющего, за какую сумму он только что продал дом соседей, всевозможные бумажные квитанции на небумажные платежи по коммунальным счетам, каталог фабрики детской одежды, чья маркетинговая политика в своей бесхитростности не учитывала того, что дошкольный возраст длится не вечно.

Джулия показала в вытянутой руке телефон.

Джейкоб вскинулся, хотя внутри у него все упало — будто надувной клоун-неваляшка, который неизменно поднимается для новых и новых ударов.

- Не знаешь, чей он?
- Мой, — ответил Джейкоб, забирая телефон. — Я купил новый.
- Давно?
- Пару недель назад.
- Зачем?
- Ну зачем... зачем покупают новые телефоны?

Она с избытком залила в машину средство для мытья посуды и слишком резко захлопнула дверцу.

- На нем пароль.
- Да.
- На старом у тебя пароля не было.
- Был.
- Нет, не было.
- Откуда ты знаешь?
- А почему бы мне не знать?

— Ну, положим.

— Может, тебе надо что-то мне сказать?

В колледже Джейкоба уличили в плагиате. Это было еще до создания компьютерных программ, устанавливающих совпадения, и чтобы попасться, нужно было украсть внаглую, что он и сделал. Но его не поймали: он сам случайно признался. Его вызвали в кабинет к профессору, предложили сесть и подождать, и он переживал, что у него дурной запах изо рта, пока профессор дочитывал последние три страницы книги, а потом неуклюже рылся в бумагах, разыскивая его работу.

— Мистер Блох.

Было ли это утверждение? Подтверждение, что перед ним нужный человек?

— Да?

Мистер Блох, — потрясая пачкой страниц, как лулавом^[6], — откуда вы взяли все эти идеи?

И прежде чем профессор успел продолжить; "Они слишком сложны для человека ваших лет", Джейкоб отпартовал:

— Харольд Блум.

Несмотря на неудовлетворительный балл и испытательный срок, Джейкоб был рад этому провалу — не потому, что в этом случае ему так уж важна была честность, а потому, что больше всего на свете он ненавидел, когда его уличали. В таких случаях он превращался в запуганного ребенка и любой ценой старался избегать подобного.

— Новые телефоны запрашивают пароль, — сказал Джейкоб. — По-моему, они без него не работают.

— Смешной способ ответить "нет".

— А какой был вопрос?

— Тебе ничего не надо мне сказать?

— Да у меня всегда куча всего, о чем я хочу тебе сказать.

— Я сказала не "хочешь", а "надо".

Аргус застонал.

— Не понимаю, что за разговор у нас, — отмахнулся Джейкоб. — А чем это так воняет?

Столько дней совместной жизни. Столько всего пережито. Как же они умудрились провести минувшие шестнадцать лет, разучаясь понимать друг от друга? Каким образом постоянное присутствие превратилось в постепенное исчезновение?

И вот, когда их старший ребенок на пороге взросления, а младший задает вопросы о смерти, они сидят на кухне и бьются над вопросами,

которые вовсе не стоит обсуждать.

Джулия, заметив пятнышко на блузке, принялась тереть его, хотя знала, что оно давнее и несводимое.

— Догадываюсь, ты не забрал вещи из химчистки.

Джулия терпеть не могла чувствовать себя, как в этот момент, и хуже могло быть только одно — разговаривать, как она в этот момент разговаривала. Голда Меир, вспоминал Ирв, сказала Анвару Садату: "Мы можем простить вам, что вы убиваете наших детей, но никогда не простим, что вы заставляете нас убивать ваших". Джулия ненавидела себя такую, какой Джейкоб вынуждал ее сейчас казаться, — надутой и стервозной, занудливой женой-пилой, Джулия предпочла бы удавиться, чем стать такой.

— У меня плохая память, — сказал Джейкоб. — Прости.

— У меня тоже плохая, но я не забываю о делах.

— Ну прости, ладно?

— Было бы легче простить без этого "ладно".

— Ты так себя ведешь, будто я только и делаю, что все путаю и порчу.

— Ну поправь меня, — сказала Джулия. — Что в этом доме ты сделал хорошего?

— Ты серьезно?

Аргус выпустил долгий стон.

Джейкоб повернулся к псу и выдал ему малую толику того, что не мог выдать Джулии:

— Да уймись уже, блядь! — И добавил, не улавливая, что шутит над самим собой же: — Я никогда не повышаю голос.

Джулия шутку уловила:

— Так ли это, Аргус?

— Не на тебя и детей.

— Не повышать голос или не избивать меня и не тиранить детей не считается чем-то хорошим. Это норма поведения. Да и к тому же ты не повышаешь голос, потому что ты под каблуком.

— Ничего я не под каблуком.

— Да неужели?

— Даже если я не повышаю голос поэтому, хотя не думаю, что поэтому, это все равно хорошо. Многие мужчины орут.

— Завидую их женам.

— Хотела бы, чтобы я был мудаком?

— Хотела бы, чтобы ты был личностью.

— Как это понимать?

— Ты уверен, что ничего не должен мне рассказать?

- Не понимаю, зачем ты меня об этом без конца спрашиваешь.
- Я спрошу иначе: какой пароль?
- К чему?
- К телефону, который ты сжимаешь в кулаке.
- Ну, новый телефон у меня. Велика важность!
- А я твоя жена. Я — важность.
- Ты ведешь себя неразумно.
- Имею право.
- Чего ты хочешь, Джулия?
- Твой пароль.
- Зачем?
- Хочу знать, чего такого ты не можешь мне сказать.
- Джулия...
- Очередной раз ты правильно назвал мое имя.

На кухне Джейкоб провел больше времени, чем в любой другой комнате дома. Младенец не знает, что мать вынимает сосок из его рта в последний раз. Ребенок не знает, что в последний раз называет мать "мамуля". Мальчишка не знает, что книжка закрылась на последней в жизни сказке, которую ему прочли перед сном. Не знает, что вот сейчас утекает вода последней в жизни ванны, принятой на двоих с братом. Юноша, впервые познавая величайшее из удовольствий, не понимает, что больше никогда не будет невинным. Ни одна превратившаяся в женщину девушка не знает, засыпая, что пройдет четыре десятка лет, пока она снова станет неплодной. Ни одна мать не знает, что в последний раз слышит от ребенка "мамуля". Ни одному отцу невдомек, что книжка закрылась на последней в жизни сказке перед сном, которую он прочел: "С того дня и на долгие годы мир и покой вновь воцарились на Итаке, и боги были благосклонны к Одиссею, его жене и сыну". Джейкоб понимал: как ни сложишь, эту кухню он будет видеть и впредь. И все же его глаза стали подобны губкам, впитывающим детали, — полированная ручка ящика, шов в месте соприкосновения панелей из мыльного камня, наклейка "Особая награда за храбрость" на краю столешницы, с нижней стороны, выданная Максусу за последний — чего никто не знал — вырванный молочный зуб, наклейка, которую видел каждый день по многу раз и не видел никто, кроме Аргуса, — ведь Джейкоб знал, что однажды до последней капли отождествит все эти последние моменты: они выйдут слезами.

- Ладно, — сказал он.
- Ладно что?
- Ладно, я скажу тебе пароль.

Он шмякнул телефон на стол с праведным возмущением, которое могло бы, если повезет, повредить систему, и добавил:

— Но знай, что это недоверие ложится между нами навсегда.

— Я это переживу.

Джейкоб посмотрел на телефон.

— Пытаюсь вспомнить, какой там *вообще* был пароль. Я его потерял сразу, едва купил. Я вообще не помню, чтобы *включал* его.

Джейкоб взял телефон и внимательно посмотрел на него.

— Может, обычный пароль семейства Блох? — подсказала Джулия.

— Точно, — отозвался Джейкоб. — Конечно, я бы применил *и-э-т-о-п-р-о-й-9*. Ну-у... нет.

— Хм... Конечно, нет.

— Наверное, можно разблокировать его в магазине.

— Наверное, и, ну просто наудачу, ты можешь написать первую букву заглавную, а вместо цифры написать слово "девять"?

— Я бы так не написал, — сказал Джейкоб.

— Нет?

— Нет. Мы всегда пишем его одинаково.

— А ты попробуй.

Джейкобу хотелось выскочить из этого детского сна ужасов, но в то же время ему хотелось быть ребенком.

— Но я бы так не написал.

— Почему знать, кто бы что сделал на самом деле? Возьми и проверь.

Джейкоб бросил взгляд на телефон, на свои пальцы, сжимавшие его, на дом, давивший со всех сторон, и Джулию, и в мгновенном порыве — столь же безотчетном, как подскок ноги после удара молоточком по колену, — швырнул телефон в окно, разлетевшееся вдребезги.

— Я думал, оно открыто.

А потом — тишина, сотрясая стены.

— Ты думаешь, я не знаю дороги к нам на лужайку? — спросила Джулия.

— Я...

— Трудно тебе было задать пароль посложнее? Такой, чтобы Сэм не смог отгадать?

— Сэм копался в телефоне?

— Нет. Но лишь потому, что ты невероятно везучий.

— Ты уверена?

— Как ты мог все это *писать*?

— Что именно?

— Вот об этом говорить *уже* поздно.

Джейкоб знал, что момент упущен, и впитывал щербины на разделочной доске, кактусы между раковиной и окном, детские рисунки, приклеенные синей изолентой над мойкой и столом.

— Эти сообщения ничего не значат, — сказал он.

— Мне жаль того, кто способен сказать так много ничего не значащих слов.

— Джулия, дай мне возможность объяснить.

— Почему ты не можешь ничего не значить для *меня*?

— Что?

— Ты кому-то, а не матери своих детей, говоришь, что хочешь слизать свою сперму с ее очка, а единственный, кто заставляет меня почувствовать, что я красивая, — это чертова корейская флористка из лавки, которая даже и не *флористка*.

— Я мерзавец.

— Даже не начинай.

— Джулия, наверное, поверить трудно, но это была только переписка, и все.

— Поверить как раз легче легкого. Никто лучше меня не знает, что ты не способен на настоящее и смелое отступничество. Я-то знаю, для размазни вроде тебя это уже чересчур — на самом деле лизать кому-нибудь дырку в жопе, хоть вымазанную спермой, хоть нет.

— Джулия...

— И что, ты думаешь, теперь будет? Ты решил, что можешь говорить и писать все, что хочешь? Это, возможно, сходило с рук твоему отцу. Возможно, у твоей матери не хватает силы воли отказаться терпеть свинство. А я не собираюсь. Есть приличное и неприличное, это *разное*. Добро и зло *разные*. Ты этого не знаешь?

— Конечно, я...

— Нет, ты, конечно, *не знаешь*. Ты пишешь женщине, которая тебе не жена, что ее тугая шмонька тебя не заслуживает?

— Я не это на самом деле написал. И это было в контексте...

— И ты, выходит, вовсе не хороший человек, и не существует контекста, в котором такие слова были бы допустимы.

— Джулия, это был миг слабости.

— А ты забыл, что так и не удалил свою писанину? Что хранил всю переписку? Это был не миг слабости, а слабость *личности*. И *пожалуйста*, перестань повторять мое имя.

— Там все кончено.

— А хочешь знать, что хуже всего? Меня это даже *не волнует*. Самое печальное в этой истории — то, что совсем не опечалилась.

Джейкоб не поверил ее словам, но не поверил и тому, что она могла их произнести. Притворство, что их связывает, позволяло мириться с отсутствием любви. И вот теперь Джулия все расставила по своим местам.

— Послушай, я думаю...

— *Сперму слизать с ее очка?* — Она рассмеялась. — Ты? Ты же трус и сдвинут на микробах. Ты просто хотел это написать. Что хорошо. Даже отлично. Но признай иронию ситуации. Ты желаешь хотеть какой-то перенасыщенной сексом жизни, ну, а что тебе *на самом деле* нужно, так это мешок от микробов для прогулочной коляски, фильтр для воды, и даже свое высушенное, без оральных ласк существование, потому что это позволяет не тревожиться об эрекции. Господи, Джейкоб, да ты с собой носишь пачку салфеток, чтобы не пользоваться туалетной бумагой. Так ли ведет себя человек, который хочет слизать сперму с чьего бы то ни было очка?

— Джулия, перестань.

— И к слову, даже если ты окажешься в такой ситуации, с *настоящим* очком *настоящей* женщины, заполненным твоей *настоящей* спермой и манящим твой язык? Знаешь, что ты сделаешь? У тебя начнется твоя смешная тряска рук, рубашка насквозь промокнет от пота, ты утратишь свою железную четвертинку эрекции, и тебе еще повезет, если и такая будет, а потом, скорее всего, уползешь в ванную смотреть несмешные видео для инфантилов на "Хаффингтон-пост" или в очередной раз слушать восхваления морских черепах на "Радиолабе". *Вот* что будет. И она поймет, что ты трепло, как, собственно, и есть.

— Рубашки-то на мне не будет.

— Что?

— Рубашка не промокнет от пота, потому что на мне ее не будет.

— Ебучие подлые слова ты сейчас сказал.

— Не выводите меня.

— Ты серьезно? Не может быть. Ты не мог это сказать всерьез. — Она, без всякой видимой причины, повернулась к раковине. — А ты думаешь, ты один такой, кто хочет пуститься во все тяжкие?

— Ты хочешь завести роман?

— Я хочу, чтобы все рухнуло.

— У меня нет романа, и я не хочу, чтобы все рухнуло.

— Сегодня я видела Марка. Они с Дженнифер разводятся.

— Чудесно. Или ужасно. Что я должен сказать?

— И Марк со мной заигрывал.

— Что ты затеяла?

— Я чересчур тебя оберегала. Щадила тебя, как неоперившегося птенца. Не говорила каких-то совершенно невинных вещей, которые бы тебя раздавили, хотя не дают и малейшего повода огорчаться. Ты думаешь, у меня не бывает фантазий? Думаешь, когда мастурбирую, я только тебя и представляю? Да?

— К чему ты это говоришь?

— Хотела я где-то в глубине души сегодня трахнуться с Марком? Да. Строго говоря, этого хотела во мне каждая часть тела, что ниже мозга. Но я не сделала этого, потому что не стала бы вообще, потому что не такая, как ты...

— Джулия, я ни с кем не трахался.

— Но я хотела.

Джейкоб второй раз за время разговора повысил голос:

— *Черт*, да чем это воняет?

— Твой пес, как всегда, нагадил в доме.

— *Мой* пес?

— Да, пес, которого *ты* взял домой вопреки нашей четкой договоренности *не* заводить собак.

— Это дети захотели.

— Дети хотят, чтобы им в руки воткнули капельницы с растаявшим пломбиром, а мозги замочили в ванне с семенем Стива Джобса. Быть хорошими родителями не значит потакать любым прихотям.

— Они тогда были чем-то расстроены.

— *Всех* что-нибудь да расстраивает. Перестань перекладывать все на детей, Джейкоб. Тебе хотелось быть героем, а меня выставить злодейкой.

— Это несправедливо.

— Абсолютно несправедливо. Ты приводишь домой собаку, хотя мы определенно *договорились*, что брать ее не надо, и ты стал супергероем, а я суперзлодейкой, и теперь у нас на полу в гостиной засохшая куча дерьма.

— А тебе не приходило в голову убрать ее?

— Нет. Как и тебе не приходило в голову приучить ее гадить на улице...

— *Его*. Приучить *его*. К тому же этот бедняга уже просто не терпит. Он...

— Или выгулять ее, или свозить к ветеринару, или мыть ее подстилку, или помнить про ее таблетки от сердечных глистов, или проверять на клещей, или покупать корм, или кормить. Я убираю его дерьмо каждый божий день. Дважды в день. И чаще. Боже, Джейкоб, я ненавижу собак, и

этого пса ненавижу, и мне он тут не нужен, но если бы не я, он бы издох уже много лет назад.

— Он понимает, что ты говоришь.

— А вот ты нет. Твоя собака...

— *Наша* собака.

— ...Умнее моего мужа.

И тут Джейкоб заорал. Это был первый раз, когда он повысил голос на Джулию. Вопль рос в нем все шестнадцать лет брака и четыре десятилетия жизни, и пять тысячелетий истории человечества — вопль, обращенный на Джулию, но одновременно и на всех людей, живых и живших, но в первую очередь на него самого. Год за годом Джейкоб неизменно оказывался где-то не здесь, словно в подвале за двенадцатидюймовой толщины дверью, он сбегал от реальности, прячась во внутреннем монологе, к которому никому — включая его самого — не было доступа, или в диалоге, запертом в ящике письменного стола. Но это был он.

Он прошел четыре шага, так что линзы его очков оказались так же близко к глазам Джулии, как и к его собственным, и заорал:

— *Ты мне ненавистна!*

Несколькими минутами раньше она сказала Джейкобу, что самым печальным для нее было понять, что она совсем не опечалена. Тогда это было правдой, но теперь все изменилось. Сквозь призму слез она видела кухню: треснувший резиновый уплотнитель на кране, решетчатые окна, которые пока еще выглядели прилично, но рассыпались бы, если покрепче ухватиться за раму. Видела гостиную и столовую: по-прежнему прилично выглядят, но там уже два слоя краски поверх слоя грунтовки поверх полутора десятков лет медленного разрушения. И вот он: ее муж, но не партнер.

Однажды Сэм, тогда третьеклассник, вернувшись из школы, взволнованно сообщил Джулии:

— Если бы Земля была размером с яблоко, атмосфера была бы тоньше, чем яблочная кожура.

— Что?

— Если бы Земля была размером с яблоко, атмосфера была бы тоньше, чем его кожура.

— Наверное, у меня не хватает ума понять, что в этом интересного. Можешь объяснить?

— Посмотри вверх, — сказал Сэм. — Тонко? Как кажется?

— Потолок?

— Представь, что мы на улице.

Панцирь был так тонок, но всегда казался надежным.

На блошином рынке они как-то, десятками воскресений ранее, купили доску для дартса и повесили ее на дверь в конце коридора. Дети промахивались по мишени не реже, чем попадали, и каждый дротик, вынутый из двери, на кончике приносил немного краски из прежнего слоя. Джулия сняла доску, после того как Макс однажды вошел в комнату со словами "никто не виноват", а из его плеча капала кровь. Остался круг, нарисованный и окруженный сотнями дырочек.

Она смотрела на свой панцирь-кухню и с печалью думала, что точно знает, какие трещины откроются под ним, если слегка поскрести в тонком месте.

— Мам?

Обернувшись, они увидели в дверях Бенджи, привалившегося к косяку с ростовыми отметками и шарящего руками по пижамным штанам в поисках карманов, которых там не было. Сколько он уже здесь стоит?

— Мы с мамой просто...

— Ты хотел сказать *истинна*?

— Что, малыш?

— Ты сказал *ненавистна*, а имел в виду *истинна*.

— Вот, теперь можешь его поцеловать, — сказала Джулия Джейкобу, вытирая слезы и оставляя на их месте мыльную пену.

Джейкоб опустился на колено и взял руки Бенджи в свои:

— Приснилось плохое, дружок?

— Я не против смерти, — сказал Бенджи.

— Что?

— Я не против смерти.

— Ты не против?

— Если только со мной умрут и все остальные, тогда я вообще не против смерти. Я только боюсь, что больше никто не умрет.

— Тебе что-то приснилось?

— Нет. Вы ругались.

— Мы не ругались. Мы...

— И я слышал, как разбилось стекло.

— Мы ругались, — сказала Джулия. — У людей есть эмоции, иногда очень непростые. Но это нормально. Иди спать, малыш.

Джейкоб понес сына в комнату. Бенджи устроился щекой на отцовском плече. Какой он все еще легкий. И каким тяжелым становится. Ни один отец не знает, когда в последний раз несет ребенка в комнату на руках.

Джейкоб укрыв Бенджи одеялом и погладил по голове.

— Пап?

— Да?

— Я согласен с тобой, что рая, наверное, не существует.

— Я так не говорил. Я сказал, что не существует способа это точно узнать, и поэтому, наверное, не стоит строить жизнь в расчете на рай.

— Да, и вот с этим я согласен.

Он мог бы простить себе то, что отказывал в утешении себе, но зачем он отказывал всем остальным? Почему не мог позволить своему малышу-дошкольнику счастливо и безбоязненно жить в прекрасном и справедливом нереальном мире?

— А в расчете на что надо строить жизнь? — спросил Бенджи.

— Может, на свою семью?

— Я тоже так думаю.

— Приятных снов, дружище.

Джейкоб двинулся к двери, но помедлил в комнате.

Через несколько долгих секунд тишины Бенджи позвал:

— Па-ап? Ты мне нужен!

— Я здесь.

— У белок когда-то появились пушистые хвосты. Зачем?

— Может, для равновесия? Или чтобы греться? Пора спать.

— Утром погуглим.

— Ладно. А теперь спи.

— Пап?

— Слушаю.

— Если Земля просуществует, сколько для этого надо, то будут окаменелости окаменелостей?

— О, Бенджи. Это отличный вопрос. Мы можем обсудить его утром.

— Да, мне надо спать.

— Точно.

— Пап?

Джейкоб начал терять терпение.

— Да, Бенджи.

— Пап?

— Я здесь.

Он стоял в дверях, пока не услышал глубокое дыхание своего младшего сына. Джейкоб был человеком, который не спешил бросаться с утешениями, но на пороге стоял еще долго, хотя любой другой давно ушел бы. Он всегда стоял на крыльце, пока отъезжающие машины не скроются из виду. И так же смотрел в окно вслед, пока заднее колесо велосипеда

Сэма не скроется за углом. И так же он смотрел, как исчезает сам.

Вот не я

> Ощущая историческое значение момента и испытывая величайшую досаду, я сегодня стою у этой бимы, готовая совершить так называемый ритуал перехода во взрослую жизнь, что бы это ни значило. Я хочу поблагодарить кантора Флейшмана, который помогал мне в последние полгода превратиться в еврейского робота. В том невероятно маловероятном случае, что я через год буду помнить хоть что-то о нынешнем дне, я все равно не буду понимать смысла этих событий, за что и благодарю. Еще хочу поблагодарить рава Зингера, он — клизма с серной кислотой. Моего единственного живого прадеда Исаака Блоха. Мой отец сказал, что я должна это все пройти ради прадеда, но сам прадед никогда об этом меня не просил. Он кое-что *просил*, например, не заставляя его переезжать в Еврейский дом. Моя семья очень заботится о том, чтобы заботиться о нем, но не настолько, чтобы взять и на самом деле заботиться, и я не понимала ни слова из того, что сегодня читаю, вот это я понимаю. Хочу поблагодарить своих деда с бабкой, Ирва и Дебору Блох, за то, что вдохновляют меня в жизни и всегда убеждают чуть сильнее попотеть, чуть глубже копнуть, стать богатой и говорить то, что я думаю, когда сочту нужным. Еще своих других деда с бабкой, Аллена и Лею Зельман, они живут во Флориде, и об их биологическом существовании свидетельствуют лишь чеки, которые я получаю на день рождения и на хануку и которые не индексируются под стоимость жизни со дня моего появления на свет. Хочу поблагодарить своих братьев, Бенджи и Макса, за то, что отвлекают на себя немалую часть внимания наших родителей. Не представляю, как я смогла бы вынести такую жизнь, в которой бремя родительской любви лежало бы на мне одной. И еще, когда в самолете меня вытошнило на Бенджи, он сказал только: "Я знаю, как это паршиво, когда стошнит". А Макс однажды предложил сдать за меня кровь. Что подводит нас к моим родителям, Джейкобу и Джулии Блох. Если по правде, я не хотела совершать батмицву. Ни капли, ни под каким видом. Во всем мире не хватит облигаций. Мы не раз это обсуждали, как будто мое мнение что-то значило. Все эти разговоры были фарсом, необходимым, чтобы запустить сегодняшний фарс, который и сам лишь ступенька в фарсе моего еврейства. Иначе говоря, без них, в самом буквальном смысле, все это было бы невозможно. Я не виню их в том, что они такие, каковы есть. Но виню в том, что они винят меня в том, что я таков, какой есть. Ну, и хватит благодарностей.

Итак, мой кусок из Торы — это Ваера^[7]. Один из самых известных и изучаемых фрагментов Писания, и мне даже сказали, что читать его — великая честь. Учитывая полное отсутствие у меня интереса к Торе, наверное, стоило бы отдать этот кусок ребенку, для которого еврейство и впрямь не пустой звук, если такой ребенок существует, а мне дать какой-нибудь расхожий отрывок о правилах отправления менструации у прокаженных. Шутка, думаю, обо всех. И еще вот что: фрагменты с толкованиями, которые были даны потом, бесцеремонно вырваны. Хорошо, что евреи верят только в коллективное наказание. Ладно. Испытание Авраама Богом описано примерно так: "И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я". Большинство людей думает, что испытание последовало за этим: Бог попросил Авраама принести в жертву его сына Исаака. Но я считаю, можно понять и так, что испытанием был момент, когда Бог воззвал к Аврааму. Авраам не ответил: "Чего ты хочешь?" И не ответил: "Да?" Он ответил утверждением: "Вот я". Чего бы ни хотел Бог, чего бы Ему ни было нужно, Авраам полностью в его распоряжении, без всяких условий и оговорок, и не просит объяснений. Само слово, *хинени* — вот он я — еще два раза звучит в этом фрагменте. Когда Авраам приводит Исаака на гору Мориа, Исаак понимает, что происходит и какой это ебанатизм. Он понимает, что его сейчас закаляют, как и все дети как-то понимают, когда это должно с ними случиться. Написано так: "И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой"^[8]. Исаак не говорит "Отец", он говорит "Отец мой". Авраам отец всего еврейского народа, но он и отец Исаака, лично его отец. И Авраам не спрашивает: "Чего ты хочешь?" Он говорит: "Вот я". Когда Бог вызывает к Аврааму, Авраам всецело обращается к Ему. Когда Исаак вызывает к Аврааму, Авраам всецело обращается к сыну. Но как это может быть? Бог просит Авраама убить Исаака, а Исаак просит у отца защиты. Как Авраам может одновременно исполнять две прямо противоположные роли? Хинени звучит в этой истории еще раз, в самый драматичный момент. "И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я

знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня"^[9]. Авраам не спрашивает: "Чего ты хочешь?" Он говорит: "Вот я". Мой фрагмент для бат-мицвы — о многом, но, кажется, в первую очередь он о том, кому мы здесь всецело себя предлагаем и как это — больше, чем любой другой признак — определяет нашу сущность. Мой прадед, которого я уже упоминал, просил помочь ему. Он не хочет переезжать в Еврейский дом. Но никто из родни не ответил словами "вот я". Нет, его стали убеждать, будто он не понимает, что для него лучше, и даже не знает, чего хочет. Да и вообще его и убеждать-то не пытались: ему просто сказали, как он должен поступить. Меня обвинили в том, что сегодня утром в Еврейской школе я употребила плохие слова. Я даже не знаю, уместно ли тут сказать *употребила*: составление списка чего бы то ни было мало похоже на *употребление*. Так или иначе, когда мои родители приехали поговорить с равом Зингером, они не сказали мне: "Вот мы". Они спросили: "Что ты натворила?" Обидно, что они даже не усомнились, а ведь надо было. Любой, кто со мной знаком, знает, что я делаю кучу всяких ошибок, но и знает, что я хороший человек. Но усомниться они должны были не потому, что я хороший человек, а потому, что я их ребенок. Даже если они мне не верили, им стоило вести себя так, будто они мне верят. Отец как-то рассказал, что до моего рождения, когда единственным доказательством моего существования были снимки УЗИ, ему нужно было верить в меня. Получается, твое рождение дает твоим родителям свободу перестать верить в тебя. Ладно, спасибо, что пришли, все свободны.

- > И все?
- > Нет. Вообще-то нет. Я собираюсь это место взорвать.
- > Какого хера?
- > Я устраиваю прием на крыше старой фабрики цветной пленки через дорогу. Посмотрим оттуда.
- > Бежим!
- > Цветной пленки?
- > Не надо бежать, никто не пострадает.
- > Ей можно верить.
- > Пленки для старинных камер.
- > Тебе даже не надо верить мне. Просто подумай: если бы нужно было бежать, ты уже был бы труп.
- > Это какая-то ебанутая логика.
- > И последнее, пока мы не разошлись: знает кто, зачем в самолетах приглушают свет при взлете и посадке?
- > Что за херня?

- > Чтобы пилоту было лучше видно?
- > Просто расходимся, ладно?
- > Электричество экономят?
- > Не хочу умирать.
- > Хорошие догадки, но неправильные. Просто что это самые опасные моменты полета. Более восьмидесяти процентов аварий происходит при взлете или посадке. Свет приглушают, чтобы ваши глаза адаптировались и могли видеть в темноте затянутого дымом салона.
- > Для таких штук должно быть название.
- > Из синагоги можно выйти по подсвеченной дорожке. Она выведет. Или иди за мной.

Кто-нибудь! Кто-нибудь!

Джулия стояла в ванной над своей раковиной, Джейкоб над своей. Парные раковины: такие были в некоторых старых домах Кливленд-парка, как и затейливый плинтус, обрамляющий паркетные полы, оригинальные камины и переделанные газовые рожки. Дома так мало в чем отличались, что стоило радоваться всяким мелким отличиям, а то иначе не понятно, ради чего так надрывался. В то же время ну кому, если честно, нужны эти парные раковины?

— Знаешь, что у меня спросил Бенджи? — начал Джейкоб, глядя в зеркало над своей раковиной.

— Будут ли окаменелости окаменелостей, если Земля просуществует столько, сколько для этого надо?

— Как ты узнал...

— "Радионяня" знает все.

— Точно.

Зубной нитью Джейкоб почти всегда орудовал при свидетелях. Сорок лет нерегулярного использования нити и всего три дупла — масса времени сэкономлена. Этим вечером, при свидетеле-жене, Джейкоб чистил зубы нитью. Ему хотелось провести немного времени у этих парных раковин. Или немного уменьшить время там, в одной кровати.

— В детстве я придумал собственную почту. Из коробки от холодильника сделал почтовое отделение. Мама сшила мне униформу. У даже были марки с портретом дедушки.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросила Джулия.

— Не знаю, — ответил он, не вынимая нитку. — Просто вдруг вспомнил.

— *Зачем* ты это просто вспомнил?

Джейкоб хохотнул:

— Ты прямо доктор Силверс.

Джулия, без смеха:

— Ты любишь доктора Силверса.

— А отправлять мне было нечего, — продолжил Джейкоб, — так что я взялся писать письма маме. Меня привлекало само действие: содержание писем не заботило. Так или иначе, в первом я написал: "Если ты читаешь, значит, наша почта работает!" Это я помню.

— *Наша*, — повторила Джулия.

— Что?

— *Наша. Наша* почта. Не моя почта.

— Может, я написал *моя*, — ответил Джейкоб, сматывая нить с пальцев, на которых остались следы-колечки. — Точно не помню.

— Ты помнишь.

— Не знаю.

— Помнишь. Потому и рассказываешь мне.

— Она была отличной матерью, — сказал Джейкоб.

— Я знаю. И всегда знала. Она умеет внушить мальчикам чувство, что лучше них нет никого на свете и что они не лучше никого другого на свете. Тут не просто удержать равновесие.

— Папа не умеет его держать.

— А он никакой не умеет устанавливать.

Следы от колец уже изгладились.

Джулия протянула мужу зубную щетку.

Джейкоб попытался что-то выдавить, но безуспешно, и сказал:

— Паста кончилась.

— В шкафчике есть еще тюбик.

Ненадолго установилась тишина, пока они чистили зубы. Если каждый день они тратили по десять минут, готовясь ко сну, — а они точно тратили их, точно не меньше, — то за год набежало бы шестьдесят часов. Дольше готовились вместе ложиться в постель, чем бодрствовали вместе в отпуске. Они были женаты шестнадцать лет. За этот срок оба истратили на подготовку к сну сорок полных дней, почти всегда у вождованных и одиноких парных раковин, почти всегда в тишине.

Через несколько месяцев после переезда Джейкоб придумал почту для мальчиков. Макс посуровел. Меньше смеялся, больше хмурился, сесть непременно стремился у окна. Себе Джейкоб мог не признаваться, что видит это, но вот и другие стали замечать это и говорить об этом — Дебора отозвала его в сторону и спросила: "Как тебе Макс?"

Джейкоб нашел на "Этси" старинные подвесные почтовые ящики и навесил по одному на двери мальчиков и на свою. Он сказал им, что у них будет собственная тайная почта, чтобы передавать те сообщения, которые невозможно высказать вслух.

— Это как люди оставляли записки в Стене Плача, — уточнил Бенджи.

Нет, подумал, Джейкоб, но сказал:

— Да, вроде этого.

— Только вот ты не Бог, — заметил Макс, и это, несмотря на очевидность и на то, что Джейкоб хотел бы, чтобы дети именно так

смотрели на мир (атеисты, никакого страха перед родителями), все равно обидело его.

Свой ящик он проверял ежедневно. Написал ему только Бенджи: "Мир на Земле"; "Снежный день"; "Телевизор побольше".

Воспитывать детей в одиночку было трудно: скоординировать сборы в школу троих детей, имея всего одну пару рук, выстроить маршруты перемещений, по насыщенности не отстающих от воздушного трафика в Хитроу, запараллелить параллельные задачи. Но самым непростым было находить время для разговоров по душам. Мальчики всегда держались вместе, все время какая-то суета, постоянно что-то нужно сделать, и разделить эту ношу не с кем. И когда представлялся случай поговорить наедине, Джейкоб, понимая, что необходимо воспользоваться им (как бы неестественно это ни показалось), в то же время испытывал прежний или даже более сильный страх сказать слишком много или недостаточно.

Однажды вечером, через несколько недель после развешивания ящиков, Сэм читал Бенджи перед сном, а Джейкоб с Максом столкнулись по малой нужде возле унитаза.

— Не скрещивай струи, Рэй.

— А?

— Из "Охотников за привидениями".

— Я слышал про это кино, но ни разу не видел.

— Да ты прикалываешься.

— Нет.

— Но я помню, как мы смотрели с...

— Я не видел.

— Ладно. В общем, там есть классный момент, когда они первый раз палят из своих протонных, как уж там они, штуковин, и Эгон говорит: "Не скрещивай струи, Рэй", потому что от этого какие-то катастрофические события могут произойти, и с тех пор я эту фразу вспоминаю всякий раз, когда с кем-нибудь мочусь в один унитаз. Но вроде мы оба закончили, так что и смысла нет.

— Понятно.

— Я заметил, ты ничего не кладешь мне в ящик.

— Ага. Я положу.

— Это не задание. Я просто думал, это будет хороший способ снять какую-то тяжесть с души.

— Ладно.

— Каждого что-нибудь тяготит. Твоих братьев. Меня. Маму. И это может серьезно осложнить жизнь.

— Прости.

— Нет, я имею в виду тебе. Я всю жизнь изо всех сил старался защититься от того, чего больше всего боялся, и в итоге неправильно было бы говорить, что бояться было нечего, но, может быть, столкнуться с моими худшими страхами на самом деле и не было бы так страшно. Может, эти мои старания были еще хуже. Помню вечер, когда я уезжал в аэропорт. Я поцеловал вас, ребят, как будто предстояла очередная обычная поездка, сказал что-то типа "увидимся через пару недель". И пока я готовился уйти, мама спросила, чего я еще жду в жизни. Она сказала, что это важный момент и что я должен переживать сильные эмоции, и вы, парни, тоже.

— Но ты не вернулся и не добавил что-нибудь еще.

— Я слишком боялся.

— А чего ты боялся?

— Да бояться было нечего. Вот это я и пытаюсь тебе объяснить.

— Я знаю, что на самом деле бояться было нечего. Но тебя-то что пугало?

— Что это станет настоящим?

— Отъезд?

— Нет. Что у нас было. Что у нас есть.

Джулия сунула щетку поглубже за щеку и оперлась ладонями о раковину. Джейкоб, сплюнув, сказал:

— Я упускаю свою семью, как мой отец упустил нашу.

— Не упускаешь, — сказала Джулия, — но мало просто не повторять его ошибок.

— Что?

Она вынула щетку и повторила:

— Не упускаешь. Но это мало — просто не повторять его ошибок.

— Ты отличная мать.

— Отчего ты вдруг это говоришь?

— Я думал о том, какой отличной матерью была моя.

Джулия закрыла шкафчик и, помедлив, как будто раздумывая, стоит ли заговорить, сказала:

— Ты не счастлив.

— Почему ты так говоришь?

— Но это правда. Ты кажешься счастливым. Может, даже считаешь себя счастливым. Но это не так.

— Ты думаешь, я депрессию?

— Нет. Думаю, ты придаешь чрезмерное значение счастью — и своему, и близких, — а несчастливость настолько тебя ужасает, что ты

лучше пойдешь ко дну вместе с кораблем, чем согласишься признать — в нем пробоина.

— Не думаю, что это так.

— И да, я думаю, ты депрессируешь.

— Это, наверное, просто моноклеоз.

— Ты устал писать сценарий к сериалу; это не твое, его любят все, кроме тебя.

— Его не все любят.

— Ну, ты уж точно нет.

— В общем, он мне нравится.

— И тебя коробит, что твое дело тебе просто нравится.

— Не знаю.

— Нет, знаешь, — сказала Джулия. — Ты знаешь, в тебе что-то сидит — книга, сценарий, фильм, еще что-то — и если когда-нибудь ты сможешь выпустить это на волю, все жертвы, которые ты когда-либо принес, перестанут казаться жертвами.

— Как-то не чувствую, что их надо было приносить.

— Видишь, как ты поменял грамматику? Я сказала: жертвы, которые ты *принес*. А ты говоришь: *надо было приносить*. Улавливаешь разницу?

— Боже, тебе правда надо получить диплом и кушетку.

— Я не шучу.

— Знаю.

— И ты устал притворяться счастливо женатым...

— Джулия...

— ...И тебя корежит, что самая важная связь в твоей жизни тебе просто нравится.

Джейкоб часто злился на Джулию, иногда даже ненавидел ее, но ни разу не было такой минуты, чтобы ему захотелось ее обидеть.

— Неправда, — сказал он.

— Ты слишком мягкий, чтобы это признать, или боишься, но это правда.

— Нет.

— И ты устал быть отцом и сыном.

— Зачем ты пытаешься меня укунить?

— Я не пытаюсь. И нет ничего хуже, чем гнобить друг друга. — Она подвигала на полке бутылочки с всевозможными снадобьями против старения и против умирания, и сказала: — Пошли в постель.

"Пошли в постель". Эти три слова отличают брак от любых других видов связи. Мы с тобой не придем к согласию, но пошли в постель. Не

потому, что мы хотим, а потому, что должны. Сейчас мы друг друга ненавидим, но пошли в постель. Кровать у нас только одна. Легли на свои половины, но половины общей кровати. Уйдем в себя, но вместе. Сколько разговоров завершилось этими словами? Сколько ссор?

Бывало, они отправлялись в постель и предпринимали еще одну попытку, на сей раз горизонтальную, что-то дорешать. Иногда уход в постель делал возможным то, что не было возможно в бесконечно большом пространстве. Телесная близость вдвоем под одной простыней, две печи, работающие на общее тепло, но при этом можно не видеть друг друга. Потолок перед глазами, и все те мысли, на которые он наводит. А может, они просто скрывались в дальних уголках мозга, куда прилиwała тогда вся кровь и где расположена зона великодушия.

Бывало, они шли в постель и откатывались к краям матраса, и каждый жалел, что матрас не королевского размера, и каждый мечтал, чтобы все это просто развеялось, но без должной жесткости в указательных пальцах, чтобы пришить слово "это". "Это" ночь? "Это" их брак? "Это" полное недоразумение и есть семейная жизнь этой семьи? Они отправлялись вместе в постель не потому, что у них не было выбора — *kein briere iz oich a breire*, как скажет раввин на похоронах через три недели, — *не иметь выбора — это тоже выбор*. Брак — это противоположность самоубийства, но в проявлении силы воли между ними можно поставить знак равенства.

Пошли в постель...

Перед самым моментом укладывания в постель Джейкоб сделал озадаченное лицо, похлопал себя по несуществующим карманам на трусах-боксерах, как будто внезапно хватился ключей, и сказал:

— Мне надо отлить. — Точно как он говорил каждый вечер в этот самый момент.

Он закрыл и запер дверь, выдвинул средний ящик в туалетном столике, поднял стопку журналов "Нью-Йоркер" и вынул из-под нее упаковку гидрокортизоновых свечей. Расстелил на полу банное полотенце, из другого скатал подушку, лег на левый бок, поджав правую ногу, думая о Терри Шайво, или Билле Бакнере, или Николь Браун-Симпсон, и осторожно ввел свечу. Он подозревал, что Джулия знает, что за процедуру он проводит каждый вечер, но не мог себя заставить спросить ее об этом, поскольку тогда пришлось бы прежде признать, что он обычный человек, чье тело почти всегда было доступным для нее, как ее тело почти в любой момент было доступным для него, но иногда определенные области этого тела нужно было скрывать. Они провели бог весть сколько часов, отслеживая работу кишечника у детей; наносили деситин просто пальцем;

крутили, по наставлению доктора Доновица, ректальные термометры, пытаясь бороться с детскими запорами. Но когда дело касалось их самих, кое-что хотелось утаить.

ты не заслужила, чтобы драть тебя в жопу

Задний проход, на котором все члены семьи Блох, каждый на свой лад, были зациклены, стал центром отчуждения между Джулией и Джейкобом. Необходимая для жизни вещь, но о которой никогда не говорят. Есть у каждого, но ее надо скрывать. Там сходятся все линии — прямо замковый камень человеческого тела, — но ничто, особенно внимание, *особенно* палец или член, и *особенно, особенно* язык не может туда проникать. Возле туалета было довольно спичек, чтобы зажечь и поддерживать костер.

Каждый вечер Джейкоб так отлучался помочиться, и каждый вечер Джулия дожидалась его, и она знала, что он скрывает обертки от свечей в скомканной туалетной бумаге на дне мусорного контейнера с крышкой, и знала, что, смывая, он ничего не смывает. У этих минут отстранения, безмолвного стыда, были стены и крыша. Точно как их Шаббаты и те шепотом признания в гордости выстроили архитектуру времени. Не нанимая никаких мужиков в штангистских бандажах, не рассылая карточек с новым адресом и даже не меняя ключей на кольцо своих сердец, они переехали из одного дома в другой.

Макс любил играть в прятки, и никто, даже Бенджи, не мог этого выносить. Дом был слишком хорошо обжит, слишком скрупулезно изучен, игра была расписана по ходам не хуже шашек. Поэтому Макс лишь в особых случаях (в день рождения или в награду за поступки, требовавшие особой мужественности) имел возможность заставить остальных играть. И эти прятки всегда были скучны, как все предсказуемое: кто-нибудь, затаив дыхание, жался за блузками Джулии в шкафу, кто-нибудь пластом ложился в ванну или корчился под раковиной, а кто-нибудь прятался с закрытыми глазами, не в силах не поддаться ощущению, что так менее заметен.

Даже если мальчики не прятались, Джейкоб с Джулией искали их — из страха, из любви. Но отсутствия Аргуса они могли не замечать часами. Он обычно появлялся, когда открывалась входная дверь, или когда наполнялась ванна, или на стол ставили еду. Никто не сомневался, что он вернется. Джейкоб за обедом пытался провоцировать бурные споры, чтобы мальчики развивали речь и критическое мышление. Посреди одного из таких споров — где должна быть столица Израиля, в Иерусалиме или в Тель-Авиве, — Джулия спросила, не видел ли кто-нибудь Аргуса.

— Корм стоит, а его нет.

Всего через несколько минут негромких призывов и поверхностных

поисков мальчики перетрусили. Стали звонить в дверь. Выставили миску с собственной едой. Макс проиграл всю первую книгу Судзуки, мелодиям из которой Аргус неизменно подскуливал. Бесполезно.

Дверь с москитной сеткой была закрыта, но сама входная дверь отворена, и это подсказывало, что пес на улице. (Кто оставил дверь открытой, гадал Джейкоб — сердясь, но никого не обвиняя.) Они прошлись по улице, выкликая Аргуса с любовью и тревогой. К поискам присоединился кто-то из соседей. Джейкоб не мог не задаться вопросом — конечно, только мысленно, — не ушел ли Аргус умирать, как это вроде бы случается с собаками. Темнело, увидеть что-то вдалеке было трудно.

Как оказалось, Аргус сидел в гостевой ванной наверху. Как-то он ухитрился запереться там, а не лаял не то от старости, не то от кротости. А может, по крайней мере, пока не проголодался, ему там нравилось. Ночью ему позволили спать на постели. Как и детям. Ведь они думали, что потеряли его, а он все время был так близко.

На следующий день за ужином Джейкоб сказал:

— Решено: Аргусу позволяется спать на кровати каждую ночь.

Мальчики восторженно заголосили. Джейкоб с улыбкой добавил:

— Я думаю, вы не будете оспаривать это решение.

Джулия, без улыбки:

— Стой, стой, стой.

Таким был последний раз, когда эти шесть существ спали под одним одеялом. Джейкоб с Джулией спрятались в работу, которую прятали друг от друга.

Они искали счастья, которое не нуждалось в ущемлении счастья других.

Они прятались в улаживании семейной жизни.

И временем абсолютного поиска был Шаббат, когда они закрывали глаза, чтобы обновился дом и они сами.

Архитектура же тех минут, когда Джейкоб выходил как будто бы в туалет, а Джулия не читала книгу, которую держала в руках, была абсолютным бегством.

теперь ты заслуживаешь, чтобы драть тебя в жопу

Они легли в постель — Джулия в ночной рубашке, Джейкоб в футболке и трусах-боксерках. Она спала в лифчике. Говорила, ей так удобнее — поддерживает, и может, других причин и впрямь не было. Джейкоб говорил, что в майке теплее, лучше спится, и может, тоже не кривил душой. Они выключили свет, сняли очки и смотрели сквозь один потолок, сквозь одну и ту же крышу — в две пары подслеповатых глаз,

которым можно было помочь, но которые не станут лучше видеть сами по себе.

— Жаль, что ты меня не знала ребенком, — сказал Джейкоб.

— Ребенком?

— Или просто *раньше*... До того, как я стал *таким*.

— Выходит, ты хотел бы, чтобы я знала тебя до того, как ты узнал меня.

— Нет. Ты не поняла.

— Попробуй объяснить иначе.

— Джулия, сейчас я не... не я.

— А кто ты тогда?

Джейкоб хотел заплакать, но не смог. Но притом не смог скрыть того, что он это скрывает. Джулия погладила его по голове. Она ничего ему не простила. Ничего. Ни тех сообщений, ни тех лет. Но не могла не ответить на его призыв. Не хотела, однако не могла не ответить. Тоже разновидность любви. Но двух отрицаний никогда не хватает для религии.

Он сказал:

— Я никогда не говорил, что чувствую.

— Никогда?

— Именно.

— Звучит как обвинение.

— Это правда.

— Ну, — сказала Джулия, с первым после находки телефона смешком, — есть множество других вещей, с которыми ты справляешься отлично.

— В этом звуке все то, что еще не потеряно.

— В каком звуке?

— В твоём смехе.

— Да? Нет, этот звук означает, что шутка оценена.

Засынай, упрашивал он себя. *Засынай*.

— Что я делаю хорошо? — спросил он.

— Ты серьезно?

— Назови хоть что-то.

Джейкоб страдал. И каким бы заслуженным ни казалось это страдание Джулии, смириться с ним она не могла. Она столько сложила, стольким пожертвовала для его защиты. Сколько переживаний, сколько бесед, сколько слов принесено в жертву, чтобы пощадить его легко ранимую душу? Они не могли поехать в город, который она посещала двадцать лет назад с тогдашним другом. Ей не следовало оглашать осторожные

наблюдения по поводу того, что в доме его родителей не признают границ, а тем более — о его собственных методах воспитания, которые чаще всего сводились к отсутствию методов. Она убирала дерьмо за Аргусом, потому что Аргус не умел терпеть и потому что, пусть даже она его не выбирала и не хотела и это было несправедливо, Аргус был ее собакой.

— Ты добрый, — сказала она мужу.

— Нет. По правде, нет.

— Я тебе приведу сто примеров...

— Три или четыре сейчас были бы очень кстати.

Ей не хотелось этого делать, но иначе она не могла:

— Ты всегда возвращаешь на место тележку в магазине. В метро ты складываешь газету, чтобы кто-то еще почитал. Рисуешь карту заблудившимся туристам...

— А это доброта или совесть?

— Значит, ты совестливый.

А он бы смог не откликнуться на ее страдание? Ей хотелось бы знать, но его ответу она бы не поверила.

Она спросила:

— Тебя огорчает, что детей мы любим сильнее, чем друг друга?

— Я бы так не сказал.

— Ну да, ты сказал бы: "Ты мне ненавистна".

— Это же сгоряча.

— Понимаю.

— Я не хотел.

— Знаю, — согласилась она, — но сказал.

— Я не считаю, что гнев обнажает правду. Бывает, тебя просто несет.

— Знаю. Но не верю, чтобы хоть что-то могло взяться из ниоткуда.

— Я люблю детей не сильнее, чем люблю тебя.

— Сильнее, — сказала она. — И я сильнее. Может, так и должно быть.

Может, эволюция заставляет.

— Я люблю тебя, — сказал он, поворачиваясь к ней.

— Знаю. Я никогда не сомневалась в этом и сейчас не сомневаюсь. Но это не такая любовь, которая нужна мне.

— И что это означает для нас?

— Не представляю.

Засытай, Джейкоб.

Он сказал:

— Знаешь, как под новокаином теряешь ощущение границы между собственным ртом и тем, что вне тебя.

— Ну, наверное.

— Или как иногда думаешь, что вроде должна быть еще одна ступенька, а ее нет, и нога проваливается сквозь эту воображаемую ступеньку?

— Конечно.

Почему ему так трудно преодолеть физическое расстояние? Так не должно быть, но так было.

— Не знаю, что я нес.

Она чувствовала, что в нем происходит какая-то борьба.

— Что?

— Не знаю.

Он запустил руку в ее волосы, обхватив ладонью затылок.

— Ты устала, — сказал он.

— Я действительно вымоталась.

— Мы устали. Мы себя заездили. Нужно найти способ отдохнуть.

— Я бы поняла, если бы ты с кем-то спутался. Я бы злилась и страдала бы, и может, это заставило бы меня сделать то, чего я даже не хочу...

— Например?

— Я бы тебя ненавидела, Джейкоб, но по крайней мере я бы тебя поняла. Я тебя всегда понимала. Помнишь, как я тебе это говорила? Что ты единственный человек, который что-то для меня значит? А теперь все, что ты делаешь, меня озадачивает.

— Озадачивает?

— Твоя заикленность на недвижимости.

— Я не заиклен на недвижимости.

— Как я ни подойду, у тебя на экране дома на продажу.

— Просто интересуюсь.

— Но зачем? И почему ты не скажешь Сэму, что он лучше тебя играет в шахматы?

— Я говорю.

— Да нет. Ты позволяешь ему думать, будто ты поддаешься. И почему ты такой абсолютно разный в разных ситуациях? Ко мне ты выказываешь холодную неприязнь, на детей рычишь, а вот отцу позволяешь вытирать о тебя ноги. Ты уже десять лет не писал мне пятничных писем, но все свободное время проводишь, работая над чем-то, что любишь, но никому не показываешь, и тут ты берешь и пишешь все эти сообщения, которые, говоришь, ничего не значат. На нашей свадьбе я обошла вокруг тебя семь кругов, а теперь я тебя и найти-то не могу.

— Я ни с кем не путаюсь.

— Ни с кем?

— Нет.

Джулия расплакалась.

— Это всего лишь обмен ужасно непристойными сообщениями с одной женщиной с работы.

— С актрисой?

— Нет.

— А с кем?

— А это важно?

— Если важно для меня, значит, важно.

— Одна из режиссеров.

— И ее зовут, как меня?

— Нет.

— Это та рыжая?

— Нет.

— Знаешь, мне все равно.

— Хорошо. Тут не о чем волноваться.

— Как это началось?

— Ну, просто... сложилось. Как бывает. Это было...

— Мне даже не интересно.

— Никогда не шло дальше слов.

— И долго это у вас?

— Не знаю.

— Знаешь, конечно.

— Месяца четыре.

— И ты предлагаешь мне поверить, что четыре месяца каждый день ведешь откровенную эротическую переписку с женщиной с работы и это ни разу не привело ни к какому контакту?

— Я тебя не прошу верить. Я говорю правду.

— Самое грустное, что я тебе верю.

— Это не грустно. Это дает надежду.

— Нет, грустно. Ты единственный человек, которого я знаю или о котором думаю, кто способен писать такие наглые сообщения, а жить таким паинькой. Я и правда верю, что ты писал какой-то женщине, будто хочешь полизать ей очко, и даже пойманный на слове сидел рядом с ней каждый день четыре полных месяца, не позволяя себе сдвинуть руку на шесть дюймов, чтобы коснуться ее бедра. Не находя в себе такой смелости. И даже не давая ей сигнала, что она вполне может принять твою трусость и сама положить руку тебе на бедро. Подумай, какие сигналы ты посылал ей,

чтобы ее дырка все время мокла, но рука не тянулась к тебе.

— Джулия, это слишком.

— *Слишком?* Ты это серьезно? В этой комнате только *ты* не знаешь, что такое *слишком*.

— Я знаю, что зашел слишком далеко в этих сообщениях.

— А я тебе говорю, что ты не достаточно далеко зашел в этой жизни.

— Как тебя понимать? Ты хочешь, чтобы я с кем-нибудь спутался?

— Нет, я хочу, чтобы ты писал мне субботние письма. Но если ты предпочитаешь строчить порнографические послания кому-то другому, тогда да, я хочу, чтобы ты с ней спутался. Потому что тогда я смогу тебя уважать.

— В этом нет никакого смысла.

— Вовсе нет. Я бы уважала тебя гораздо больше, если бы ты ее трахал. Это бы мне доказало то, во что мне все труднее и труднее верить.

— И что это?

— Что ты вообще человек.

— Ты не веришь, что я человек?

— Я не верю, что ты вообще тут.

Джейкоб открыл рот, не зная, что сейчас произнесет. Он хотел вернуть все, что она ему вывалила: ее истерики, ее противоречия, слабость, лицемерие и злобность. Еще он хотел признать, что все сказанное Джулией правда, но дать поправку на обстоятельства — не во всем виноват он. Он хотел одной рукой вести кладку, а второй обрушивать на нее кувалду.

Но вместо его голоса прозвучал голос Бенджи:

— Вы где?! Кто-нибудь!!

Джулия громко рассмеялась.

— Чего ты смеешься?

— Мой смех ничего общего не имеет с тем, что будто бы не все потеряно.

Это был нервный смех протеста. Темный смех предвидения конца. Благоговейный смех зашоренности.

Бенджи снова позвал в микрофон монитора:

— *Кто-нибудь! Кто-нибудь!*

Они замолчали.

Джулия поискала в темноте глаза мужа, чтобы поискать в них.

— *Кто-нибудь!*

Слово на "н"

Когда Джейкоб спустился, успокоив Бенджи, Джулия уже заснула. Или безупречно изображала сон. Джейкобу не спалось. Читать не хотелось — ни книгу, ни журнал, ни даже блог о недвижимости. Телевизор смотреть — тоже. Писать не получится. Мастурбировать тоже. Ни одно занятие не привлекало, все показалось бы постановкой, притворством.

Он отправился в комнату Сэма, надеясь, что созерцание его спящего первого ребенка подарит несколько мгновений душевного покоя. Зыбкий свет выполз из-под двери в коридор, затем втянулся обратно: волны цифрового океана по ту сторону. Сэм, всегда бдительно оберегавший свою территорию, услышал тяжелые шаги отца.

— Пап?

— Один и без оружия.

— Ага. Ты там стоишь? Тебе что-то нужно?

— Можно войти?

Не дожидаясь ответа, Джейкоб отворил дверь.

— Риторический вопрос? — спросил Сэм, не отводя глаз от экрана.

— Чем занимаешься?

— Смотрю телик.

— У тебя нет телика.

— На компе.

— Ну так разве ты не компьютер смотришь?

— Конечно.

— И что идет?

— Да все.

— А что ты смотришь?

— Ничего.

— Найдешь секунду?

— Да: один...

— Это был риторический вопрос.

— А...

— Как дела?

— Это мы разговариваем?

— Ну, я начинаю.

— Все нормально.

— Классно, когда все нормально?

— Что?

— Не знаю. Кажется, я где-то такое слышал. В общем... Сэм...

— Единственный и костлявый^[10].

— Зачет. Короче говоря, вот что. Извини, что грузу. Но... Эта ситуация утром в Еврейской школе...

— Я этого не писал.

— Ага. Вот так.

— Ты мне не веришь?

— Тут дело даже не в этом.

— Нет, в этом.

— Было бы значительно легче все это разгрести, если бы ты предложил другое объяснение.

— Но его нет.

— Этот набор слов, в принципе, вообще ерунда. Между нами, меня бы вообще не волновало, если бы это ты *написал*.

— Я не писал.

— Кроме слова на "н".

Сэм наконец перевел глаза на отца.

— Что, *развод*?

— Что?

— А, ничего.

— К чему ты это сказал?

— Я не говорил.

— Ты про нас с мамой?

— Не знаю. Я даже себя не слышал за руганью и звоном стекла.

— Сегодня? Нет, то, что ты слышал...

— Все в порядке. Мама заходила, и мы поговорили.

Джейкоб бросил взгляд на экранчик на мониторе компьютера. И подумал о том, что Ги де Мопассан ежедневно обедал в ресторане Эйфелевой башни, потому что это было единственное место во всем Париже, откуда ее не видно. "Нэтс" играют с "Доджерс", дополнительные иннинги. В неожиданном приливе возбуждения Джейкоб хлопнул в ладони.

— Пошли завтра на игру!

— Что?

— Оторвемся! Можем прийти пораньше на разминку. Объедемся всяким дерьмом.

— Объедемся дерьмом?

— Ну, вредной едой.

— А почему бы мне не посмотреть здесь?

— Но у меня обалденная идея!
— Да?
— Нет?
— У меня футбол, и музыка, и подготовка к бар-мицве, ну если она еще будет, не дай бог.
— Я могу тебя освободить от этого.
— От моей жизни?
— Боюсь, я мог только привести тебя в нее.
— И они играют в Лос-Анджелесе.
— Точно, — сказал Джейкоб и добавил тише: — Как же я не сообразил.

Это тихое замечание заставило Сэма подумать, не обидел ли он отца. В нем шевельнулось чувство, которое в предстоящем году он будет испытывать, — хотя и понимая, что это полная глупость, чем дальше, тем чаще и острее, — что, может быть, в происходящем есть хоть и ничтожная, но и его вина.

— Доиграем партию?
— Не.
— Как у тебя с деньгами?
— Все ОК.
— И эта история в Еврейской школе. Очевидно ведь, она не из-за дедушки, да?
— Если только он заодно не дедушка того, кто это написал.
— Я так и думал. В любом случае.
— Пап, Билли черная, как я могу быть расистом?
— Билли?
— Девочка, в которую я влюблен.
— У тебя есть девочка?
— Нет.
— Тогда я не понял.
— Это девочка, в которую я влюблен.
— Ага. И ты сказал *Билли*? Значит, это девочка, так?
— Да. И она черная. И как бы я мог быть расистом?
— Я не уверен, что тут вполне работает логика.
— Работает.
— Ты знаешь, кто подчеркивает, что среди его лучших друзей есть черные? Тот, кому не по душе чернокожие.
— Из моих лучших друзей ни один не черный.
— И ты как знаешь, но я считаю, что предпочтительнее их обозначать

афроамериканцы.

— Обозначать?

— Прсто термин.

— Надо ли парню, влюбленному в черную девушку, использовать термины?

— А это не котел ли называет чайник афроамериканцем?^[11]

— Котел?

— Ну, я шучу. Просто интересное слово. Я не сужу. Ты знаешь, что тебя назвали в честь брата твоего прадеда, погибшего в Биркенау. У евреев всё всегда приобретает какое-то значение.

— Какое-то страдание, ты хочешь сказать.

— А гои выбирают красивые имена. Или берут и выдумывают их.

— Билли назвали в честь Билли Холлидей.

— Значит, это исключение, подтверждающее правило.

— А тебя в честь кого назвали? — спросил Сэм; его интерес — небольшая уступка голосу совести за погрузневший и потускневший голос отца.

— В честь дальнего родственника по имени Яков. Считается, что он был удивительным, легендарным человеком. Предание гласит, что он голой рукой раздавил череп казаку.

— Круто.

— Я, конечно, не такой силач.

— Мы даже *не знаем* никаких казаков.

— В лучшем случае я обычный.

У кого-то из них заурчало в животе, но ни один не понял, у кого.

— Ладно, вывод. По-моему, это чудесно, что у тебя есть девушка.

— Она мне не девушка.

— Опять разница в терминологии. По-моему, чудесно, что ты влюблен.

— Я не влюблен. Я ее люблю.

— Ну, что бы там ни было, все железно останется между нами. Можешь мне доверять.

— Я уже говорил об этом с мамой.

— Правда? Когда?

— Не знаю. Пару недель назад.

— Так это несвежая новость?

— Все относительно.

Джейкоб задержал взгляд на экране. Не это ли притягивало Сэма туда? Не возможность быть где-то еще, а возможность не быть нигде?

— И что ты ей сказал? — спросил Джейкоб.
— Кому?
— Своей матери?
— В смысле, *маме*?
— Ей.
— Не знаю.
— Не знаешь — в смысле, не в настроении говорить об этом сейчас со мной?

— В этом смысле, ага.
— Это странно, поскольку она уверена, что ты и написал все те слова.
— Я не писал.
— Ладно. Я становлюсь назойливым. Я пойду.
— Я не сказал, что ты назойливый.

Джейкоб двинулся к выходу, но, не дойдя до двери, остановился:

— Хочешь анекдот?
— Нет.
— Сальный.
— Тогда *точно* нет.
— Какая разница между "субару" и эрекцией?
— "Нет" значит "нет".
— Ну серьезно, какая разница?
— Серьезно, мне не интересно.

Джейкоб наклонился к нему и прошептал:

— У меня нет "субару".

Против воли Сэм громко рассмеялся, всхрапывая и брызгая слюной. Джейкоб рассмеялся, но не собственному анекдоту, но смеху сына. Они смеялись вдвоем, захлеб, истерически.

Сэм попытался безуспешно взять себя в руки и выговорил:

— Смех-то в том... самый-то смех... что... "субару" у тебя *есть*.

И они еще хохотали, Джейкоб — до храпа, до слез, с мыслями о том, какой это кошмар — быть в возрасте Сэма, какая боль и какая несправедливость.

— И то правда, — признал Джейкоб, — "субару" у меня еще как есть. Надо было сказать "тойота". О чем я думал?

— О чем ты думал?

О чем он думал? Они просмеялись.

Джейкоб еще на раз подвернул рукава — туговато, но ему хотелось, чтобы они удержались выше локтя.

— Мама думает, тебе лучше извиниться.

— А ты?

Он сомкнул пальцы в кармане вокруг пустоты, вокруг ножа, и сказал:

— И я.

Единственный и насквозь фальшивый.

— Тогда ладно, — сказал Сэм.

— Это не так ужасно.

— Нет, ужасно.

— Да, — согласился Джейкоб, целуя Сэма в макушку — последнее допустимое для поцелуев место. — Должно быть, довольно мерзко.

На пороге Джейкоб обернулся:

— Как дела в "Иной жизни"?

— Ну...

— Над чем работаешь?

— Строю новую синагогу.

— Правда?

— Ага.

— Можно спросить, зачем?

— Потому что я разрушил старую.

— Разрушил? Типа, снес?

— Типа того.

— И теперь, значит, строишь себе новую?

— Старую тоже я построил.

— Маме бы понравилось, — сказал Джейкоб, осознавая, насколько красиво и удивительно то, чем Сэм никогда не делился. — И у нее, наверное, возникла бы тысяча идей.

— Пожалуйста, не говори ей.

От этих слов Джейкоб ощутил прилив удовольствия, которого не желал. Кивнув, он сказал:

— Конечно. — Затем, качнув головой, добавил: — Я бы и не стал.

— Ладно, — сказал Сэм. — Что-нибудь еще?

— Ну, а старую синагогу? Ее ты зачем строил?

— Чтобы взорвать.

— Взорвать? Знаешь, если бы я был другим отцом, а ты другим ребенком, я бы, наверное, почувствовал, что обязан донести на тебя в ФБР.

— Но если бы ты был другим отцом, а я другим ребенком, мне, пожалуй, не пришлось бы взрывать виртуальные синагоги.

— Touché^[12], — признал Джейкоб. — Но может ли быть, что ты строил ее не для того, чтобы разрушить? Или, по крайней мере, не только для этого?

— Нет, не может.

— Ну, например, ты пытался сделать все как надо, и когда не вышло, тебе пришлось все сломать?

— Никто мне не верит.

— Я верю. Я верю, что ты хочешь, чтобы все было как нужно.

— Нет, ты не понял, — сказал Сэм, потому что не было способа заставить отца хоть что-то понять.

Но отец понял. Сэм строил синагогу не затем, чтобы взорвать. Он был не из тех создателей тибетских песочных мандал, о которых ему пришлось слушать как-то в машине, — пятеро парней в молчании тысячи часов работают над аппликацией, чье назначение — не иметь никакого назначения. ("И я думал, что *нацисты* — это противоположность евреев", — сказал тогда его отец, выдергивая наушники из автомобильной магнитолы.) Нет, он строил ее с надеждой, что наконец появится место, где он будет чувствовать себя уютно. И дело не в том, что он мог выстроить ее в соответствии со своими эзотерическими воззрениями: он мог находиться там, не находясь там. В чем-то сродни мастурбации. Но как и в мастурбации, тут, если не выйдет точно как надо, уж будет полностью и безвозвратно мимо. Иногда, в худшие из возможных моментов, его опьяненное подсознание вдруг закладывало вираж и в свете его ментальных фар оказывался рав Зингер, или Сил (певец), или мать. И тут уже ничего нельзя было переиграть. Так же и с синагогой: малейшее несовершенство — ничтожное отклонение от симметрии в ротонде, слишком высокие для малорослых детишек ступени, перевернутая звезда Давида — и все насмарку. И ничто не делалось спонтанно. Сэм все продумывал. А разве не мог он просто поправить то, что получилось не так? Нет. Потому что он бы всегда помнил, где было плохо: "Вот эта звезда висела вверх ногами". Другой человек воспринял бы исправление как улучшение изначального варианта. Сэм не был "другим человеком". Как и Саманта.

Сев на кровать, Джейкоб заговорил:

— В молодости, может, даже в старшей школе, я переписывал слова любимых песен. Зачем, не знаю. Наверное, это давало мне ощущение, что всё на своих местах. В общем, это было задолго до интернета. Так что я сиделся перед бумбоксом...

— Перед бумбоксом?

— Ну, магнитолой.

— Это я подстебнул.

— Ясно... ну вот... сиделся перед бумбоксом, слушал песню несколько

секунд, останавливал и записывал, что услышал, потом перематывал и слушал еще, чтобы убедиться: все записано правильно. Потом включал дальше и записывал следующий кусок, потом перематывал, если толком не расслышал или не был уверен, что расслышал правильно, и записывал дальше. При перемотке вообще-то точно не попадешь, так что я неизбежно или пролетал вперед, или недоматывал. Ужас как утомительно. Но я любил это дело. Мне нравилось, что нужна такая точность. Нравилось разбираться. За этим занятием я провел неведомо сколько тысяч часов. Иногда текст вообще было невозможно разобрать, особенно если звучал гранж или хип-хоп. Догадки меня не устраивали, ведь так пропадал весь смысл записывания песен — их точная расшифровка. Бывало, мне приходилось слушать какой-то малюсенький фрагмент снова, и снова, и снова, десятки раз, сотни. И я буквально до дыр затирал это место на пленке, так что в следующий раз, когда слушал эту песню, того места, которое мне так нужно было правильно услышать, в ней уже не было. Я помню одну фразу в "All Apologies" — знаешь эту песню, да?

— Не-а.

— А "Нирвану"? Крутая. Крутая, *крутая* вещь. В общем, видать, у Курта Кобейна заплетался язык, и там была фраза, которую я никак не мог разобрать. После сотен прослушиваний самое разумное, что у меня получилось, было "Возопил мой стыд". И я много лет не понимал, что облажался, пока не спел это место во всю глотку, как дурак, при маме. Вскоре после того, как мы поженились.

— Она сказала, что ты не так поешь?

— Да.

— Очень в ее духе.

— Я был благодарен.

— Но ты же пел.

— Неправильно пел.

— Все равно. Надо было дослушать.

— Нет, она правильно сделала.

— Ну и как там на самом деле?

— Смотри не уподи. Там было: "Воск топил мосты".

— Не может быть!

— Да?

— Что это вообще могло бы значить?

— А ничего и не значит. Это была моя ошибка. Я думал, в этом скрывался какой-то смысл.

II

Постижение бренности

Антиетам

Ни Джейкоб, ни Джулия не знали в точности, что происходило в те первые две недели после того, как она нашла телефон: о чем они договаривались, что имели в виду, обсуждая и задаваясь вопросами. Они не знали, что было настоящим. Каждый чувствовал себя как на эмоциональном минном поле: сквозь комнаты и часы они двигались словно на цыпочках, как бы в огромных наушниках, присоединенных к чувствительным металлодетекторам, способным заместить малейшие следы похороненных чувств, — даже если для этого нужно было отгородиться от остальной жизни.

За завтраком, который мог бы для телевизионной аудитории показаться абсолютно безмятежным, Джулия сказала, заглянув в холодильник: "Вечно у нас молоко кончается", а Джейкоб сквозь наушники услышал: "Ты никогда как следует не заботаешься о нас", но не услышал слов Макса: "Завтра на концерт не приходите".

И на следующий день в школе, вынужденный делить тесноту лифта только с Джулией, Джейкоб сказал: "Кнопка закрывания дверей даже не подключена. Чистая психология", а Джулия сквозь наушники услышала: "Давай поскорее с этим покончим". Но не услышала, как сама сказала: "Я думала, все на свете — чистая психология". Сквозь наушники Джейкоба это прозвучало как: "Столько лет терапии, и я знаю о счастье меньше всех на свете". А он не услышал, как сказал: "Есть разная психология". Тут в лифт вошел предположительно счастливый, предположительно состоящий в крепком браке родитель и спросил Джейкоба, не нужно ли нажать кнопку открывания дверей.

Все это хождение на мысочках, все это скрупулезное перетолковывание и избегание — совсем не минное поле. Нет, это было поле битвы на Гражданской войне. Джейкоб возил Сэма в Антиетам, как самого Джейкоба возил Ирв. И произнес ту же самую речь, о том, какое это везение быть американцем. Сэм нашел неглубоко ушедшую в землю пулю. В мире Джейкоба и Джулии оружие было столь же безобидным — реликты давних битв, безопасные для осмотра, изучения и оценки. Если бы только они знали, что бояться нечего.

Домашние ритуалы достаточно прочно устоялись, так что избегать друг друга выходило довольно легко и незаметно. Она уходила в душ, он готовил завтрак. Она подавала завтрак, он шел в душ. Он наблюдал за

чисткой зубов, она раскладывала брюки и рубахи по кроватям, он проверял содержимое рюкзаков, она справлялась о погоде и подбирала подходящую верхнюю одежду, он готовил "Гиену Эда" (шесть месяцев в году прогревал, шесть месяцев охлаждал), она провожала детей за порог и выходила на Ньюарк-стрит следить за машинами, катящими с холма, он — наоборот.

Они нашли два места в первых рядах, но едва поставив сумку, Джейкоб сказал: "Пойду принесу кофе". Что и сделали. А потом выжидал со стаканами в руках у входа в школу, пока не останется три минуты до поднятия занавеса. На середине бездарного исполнения юной певицей хита "Отпусти и забудь" Джейкоб прошептал Джулии на ухо: "И пусть бы отпустила". Ответа он не получил. Группа мальчиков разыграла сценку из "Аватара". Предположительно девочка на разных сортах макарон объясняла, как функционирует евро. Как Джейкоб, так и Джулия боялись выдать, что не знают, какой номер готовил Макс. Как ему, так и ей слишком стыдно было бы показать, что они слишком погрузились в собственные обиды и отвернулись от ребенка. Каждому будет слишком стыдно, если другой окажется лучшим родителем. Оба предполагали, что Макс будет показывать карточный фокус, которому его обучил факир на сорокалетию Джулии. Две девочки исполняли номер с чашкой на песню "Когда я уйду", и Джейкоб прошептал:

— Так иди уже.

— *Что?*

— Нет. Я о певице.

— Будь добрее.

К финалу учителя музыки и драмы общими силами подготовили подчищенную версию начала "Книги мормона" — воплощая свои мечты и одновременно демонстрируя, почему им не суждено воплотиться в жизнь. Море аплодисментов, короткая благодарность от директора, и дети потекли к выходу и по классам.

К машинам Джулия с Джейкобом возвращались в молчании. И вечером дома о школьном концерте не упоминали. Струхнул ли Макс? Не счел себя талантливым? Был его отказ от участия актом агрессии или криком о помощи? Если бы они задали любой из этих вопросов самому Макс, он напомнил бы им, что просил не ходить на концерт.

Три дня спустя Джейкоб, выждав положенный час и придя в спальню, увидел, что Джулия еще читает; он сказал: "Ой, я кое-что забыл" и поспешил прочь — не читать газету, как обычно, когда не смотрел очередную серию "Родины", жалея, как часто жалел, что Мэнди Патинкин не родился на десять лет раньше — тогда из него вышел бы отличный Ирв.

Двумя днями позже Джулия вошла в кладовую, где Джейкоб как раз проверял, не сложились ли за десять минут с его последнего заглядывания несколько сотен миллиардов атомов сами собой в какой-нибудь вредный перекусон. Джулия сразу вышла. (Не в пример Джейкобу, она не выдавала надуманных объяснений, если не хотела оставаться рядом, никогда не "забывала кое-что".) Кладовая не входила в список комнат, поделенных молчаливым соглашением, — например, комната с телевизором была территорией Джейкоба, а малая гостиная — территорией Джулии, — но в ней не нашлось бы достаточно места, чтобы находиться вдвоем.

На десятый день Джейкоб, распахнув дверь в ванную комнату, увидел за ней Джулию, обсыхающую после ванны. Она прикрылась. Он видел, как она выбирается из ванны сотни раз, видел, как из ее тела выходили три младенца. Тысячи и тысячи раз видел, как она раздевается и одевается, и дважды — в пенсильванском отельчике. Они занимались любовью во всех мыслимых позах, видели друг друга во всех деталях, во всех возможных ракурсах. "Прости", — сказал Джейкоб, не понимая, к чему относится это слово, только сознавая, что его нога почти нажала спуск мины.

А может, зацепилась за реликт давнишней битвы, который, наверное, спокойно можно осмотреть и изучить, и даже оценить.

Что, если вместо извинений и отступления он спросил бы, недавно возникла эта необходимость прикрываться или давно, но в связи с новыми обстоятельствами?

Когда оборонительные линии Роберта Ли под Петерсбергом были прорваны и эвакуация Ричмонда стала неизбежна, Джефферсон Дэвис отдал приказ вывезти из города казну конфедератов. Ее отправили поездом, а затем везли в фургоне под присмотром множества глаз и под защитой множества рук. Северяне наступали, Конфедерация дробилась, и пять тонн золотых слитков растворились без следа, хотя считается, что они где-то зарыты.

Что, если вместо извинений и отступления он подошел бы к ней, дотронулся, показал, что не только по-прежнему хочет любить ее, но и по-прежнему принимает риск быть отвергнутым?

В первый приезд Джейкоба в Израиль кузен Шломо привел родню к Куполу Скалы, куда в тот момент пускали немусульман. Джейкоба рвение мужчин на молитвенных ковриках тронуло не меньше, чем рвение евреев внизу. И даже больше, потому что здесь молецыики едва помнили себя: у Стены Плача люди просто раскачивались, здесь же они выли. Шломо объяснил: они стоят над пещерой, вырезанной в Камне Основания, а в полу этой пещеры небольшое углубление, под которым, считается, есть еще одна

пещера, часто именуемая Колодцем Душ. Именно там Авраам ответил на призыв Господа и готовился принести в жертву своего любимого сына; оттуда восшел на небо Мухаммед; там был погребен Ковчег Завета, полный разбитых и неповрежденных скрижалей. Согласно Талмуду, этот камень располагается в центре мироздания и служит крышкой бездны, в которой до сих пор бушуют воды Всемирного Потопа.

— Мы стоим над величайшим в мире археологическим памятником, которого никогда не будет, — сказал Шломо, — тут хранятся самые ценные в мире предметы и тут сходятся история и религия. Все это под землей, и человек никогда к этому не прикоснется.

Ирв твердо верил, что израильтяне должны раскопать Скалу, чем бы это ни обернулось. Это культурный, исторический и интеллектуальный долг. Но для Джейкоба эти предметы, пока их не раскопали — пока на них нельзя посмотреть, пока до них не дотронешься, — останутся фикцией. Так что лучше не вытаскивать их на свет.

Что, если вместо извинений и отступления Джейкоб подошел бы к Джулии и сорвал с нее полотенце, как поднял перед свадьбой фату, удостовераясь, что она та самая, кем себя объявила, — женщина, которую он все еще хочет?

Джейкоб старался вести разговоры с Джулией подпольно, но ей нужно было, чтобы финал их семьи был зримым и осязаемым. Она подчеркивала неизбывное уважение к Джейкобу, желание остаться друзьями, *лучшими* друзьями, и быть хорошими разведенными родителями, *лучшими*, прибегнуть к помощи посредника и не увязнуть во всем том, на что не надо тратить силы, жить неподалеку друг от друга и вместе ездить в отпуск и танцевать друг у друга на свадьбах — хотя сама клялась, что больше не выйдет замуж. Джейкоб соглашался, не веря, что хоть одно из предсказаний Джулии сбудется. Они столько всего прошли: бессонные ночи с новорожденными, прорезывание зубов, падения с детских велосипедов, физиотерапия Сэма. И эти, вероятно, пройдут.

Они могли скользить по комнатам, избегая друг друга, и в разговоре выстраивать иллюзию надежности, но никакого противостояния не могло быть, если в комнате или при разговоре присутствовал один из мальчиков. Не раз и не два Джулия, бросив взгляд на кого-нибудь из детей — Бенджи, поднявшего глаза от рисунка Одиссея перед циклопом, Макса, изучающего волоски на собственной руке, Сэма, тщательно заклепывающего наклейками отверстия на страницах скоросшивателя, — и думала: *Я не могу.*

И Джейкоб думал: *Мы не допустим.*

Дамаск

За день до того, как началось разрушение Израиля, Джулия с Сэмом второпях собирали вещи, пока водитель из "Убера" по имени Мохаммед не решил выставить им однозвездочный рейтинг, заклеив как нехалюльных пассажиров. Джейкоб собирал Бенджи, одетого пиратом, на день к бабушке.

— Ничего не забыл? — спросила Сэма Джулия.

— *Нет*, — ответил он, не в силах совершить геркулесово усилие, чтобы скрыть беспричинное раздражение.

— Не *неткай* маме, — вмешался Джейкоб, ради Джулии и ради себя. В последние две недели они не вели себя как партнеры — не от бессердечия, а просто от отсутствия необходимости делать что-то вместе. Выдавались моменты, обычно вызванные их удивленным осмыслением каких-то слов или поступков кого-то из детей, когда возникало чувство, что Джейкоб с Джулией снова в одной команде. В день, когда умер Оливер Сакс, Джейкоб немного рассказал о жизни своего кумира, описал круг его интересов, упомянул его тайную гомосексуальность и то, как он использовал леводопу^[13] для лечения кататонического ступора, и что, пожалуй, самый интересный и востребованный человек последней половины столетия больше тридцати лет соблюдал целибат.

— Целибат? — спросил Макс.

— То есть не занимался сексом.

— И что?

— То, что он всячески стремился воспринять все, что предлагает мир, но не хотел, или не мог, отдавать другим себя.

— Может, он был импотентом, — предположила Джулия.

— Нет, — ответил Джейкоб, чувствуя, как раскрывается рана, — он просто...

— ...или просто терпел.

— Я целибат, — сказал Бенджи.

— *Ты?* — переспросил Сэм. — Ты Уилт Чемберлен.

— Я не он, и я не всовывал пенис в вагину другого человека.

Такой спор о целибате казался забавным. Упоминание "вагины другого человека" казалось забавным. Но Бенджи каждые пять минут отмачивал что-нибудь: еще смешнее, еще заумнее. Это не было похоже на метафору или на нечаянную мудрость. Не задевало никаких обнаженных нервов. Но в

первый раз после находки телефона это заставило Джулию встретиться глазами с Джейкобом. И в эту секунду он понял, что они смогут все исправить.

Но пока чувство локтя между ними еще не возникло.

— *А что я сказал?* — не понял Сэм.

— Все дело в том, как ты это сказал, — ответил Джейкоб.

— Как я сказал, что я там такого сказал?

— Ва-от та-ук, — тут же передразнил Джейкоб Сэма.

— Я могу вести свою партию в разговоре с сыном, — сказала Джулия Джейкобу и спросила Сэма: — Щетку зубную не забыл?

— Конечно, он взял щетку, — вставил Джейкоб, слегка сменив регистр лояльности.

— *Черт!* — Сэм бросился вверх по лестнице.

— Он хотел, чтобы ты был с ним, — сказала Джулия.

— Нет. Сомневаюсь, что так.

Она подхватила Бенджи:

— Я буду скучать о тебе, мой мужичок.

— *Опи* говорит, что у него дома мне можно говорить плохие слова.

— У него в доме свои правила, — сказал Джейкоб.

— Ну, нет, — вмешалась Джулия.

— *Срать* или *пенис*.

— Пенис — это не плохое слово, — сказал Джейкоб.

— Сомневаюсь, что слушать такие слова от тебя понравится оми.

— Опи сказал, это до лампочки.

— Ты что-то недослышал.

— Он сказал: "*Оми* нам до лампочки".

— Он *пошутил*, — сказал Джейкоб.

— *Мудак* — плохое слово.

Сэм сбежал по ступенькам с зубной щеткой в руке.

— Парадные туфли? — спросила Джулия.

— *Бляа-а*.

— *Бля* тоже, — сказал Бенджи.

Сэм взбежал обратно к себе.

— Может, дать ему побольше свободы? — предложил Джейкоб в форме вопроса, нарочито адресованного коллективному разуму.

— Я, кажется, его не прессую.

— Ты, конечно, нет. Я просто к тому, что роль плохого полицейского в поездке мог бы взять на себя Марк. Если понадобится.

— Надеюсь, не понадобится.

— Сорок половозрелых подростков на выезде?
— Я бы не назвала Сэма *половозрелым* подростком.
— Половозрелым? — спросил Бенджи.
— Я рад, что там будет Марк, — сказал Джейкоб. — Знаешь, ты, наверное, и не помнишь, но ты кое-что о нем сказала пару недель назад, в контексте...
— Я помню.
— Мы много всего наговорили.
— Много.
— Просто хотел это сказать.
— Не очень поняла, что ты сейчас сказал.
— Вот это.
— У тебя есть возможность узнать его немного получше, — сказала Джулия без перехода.
— Макса?
— А то так и отсидитесь в своих отдельных мирах.
— У меня нет мира, так что такой проблемы не возникнет.
— Будет весело встречать завтра израильтян.
— Да ну?
— Вы с Максом будете отрядом "Америка".
Спустился Макс.
— Зачем вы про меня говорите?
— Мы не говорим про тебя, — ответил Джейкоб.
— Я говорила папе, что вам с ним надо постараться найти чем заняться вместе, пока все в разъездах.
Звякнул звонок.
— Мои пришли, — сказал Джейкоб.
— *Вместе* вместе? — шепотом спросил у Джулии Макс.
Джейкоб отворил дверь. Бенджи вывернулся из рук Джулии и бросился к Деборе.
— Оми!
— Привет, оми! — сказал Макс.
— А у меня эбола? — спросил Ирв.
— Эбола?
— Привет, опи.
— Клевый костюм Моше Даяна.
— Я *пират*.
Ирв склонился до уровня Бенджи и, наверное, великолепно — если бы кто-то знал, с чем сравнить, — изобразил голос Моше Даяна:

— Сирийцы скоро убедятся, что дорога из Дамаска в Иерусалим ведет еще и из Иерусалима в Дамаск!

— Р-р-р!

— Я написала его распорядок, — сказала Джулия Деборе, — и собрала сумку с кое-какой едой.

— Я за свою жизнь приготовила один-два миллиона обедов.

— Знаю, — сказала Джулия, стараясь ответить взаимностью на явную симпатию Деборы, — просто хотела все сделать, чтобы вам было легче.

— У меня холодильник забит всякой мороженой снедью, — сказала Дебора Бенджи.

— Вегетерьянским беконом?

— Угу.

— Бля-а-а.

— Бенджи!

Сэм сбежал по лестнице с туфлями в руках, замер, воскликнул "черт побери!" и опять развернулся.

— *Выражения!* — одернула сына Джулия.

— Папа говорит, плохих слов не бывает.

— Я сказал, их иногда плохо *употребляют*. Так и было.

— Полуночичаем сегодня? — спросил Ирв у Бенджи.

— Не знаю.

— Не слишком, — сказала Джулия Деборе.

— А завтра мы встречаем израильтян?

— Я свожу его в зоопарк, — сказала Дебора.

— Помнишь?

Ирв взялся за телефон.

— Сири, я помню, что говорит эта женщина?

Сэм сбежал по ступеням с ремнем в руках.

— Привет, парень! — окликнул его Ирв.

— Привет, опи. Привет, оми.

— С твоей небывалой речью все тип-топ?

— Я ее не писал.

— Знаешь, а я ездил сопровождающим с классом твоего отца на конференцию "Модель ООН".

— Нет, не ездил, — вмешался Джейкоб.

— Конечно, ездил.

— Поверь, не ездил.

— А, правда, — согласился Ирв, подмигивая Сэму, — это я просто вспомнил, как возил тебя в *настоящую* ООН. — И затем, шлепая себя по

руке: — Ужасный отец.

— Ты меня там *забыл*.

— Очевидно, не насовсем. — И обращаясь к Сэму: — Готов всем им там вставить?

— Наверное.

— Помни, если там будет делегат от так называемой Палестины, ты объяснишь что к чему, встанешь и выйдешь за дверь. Ты меня слышишь? Бей словом, голосуй ногами.

— Мы представляем Микронезию...

— Сири, что такое Микронезия?

— И мы, понимаешь, обсуждаем резолюции и урегулируем всякие кризисы, которые они придумывают.

— *Они* — арабы?

— Организаторы.

— Он знает, что делает, пап.

Три длинных гудка, за ними девять отрывистых частых — шеварим, теруа^[14].

— Мохаммед теряет терпение, — сказала Джулия.

— А оно никогда не было его сильной чертой, — добавил Ирв.

— Мы тоже поедем, — сказала Дебора, — у нас запланирован большой день: сказки, поделки, гуляние на природе.

— ...Поедание фруктового желе, хохот с Чарли Роузом.

— Аргус, пошли, — позвал Джейкоб.

— Я бы женился на фруктовом желе.

— Мы едем к ветеринару, — объяснил Деборе Макс.

— Все нормально, — успокоил всех Джейкоб, хотя никто и не волновался.

— Кроме того, что он по два раза на день кладет в доме, — добавил Макс.

— Он старый. Это в порядке вещей.

— А прадедушка кладет в доме два раза в день? — спросил Бенджи.

В наступившей тишине каждый мысленно признал, что поскольку они стали посещать Исаака довольно редко, совершенно нельзя исключать вероятности, что он кладет в доме два раза в день.

— А что, не все кладут в доме два раза в день? — спросил Бенджи.

— Твой брат имел в виду в доме, но не в туалете.

— У него калоприемник, — сказал Ирв, — какашки всегда с собой.

— Что за приемник? — спросил Бенджи.

Джейкоб, откашлявшись, начал:

— Кишечник у прадедушки...

— ...Как у собак пакет для дерьма, — пояснил Ирв.

— Но зачем? Он, что ли, хочет его потом съесть? — не понял Бенджи.

— Может, кто-то проводит его, пока нас не будет, — предложила Джулия. — Вы даже могли бы заехать с израильтянами по дороге из аэропорта.

— Я так и собирался сделать, — соврал Джейкоб.

Мохаммед затрубил вновь, на сей раз протяжно.

Все поспешили за дверь как один: Дебора, Ирв и Бенджи к марионеточному Пиноккио в парке Глен-Эхо; Джулия с Сэмом на школьный автобус; Джейкоб, Макс и Аргус к ветеринару. Джулия обняла Макса и Бенджи, но не обняла Джейкоба, сказав:

— Не забудь, что...

— *Поезжайте*, — ответил Джейкоб, — развлекитесь. Добейтесь мира во всем мире.

— Прочного мира, — поправила Джулия: слова сами выстроились в фразу.

— И передай Марку от меня привет. Seriously.

— Не начинай, ладно?

— Ты слышишь что-то, чего я не говорю.

Сухое "до скорого".

Спускаясь с крыльца, Бенджи крикнул:

— А если я не буду по вам скучать?

— Тогда можешь позвонить нам, — сказал Джейкоб. — Мой телефон всегда будет включен, и я в любой момент смогу быстро приехать.

— Я сказал, если *не* буду скучать?

— И что?

— Это нормально?

— Конечно, нормально, — сказала Джулия, целуя Бенджи на прощание. — Я буду очень рада, если ты так развеселишься, что о нас и не вспомнишь.

Джейкоб спустился с крыльца, чтобы уж совсем на прощание поцеловать Бенджи еще раз.

— Да и все равно, — сказал он, — скучать по нам ты будешь.

И тут в первый раз в жизни Бенджи решил не говорить, о чем он думает.

Сторона, повернутая прочь

По дороге они заехали в "Макдоналдс". Таков был ритуал поездки к ветеринару: Джейкоб положил ему начало, послушав подкаст о лос-анджелесском приюте, где усыпляют больше собак, чем в любом другом приюте Америки. Женщина, владеющая им, делала это только лично, до десятка животных в день и больше. Она каждую собаку звала по имени, каждую выгуливала столько, сколько та могла выгуливаться, разговаривала с ними, гладила и, как последнюю ласку перед иглой, каждую угощала макнаггетсами. Она говорила, что "о таком последнем угощении они бы и сами просили".

В последние пару лет Аргуса показывали ветеринару по поводу болей в суставах, помутнения глаз, жировиков на животе и недержания. Это не были признаки скорого конца, но Джейкоб знал, как Аргус нервничает в кабинете ветеринара, и чувствовал, что должен чем-то вознаградить старика и заодно создать у него положительную ассоциацию с клиникой. Выбрал бы Аргус эту еду как последнее угощение или нет, но он стремительно нападал на макнаггетсы и большую часть проглатывал целиком. Сколько он был членом семьи Блох, дважды в день, без всяких вариантов, ел "Ньюманс аун". (Джулия ревностно запрещала давать ему что-то со стола, поскольку они "превратят Аргуса в попрошайку".) Макнаггетсы неизменно вызывали у него понос, иногда и рвоту. Но обычно это не продолжалось дольше нескольких часов, и можно было подгадать это время под прогулку в парке. И оно того стоило.

Себе и Максу Джейкоб тоже купил макнаггетсы. Дома мяса они почти не ели — тоже решение Джулии, — а фастфуд в списке табу стоял следующим после каннибализма. Ни Макс, ни Джейкоб не скучали по макнаггетсам, но совместное приобщение чему-то, не одобренному Джулией, как бы спланивало. Они остановились у парка Форт-Рено и устроили импровизированный пикник. Аргус вполне привязан к хозяевам и вполне вял, его можно отпускать с поводка. Тот глотал наггетсы один за другим, а Макс гладил его, приговаривая: "Ты хороший пес, хороший, хороший".

Каким бы жалким это ни показалось, Джейкоб ревновал. Жесткие — пусть точные и заслуженные — слова Джулии не отпускали его. Он то и дело вспоминал ее реплику: "Я не верю, что ты вообще тут". Фраза из первой ссоры по поводу телефона, когда было сказано много всего обиднее

и острее, и другой человек, наверное, возвращался бы мыслями к другим моментам того разговора. Но в мыслях Джейкоба повторялось эхом именно это: "Не верю, что ты вообще тут".

— Я сюда частенько приходил в молодости, — сказал Джейкоб Макс. — Мы катались на санках с того бугра.

— Кто *мы*?

— Обычно с друзьями. Дедушка тоже водил меня сюда пару раз, но я этого не помню. А летом я ходил сюда играть в бейсбол.

— За команду? Или так, сам развлекался?

— Обычно так. Всегда трудно было собрать миньян. Иногда. Разве что в последний день школы перед каникулами.

— Хороший пес, Аргус. Такой хороший.

— Когда я стал постарше, мы покупали пиво в Тенлитауне, вон там. Нас никогда не палили.

— Как это?

— Покупать пиво разрешено только после двадцати одного года, и обычно в магазинах спрашивают документы, например, права, проверяют возраст. В этом магазине никогда не проверяли. Поэтому мы все там и покупали.

— Вы нарушали закон.

— Тогда было другое время. И ты знаешь, что говорил Мартин Лютер Кинг о справедливых и несправедливых законах.

— Я не знаю.

— В общем, покупать пиво — это была наша моральная ответственность.

— Хороший Аргус.

— Я шучу, конечно. Покупать пиво до установленного возраста нехорошо, и пожалуйста, не говори маме, что я тебе рассказал эту историю.

— Хорошо.

— Ты знаешь, что такое миньян?

— Нет.

— Чего же не спросил?

— Не знаю.

— Это десять мужчин старше тринадцати лет. Столько нужно, чтобы молитва в синагоге зачлась.

— Смахивает на сексизм и эйджизм.

— И то и то, конечно, — подтвердил Джейкоб, срывая травинку. — А "Фугази" каждое лето давали здесь бесплатный концерт.

— А фугази это что?

— Всего лишь величайшая группа всех времен и народов с любой точки зрения. Музыка у них была супер. И кредо супер. Они были вообще супер.

— Что такое кредо?

— Путеводная вера.

— И какое кредо у них было?

— Не обдирать поклонников, не терпеть насилия на концертах, не записывать видео, не торговать сувенирами. *Делать* музыку с антикорпоративным, антимизогинистским, классово острым посланием, притом такую, чтобы продирала.

— Ты хороший пес.

— Наверное, пора ехать.

— Мое кредо: "Найди свет в прекрасном море и будь счастлив".

— Отличное кредо, Макс.

— Это строчка из песни Рианны.

— Что ж, Рианна умница.

— Песню написала не она.

— Ну, тогда тот, кто написал.

— Сия.

— Значит, Сия умница.

— И это я вообще-то пошутил.

— Ага.

— А твое?

— Что?

— Кредо.

— Не обдирать поклонников, не терпеть насилия на концертах.

— Нет, серьезно.

Джейкоб рассмеялся.

— Серьезно, — повторил Макс.

— Дай мне подумать.

— Вот это, пожалуй, твое кредо.

— Это кредо Гамлета. Гамлета же знаешь, да?

— Мне десять, я не зародыш.

— Извини.

— К тому же Сэм его читал на занятии.

— Интересно, где сейчас "Фугази". Интересно, все такие же идеалисты, что бы они теперь ни делали?

— Ты хороший, Аргус.

В ветеринарной лечебнице их проводили в смотровую комнату в

глубине здания.

— Странно, но все тут напоминает мне дом прадедушки.

— Да уж, странно.

— Все снимки собак вроде как похожи на мои, Сэма и Бенджи фотки.

А чаша с печеньками как его миска с карамельками.

— А пахнет тут...

— Чем?

— Да ничем.

— Чем?

— Я хотел сказать "смертью", но подумал, что это не очень приятно слышать, и попытался оставить при себе.

— А как пахнет смерть?

— Как вот тут.

— Но как ты это можешь знать?

Джейкобу не приходилось нюхать мертвецов. Его бабки и дед умерли либо еще до его рождения, либо пока он был слишком мал и его щадили. Никто из его коллег или друзей, бывших коллег или бывших друзей не умирал. Иной раз Джейкоб удивлялся, как он умудрился прожить сорок два года, ни разу не столкнувшись ни с чьей смертью. И за этим удивлением всегда приходил страх, что статистика наверстает свое на нем, обрушив на него сразу множество смертей. А он не будет к этому готов.

Приема дожидались полчаса, и Макс то и дело скармливал Аргусу собачьи печеньюшки.

— Они могут плохо сочетаться с наггетсами, — предупредил Джейкоб.

— Хороший. Хороший пес.

Аргус приоткрывал другую сторону натуры Макса, обычно невидимую: его нежность или ранимость. Джейкоб вспомнил день, проведенный с отцом в Национальном музее естественной истории, когда сам он был в возрасте Макса. У него было так мало воспоминаний о времени, проведенном с отцом: Ирв допоздна засиживался на работе в журнале, а когда не писал, то преподавал, а когда не преподавал, то общался с важными людьми, чтобы подтвердить собственную значимость, и тот день Джейкоб запомнил.

Они стояли перед диорамой. Бизон.

— Красиво, — сказал Ирв. — Правда?

— Очень красиво, — ответил Джейкоб, тронутый, даже потрясенный величием животного, его самодостаточностью.

— И тут ничто не случайно, — сказал Ирв.

— В смысле?

— Очень постарались сделать все, как в природе. В этом смысл. Но они могли бы выбрать тысячи других вариантов, так ведь? Этот бизон мог бы скакать, а не стоять неподвижно. Мог бы драться, или охотиться, или пастись. Их могло быть здесь два. На загровке у него могла бы сидеть какая-нибудь пичужка. Да что угодно.

Джейкобу нравилось, когда отец чему-то его учил. Это как-то опьяняло и расслабляло. И подтверждало, что Джейкоб — важная фигура в жизни его отца.

— Но не всегда есть свобода выбора, — сказал Ирв.

— Почему?

— Вот им, например, нужно было спрятать то, из-за чего животные оказались здесь.

— О чем ты?

— Как думаешь, откуда эти животные взялись?

— Из Африки или еще откуда-то?

— Но как они попали в витрины? Думаешь, сами решили стать чучелами? Или ученым повезло найти их тела на дороге?

— Вряд ли я знаю.

— На них охотились.

— Правда?

— А на охоте не бывает чистенько.

— Не бывает?

— Никогда не добудешь того, что не хочет быть добыто, не подняв пыль.

— О...

— Пули проделывают дыры, нередко большие. То же и стрелы. А завалить бизона маленькой дырочки не хватит.

— Наверное, нет.

— И когда животных ставят в витрине, то поворачивают их дырами, брешами и разрезами от зрителя. Дыры видят только животные, нарисованные на стенке. Но если знать, что они там есть, это все меняет.

Однажды, выслушав жалобу Джейкоба на какие-то нападки со стороны Джулии, доктор Силверс сказал ему:

— Люди, как правило, ведут себя скверно, если обижены. Если можешь вспомнить нанесенные обиды, то такое поведение гораздо легче им простить.

В тот вечер Джулия была в ванной, когда Джейкоб пришел домой. Он попытался — тихим стуком, окликом и нарочито громким шарканьем — заявить о своем присутствии, но вода шумела слишком громко, и,

распахнув дверь, он испугал Джулию. Выдохнув и посмеявшись своему страху, она устроилась подбородком на бортике ванны. Они вместе слушали воду. Раковина, поднесенная к уху, становится резонатором для твоей кровеносной системы. Море, которое ты слышишь, — это твоя собственная кровь. А ванная тем вечером стала резонатором их общей жизни. А позади Джулии, там, где должны были висеть полотенца и халаты, Джейкобу виделся написанный красками пейзаж: поле, навечно занятое школой, футбольная площадка, прилавок здоровой пищи (ряды пластиковых контейнеров, наполненных нарисованным колотым горохом, бурым рисом, сушеным манго и чищенным кешью), "субару" и "вольво", дом, их дом, и сквозь окно второго этажа было видно комнату, так миниатюрно и точно выписанную, как это мог сделать только большой мастер, и на столе в этой комнате, которая стала ее кабинетом, когда пропала нужда в детской, стояла архитектурная модель, дом, и в том доме, что стоял в другом доме в доме, где происходила жизнь, находилась женщина, аккуратно там помещенная.

Наконец пришел ветеринар. Совсем не такой, какого Джейкоб ожидал или надеялся увидеть, — например, мягкого, обходительного старичка. Во-первых, это была женщина. В представлении Джейкоба ветеринары были вроде пилотов: практически без исключения мужчины, седые (или седеющие) и внушающие спокойствие. Во-вторых, доктор Шеллинг казалась слишком молодой, чтобы угощать Джейкоба в баре — не то чтобы такая ситуация могла когда-либо возникнуть, — подтянутой и строгой, а халат на ней сидел, будто кроенный по мерке.

— Что вас к нам привело? — спросила она, листая карточку Аргуса.

Видел ли Макс то, что видел Джейкоб? Или он был еще мал, чтобы обратить внимание? Чтобы смутиться?

— У него кое-какие трудности, — начал Джейкоб, — наверное, обычное дело для собак такого возраста: недержание, не все ладно с суставами. Наш прежний ветеринар — доктор Хэйзел из "Царства животных" — выписал ему римадил и косеквин и сказал, что нужно изменить дозировку, если не будет улучшений. Улучшений не было, дозу мы удвоили и добавили таблетки от деменции, но все осталось по-прежнему. Я подумал, нам нужно мнение другого специалиста.

— Хорошо, — сказала она, откладывая планшет с карточкой. — А есть у этого пса имя?

— Аргус, — ответил Макс.

— Отличное имя, — сказала ветеринар, опускаясь на колено.

Она взяла Аргуса за щеки и заглянула ему в глаза, глядя по голове.

— У него болит, — сказал Макс.

— У него иногда бывает дискомфорт, — уточнил Джейкоб, — но не постоянно, и это не боль.

— Болит у тебя? — спросила доктор Шеллинг у Аргуса.

— Он скулит, когда ложится и встает, — сообщил Макс.

— Да, это плохой знак.

— Но он также скулит, если мы роняем мало попкорна в кино, — сказал Джейкоб. — Он универсальный скулильщик!

— Можете назвать еще случаи, когда он скулит от дискомфорта?

— Ну вот, почти всегда он скулит, если просит есть или гулять. Но это не боль и даже не дискомфорт. Просто желание.

— Он скулит, когда вы с мамой ругаетесь.

— Это мама скулит, — сказал Джейкоб, пытаясь как-то уменьшить стыд, который ощутил перед девушкой-ветеринаром.

— Он достаточно гуляет? — спросила доктор Шеллинг. — Он не должен скулить, когда просится на прогулку.

— Он постоянно гуляет, — сказал Джейкоб.

— Три раза в день, — уточнил Макс.

— Собаке в его возрасте нужно пять прогулок. Как минимум.

— Пять раз в день? — переспросил Джейкоб.

— А боль, которую вы замечаете... Давно это у него?

— Дискомфорт, — поправил Джейкоб. — *Боль* — слишком сильное слово.

— Уже давно, — сказал Макс.

— Не так уж давно. Может, с полгода?

— Она усилилась в последние полгода, — сказал Макс, — но скулит он с тех пор, как Бенджи было... ну, три года.

— То же можно сказать про Бенджи.

Доктор еще несколько секунд посмотрела Аргусу в глаза, на сей раз молча. Джейкоб хотел бы, чтобы она так посмотрела на него.

— Ладно, — сказала доктор. — Измерим температуру, я проверю жизненно важные органы, и если окажется в норме, возьмем кровь на анализ.

Она вынула термометр из стеклянной подставки на стойке, выдавила на него немного вазелина и встала позади Аргуса. Вздвинуло ли это Джейкоба? Удручило ли? Это его удручило. Но почему? Из-за Аргуса, готового вытерпеть что угодно? И тем напоминавшего Джейкобу о его собственном нежелании или неспособности обозначать дискомфорт? Нет, причина была в докторе — ее прекрасная юность (казалось, во время

приема она только молодела), и больше того — ее мягкая заботливость. Она разбудила у Джейкоба фантазии, но не о постельном приключении. И даже не о том, как она вводит свечу. Он представил, как она прижимает к его груди стетоскоп; ее пальцы, мягко ощупывающие ему железы; как она сгибает и разгибает ему руки и ноги, определяя разницу между дискомфортом и болью: тщательно, невозмутимо и неотрывно, будто медвежатник, вскрывающий сейф.

Макс встал на одно колено и заглянул Аргусу в глаза:

— А вот и мой малыш. Смотри на меня. Вот так, малыш.

— Вот, — сказала доктор, вынимая термометр. — Чуть повышенная, но в пределах нормы.

Затем она ощупала тело Аргуса, заглянула в уши, отогнула губу посмотреть зубы и десны, надавила на живот, покрутила ему бедро, пока он не заскулил.

— Эта нога чувствительна.

— У него оба бедра заменены, — сказал Макс.

— Полная замена сустава?

Джейкоб молча пожал плечами.

— На левом была остеотомия головки бедра, — сказал Макс.

— Необычное решение.

— Да, — продолжил Макс, — он едва проходил по весу, и доктор решил, что можно его не подвергать полной замене сустава. Но это было ошибкой.

— Похоже, ты ничего не упустил.

— Он мой пес, — сказал Макс.

— Ладно, — кивнула доктор, — он определенно ощущает некоторую болезненность. Вероятно, у него небольшой артрит.

— И он примерно год какает в доме, — добавил Макс.

— Не год, — поправил Джейкоб.

— Помнишь пижамную вечеринку у Сэма?

— Да, но тогда это было необычно. Постоянной проблемой это стало только через несколько месяцев.

— А мочится он тоже в доме?

— Обычно только испражняется, — ответил Джейкоб, — но в последнее время нет-нет и обмочится.

— А он еще приседает, чтобы испражняться? Часто здесь виноват артрит, а не какие-нибудь кишечные или ректальные расстройства — собака больше не может принимать нужную позу и делает это на ходу.

— Он часто делает на ходу, — сказал Джейкоб.

— Но иногда делает на кровати, — добавил Макс.

— Как будто не понимает, что испражняется, — пояснила доктор Шеллинг, — или просто не может удержать.

— Точно, — сказал Макс. — Я не знаю, могут собаки стыдиться или расстраиваться, но вот...

Джейкоб получил сообщение от Джулии: "Добрались до отеля".

— Этого нам не узнать, — сказала доктор, — но тут уж точно ничего приятного нет.

И все? — подумал Джейкоб. *Добрались до отеля?* Как сообщение неприятному сослуживцу или соблюдение предписанной законом обязанности. А затем он подумал: *Почему она всегда дает мне так мало?* И эта мысль его удивила: не только моментальный прилив гнева, на котором она принеслась, но то, насколько удобной она показалась, — и это слово *всегда* — несмотря на то, что до сих пор он так никогда не думал. *Почему она всегда дает мне так мало?* Так мало доверия. Так мало комплиментов. Такое редкое признание удач. Когда в последний раз она не задушила смешок от его шутки? Когда последний раз просила почитать, над чем он работает? Когда последний раз затевала игру в постели? Так мало для жизни. Он поступал дурно, но это лишь после десятилетия страданий от ран, нанесенных стрелами, слишком тупыми, чтобы прикончить сразу.

Джейкоб часто вспоминал ту работу Энди Голдсуорти^[15], ради которой художник пластом лежал на земле в грозу, пока она не пролетела. И когда он поднялся, на земле остался его сухой силуэт. Как меловой контур жертвы преступления. Как неисклотый круг после игры в дартс.

— Он по-прежнему с удовольствием гуляет в парке, — сказал Джейкоб доктору.

— Что-что?

— Я говорю, он по-прежнему с удовольствием гуляет в парке.

И на этом, казалось бы, *non sequitur*^[16] разговор повернулся на 180 градусов, перешел в другую плоскость.

— Иногда гуляет, — сказал Макс, — но в основном просто лежит. И ему так трудно дома ходить по лестнице.

— На днях он бегал.

— Ага, а потом хромал дня три подряд.

— Послушай, — начал Джейкоб, — всем ясно, что качество его жизни падает. Ясно, что он уже не тот пес, каким был раньше. Но и сейчас его жизнь вовсе не так плоха.

— Кто это говорит?
— Собаки не хотят умирать.
— Прадедушка хочет.
— Ну-ка, погоди. Что ты сейчас сказал?
— Прадедушка хочет умереть, — сообщил Макс как бы между прочим.

— Прадедушка не собака. — Полная дикость этого комментария поползла вверх по стенам. Джейкоб попытался смягчить его очевидной поправкой: — И он не хочет умирать.

— Кто это говорит?
— Оставить вас ненадолго? — спросила доктор, сложив руки на груди и сделав шаг к двери, даже не повернувшись к ней лицом.

— У прадедушки есть надежды на будущее, — сказал Джейкоб, — например, увидеть бар-мицву Сэма. И он радуется воспоминаниям.

— Как и Аргус.
— Ты думаешь, Аргус ждет бар-мицвы Сэма?
— Никто не ждет бар-мицвы Сэма.
— Прадедушка ждет.
— Кто это говорит?
— Собакам доступны все виды самых утонченных удовольствий жизни, — сказала доктор Шеллинг. — Полежать на солнышке. Полакомиться время от времени вкусной едой со стола хозяина. Трудно сказать, насколько их ментальный опыт заходит дальше этого. Нам остается только предполагать.

— Аргус чувствует, что мы его забросили, — сказал Макс, объявив свое мнение.

— Забросили?
— Как прадедушку.
Джейкоб вымученно улыбнулся доктору и сказал:
— Кто говорит, что прадедушка чувствует себя заброшенным?
— Он сам.
— Когда?
— Когда мы с ним говорим.
— А когда это бывает?
— Когда мы созваниваемся в скайпе.
— Он это не всерьез.
— Ну, а как ты поймешь, что Аргус имеет это в виду, когда скулит?
— Собаки не могут ничего иметь в виду.
— Скажите ему, — обратился Макс к доктору.

- Сказать ему что?
- Скажите ему, что Аргуса надо усыпить.
- О... Это не мне решать. Это очень личное.
- Ладно, но если вы думаете, что его не надо усыплять, вы бы уже сказали, что его не надо усыплять.
- Макс, он бегают в парке. Он смотрит фильмы на диване.
- Скажите ему, — попросил Макс ветеринара.
- Моя работа — лечить Аргуса, помогать сохранить его здоровье, а не давать советы по поводу эвтаназии.
- Другими словами, вы со мной согласны.
- Макс, она этого не сказала.
- Я этого не сказала.
- Вы считаете, моего прадедушку нужно усыпить?
- Нет, — ответила доктор, мгновенно пожалев, что своим ответом признала правомерность такого вопроса.
- Скажите ему.
- Сказать что?
- Скажите, вы считаете, что Аргуса надо усыпить.
- Я правда не должна такого говорить.
- Видишь? — сказал Макс отцу.
- Макс, ты понимаешь, что Аргус сейчас в этой комнате?
- Он не понимает.
- Конечно, понимает.
- Погоди-ка. Ты думаешь, Аргус понимает, а прадедушка нет?
- Прадедушка понимает.
- Правда?
- Да.
- Тогда ты чудовище.
- Макс...
- Скажите ему.

Аргус изрыгнул к ногам доктора с десяток практически целеньких наггетсов.

— А как тут моют стекла? — спросил Джейкоб у отца тремя десятками лет раньше.

Ирв посмотрел озадаченно и предположил:

— Стеклоочистителем?

— В смысле, с той стороны. Туда ведь не подойдешь. Сломаешь все, что там сделано.

— Но если никто не ходит, оно просто остается чистым.

— Не остается, — возразил Джейкоб. — Помнишь, мы вернулись из Израиля и все было в грязи? Хотя никого не было три недели? Помнишь, как мы писали наши имена ивритом на пыльных окнах?

— Дом не герметичная система.

— Герметичная.

— Не настолько герметичная, как диорама.

— Насолько.

Только одно Ирв любил больше, чем учить Джейкоба, — это когда тот его оспаривал, демонстрируя все признаки того, что однажды превзойдет отца.

— Может, поэтому стекло повернули той стороной от нас, — сказал он, улыбаясь и ероша пальцами волосы сына, которые со временем, отрастая, могли бы скрыть пальцы Ирва полностью.

— Не думаю, что со стеклом так можно.

— Нет?

— Нельзя скрыть его другую сторону.

— А с животными можно?

— Что ты имеешь в виду?

— Посмотри на морду этого бизона.

— И что?

— Повнимательнее.

Нет еще

Сэм с Билли сидели в хвосте автобуса, через несколько пустых рядов от остальных.

— Хочу тебе кое-что показать, — сказала Билли.

— Давай.

— На твоём айпаде.

— Я оставил его дома.

— Серьезно?

— Мама заставила, — пояснил Сэм, жалея, что не выдумал объяснения посерьезнее такого детского лепета. — Статью какую-нибудь прочла или еще чего?

— Она хочет, чтобы в поездке я был типа "с нами".

— Кто расходует десять галлонов бензина, не трогаясь с места?

— Кто?

— Буддистский монах.

Сэм посмеялся, не понимая шутки.

— А ты видел ролик, где аллигатор кусает электрического угря?

— Ага, охуительно.

Билли вынула обычный, нелепее, чем взрослый на мопеде, планшет, подаренный родителями на Рождество, и стала что-то писать.

— А видел ведущего погоды со стояком?

Они посмотрели вместе и посмеялись.

— Самый приколы, когда он говорит: "Наблюдаем подъем".

Билли загрузила новое видео.

— Гляди, сифилис у морской свинки.

— По-моему, это хомяк.

— Ты за деревьями не видишь язвы на гениталиях.

— Ужасно, я ворчу, как мой папаша, но не дурдом ли, что нам открыт доступ ко всей этой херне?

— Это не дурдом. Это наш мир.

— Ну, тогда не дурдом ли этот мир?

— Не может быть по определению. Дурдом — это про других.

— Мне правда очень нравится, как ты рассуждаешь.

— Мне правда очень нравится, что ты это говоришь.

— Это не я говорю: это правда.

— И еще одно: мне правда очень нравится, что ты не можешь себя

заставить сказать слово на букву "л", потому что боишься, как бы я не решила, будто ты говоришь такое, чего ты на самом деле не говоришь.

— А?

— Очень, очень, *очень* нравится.

Он ее любил.

Она перевела планшет в кому и сказала:

— *Эмет хи ашекер а-това бейотер.*

— Это что?

— Иврит.

— Ты говоришь на иврите?

— Как ответил Франц Розенцвейг на вопрос, религиозен ли он: "Еще нет". Но я подумала, что одному из нас следовало бы немного просветиться в честь твоей бар-мицвы.

— Какой Франц? И погоди, а что значит-то?

— Правда — это самая надежная ложь.

— А, ладно: *Аната ва субете о рикай сите иру баай ва, гокай суру хитсуё га аримасу.*

— И что это должно означать?

— "Если ты все понимаешь, значит, ты плохо информирован". Японский вроде. Это был эпиграф к игре "Зов Долга: Секретные операции".

— Ага, я японский изучаю по четвергам. Просто не поняла твое произношение.

Сэму захотелось показать ей новую синагогу, над которой он работал две последние недели. Он гадал, была ли эта работа лучшим выражением всего лучшего в нем, и гадал, могла ли бы она понравиться Билли.

Автобус остановился у "Вашингтон Хилтон" — отеля, где теоретически через две недели должен был пройти прием по случаю бар-мицвы Сэма, если из него выжмут извинения, — и дети, выйдя из него, рассыпались по площадке.

В фойе висел большой баннер: "Добро пожаловать на конференцию "Модель ООН-2016"". В углу были свалены несколько десятков чемоданов и сумок, почти в каждой лежало то, чего там быть не должно было. Пока Марк пытался пересчитать детей по головам, Сэм отвел в сторонку мать:

— Когда будешь говорить, не раздувай, пожалуйста, ладно?

— Не раздувать что?

— Да ничего. Просто не раздувай.

— Ты боишься, что будешь за меня краснеть?

— Да. Ты заставила меня сказать.

— Сэм, мы сюда приехали зажечь...

— Не говори *зажечь*.

— ...И меньше всего мне хочется, чтобы было тоскливо.

— И *тоскливо*.

Марк показал Джулии большой палец, и она начала говорить:

— Могу я попросить минуту внимания?

Никто и ухом не повел.

— Йу-хху!

— И йу-хху, — прошептал Сэм, ни к кому не обращаясь.

Марк пустил в ход баритон, превращая бубенчики танцовщицы в китайские наддверные колокольцы.

— Закрыли рты, смотрим сюда, *быстро!*

Дети притихли.

— Отлично, — сказала Джулия. — Как вы, наверное, знаете, я мама Сэма. Он просил меня не раздувать, поэтому я сразу перехожу к делу. Во-первых, хочу сказать, что я просто балдею, как классно мне быть здесь с вами.

Сэм закрыл глаза, приказывая себе выключить реальность.

— Нам предстоит интересное, трудное и захватывающее дело.

Она увидела, что Сэм закрыл глаза, но не могла понять, что такого сделала.

— Итак... кое-какие бытовые мелочи, прежде чем я раздам ключи, которые, как я понимаю, не ключи, а карточки, но мы будем называть их ключами. Вы убедитесь, что я очень спокойный человек. Но спокойствие — это улица с двусторонним движением. Я понимаю, что вы приехали сюда наслаждаться жизнью, но не забывайте, что вы еще и представляете нашу Джорджтаунскую среднюю школу, не говоря уж про нашу островную родину, Федеративные Штаты Микронезии!

Она подождала аплодисментов. Или чего-нибудь. Билли вспугнула тишину одиноким хлопком, и тут же неловкость горячей картошкой обожгла ей ладони.

Джулия продолжила:

— Значит, я уверена, никому не нужно напоминать, что никаких легких наркотиков никто не употребляет.

Сэм потерял власть над мышцами шеи, его голова склонилась к груди.

— Если вам что-то выписал врач, это, конечно, допустимо, но только если вы не принимаете лекарство как допинг и не злоупотребляете им. Дальше: я понимаю, что большинству из вас нет и тринадцати, но я хочу еще затронуть вопрос о сексуальных отношениях.

Сэм отошел в сторону. Билли последовала его примеру.

Марк, видя, к чему все клонится, вмешался:

— Полагаю, основная мысль, которую хочет донести миссис Блох, — не делайте ничего такого, о чем вы не хотите, чтобы мы сообщили вашим родителям. Потому что я расскажу об этом вашим родителям, и тогда вам точно не поздоровится. Понятно?

Школьники закивали.

— Курт Кобейн вышиб себе мозги из-за кого-то вроде моей матери, — прошептал Сэм Билли.

— Ты к ней слишком строг.

— Неужели?

Раздавая карточки-ключи, Марк объявил:

— Отнесите вещи, распакуйтесь, телевизор не включайте и не прикасайтесь к мини-бару. Встречаемся в моем номере, одиннадцать — двадцать четыре, ровно в два. У кого с собой гаджеты, запишите: одиннадцать — двадцать четыре, в два. Нет гаджета, попробуйте использовать мозг. Теперь, как умные и целеустремленные молодые люди, вы используете это время, чтобы еще раз изучить установочные документы и четко отработать на вечерней мини-сессии. У вас есть номер моего мобильного на случай, и только на тот случай, если стрясется что-то неожиданное. Знайте, что я вездесущ. Иначе говоря, даже если меня нет рядом, я все вижу и слышу. До встречи.

Разобрав карточки, дети разбежались по комнатам.

— И тебе, — сказал Марк, протягивая карточку Джулии.

— Президентский люкс, я полагаю?

— Точно. Но боюсь, президента Микронезии.

— Спасибо, что выручил.

— Спасибо, что выставила меня крутым перцем.

Джулия рассмеялась.

— Не хочешь хлопнуть стаканчик? — спросил Марк.

— Серьезно? Прямо стаканчик-стаканчик?

— Питевой релаксант. Ага.

— Мне надо узнать, как там у стариков Джейкоба. Они забрали Бенджи на выходные.

— Миленько.

— А то вернется латентным Меиром Кахане в фазе формирования.

— А?

— Он был оголтелым правым...

— Тебе нужно прямо стаканчик-стаканчик.

И внезапно не осталось никаких организационных задач для решения, никакой пустой болтовни, а только подползающая тень их разговора в злосчастной мебельной галерее, и все то, что Джулия знала, но не стала бы ни с кем делить.

— Ну иди звони.

— Да это пять минут, не больше.

— Ну, сколько бы ни было. Напиши мне, как будешь готова, и встретимся в баре. Времени у нас навалом.

— Не слишком рано для выпивки?

— В истории тысячелетия?

— По времени дня.

— В твоей жизни?

— По времени дня, Марк. Ты уже опьянен своим холостячеством.

— Пьяный человек не сказал бы тебе, что холостяком называется тот, кто никогда не был женат.

— Ты опьянен своей свободой.

— Ты имеешь в виду одиночество?

— Я попыталась сказать твоими словами.

— Я опьянен своей новой трезвостью.

Джулия считала, что она проницательнее многих, когда речь идет о мотивах других людей, но тут не могла разобрать, что делает Марк. Заигрывает с женщиной, которую хочет? Ободряет человека, которому сочувствует? Невинно дурачится? А что делает она? Любые угрызения совести, которые она могла бы испытать по поводу флирта, теперь были столь далеко за горизонтом, что полностью пропали из виду. Если на то пошло, ей было жаль, что Джейкоб этого не видит.

У них была своя система тайных знаков, секретного обмена сообщениями: при младших детях говорить беззвучно, при Исааке шепотом, писать друг другу записки о содержании текущего телефонного разговора, жесты и гримасы, естественно сформировавшиеся за годы. Например, в кабинете рава Зингера Джулия потерла бровь двумя пальцами и слегка покачала головой, одновременно раздувая ноздри, что означало: *смирись*. Они умели найти способ понять друг друга, несмотря на все барьеры. Но им нужны были барьеры.

Ее мысли метнулись в другую сторону: Джейкоб однажды усадил Сэма слушать подкаст о почтовых птицах в Первую мировую войну, и тема захватила воображение мальчика — он попросил на день рождения домашнего голубя. Умиленная оригинальностью просьбы и, как всегда, стремясь не только сделать все ради благополучия детей, но и показать, что

она все ради этого делает, Джулия отнеслась к просьбе серьезно.

— Они прекрасно живут в доме, — сообщил Сэм. — Есть такие.

— В доме?

— Да. Нужна большая клетка, но...

— А как же Аргус?

— ...Немного дрессировки...

— Отличное слово.

— Мам. Немного дрессировки, и они прекрасно подружатся. А когда...

— А как быть с пометом?

— Они носят голубиные трусы. Ну, фактически подгузники. Меняешь раз в три часа.

— Ну, совсем никаких проблем.

— Я бы мог менять.

— Ты уходишь в школу дольше, чем на три часа.

— Мам, это будет так весело! — воскликнул Сэм, вскидывая кулаки в той манере, которая однажды заставила Джейкоба задуматься, а нет ли у мальчика синдрома Аспергера в легкой форме. — Мы могли бы брать его в парк, или в школу, или к бабушке, да хоть куда, прицепить к его ошейнику записку, и он доставит ее прямо домой.

— А могу я спросить, что тут веселого?

— Серьезно?

— Объясни своими словами.

— Если это не понятно, то я не знаю, как можно объяснить.

— А трудно их обучать?

— Легче легкого. В принципе, нужно просто устроить ему классный дом, и он будет охотно туда возвращаться.

— А что такое для них классный дом?

— Ну, он просторный, светлый и окружен сеткой, мелкой: чтобы голубь не мог просунуть сквозь нее голову и застрять.

— Как-то не очень весело.

— А пол выстилается дерном, который регулярно меняют. И ставят ванночку, которую надо регулярно мыть.

— Ага.

— Ну и всякие вкусные угощения типа цикория, ягод, гречки, льняного семени, пророщенной золотистой фасоли, вики.

— Вики?

— Не знаю, я это читал.

— Ну а просторная клетка, это какая?

— Совсем классно будет шесть на девять.

— Шесть на девять чего?
— Футов. Шесть футов в длину и в ширину, девять в высоту.
— И где мы поставим такую просторную клетку?
— В моей комнате.
— Придется поднимать потолок.
— А это разве возможно?
— Нет.
— Ну, тогда она может быть чуть пониже, но все равно хорошая.
— А если ему не понравится его дом?
— Понравится.
— Но если нет?
— Мам, ему *понравится*, потому что я буду делать все, что надо делать, чтобы получился отличный дом, который голубь полюбит.
— Я просто спрашиваю, что, если нет.
— *Мам.*
— Я не могу задать вопрос?
— Наверное, он тогда не возвращается. Так? Улетает и остается летать.

Прошла всего неделя, и Сэм забыл о существовании почтовых голубей — он узнал, что на свете существуют ружья "Нерф", — но Джулия не забыла, как он тогда сказал: *Улетает и остается летать.*

— Почему бы нет? — сказала она Марку, жалея, что рядом нет подходящей поверхности, чтобы постучать костяшками пальцев. — Давай хлопнем стаканчик-стаканчик.

— Всего один?

— А пожалуй, ты прав, — ответила она, поправляя перышки перед полетом, который проверит ее клетку на удобство. — Для этого уже поздно.

Иная жизнь другого человека

Прошло больше восьми часов с тех пор, как они в молчании приехали от ветеринара, четырьмя девятью минут избегания друг друга в одном доме. Продукты были, но возиться у плиты не хотелось, поэтому Джейкоб разогрел в микроволновке буррито. Выложил дюжину морковок-младенцев, не имевших ни шанса быть съеденными, и основательный ком хумуса, чтобы Джулия, вернувшись, увидела — из контейнера взяли немало. С подносом он отправился к Макс, постучал в дверь и вошел.

— Я не сказал, что можно войти.

— Я не спрашивал разрешения. Просто даю тебе время выдернуть пальцы из носа.

Макс сунул палец в нос. Джейкоб опустил тарелку на письменный стол.

— Чего поделываем?

— Ничего не поделываем, — ответил Макс, переворачивая планшет экраном вниз.

— Серьезно, что?

— Серьезно, ничего.

— Ну, грязное видео? Или покупаешь вещи моей кредиткой?

— Нет.

— Ищешь рецепты эвтаназии в домашних условиях?

— Не смешно вообще.

— Что тогда?

— "Иная жизнь".

— Не знал, что ты в нее играешь.

— В нее никто не играет.

— Ладно. Не знал, что ты ею *занимаешься*.

— Вообще-то я — нет. Сэм не дает.

— Но кот за порог...

— Ну, вроде.

— Я тебя не спалю.

— Спасибо.

— Ты все понимаешь? Кот за порог? Не спалю?

— Конечно.

— Но что там вообще? Это игра?

— Нет, не игра.

— Нет?

— Это сообщество.

— Ага, я этого не знал, — сказал Джейкоб, не в силах не включить самый уничижительный тон.

— Да, — сказал Макс, — ты не знал.

— Ну, а не похоже это больше — как я, во всяком случае, понимаю — на сборище людей, которые вносят ежемесячный членский взнос, чтобы собираться и вместе исследовать, ну, я не знаю, какую-то *воображаемую местность*?

— Нет, это не как в синагоге.

— Уделал.

— Спасибо за еду. Пока.

— Ну, так или эдак, — сказал Джейкоб, не сдаваясь, — а выглядит клево. Насколько я могу разглядеть. Издалека.

Макс плотно занялся буррито.

— Серьезно, — продолжал Джейкоб, заискивая, — мне интересно. Я знаю, что Сэм играет в нее — ну в смысле, *живет* в ней — круглые сутки: охота посмотреть, что там и как.

— Ты не поймешь.

— А давай попробуем.

— Ты не поймешь.

— Ты учитываешь, что я в двадцать четыре года получил Национальную премию за лучшую еврейскую книгу?

Макс перевернул планшет, зажег экран мазком пальца и сообщил:

— Как раз набираю рабочие валентности для крупного апгрейда. Потом обменяю на какую-нибудь психооболочку...

— *Психооболочку*?

— Интересно, а обладателю *настоящей* Национальной книжной премии пришлось бы спрашивать?

— А это ты? — спросил Джейкоб, дотрагиваясь до эльфоподобного существа.

— Нет. И не трогай экран.

— А кто ты?

— Никто из них.

— А кто Сэм?

— Никто.

— Кто Сэмов герой?

— Его аватар?

— Ну, пусть так.

- Вон там. У торгового автомата.
- Что? Вон та смуглянка?
- Она латиноамериканка.
- Почему Сэм — латиноамериканка?
- А почему ты белый мужчина?
- Потому что у меня не было выбора.
- Ну, а у него был.
- Можно погонять?

Макс терпеть не мог, когда отец клал руку на его плечо. Это было ему отвратительно — ощущение из середины спектра, на полюсах которого яйца всмятку и тридцать тысяч человек, требовавших удовлетворения, когда джамботрон "Камеры поцелуев"^[17] захватил его с матерью на стадионе "Нэшнлз".

- Нет, — ответил он, стряхивая с плеча отцовскую ладонь, — нельзя.
 - А что такого страшного я могу натворить?
 - Ты можешь ее убить.
 - Ясное дело, такого не будет. Но даже если бы убил, чего я не допущу, разве ты не можешь просто докинуть несколько двадцатипятицентовиков и продолжить с того же места?
 - Сэм четыре месяца потратил на развитие ее скиллов, вооружение и психический ресурс.
 - А я потратил сорок два года.
 - Вот поэтому ты никому не должен отдавать рычаги управления собой.
 - Макси...
 - Макс — нормально.
 - Макс. Давший тебе жизнь умоляет тебя.
 - Нет.
 - Я приказываю тебе дать мне возможность поучаствовать в Сэмовом сообществе.
 - Две минуты, — сказал Макс, — и только просто потоптаться.
 - Просто Потоптаться — мое второе имя.
- С великой неохотой Макс протянул планшет Джейкобу:
- Чтобы ходить, просто води большим пальцем в направлении, куда хочешь идти. А что-нибудь взять...
 - Большой палец, широкий на конце, так?
- Макс не отреагировал.
- Просто шучу, чувак.
 - Внимательно смотри, куда идешь.

В детстве Джейкоба в играх была одна кнопка. Они были простыми и занимательными, и никто не думал, что там чего-то не хватает. Никому не нужна была возможность приседать на корточки, вращаться вокруг себя, менять оружие. У тебя ствол, ты мочишь всякую пакость, салютуешь друзьям. Джейкобу ни к чему было множество кнопок — чем больше доступно рычагов, тем меньше власти, казалось, было в руках.

— У тебя, короче, отстойно выходит, — сказал Макс.

— Может, это игра, короче, отстойная?

— Это не игра, и она в один день делает больше денег, чем все книги, изданные за этот год в Америке, вместе взятые.

— Уверен, это не правда.

— А я уверен, правда, потому что так написано в статье.

— В какой?

— В разделе искусств.

— В разделе искусств? С каких пор ты читаешь раздел искусств и с каких пор видеоигры — это искусство?

— Это не игра.

— И даже если она делает такие деньги, — продолжил Джейкоб, вставляя ноги в стремяна своего высокомерия, — что с того? Что это вообще показывает?

— Сколько денег она сделала.

— Что есть чего показатель?

— Не знаю. Того, насколько она важна?

— Не сомневаюсь, ты понимаешь разницу между *доминированием* и *важностью*.

— Не сомневаюсь, ты понимаешь, что я даже не знаю, что такое *доминирование*.

— Кейн Уэст культурно не более значим, чем...

— Нет, более.

— ...Чем Филип Рот.

— Во-первых, я об этом человеке никогда не слышал. Во-вторых, Кейн, может быть, не важен для тебя, но он точно более важен для мира.

Джейкобу вспомнилось время, когда Макс помешался на сравнении ценности — *Ты бы выбрала полную руку алмазов или полный дом серебра?* На мгновение, которое тут же улетело, он увидел меньшего Макса.

— Видно, мы по-разному смотрим на вещи, — сказал он.

— Точно, — подтвердил Макс. — Я смотрю на вещи правильно. А ты нет. Вот и разница. Сколько людей смотрит в неделю твой сериал?

— Это не мой сериал.

— Сериал, для которого ты пишешь.

— Не простой вопрос. Есть люди, что смотрят первый эфир, есть зрители последующих показов, а еще записывают на видеорекордер...

— Несколько миллионов?

— Четыре.

— В эту игру играют семьдесят миллионов человек. И им пришлось ее покупать, а не просто врубить телик, когда лень воспитывать детишек или возиться с женой.

— Тебе сколько лет?

— В принципе, одиннадцать.

— Я в твоём возрасте...

Макс указал на экран:

— Смотри, что делаешь, пап.

— Смотрю, конечно.

— Только не...

— Все под контролем.

— Пап...

— Да, да, ага, — отозвался Джейкоб, затем вновь перенес внимание с экрана на Макса. — Они просто грабители.

— Папа!

— Ну ты впрямь унаследовал мамин талант беспокоиться.

И тут раздался звук, какого Джейкоб никогда прежде не слышал: что-то между скрежетом шин и стоном умирающего животного, которого только что переехали.

— Черт! — закричал Макс.

— Что?

— О, черт!

— Погоди-ка, это что, моя кровь?

— Это кровь Сэма! Ты его убил!

— Да нет же. Я просто понюхал какой-то цветок.

— Ты понюхал Букет Погибели!

— Зачем вообще там был *букет погибели*?

— Чтобы у мудаков была возможность умереть дурацкой смертью.

— Полегче, Макс. Это была честная ошибка.

— Да кому какое дело, честная, нечестная.

— И при всем моем уважении...

— О, черт, черт, черт...

— ...Это игра.

Не стоило Джейкобу этого говорить. Точно не стоило.

— И при всем моем уважении... — сказал Макс с пугающим хладнокровием, — иди на хер.

— Что ты сказал?

— Я сказал... — Макс не хватало духу смотреть отцу в глаза, но свои слова он повторить не испугался: — *Иди на хер.*

— Не смей со мной так разговаривать.

— Вот жаль, что я не унаследовал мамин талант проглатывать всякое дерьмо.

— Это как прикажешь понимать?

— Никак.

— Не похоже на никак.

— Всё, ничего.

— Нет, не всё. У мамы талантов много, но проглатывать дерьмо туда не входит. Да, я понимаю, что ты говорил не в буквальном смысле.

Слышал ли и Макс их ругань? Звон стекла? Или он просто зондирует, смотрит, каков будет ответ? А какого он хочет? А чем готов ответить Джейкоб?

Джейкоб, шагнув к двери, обернулся:

— Когда надумаешь извиниться, я буду в...

— Я умер, — ответил Макс. — Мертвые не извиняются.

— Ты не умер, Макс. На свете есть *настоящие* мертвецы, и ты к ним не относишься. Ты огорчен. Огорчен и умер — это разные состояния.

Зазвонил телефон — тайм-аут. Джейкоб ожидал, что это Джулия: в отъезде она всегда звонила, пока дети не легли спать.

— Алло?

— Привет.

— Бенджи?

— Привет, пап.

— У вас все хорошо?

— Да.

— Поздно уже.

— Я в пижаме.

— У тебя там все, что надо, есть, дружище?

— Да. А у тебя?

— У меня все хорошо.

— Ты просто хотел сказать привет перед сном? Ты позвонил *мне*.

— Вообще-то я хотел поговорить с Максом.

— Сейчас? По телефону?

— Ага.

— Бенджи, — сказал Джейкоб, протягивая трубку Макс.

— Дашь нам поговорить? — спросил Макс.

Перед абсурдностью этой ситуации, ее мучительностью и красотой Джейкоб готов был пасть на колени: эти два самостоятельных сознания, ни одно из которых не существовало еще десять с половиной лет назад, и теперь существующие лишь благодаря Джейкобу, не только могли свободно действовать без его вмешательства (это он знал давно), но и требовали свободы.

Джейкоб взял планшет и оставил своих отпрысков беседовать. Тыкая в айпад, он нечаянно развернул окно, лежавшее под "Иной жизнью". Там оказался форум, тема обсуждения — "Можно ли гуманно умертвить собаку в домашних условиях?". В первом же комментарии, на который упал взгляд Джейкоба, говорилось: "У меня была такая же проблема, но со взрослой собакой. Ужасно грустно. Мама отвезла Чарли к нашему знакомому, фермеру, живущему за городом, который сказал, что сможет его пристрелить. Для нас это было намного легче. Он повел Чарли гулять, говорил с ним и во время прогулки застрелил".

Выдуманная тревога

Вместо того чтобы узнать, как там Бенджи, у которого, конечно же, все хорошо, Джулия повозилась с волосами, повтягивала щеки, поправила блузку, придирчиво проверила макияж, потеряла живот, прищурилась. Написала Марку — пожалуй, лишь затем, чтобы пригасить ненависть к себе самой: "Проверила — ребенок жив. Готова в любое время". Спустившись в бар, она застала Марка уже за столиком.

— Просторно разместили? — спросил Марк, пока Джулия располагалась напротив.

— Ты про мой номер? В духовке просторнее.

— Похоже, ты на семьдесят пять лет опоздала родиться. — И тут же, притворно поморщившись: — Гадкая шутка?

— Давай посмотрим. Мой свекор сказал бы, что все совершенно нормально, при том условии, что у шутника нет ни капли гойской крови. А Джейкоб заспорил бы. Потом они поменялись бы позициями и дальше грызлись вдвое жарче.

Подошел официант.

— По бокалу белого? — предложил Марк.

— Отлично, — согласилась Джулия. — Один тебе?

Марк со смехом выставил два пальца.

— Как там Ирв? Похоже, влез в дерьмо.

— В этом он спец, да. Но альтернатива — прозябать в забвении.

— Лучше, чтобы все поливали?

— Говорить о нем — именно это он хотел бы, чтобы мы сейчас делали.

Давай не станем идти у него на поводу.

— Едем дальше.

— Ну так как оно?

— Что? Развод?

— Развод, твой вновь обретенный внутренний монолог, все вместе.

— Это процесс.

— Не так ли Чейни определил пытку?

— Ну ты же помнишь старый анекдот: "Почему развод — это такие расходы?"

— И почему?

— "Потому что дело того стоит".

— Я думала, это говорят про химиотерапию.

— Ну что ж, лысеешь и от того, и от другого, — сказал Марк, приглаживая ладонью волосы.

— Ты не лысый.

— Боже, прошу, только не льстить.

— Тут нет никакой лести.

— Просто я выше своих волос.

— Все вы так: вечные эксперименты как поизящнее выбрить бородку, паника по поводу редющих волос, когда ничего не редет. И полное равнодушие к брюху, переливающемуся через ремень.

— Я вообще-то довольно лысый. Но речь не об этом. Речь о том, что развод весьма дорого обходится — эмоционально, энергетически, финансово — и он того стоит. Но не более того.

— Не более того?

— Ну, не крушение. Можно выстоять.

— Но платишь-то жизнью, верно?

— Лучше выбраться из горящего дома с ожогами девяноста процентов кожи, чем сгореть в нем. Но еще лучше выйти из этого дома до пожара.

— Да, но на улице холодно.

— А где твой дом горит? В Нунавуте?

— Пожары я всегда представляю себе зимой.

— Ну а ты? — спросил Марк. — Какие новости на Ньюарк-стрит?

— Перемены не только у тебя.

— И что происходит?

— Ничего, — ответила Джулия, разворачивая салфетку.

— Нунавут?

— Что?

— Не хочешь рассказывать?

— Да правда, не о чем рассказывать, — отозвалась она, вновь складывая салфетку.

— Ну и ладно.

— Мне не стоит об этом говорить.

— Видимо, не стоит.

— Хотя мы еще не начали пить, у меня уже психосоматический кайф, все плывет.

— Ну это будет прямо бомба, да?

— Но я могу тебе доверять, верно?

— Ну, думаю, это зависит...

— Серьезно?

— Только заслуживающий доверия человек признает собственную

ненадежность.

— Все, забыли.

— Я в прошлом году нахимичил в налоговой декларации, годится? Сильно. Я вычел за офис, которого у меня вообще нет. Теперь, если что, сможешь меня шантажировать.

— А зачем ты химичишь?

— Потому что это честь — помогать нашему обществу успешно функционировать, но лишь до некоторой степени. Потому что я козел. Потому что мой бухгалтер козел и показал, где можно схимичить. Не знаю.

— На днях я была дома и услышала жужжание. Оказалось, на полу валяется сотовый телефон.

— О, черт.

— Что такое?

— Ни одна история про сотовый телефон не заканчивается хорошо.

— Я его открыла, и там оказались довольно откровенные эротические сообщения.

— Тексты или картинки?

— А есть разница?

— Картинка — это то, что есть. А текст может быть чем угодно.

— Слизывание спермы с очка. Такого плана.

— Картинки?

— Слова, — сказала Джулия. — Но если ты требуешь деталей, я звоню в налоговую.

Официантка принесла вино и тут же испарилась. Джулии хотелось бы знать, многое ли та услышала и услышала ли вообще, что могла бы рассказать администратору, чтобы та молодая и свободная женщина благодаря семейству Блох нынче вечером смогла немного посмеяться.

— Я потребовала у Джейкоба объяснений, и он сказал, что это все только треп. Такой нехило закипевший флирт.

— Закипевший? Слизовать сперму с очка — это просто Дрезден.

— Ничего смешного.

— И кто был на той стороне?

— Режиссер с его студии.

— Не Скорсезе...

— Не смешно.

— Прости, Джулия, мне правда очень жаль. И я в шоке.

— Может, все к лучшему. Как ты говоришь, дверь должна открыться, чтобы осветить темную комнату.

— Я такого не говорил.

— Не говорил?

— Ты ему поверила?

— В каком смысле?

— Что это были только слова.

— Да.

— И ты действительно видишь разницу?

— Между разговорами и действиями? Конечно, да. И это имеет значение.

— Насколько большое?

— Не знаю.

— Он изменил тебе, Джулия.

— Он *не изменил* мне.

— Слишком громкое слово для секса с другой женщиной?

— У него не было секса с другой женщиной.

— Конечно, был. И даже если не был, то все равно был. И ты это знаешь.

— Я не извиняю и не преуменьшаю того, что он сделал. Но разница-то есть.

— Писать такое другой женщине — это измена, без всяких сомнений. Прости, но я не могу молча сидеть и позволить тебе думать, будто ты не достойна лучшего.

— Это были лишь слова.

— А если бы ты написала такие "лишь слова"? Как, ты думаешь, он бы к этому отнесся?

— Если бы он знал, что мы с тобой пьем вино, у него случился бы эпилептический припадок.

— Почему?

— Потому что он настолько ревнив.

— В браке с тремя детьми?

— Он четвертый.

— Я не понимаю.

— Чего?

— Если он просто патологически ревнив, ладно. Такой уж он есть. И если бы он просто изменял, то, пожалуй, я бы предложил способ все наладить. Но все это вместе? Как ты с этим живешь?

— Из-за мальчиков. И потому что мне сорок три. Потому что у нас за спиной почти двадцать лет жизни, почти полностью счастливой. Потому что, какой бы жестокой или глупой ни была эта его ошибка, он, в сущности, хороший человек. Хороший. Потому что, хотя и никому не писала

откровенных сообщений, я тоже флиртую и фантазирую. Потому что я не всегда веду себя как хорошая жена, причем нередко намеренно. Потому что я слабая.

— Только слабость и аргумент.

Явилась мысль, воспоминание: как осматривали детей, проверяя, нет ли на них клещей, на крыльце летнего домика в Коннектикуте. Они с Джейкобом передавали детей друг другу — искали в подмышках, в волосах, между пальцами ног, — перепроверяя друг друга и обязательно находя клещей, пропущенных другим. Джулии хорошо удавалось вытаскивать клеща целиком, а Джейкоб ловко отвлекал внимание детей, смешно изображая, как их мать делает покупки в супермаркете. Почему вдруг ей это вспомнилось?

— А о чем ты фантазируешь? — спросил Марк.

— Что?

— Ты сказала, что тоже фантазируешь. О чем?

— Не знаю, — ответила Джулия, отпивая вина. — Я просто так сказала.

— Ясно. А я просто так спросил. И о чем ты фантазируешь?

— Это тебя не касается.

— Меня не касается?

— Вообще.

— Упиваешься своей слабостью?

— Ты не кажешься мне милым.

— Конечно, нет.

— Или обаятельным. При всем старании.

— И стараться не надо, чтобы быть таким необаятельным.

— Или привлекательным.

Марк долгим глотком допил остававшиеся полбокала и сказал:

— Уходи от него.

— Я не собираюсь *уходить* от него.

— Почему?

— Потому что от брака так легко не отказываются.

— А от жизни?

— И потому что я не ты.

— Нет, но ты — это ты.

— Даже в глубине души я никогда не жалею, что не одинока.

Но едва эти слова вылетели в мир, Джулия поняла, что они лживы. Она вспомнила свои идеальные дома с одной спальней, подсознательные планы ее ухода. Они появились раньше телефона на несколько лет.

— И я не стану разрушать свою семью, — добавила она, и это стало в одно и то же время *non sequitur* и логичным завершением последовательности ее мыслей.

— Разрушить путем налаживания?

— Путем прекращения.

В этот самый момент, лучший или худший из всех возможных, вбежала задыхающаяся и ошалевшая Билли:

— Простите, что врываюсь.

— Все живы?

— У Микронезии есть а...

— Помедленнее.

— У Микронезии есть ата...

— Выдохни.

Билли взяла один из бокалов и глотнула оттуда.

— Это не вода, — сказала она, прижимая к груди ладонь.

— Это шардоне.

— Я нарушила закон.

— Мы замолвим за тебя словечко, — сказал Марк.

— У Микронезии есть атомное оружие!

— Что?

— В прошлом году Россия вторглась в Монголию. В позапрошлом был птичий грипп. Обычно тут ждут до вечера второго дня, но... У нас есть бомба! Как здорово! Вот повезло!

— Как это у нас есть бомба? — не понял Марк.

— Надо собрать всю делегацию.

— Что?

— Расплачивайтесь за напитки и пойдете со мной.

Марк оставил на столе деньги за вино, и все трое поспешили к лифту.

— Кураторы программы дали информацию, что в аэропорту Яп задержан торговец оружием, пытавшийся провезти портативный ядерный боеприпас.

— В аэропорту Яп?

— Да, я не знаю, как-то так он называется.

— Зачем же через Микронезию? — спросил Марк.

— Именно, — сказала Билли, хотя ни один из троих и близко не понял, к чему это относилось.

— Мы уже начали получать предложения от Пакистана, Ирана и, вот странность, — из Люксембурга.

— Предложения? — спросил Марк.

— Попросят продать бомбу. — И тут же к Джулии: — Вы понимаете, верно?

Джулия неуверенно кивнула.

— Ну тогда объясните ему позже. Это же совсем другие пироги!

— Давай соберем детей, — сказала Джулия Марку.

— Я собираю одиннадцатый этаж, ты двенадцатый. Встречаемся в твоей комнате?

— Почему в моей?

— Хорошо, в моей.

— Нет, в моей нормально, я просто...

— В комнате Марка, — подвела итог Билли.

Марк двинулся к лифту. Билли на секунду задержала Джулию.

— Все хорошо? — спросила Билли, когда двери лифта закрылись.

— Непонятно, что делать с этим ядерным оружием.

— Нет, у вас.

— А что у меня?

— Все хорошо?

— А к чему вопрос?

— Кажется, будто вы вот-вот заплачете.

— Я? Нет.

— О, хорошо.

— Да я вроде не?..

Но может, и правда. Может, выдуманная тревога высвободила потаенные эмоции, связанные с тревогой настоящей. У нее в мозгу был центр травмы — она это знала и без доктора Силверса, потому что есть интернет. Самые неожиданные ситуации могли активировать этот центр, и тогда все мысли и все внимание устремлялись к нему. В его сердцевине скрывалось увечье Сэма. А в сердцевине сердцевины — воронкой, засасывающей все мысли и впечатления, — момент, когда Джейкоб внес Сэма в комнату со словами "у нас происшествие" и Джулия увидела больше крови, чем было на самом деле, но не услышала вопль Сэма и на мгновение, всего на мгновение, утратила власть над собой. На мгновение разорвалась связь со здравым смыслом, с реальностью, с ее собственным "я". Душа покидает тело в момент смерти, но есть и более полное опустошение — тело Джулии покинула всякая жизнь, когда она увидела текущую кровь своего ребенка.

Джейкоб посмотрел на нее сурово, холодно, как бог, и сказал, произнося каждое слово как отдельное предложение: "Возьми. Себя. В руки. *Сейчас же*". Все, за что она его ненавидела, собранное воедино,

никогда не перевесит любви к нему в этот момент.

Он передал Сэма ей на руки и сказал:

— Позвоним доктору Кайзену по дороге в неотложку.

Сэм смотрел на мать с первобытным ужасом в глазах и вопил:

— Зачем это? Зачем это? — И умоляюще взывал: — Смешно. Смешно же, правда?

Она перехватила взгляд Сэма, решительно удержала его и не сказала "все будет хорошо" и не промолчала. Она сказала:

— Я люблю тебя, я с тобой.

Все, за что она себя ненавидела, собранное воедино, никогда не перевесит в ее сознании того, что в самый ответственный момент жизни ее ребенка она была хорошей матерью.

И тут, столь же мгновенно, как захватил, центр травмы отпустил ее. Может, он устал. Может, пожалел ее. Может, она отвела глаза, а когда вновь посмотрела, то вспомнила, что находится в реальном мире. Но как пролетели последние полчаса? Шла ли она по лестнице или ехала на лифте? Стучала в дверь к Марку, или там было открыто?

Обсуждение было в полном разгаре. Заметил ли кто-нибудь ее отсутствие? А ее появление?

— Краденое ядерное оружие не может быть товаром для обмена, — сказала Билли. — Мы хотим, чтобы эту штуку обезвредили, и без промедления, точка.

— Мы ее не крали. Но я полностью согласен с тем, что ты говоришь.

— Ее надо просто захоронить.

— Мы можем как-то использовать ее в мирных целях?

— Нужно отдать ее Израилю, — предложил мальчик в ермолке.

— Мать твою, давайте ее захороним в Израиле.

— Позвольте на секунду вмешаться, — сказал Марк. — Моя роль здесь не предлагать решения, а помогать вам ставить провокационные вопросы, и я предлагаю вам взять на зуб вот такой: нет ли какого-то важного варианта, который мы еще не рассматривали? Что, если мы оставим бомбу себе?

— Оставим бомбу? — спросила Джулия, явно обозначая свое присутствие. — Нет, *оставить ее* себе мы не можем.

— Почему не можем? — спросил Марк.

— Потому что мы ответственные люди.

— Давайте просто проиграем этот вариант.

— Неуместно *играть*, когда обсуждается судьба ядерной бомбы.

— Дай ему сказать, — вмешался Сэм.

Марк заговорил:

— Может, это шанс наконец самим решать свою судьбу? На протяжении почти всей своей истории мы зависели от внешних сил: были разменной монетой в игре португальских и испанских торговых колоссов, были проданы Германии, захвачены Японией, потом Штатами.

— Мы сейчас все платки промочим, — сказала Джулия, обращаясь к детям.

Ее шутки никто не понял.

Марк понизил тон, удерживая внимание слушателей:

— Я лишь говорю, что мы никогда не были независимы.

— В мировой истории не было ни одной полностью независимой страны, — сказала Джулия.

— О, вас уделали, — сказал Марку какой-то мальчуган.

— Исландия полностью независима, — возразил Марк.

— О, вас уделали! — сказал тот же мальчуган Джулии.

— Никто никого не уделал, — урезонил его Марк. — Мы думаем, как бы нам урегулировать весьма непростую ситуацию.

— Исландия — дыра, — сказала Джулия.

— Смотри, — продолжил Марк, — если я идиот, то единственный вред моего трепы — это три потерянные минуты.

— Я получила эсэмэс от Лихтенштейна, — объявила Билли, поднимая телефон, будто это факел, а сама она — статуя Свободы. — Предлагают сделку.

— Ну вот, ясно, что у нас просто нет никакой атомной программы...

— Лихтенштейн это страна?

— ...И не будет ни средств, ни оснований приобретать ядерное оружие на черном рынке.

— Ямайка хочет поучаствовать, — провозгласила Билли, салютуя следующей эсэмэской. — Предлагают триста миллиардов долларов.

— Они в курсе, что речь идет о бомбе, да? Не об атомном бонге? Ну, где моя "Аллилуйя"?

— Ксенофоб, — буркнул кто-то.

— И вдруг, — продолжил Марк, — мы неожиданно оказываемся в ядерном клубе, получаем возможность, если только решим ее использовать, вступить в число фактически независимых стран — стран, которые могут диктовать свои условия, которые не подчинены ни другим странам, ни превратностям собственной истории.

— Ну да, — сказала Джулия, ее знаменитое хладнокровие испарилось, — чтобы добавить себе головной боли и чтобы жизнь не

казалась медом, и хэй-хо, как оно будет, щелкаем своими урановыми каблуками, и — бум! — вышибала на празднике жизни пропускает нас на самую клевую из всех вечеринок.

— Он не это предлагает, — вмешался Сэм.

— Он предлагает непонятно что. — А потом, обращаясь к Марку: — Непонятная бомба, вот ты кто.

— Я *пытаюсь* предложить, чтобы мы это рассмотрели хотя бы затем, чтобы отвергнуть потенциальные плюсы обладания бомбой.

— А давайте кого-нибудь забомбим! — воскликнул кто-то.

— Давайте! — тут же отозвалась Джулия. — Кого? И важно ли это вообще?

— Конечно, важно, — сказала Билли, озадаченная и расстроенная поведением Джулии.

— Мексику? — спросила какая-то девочка.

— Очевидно, Иран, — подсказал Мальчуган-Ермолка.

— *Может*, — продолжила Джулия, — надо скинуть бомбу на какую-нибудь разоренную войной, изнуренную голодом африканскую страну, где сироты такие худые, что пухнут?

Гомон стих.

— Зачем нам это делать? — спросила Билли.

— Потому что мы можем, — ответила Джулия.

— *Боже*, мам.

— Не говори *Боже*, мам!

— Мы никого не будем бомбить, — заявил Марк.

— Но ты же видишь, будем, — возразила Джулия. — Эта история всегда кончается одинаково. Или ты страна, которая *никого* не бомбит, или страна, оставляющая за собой такую возможность. А если оставляешь возможность, то бомбить будешь.

— Джулия, это уже ни в какие ворота.

— Только потому что ты мужчина, Марк.

Дети стали переглядываться. Раздалось несколько нервных смешков. Сэм не смеялся.

— Отлично, — сказал Марк, принимая и поднимая ставку Джулии. — Тогда вот еще идея: давайте разбомбим сами себя.

— Зачем? — спросила Билли, мучительно смущенная.

— Потому что Джулия...

— Миссис Блох.

— ...Лучше умрет, чем будет спасать свою жизнь. Зачем на этом топтаться?

— Видишь, что ты наделала? — сказал Сэм матери.

— Ямайка поднимает до четырехсот миллиардов, — сказала Билли, размахивая телефоном.

Кто-то отозвался:

— Ого.

Кто-то заметил:

— У Ямайки нет и четырехсот долларов.

Кто-то добавил:

— Надо запрашивать настоящие деньги. Которые можно увезти домой и купить на них что-нибудь.

Сэм, взяв за руку, вывел мать в коридор, как она прежде не раз выводила его.

— Что ты *делаешь*? — спросил он.

— А что я делаю?

— Я *говорил* папе, что не хочу, чтобы ты ехала с нами сюда, и ты стала раздувать, когда я просил не раздувать, и тебя больше заботит выставить себя крутой мамашей, чем быть на самом деле хорошей матерью.

— Что, прости?

— Ты хочешь, чтобы все вертелось вокруг *тебя*. Все и всегда вокруг *тебя*.

— Вообще не понимаю, о чем ты говоришь, и ты не понимаешь.

— Ты заставляешь меня извиняться за слова, которых я не писал, чтобы я мог пройти бар-мицву, которую только ты хочешь, чтобы я прошел. Ты не только проверяешь, что я ищу в интернете, ты стараешься при этом скрыть, что следишь за мной. И ты, наверное, думаешь, я не замечаю, как карандаши у меня на столе затачиваются сами собой?

— Я о тебе забочусь, Сэм. Поверь, мне не доставляет удовольствия краснеть перед равом или разгребать свинарник у тебя на столе.

— Ты всех *дрючишь*. И это тебе в радость. Ты счастлива, только если контролируешь нашу жизнь до последней мелочи, потому что ты не контролируешь свою жизнь.

— Где ты подобрал это слово?

— Какое слово?

— *Дрючишь*.

— Все знают это слово.

— Это не детское слово.

— Я не ребенок.

— Ты мой ребенок.

— Уже достаточно бесит, когда ты своих детей *дрючишь*, как детишек,

но когда папу...

— *Полегче*, Сэм.

— Он говорит, ты не можешь с собой ничего поделать, но что это меняет, я не могу понять.

— *Полегче*.

— Или что? Я узнаю, что в интернете есть порно, проткну палец карандашом и умру?

— Прекрати *сейчас же*.

— Или я нечаянно скажу то, что все и так уже знают?

— И что бы это могло быть?

— *Полегче*, мам.

— Что все знают?

— Ничего.

— Ты знаешь меньше, чем тебе кажется.

— Что мы все тебя боимся, и всё. Мы несчастливы, потому что не можем жить своей жизнью, потому что ты всех дрючишь и мы тебя боимся.

— *Мы?*

Билли вышла в коридор и двинулась к Сэму:

— У тебя все хорошо?

— Уйди, Билли.

— Что я сделала?

— Ты ничего не сделала, — сказала Джулия.

Сэм давил на мать через Билли:

— Пожалуйста, ты не можешь заняться своими делами хоть на три секундочки?

— Я что-то не то сказала? — спросила Билли у Джулии.

— Ты здесь лишняя, — сказал ей Сэм, — уходи.

— Сэм?

С полными глазами слез Сэм бросился прочь. Джулия осталась на месте ледяной скульптурой из застывших слез.

— Ну вообще смешно, да? — сказала Билли, из глаз ее потекли слезы, которым не дали пролиться мать с сыном.

Джулия вспомнила, как ее покалеченный ребенок умоляюще повторял: *Это смешно? Это смешно?*

— Что смешного?

— Дети пинают тебя изнутри, а потом рождаются на свет и снова принимаются пинать.

— У меня так и было, — сказала Джулия, и ее ладонь скользнула к животу.

- Я это прочла в одной из книг по воспитанию, у родителей.
- Чего ради ты это читаешь?
- Пытаюсь их понять.

Чужая иная смерть

Джейкоб вышел в интернет, но не стал искать сенсационных новостей в мире недвижимостного порно, дизайнерского порно или простого порно, не стал серфить счастливые судьбы людей, которым завидовал и о которых предпочел бы прочесть, что они умерли, и не стал тратить полчаса на утешение в маленьком уютном мирке Боба Росса. Он сразу нашел службу технической поддержки "Иной жизни". Вполне ожидаемо ему пришлось прокладывать путь через автоматический сервис — сидячий Тезей с телефонным шнуром вместо нити Ариадны.

— "Иная жизнь"... айпэд... Не знаю... Не представляю... Не знаю... Помогите... Помогите...

После нескольких минут долбежки "Не знаю!" и "Помогите!" на манер притворяющегося человеком пришельца Джейкоб дождался ответа от парня, который говорил с таким акцентом, что едва можно было понять слова, и всеми силами старался скрыть, что он индус, притворяющийся американцем.

— Да, добрый день, меня зовут Джейкоб Блох, и я звоню от имени сына. У нас происшествие с его аватаром...

— Добрый вечер, мистер Блох. Я вижу, что вы звоните из Вашингтона, округ Колумбия. Вы там наслаждаетесь не по сезону теплой погодой этим поздним вечером?

— Нет.

Джейкоб не просто потерял терпение, которого и вначале было не много: этот вопрос, заданный, чтобы отметить, будто звонок не международный, неожиданно озлобил его.

— Сожалею, мистер Блох. Добрый вечер. Меня зовут Джон Уильямс^[18].

— Seriously? Мне так нравится ваша работа в "Списке Шиндлера".

— Спасибо, сэр.

— А в "Мире юрского периода" уже не так.

— Чем я могу вам помочь сегодня?

— Как я сказал, случилась неприятность с аватаром моего сына.

— Какая именно неприятность?

— Я нечаянно понюхал Букет Гибели.

— Погибели?

— Ну, все равно. Я его понюхал.

— Могу я спросить, зачем вы это сделали?
— Не знаю. Зачем люди вообще хотят что-то понюхать?
— Да, но Букет Погибели предусматривает моментальную смерть.
— Ну да, нет, я это понимаю — понимаю *сейчас*. Но я был новичком в игре.

— Это не игра.
— Хорошо. Мы можем это как-то исправить?
— Вы пытались убить себя, мистер Блох?
— Конечно, нет. И это не я. Это мой сын.
— Ваш сын понюхал?
— Я понюхал за сына.
— Да, я понял.
— Бывает в "Иной жизни" вторая попытка или что-то такое?
— Вторая попытка?
— Ну да.
— Если бы обходилось без последствий, это была бы просто игра.
— Я писатель, так что понимаю всю серьезность фатального исхода, но...

— Вы можете перевоплотиться, но без прежней психооболочки. То есть это как начать заново с нуля.

— Ну, а что бы вы мне посоветовали?
— Вы можете заново приобрести психооболочку за вашего сына.
— Но я не умею играть.
— Это не игра.
— Я не знаю, как это сделать.
— Просто ищите и поедайте низко висящие плоды стойкости.
— Искать где?
— На аптечных виноградниках.
— Я не знаю, как.
— Это чрезвычайно долгий, но совершенно не сложный процесс.
— Насколько долгий?
— Предполагая, что вы довольно быстро наловчитесь, я бы предположил шесть месяцев.

— Всего шесть месяцев? Ну, это чудесная новость, а то я уж подумал, там правда долгая песня. Но это чудесно, ведь у меня времени нет сходить к врачу показать разросшуюся родинку на груди, но я, несомненно, смогу просидеть тысячу часов, передавливая запястные туннели, изничтожая свои мозговые клетки за поиском низко висящих плодов стойкости по аптекарским виноградникам, что бы эта херня ни значила.

— Или вы можете приобрести полное возрождение.

— Что-что?

— Мы можем вернуть профайл вашего аватара в нужный момент времени. В вашем случае — в момент непосредственно перед тем, как вы понюхали Букет Погибели.

— Какого черта вы до сих пор молчали?

— Некоторых людей эта опция оскорбляет.

— *Оскорбляет?*

— Некоторые считают, что она размывает самый дух "Иной жизни".

— Ну, полагаю, что немногие отцы в моей ситуации будут так думать.

А мы можем это сделать прямо сейчас? По телефону?

— Да, я могу принять платеж и дистанционно запустить полное возрождение.

— Ну, это лучшая новость, которую слышал за... может быть, за всю жизнь. Спасибо вам. Спасибо. И простите, что я только что был таким кретином. Так много стоит на кону.

— Да, я понимаю, мистер Блох.

— Просто Джейкоб.

— Благодарю, Джейкоб. Мне понадобится некоторая информация об аватаре и о дате и времени возвращения. Но давайте подтвердим: вы приобретаете полное возрождение за тысячу двести.

— Простите, вы сказали тысяча двести?

— Да.

— То есть: единица, двойка и два нуля, без запятой?

— Плюс налог. Да.

— Сколько стоит ваша игра?

— Это не игра.

— Бросьте, Уильямс.

— "Иная жизнь" распространяется бесплатно.

— И это что, какая-то шутка? Тысяча двести долларов?

— Это не шутка, Джейкоб.

— Вы признаете, что мы живем в мире, где голодают дети и люди страдают волчьей пастью?

— Я это признаю.

— И все равно считаете этичным запрашивать тысячу двести долларов за исправление ошибки в видеоигре?

— Это не игра, сэр.

— Чтобы заплатить вам тысячу двести, мне нужно заработать две четверста. Это вы понимаете, верно?

— Сэр, не я устанавливаю цены.

— Я могу услышать менеджера?

— Желаете ли вы осуществить полное возрождение, или цена этой опции непривлекательна для вас?

— Непривлекательна? *Лейкемия* непривлекательна. Да это ебаный грабеж. Да как вам не стыдно?

— Я так понимаю, что вы не хотите приобрести полное возрождение.

— Понимайте это как коллективный судебный иск, который я подам на вашу компанию растлителей. Я знаю таких людей, которых ваши хозяева должны бояться как огня. Я знаю серьезных юристов, которые сделают это для меня в порядке дружеской услуги. И я напишу об этом в "Вашингтон пост" — в раздел стиля или в обозрение, — и там опубликуют, вот увидите, и тогда вы пожалеете. Не на того, блядь, нарвались!

Джейкоб учуял запах собачьего дерьма, но вообще-то он часто ощущал запах собачьего дерьма, когда злился.

— Прежде чем мы завершим звонок, Джейкоб, считаете ли вы, что я удовлетворил ваш запрос?

Мистер Блох дал отбой, затем прорычал:

— На хуй "ваш запрос". — Он глубоко вдохнул зловонный воздух, вновь взял в руку телефон, но не стал набирать никакого номера. — Помогите, — сказал он в пустоту. — Помогите.

Полное перерождение

Джулия сидела на кровати.

По телевизору шла реклама отеля, пленницей которого она и так уже стала. Картинка на стене отпечатана в пяти тысячах экземпляров — пять тысяч абсолютно одинаковых, абсолютно уникальных, дичайше банальных снежинок. Она взялась было набирать номер Джейкоба. И подумала, что надо пойти поискать Сэма. Вечно, когда у нее нет времени, приходится делать сразу кучу дел. А если надо чем-то заполнить несколько минут, никогда не придумашь чем.

Уединение нарушил стук в дверь.

— Спасибо, что открыла, — сказал Марк, едва дверь чуть приотворилась.

— Глазок замазан, — пояснила Джулия, распахивая ее.

— Я вел себя ужасно.

— Да просто борзел.

— Вот, пытаюсь извиниться.

— Ты нашел свой внутренний монолог, и он сообщил тебе, что ты козел?

— Именно так.

— Ну что ж, позволь моему внешнему монологу поддержать это утверждение.

— Принял к сведению.

— Сейчас не лучший момент.

— Знаю.

— Я только что ужасно рассорилась с Сэмом.

— Знаю.

— Ты все знаешь.

— А я не врал, когда сказал детям, что всезнающ.

Джулия потеряла висок и отступила, позволяя Марку войти.

— Когда Сэм младенцем принимался плакать, мы говорили "я знаю, я знаю" и давали ему пустышку. Так что он стал ее называть своей "Я знаю". Твое всезнание мне вдруг напомнило об этом. Много лет не вспоминала. — И недоверчиво покачала головой: — Да в этой ли жизни это было?

— Жизнь эта, человек другой.

Голос у Джулии стал как у окна, которое знает, что сейчас разобьется:

— Я хорошая мать, Марк.

— Так и есть. Я знаю.

— На самом деле хорошая. Не в том смысле, что просто прилагаю все силы к этому. Не просто.

Расстояние между ними сократилось на шаг, и Марк сказал:

— Ты хорошая мать, и хорошая жена, и хороший друг.

— Я очень стараюсь.

Когда Джейкоб привел домой Аргуса, Джулия почувствовала, что ее предали: Джейкобу она дала понять, что взбешена, а мальчикам продемонстрировала радость. И все же именно она прочла книгу по уходу за собакой и дрессировке. Прочитанное там было по большей части интуитивно понятно, но одно Джулию зацепило: совет не говорить собаке "нет", потому что она воспринимает "нет" как сущностную оценку — как отрицание ценности ее существования. Она будет слышать в слове "нет" свое имя: "Ты — Нет". Вместо "нет" нужно издавать негромкий щелкающий звук или говорить "а-а" или хлопать в ладоши. Каким образом можно знать столько о работе мозга собаки и чем уж настолько лучше ей будет зваться "А-а", Джулия даже не пыталась уразуметь, но что-то здесь казалось убедительным и даже важным.

Джулии нужна была сущностная оценка, подтверждающая ее ценность. Ей нужно было переименоваться, нужно было слышать "Ты — Хорошая".

Марк поднес ладонь к ее щеке, и она отступила на полшага.

— Что ты делаешь?

— Прости. Это было неуместно?

— Конечно. Ты *знаешь* Джейкоба.

— Да.

— И знаешь моих детей.

— И их.

— И ты знаешь, что у меня сейчас довольно трудный период в жизни. И ты знаешь, что мы с Сэмом ужасно повздорили.

— Знаю.

— И твоя реакция — это попытаться меня поцеловать?

— Я не пытался тебя поцеловать.

Могла она что-то не так понять? Да нет, не могла. И в то же время не могла доказать, что он пытался ее поцеловать. Отчего чувствовала себя настолько маленькой, что как будто хотела спрятаться в шкафу, проскользнув под его дверь.

— Ладно, а тогда что ты *пытался* сделать?

— Я ничего не пытался. Тебе, очевидно, нужно утешение, и было бы

только естественно протянуть к тебе руку.

— Естественно для *тебя*.

— Прости.

— И мне не нужно утешений.

— Я думал, это будет приятно. А утешения всем нужны.

— Ты думал, что прикосновение к лицу будет мне приятно?

— Думал. Ведь так отклонилась, приглашая меня войти в комнату. Ты так на меня смотрела. А потом сказала "не просто" и сделала шаг ко мне.

Разве это она шагнула? Джулия помнила этот момент и не сомневалась, что именно *он* к *ней* шагнул.

— Боже, это я такой кажусь?

Возможно ли, что она так строго судит Джейкоба лишь потому, что он первым выразил то, что она знала, почувствовала первой? Никакой жестокостью счета не сравнить — только изменить в ответ, а этого Джулия делать не собиралась.

— Я не мерзавец, Джулия. Ты думаешь, что я такой...

— Думаю.

— ...Но это не так. Прости, что я тебя поставил в неловкое положение. Я совсем не этого хотел.

— Ты одинок, а я кажусь липучкой.

— Я не одинок, и ты не.

— И это *тебе* нужно утешение.

— Нам обоим. Было нужно и нужно сейчас.

— Тебе надо уйти.

— Ладно.

— Так что же ты не уходишь?

— Потому что мне кажется, ты не хочешь, чтобы я уходил.

— Как мне это тебе доказать?

— Можешь толкнуть меня.

— Я не собираюсь тебя толкать, Марк.

— Как ты думаешь, почему ты сейчас назвала меня по имени?

— Потому что тебя так зовут.

— Что ты подчеркивала этим? Ты не звала меня по имени, когда приказывала уйти. Только когда сказала, чего не будешь делать.

— Боже. Уходи, Марк.

— Ладно, — сказал он, поворачиваясь к двери.

Джулия не знала, в чем дело, только понимала, что центр травмы в ее мозгу разрастается, поглощая все. Где-то на краю, еще не тронутая, странная радость от найденных и снятых клещей в Коннектикуте. Но

травма почуяла радость и напала на нее. Каждый вечер кончался тем, что Джулия сидела в пустой ванне и осматривала себя, потому что, кроме нее самой, этого не сделал бы никто.

— Нет, постой, — сказала Джулия.

Марк обернулся к ней:

— Мне нужно было утешение.

— Все-таки я...

— Я не закончила. Мне нужно было утешение, и, уверена, я это показала, хотя не хотела и не сознавала.

— Спасибо, что сказала. И раз уж мы ударились в откровенность: это я шагнул к тебе.

— И солгал мне.

— Нет, просто не мог сообразить, как...

— Солгал и заставил меня усомниться в себе.

— Я не мог придумать, как...

— Я знала, что права. — Джулия помолчала. Короткое воспоминание вызвало у нее смешок: — Поцелуй. Вдруг вспомнила, как Сэм называл поцелуй.

— Как?

— У него было для них несколько названий, в зависимости от ситуации. "Полечи" — это поцелуй, когда целуют, если ушибся или оцарапался. "Шейна бойчик" — поцелуй прадедушки. "Ох, эта рожица" — бабушкин поцелуй, "ах, ты" — такой, когда вдруг прямо умираешь, как хочешь поцеловать. Кажется, мы всегда говорили "ах, ты" перед таким поцелуем.

— Дети — чудо.

— Да, пока ничего не знают.

Марк сложил руки на груди и сказал:

— Так вот что, Джулия...

— Ах, ох, какой пафос.

— Я *пытался* тебя поцеловать.

— Да ну?

Джулия почувствовала себя не только свободной от недавнего смущения, но, в первый раз на ее избирательно отредактированной памяти, желанной.

— Чего уж таить.

— А зачем ты пытался меня поцеловать?

— Зачем?

— Чтобы мне стало *легче*?

— Чтобы сделать тебя *тобой*.

— Ясно.

— Значит, ты решила не закрывать глаз?

— Что?

— Ты поняла.

Она шагнула к нему, с открытыми глазами, и спросила:

— Все станет плохо?

— Нет.

Она сделала еще полшага к нему и сказала:

— Обещаешь?

— Нет.

Расстояния между ними не осталось. Она спросила:

— А что обещаешь?

Он пообещал:

— Все станет по-другому.

III

Применения еврейского кулака

Письмо, драка, самоудовлетворение

— Это что, *шутка*? — спросил Ирв, когда они ехали в Вашингтонский национальный аэропорт. — Блохи скорее откажутся от перелета, чем согласятся назвать аэропорт Рейгановским.

У них было включено Национальное общественное радио, потому что Ирв искал столкновения с тем, что ненавидел, и, к его крайнему омерзению, там обнаружился объективный репортаж о сооружении новых поселений на Западном берегу. Ирв ненавидел Национальное общественное радио. Там была не только гнусная политика, но и претенциозно изящное, неприкрытое слюнтяйство, звучавшее в голосах типа *ты-же-не-ударишь-паренька-в-очках* телячье удивление. (И все там — мужчины, женщины, молодые и старые — как будто говорили одним голосом, передавая его из одного горла в другое, кому понадобится.) Все достоинства "радио, существующего на деньги слушателей" не отменяют того, что ни один уважающий себя человек не станет использовать слово "ранец"^[19] чаще, чем сам ранец, и в конце концов, сколько человеку нужно подписок на "Нью-Йоркер"?

— Ну, я нашел ответ, — заявил Ирв, с удовлетворением кивая, что напоминало молитвенный поклон или признаки болезни Паркинсона.

— На какой вопрос? — спросил Джейкоб, не в силах проплыть мимо наживки.

— Когда кто-нибудь спросит, какой самый лживый по фактам, омерзительный по сути и притом просто скучный радиорепортаж я слышал в своей жизни.

Этот внезапный выпад Ирва вызвал аналогичный ответ у Джейкоба, и, обменявшись несколькими репликами, они в каком-то смысле превратились в русских свадебных плясунов, исполняющих "риторический" танец, — руки скрещены на груди, а ногами молотят пустоту перед собой.

— В любом случае, — сказал Джейкоб, чувствуя, что они зашли достаточно далеко, — он сам определил это как *частное мнение*.

— Ну, мнение этого тупого идиота *неверное*.

Не отрывая глаз от планшета, Макс с заднего сиденья выступил в защиту Национального общественного радио — или, по крайней мере, семантики:

— Мнения не бывают неверными.

— Смотри, вот почему мнение этого идиота идиотское... — На каждое свое "потому что" Ирв загибал палец на левой руке: — Потому что "только антисемита можно *спровоцировать на антисемитизм*" — чудовищная фраза; потому что уже само предложение проявить волю к переговорам с этими маньяками — то же, что бросить бутылку вина "Манишевиц" в нефтяной факел; потому что — не просто так — *их* больницы напичканы ракетами, нацеленными на *наши* больницы, которые напичканы *ими*; потому что в основе своей *мы* любим курочку гунбао, а *они* любят смерть; потому что — а с этого на самом деле мне надо было начать — простой и неоспоримый факт в том, что *правы-то мы!*

— Боже, держись в ряду!

Ирв поднял вторую руку — придерживая руль коленями, — чтобы высвободить очередной ораторский палец:

— И потому что в любом случае — чего ради мы должны ломать головы из-за орды гой-скаутов, отрабатывающих протестные наклейки перед университетом Беркли, или приматов в арафатках, пускающих каменные "блинчики" прямо по улицам так называемого города Газы?

— Хотя бы *одну* руку на руль, папа.

— Я что, провоцирую аварию?

— И найди слово получше вместо *приматов*.

Ирв обернулся посмотреть на внука, руля по-прежнему коленями.

— Ты должен это слышать. Сажаешь миллион макак перед миллионом пишущих машинок и получаешь "Гамлета". Два миллиарда и два миллиарда, и получаешь...

— Смотри на *дорогу!*

— Получаешь Коран. Смешно, правда?

— Расист, — буркнул Макс.

— Арабы — это не *раса*, бубеле. Это народность.

— А что еще за пишущая машинка?

— Позволь мне добавить, — обернулся Ирв к Джейкобу, по-прежнему держа зажатými шесть пальцев и потрясая свободным указательным. — Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями, но людям без родины *вообще* не надо. Потому что, когда их камни летят в наши шагаловские окна, не ждите, что мы поползем на коленях с совком. Если мы умнее этих сумасшедших, не надо думать, что у *них* монополия на безумие. Арабам пора понять, что у нас тоже есть камни, но *наша* праща в Димоне, а палец, лежащий на кнопке, — часть руки, на которой наколота цепочка цифр!

— Ты закончил? — спросил Джейкоб.

— С чем?

— Если я могу тебя на минутку вернуть на нашу голубую планету, то скажу: думал, мы на обратном пути завезем Тамира проводить Исаака.

— Зачем?

— Затем, что он, очевидно, депрессирует по поводу переезда, и...

— Если бы он был способен депрессовать, он бы наложил на себя руки семьдесят лет назад.

— Гондон сраный! — воскликнул Макс, тряся планшет, будто хотел ссыпать изображение с экрана.

— Он не *депрессирует*, — продолжал Ирв, — он старый. Старость похожа на депрессию, но не одно и то же.

— Извини, — сказал Джейкоб. — Я забыл: никто не депрессирует.

— Нет, ты извини, это я забыл: *все* в депрессии.

— Полагаю, это шпилька насчет моей терапии?

— Какой пояс ты собираешься заработать вообще-то? Коричневый? Черный? А побеждаешь, когда им тебе шею перетянут?

Джейкоб задумался, ответить или пропустить мимо ушей. Доктор Силверс назвал бы это бинарным мышлением, но уверенная критика бинарности у доктора Силверса сама по себе тоже была бинарной. И это было слишком ответственное утро, чтобы осложнять его диспутом с бронебойным папашей. Так что, как всегда, Джейкоб пропустил его слова мимо ушей. А вернее, проглотил.

— Это слишком жесткие перемены для него, — сказал Джейкоб, — это навсегда. Я только хочу сказать, что надо отнестись бережно.

— Он человек-рубец.

— Но внутри он истекает кровью.

Макс показал на светофор:

— Нам зеленый.

Но вместо того чтобы тронуться, Ирв решил до конца раскрыть тему, от которой отклонился.

— Вот какое дело: численность всех евреев на планете уместается в значение погрешности, допустимой при подсчете китайцев, а ненавидят все нас. — Не обращая внимания на раздающиеся позади гудки, он продолжил: — Европа... сегодня это континент, где ненавидят евреев. Французы, эти бесхребетные мандюки, не прольют *ни слезинки*, если мы исчезнем.

— Ты о чем? Помнишь, что сказал премьер-министр Франции после теракта в кошерном супермаркете? "Каждый еврей, покидающий Францию, — это уходящая от нас часть Франции", — или что-то такое.

— Дерьмо и merde^[20]. Ты знаешь, что у него за кадром стояла открытая бутылочка "Шато Сан дю Жюф"^[21] 1942 года, чтобы радостно проводить недостающую часть Франции. Британцы, испанцы, итальянцы. Они живут, чтобы заставить нас умереть. — Высунув голову в окно, Ирв завопил в ответ на гудки: — Я мудак, мудак. Я не глухой! — И снова Джейкобу: — Наши единственные надежные друзья в Европе — это немцы, и что, кто-то сомневается, что в один прекрасный день угрызения совести у них закончатся одновременно с абажурами? И разве кто-то всерьез сомневается, что однажды, когда сложится подходящая ситуация, Америка решит, что мы носатые, вонючие, наглые и слишком умные и никому от нас нет никакой радости?

— Я сомневаюсь, — сказал Макс, раздвигая пальцами какую-то картинку на экране.

— Эй, Макси, — сказал Ирв, пытаясь поймать взгляд внука в зеркале заднего вида. — Ты знаешь, почему палеонтологи ищут кости, а не антисемитизм?

— Потому что они палеонтологи, а не Антидиффамационная лига^[22]? — предположил Джейкоб.

— Потому что им нравится копать. Понял?

— Нет.

— Даже если все, что ты говоришь, правда, — сказал Джейкоб, что не так...

— Абсолютная правда.

— Нет...

— Да.

— Но даже если бы была...

— Мир ненавидит евреев. Я знаю, ты думаешь, преобладание евреев в культуре этому как бы противоречит, но это все равно что сказать: мир любит панд, потому что толпы ломаются посмотреть на них в зоопарках. Мир *ненавидит* панд. Мечтает их истребить. Даже медвежат. И евреев он ненавидит. И всегда ненавидел. И всегда будет. Да, можно употребить слова помягче, сослаться на те или иные политические контексты, но ненависть всегда останется ненавистью, и всегда лишь за то, что мы евреи.

— Мне нравятся панды, — вклинился Макс.

— Нет, не нравятся, — поправил его Ирв.

— Я бы прыгал до потолка, если бы мы взяли одну домой.

— Она бы съела твое лицо, Макси.

— Обалдеть.

— Или, по крайней мере, захватила бы наш дом, а нам дала бы право пользоваться им в той степени, в какой сама захочет, — добавил Джейкоб.

— Немцы уничтожили полтора миллиона еврейских детей за то, что это были еврейские дети, а через тридцать лет им досталось проводить у себя Олимпийские игры. И посмотри, как они этим воспользовались! Евреи едва сумели сохраниться как народ и все равно остались изгоями. Почему? Почему сменилось всего одно поколение после нашего почти полного истребления, а стремление евреев выжить воспринимается как стремление завоевывать? Спроси себя: *Почему?*

Его "почему" не было вопросом, пусть даже риторическим. Оно было толчком. Твердого плеча и крепких рук. Во всем был элемент принуждения. Исаак не хотел переезжать: его заставляли. Единственное, из-за чего Сэм хотел стать мужчиной, — это сексуальные приключения с кем-то, а не наедине с собой, но его заставляют извиниться за слова, которых, по его утверждению, он не писал, чтобы потом его могли заставить вызубрить слова с неведомым смыслом и продекламировать их перед семьей, в которую он не верит, перед друзьями, в которых он не верит, и Богом. Джулию заставляют отвлечься от ее архитектурных изысканий, которые никогда не воплотятся, ради переоформления ванных и кухонь разочарованных людей с деньгами. А случай с телефоном повлек за собой переоценку, которой их брак может и не выдержать: их отношения, как и любые другие, во многом держались на умении не видеть и забывать. И даже скатывание Ирва в мракобесие направляла какая-то невидимая рука.

Никому не хочется быть карикатурой. Никому не хочется быть выхолощенной версией себя. Никому не хочется быть мужчиной-евреем или умирающим евреем.

Джейкоб не хотел ни принуждать, ни подвергаться принуждению, но что ему оставалось? Сидеть сложа руки и ждать, пока его дед сломает шейку бедра и загнет в больничной палате, как суждено всякому заброшенному старику? Позволить Сэму перерезать обрядовую нить, восходящую к царям и пророкам, только лишь потому, что иудаизм, каким они его исповедовали, адски скучен и насквозь лицемерен? Может быть. В кабинете рава Джейкоб, казалось, был готов пустить в ход ножницы.

Джулия с Джейкобом раньше толковали о возможности устроить бар-мицу в Израиле — это было бы похоже на побег из-под венца. Возможно, так удалось бы все сделать, ничего *не делая*. Сэм возражал, указывая на то, что идея кошмарная.

— Почему же кошмарная? — спросил Джейкоб, прекрасно зная ответ.

— Ты правда не видишь, как это нелепо? — спросил в ответ Сэм.

Джейкоб предполагал несколько ответов, и ему было любопытно, что думает Сэм.

— Израиль создавался как место, куда евреи могли бежать от притеснений. А мы сбежим туда от иудаизма.

— Прекрасно сказано.

Так что бар-мицва будет в синагоге, которой они оставляют по двадцать пять долларов каждое посещение, чтобы оставаться в числе прихожан на попечении молодого стильного рава, который, если уж определить точно, не был ни молодым, ни стильным, ни равом. Прием состоится в "Хилтоне", где Рейган оказался на *волосок от того*, чтобы избавить страну от своего присутствия и где Джулия с Сэмом представляли Микронезию. Группа будет такая, чтобы умела равно хорошо играть хору и рок. Разумеется, такой группы в истории живой музыки никогда не существовало, но Джейкоб понимал, что в какой-то момент просто хрупнешь припрятанную за щекой капсулу в надежде перестать что-то чувствовать. Темой — преподанной со вкусом и тактом — будет Сэмова семейная диаспора. (Эту идею подала Джулия, и если вообще это уместно как тема для бар-мицвы, то она подходила.) Гостей рассадят по столам, представляющим страны, по которым рассеялась семья: Америка, Бразилия, Аргентина, Испания, Австралия, ЮАР, Израиль, Канада, — и вместо рассадочной карточки каждый получит "паспорт" одной из стран. В оформлении столов будет отражена культура и достопримечательности страны — именно здесь вкус и такт подвергнутся самому серьезному испытанию, — а вместо вазы с цветами в середине стола будет семейное древо и фотографии родственников, живущих сейчас в этой стране. На фуршете представят национальные блюда: бразильскую фейжоаду, испанские тапас, израильский фалафель, что-то, что едят в Канаде, ну и так далее. Сувенирами для гостей станут стеклянные шары со снегопадом, изображающие разные местности. В Израиле войны бывают чаще снегопадов, но китайцы умны и знают, что тупые американцы купят все. Особенно американские евреи, которые пойдут на все, кроме исполнения догм иудаизма, чтобы привить своим детям чувство принадлежности к еврейству.

— Я задал тебе вопрос, — напомнил Ирв, возвращая Джейкоба к спору, в котором только сам и участвовал.

— Вопрос?

— Да: *почему?*

— Почему *что?*

— Да *что*, это даже не важно. Ответ тот же, что и на любой вопрос о

нас: *Потому что в мире евреев ненавидят.*

Джейкоб обернулся к Максусу:

— Ты ведь понимаешь, что генетика еще не судьба, да?

— Как скажешь...

— Точно так же, как мне удалось избежать лысины, отметившей голову твоего деда, у тебя есть неплохой шанс ускользнуть от безумия, которое превратило небезнадежное человеческое существо в мужчину, который взял в жены мою мать.

Ирв громко страдальчески выдохнул, а затем со всем напором своей фальшивой искренности промолвил:

— А ничего, если я попробую высказать мнение?

Это рассмешило и Джейкоба и Макса. Джейкобу понравилось это чувство: внезапная общность отца и сына.

— Слушать, не слушать, решай сам. Но я должен снять камень с души. Мне кажется, ты впустишь тратьишь жизнь.

— И *всего-то*? — отозвался Джейкоб. — Я уж готовился к чему-то серьезному.

— Мне кажется, что ты грандиозно одаренный, тонко чувствующий и глубоко интеллектуальный человек.

— Отец семейства, мыслю я, чрезмерно возмущается.

— И ты сделал несколько крупных ошибок.

— Я думаю, ты сейчас имеешь в виду что-то определенное.

— Да, работу на этот мудацкий сериал.

— Этот мудацкий сериал смотрят четыре миллиона человек.

— А: Ну и что? Б: Каких четыре миллиона?

— И о нем хорошо отзываются критики.

— Те критики, кто пальцем в нос попасть не способен.

— И это моя *работа*. Так я обеспечиваю семью.

— Так ты делаешь деньги. Обеспечить семью можно иным способом.

— Надо было стать дерматологом? Это было бы достойное применение моему таланту, чувствам и интеллекту?

— Тебе надо делать то, что востребует твои способности и поможет выразить твою сущность.

— Я и *делаю*.

— Нет, ты ставишь точки над *i* и дорисовываешь палочки на *t* в драконьих сагах каких-то людей, не достойных полировать твой геморрой. Ты не затем пришел на землю.

— И теперь ты мне расскажешь, для чего я пришел?

— Именно это я и собираюсь сделать.

Джейкоб пропел:

— "И где-то в детстве или позже я совершил что-то плохое".

— Как я собирался сказать.

— "И на высоком на коне мой папа Ирв, лей од лей од лей хи-ху".

— Ты остряк, мы это поняли, Франкенштейн.

— "А вот вредный совет нам всегда отрада".

На сей раз не давая вставить слова:

— Джейкоб, ты должен ковать на горне своей души не родившееся сознание своего народа.

Вялое:

— Ого.

— Да, ого.

— Не мог бы ты повторить еще раз и прокрутить, для задних рядов?

— Ты должен ковать на горне своей души не родившееся сознание своего народа.

— Разве печи Освенцима не сделали этого?

— Они разрушали. Я говорю о созидании.

— Я ценю внезапный кредит доверия, который ты мне выдал...

— Я забил доверху избирательную урну.

— ...Но мой душевный горн не настолько горяч.

— Это потому что ты так сильно хочешь, чтобы тебя любили. Трение дает тепло.

— Даже не понял, что это значит.

— Это точно как в этой истории со словом на "н" в школе Сэма.

— Может, не будем впутывать сюда Сэма, — предложил Макс.

— И это точно так же всюду, куда ты ни посмотришь в своей жизни, — сказал Ирв. — Ты делаешь ту же ошибку, которую мы совершаем тысячелетие за тысячелетием...

— Мы?

— ...Веря, что, если нас будут любить, мы будем в безопасности.

— Мой разговорный навигатор сломался: мы опять обсуждаем ненависть к евреям?

— Опять? Нет. Мы и не прекращали.

— Этот сериал — *развлечение*.

— Не верю, что ты в это веришь.

— Ну, тогда, похоже, приехали.

— Потому что я готов поверить в тебя сильнее, чем ты сам?

— Потому что, как ты и сам первым признаешь, нельзя вести переговоры, если нет второй договаривающейся стороны.

— А кто ведет переговоры?

— Ну, беседу.

— Серьезно, Джейкоб. Отставь на секунду свою защиту и спроси себя: откуда эта ненасытная жажда любви? Ты писал такие правдивые книги. Правдивые, эмоциональные и страстные. Может, у них не было миллионной аудитории. Может, на них ты не разбогател бы. Но они обогащали мир.

— Они бесили тебя.

— Да, это так, — подтвердил Ирв, перестраиваясь и не глядя ни в одно из зеркал. — Бесили. Не дай бог, ты увидел бы мои пометки на полях. Но разве ты знаешь, кого бесит твой сериал?

— Он не мой.

— Никого. Ты убиваешь прорву времени на благодарных зомби.

— А, так это речь против телевидения?

— Я мог бы и ее произнести, — сказал Ирв, въезжая на территорию аэропорта, — но это речь против твоего сериала.

— Не моего.

— Так обзаведись своим.

— Но мне нечего предложить зубной фее взамен.

— А ты пробовал?

— *Пробовал ли я?*

Да никто не пробовал упорнее. Не *обзавестись* сериалом — для этого еще время-то не пришло, — а написать его. Больше десяти лет Джейкоб надрывал спину своего воображения, швыряя уголь в горн. Отдавал себя тайной, безнадежно невыполнимой задаче спасти свой народ средствами языка. Свой народ? Ну, семью. Семью? Себя самого. Какого себя? Да и *спасение*, пожалуй, не совсем верное здесь слово.

"Исчезающий народ" — именно то, на что надеялся, как ему казалось, отец Джейкоба, — зов шофара с вершины горы. Или хотя бы безмолвный крик из кабинета. Но если бы Ирву когда-нибудь выпал случай прочесть, что сочинял Джейкоб, он бы содрогнулся и отвращение было бы мощнее, чем от романов. Понимание истины у Джейкоба, наверное, было довольно отталкивающим, но этого мало: у них с отцом были непримиримые противоположные мнения о том, на кого должно быть направлено острие выкованного сознания.

И еще более серьезная беда: такой сериал добил бы деда Джейкоба. Причем в прямом смысле. Джейкоб стал бы патриархоубийцей. Тот, кто мог вынести все, никогда не вынес бы своего отражения в зеркале. Так что Джейкоб хранил рукопись поближе к сердцу: в запертом ящике стола. И

тем сильнее он был к ней привязан, чем меньше был способен показать ее кому-нибудь.

Текст сценария начинался с описания, как автор начинает писать сценарий. Героями фильма были реальные люди из реальной жизни Джейкоба: несчастная жена (которая не соглашалась с таким определением); три сына: один на пороге возмужания, второй переживает период крайнего самоуглубления, третий на пороге ментальной самостоятельности; перепуганный ксенофоб-отец, тихо что-то ткущая и распускающая мать, депрессивный дед. Если бы Джейкоб однажды дал это кому-нибудь почитать и его спросили бы, насколько автобиографичен материал, он ответил бы: "Это не моя жизнь, но это я". И если кому-нибудь — а кому, кроме доктора Силверса? — случилось бы спросить, насколько автобиографична жизнь Джейкоба, тот ответил бы: "Это моя жизнь, но не я".

Работа над рукописью шла вслед переменам в жизни Джейкоба. А может, жизнь катилась по писаному. Не всегда было легко отличить. Джейкоб написал о находке женой телефона за несколько месяцев до того, как вообще купил второй телефон, — психологически линия настолько сомнительная, что не оправдывает и одной-единственной шестидолларовой минуты у доктора Силверса, а прорабатывалась несколько десятков часов. Но дело было не только в психологии. Случалось, что какие-нибудь слова или поступки Джулии до жути близко повторяли написанное у Джейкоба, так что он задавался вопросом, не читала ли она его текст. В день, когда нашла телефон, она спросила Джейкоба: "Тебя огорчает, что детей мы любим сильнее, чем друг друга?" Точно такая фраза уже не один месяц присутствовала в сценарии. Только там ее произносил Джейкоб.

Исключая те моменты, которых большинство людей старается всеми силами избежать, жизнь человека течет довольно медленно, скучно, однообразно и предсказуемо. Джейкоб придумал для этой проблемы, или благодати, свое решение: не добавлять в сюжет драмы — правдоподобие его работы было единственным антидотом против неправдоподобия его жизни, — а создавать новые и новые обстоятельства и вещи.

Двадцатью четырьмя годами раньше, примерно в то время, когда недостаток терпения оказался у Джейкоба сильнее страсти к гитаре, он принялся оформлять обложки дисков для несуществующей группы. Составлял треклисты, сочинял тексты песен, писал аннотации. Благодарил несуществующих людей: инженеров, продюсеров, директоров. Стиль уведомления об авторском праве он заимствовал из второго альбома "Фугази" "Steady Diet of Nothing". С атласом на коленях придумал

концертный тур по США, затем мировой, прикидывая, сколько городов в него можно впихнуть физически и эмоционально: реально ли за одну неделю отыграть в Париже, Стокгольме, Брюсселе, Копенгагене, Барселоне и Мадриде? Особенно после восьми месяцев гастролей? И даже если нагрузка под силу, стоит ли заставлять музыкантов нервничать, ведь это только во вред всему, во что они верят и ради чего так усердно работают? Даты концертов печатались на спине футболок, которые Джейкоб рисовал, потом на самом деле выпускал и на самом деле носил. Но брать баррэ у него не получалось.

Его отношения с сериалом выстраивались похоже — чем более чахлой была реальность, тем насыщеннее антураж.

Он завел и постоянно дописывал "библию" к рукописи: своего рода инструкцию для тех, кто когда-нибудь возьмет сценарий в работу. У него было постоянно корректируемое досье, содержащее справочную информацию по каждому из персонажей, —

Сэм Блох

Скоро тринадцать. Старший из братьев Блох. Практически все время проводит в виртуальном мире "Иной жизни"". Считает, что на нем плохо сидит любая одежда. Любит видео, где вырубают наглых хулиганов. Неспособен не замечать и тем более не воспринимать сальные двусмысленности. Согласился бы на изъеденное угревыми рубцами тело в будущем ради чистого лба сейчас. Очень хочет, чтобы все узнали о его хороших качествах, но никогда об этом не говорит.

Гершом Блуменберг

Давно умер. Сын Аншеля, отца Исаака. Дед Ирвина. Внук человека, чье имя забыто навсегда. Главный раввин Дрогобыча. Погиб в горячей синагоге. В его честь назван небольшой скверик с прохладными мраморными скамейками в Иерусалиме. Появляется только в ночных кошмарах.

Джулия Блох

43 года. Жена Джейкоба. Архитектор, хотя втайне стыдится такого определения, поскольку не построила ни одного здания. Чрезвычайно одаренная, трагически обремененная заботами, постоянно недооцениваемая, сезонно оптимистичная. Время от времени ее осеняет догадка, что для радикального изменения всей ее жизни нужна только лишь полная смена контекста.

— и каталог мест действия, состоявший из кратких (хотя и постоянно дополняемых) описаний, сотен фотографий для будущих реквизиторов, карт, планов, адресов, анекдотов, —

Ньюарк-Стрит, 2294

Дом Блохов. Лучшие многих, но не самый лучший. Однако хорош. Хотя мог бы, возможно, быть и получше. Продуманные интерьеры, вполне практичные. Хорошая мебель в стиле шестидесятых, в основном с "Е-бэя" и "Этси". Кое-что из "Икеи" с крупными дополнениями (кожаные петли для штор, резные фасады шкафчиков). Фотографии на стенах висят группами (место справедливо поделено между его и ее родственниками). Миндальная мука в стеклянном контейнере "Уильямс — Сонома" на столешнице из мыльного камня. Слишком красивая, чтобы использовать, духовка "Ле круазе доч" цвета парижская лазурь справа от широкой плиты "Лаканш", возможности которой попусту тратятся на вегетарианские чили. Книги — одни куплены, чтобы читать (или, по крайней мере, просматривать); другие — чтобы создавать впечатление очень особенного сорта очень многогранной любознательности; третьи, как двухтомное издание "Человека без свойств" в картонном футляре, ради красивых корешков. Ацетат гидрокортизона в суппозиториях под стопкой "Нью-Йоркеров" в среднем ящике медицинской аптечки. Вибратор, спрятанный в туфлю высоко на верхней полке. Книги о холокосте позади книг не о холокосте. И на кухонном косяке отметки роста сыновей.

Когда мне пришло время съезжать, я помедлил у этого косяка. Он был единственным предметом здесь, от которого я не мог отказаться. Куда там креслу "Папа беар" и такой же оттоманке. Куда там подсвечникам и лампам. Куда там "Слепому ботанику", рисунку, который мы купили вдвоем, — авторство приписывалось одному из моих любимцев, Бену Шану^[23], чего доказать было нельзя. Куда там капризной орхидее. Однажды днем, пока Джулии не было, я взял отвертку с плоским жалом и с ее помощью отодрал косяк от стены, затем уложил его в "субару" вдоль салона (один конец уперся в стекло задней дверцы, второй в ветровое стекло) и перевез таблицу роста своих детей в новое жилище. Через две недели маляр, красивший его, покрыл косяк слоем краски. Я нанес черточки заново, изнасиловав свою никудышную память.

— и самое самонадеянное (или невротичное, или жалкое): пометки для актеров, попытка досказать то, чего не напишешь в сценарии, потому что на это понадобится больше слов: КАК ИГРАТЬ ЗАПОЗДАЛЫЙ СМЕШОК; КАК ИГРАТЬ "КАК ВАШЕ ИМЯ?"; КАК ИГРАТЬ ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА САМОУБИЙСТВ... Каждая серия всего двадцать семь страниц, плюс-минус. В каждом сезоне всего десять серий. Есть место для кое-какого второго плана, нескольких воспоминаний и попутных сцен,

нарочито информационных заплаток, которые не развивают сюжет, но помогают понять мотивы героев. Все больше и больше нужно было объяснить: КАК ИГРАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В НЕДОВОЛЬСТВЕ, КАК ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ, КАК ИГРАТЬ СМЕРТЬ ЯЗЫКА... Эти пометки по своей неукротимо придиричливой назидательности были прямо как еврейская мамочка, и еврейский папаша по стремлению любую эмоцию спрятать в темную, уводящую в сторону метафору. КАК ИГРАТЬ АМЕРИКАНЦА; КАК ИГРАТЬ СЛАВНОГО МАЛЬЧИШКУ; КАК ИГРАТЬ ЗВУК ВРЕМЕНИ... "Библия" скоро превзошла сценарий и по толщине, и по глубине — пояснения задавили то, что должны были объяснить. Так по-еврейски.

Джейкоб хотел написать такое, что искупило бы все, но вместо этого он объяснял, объяснял, объяснял...

Как играть звук времени

В то утро, когда Джулия нашла телефон, мои родители пришли к нам на обед. Бенджи что-то расклеился, хотя я никогда не узнаю, что он знал в тот момент, как не узнает и он. Он вернулся на кухню, где взрослые разговаривали, и сказал:

— Звук времени? Что с ним стало?

— Что ты такое говоришь?

— Ну знаешь, — ответил он, помахав ручонкой, — звук времени.

Понадобилось время — добрых пять минут смятения, чтобы понять, о чем он толкует. Холодильник наш был в ремонте, и потому на кухне не хватало его постоянного едва уловимого гудения. Бенджи практически все свое домашнее время проживал с этим звуком и потому стал ассоциировать его с течением жизни.

Мне пришлось по душе его ошибка, потому что это совсем не ошибка. Мой дед слышал крики своих погибших братьев. Таков был звук его времени.

Отец слышал атаки. Джулия слышала голоса мальчиков. Я слышал безмолвие.

Сэм слышал предательства и звук включаемых устройств марки "Эпл" эппловских устройств. Макс слышал скулеж Аргуса.

Бенджи единственный был еще настолько мал, что слышал дом.

Ирв опустил в машине все четыре стекла и сказал Джейкобу:

— Тебе не хватает силы.

— А тебе не хватает интеллекта. Вместе мы составим полностью дефективную личность.

— В самом деле, Джейкоб. Откуда такая ненасытная жажда любви?

— В самом деле, пап. Откуда такая ненасытная жажда в этом диагнозе?

— Я тебе не диагноз ставлю. Я тебе тебя самого объясняю.

— А тебе любовь не нужна?

— Как деду — да. Как отцу и сыну — да. Как еврею? Нет. Какой-то пятисортный британский университет не позволяет нам участвовать в их смехотворной конференции по новым достижениям в морской биологии? И *наплевать*! Стивен Хокинг не приедет в Израиль? Я не из тех, кто пнет очкарика с парализованными конечностями, но я уверен, он не станет возражать, если мы попросим его вернуть нам свой голос — ну, ты знаешь, созданный *израильскими* инженерами. И раз уж о том зашла речь, я бы с радостью лишился кресла в Объединенных-против-Израиля-Нациях, если это гарантировало бы спасение задницы. Евреи превратились в самый умный из слабейших народов мировой истории. Смотри, я не всегда прав, я это понимаю. Но я всегда силен. А если наша история нас чему-то и научила, так это тому, что быть сильным важнее, чем быть правым. Или *добрым*, к слову. Я предпочту быть живым, неправым и злым. Мне не нужны *ничьи* благословения: ни епископа-в-балетной-пачке, ни этого гидроцефального президента-луцильщика бобов, ни этих евнухов-лжесociологов с их умничаньем из передовиц "Нью-Йорк таймс". Мне не нужно быть светочем другим народам; мне нужно, чтобы я не горел в огне. Жизнь долгая, если ты живой, а у истории короткая память. Америка как хотела, так и обошлась с индейцами. Австралия, Германия, Испания... *Они сделали, что должно было сделать*. И что за беда? В их учебниках истории есть несколько постыдных страниц? Им приходится раз в году выступать с вялыми извинениями и выплачивать репарации тем, до кого не добрались? Они совершили, что следовало, и жизнь продолжилась.

— И что ты хочешь сказать?

— Да ничего. Просто говорю.

— Что? Что Израиль должен совершить самоубийство?

— Это ты сказал.

— Но это то, что ты имел в виду.

— Я сказал и имел в виду, что Израилю нужно стать уважающей себя и защищающей себя страной, как всякая другая страна.

— Как фашистская Германия.

— Как Германия. Как Исландия. Как Америка. Как всякая страна, что когда-либо существовала и не перестала существовать.

— Звучит вдохновляюще.

— Пока все налаживается, жизнь будет не мед, это точно, но через

двадцать лет, с пятьюдесятью миллионами евреев, заселившими земли Израиля от Суэцкого канала до самых нефтяных морей, с мощнейшей экономикой, между Германией и Китаем...

— Израиль не между Германией и Китаем.

— ...С Олимпийскими играми в Тель-Авиве и таким морем туристов в Иерусалиме, что Париж отдохнет, ты думаешь, кому-то захочется разглагольствовать о том, как делается кошерная колбаса? — Ирв глубоко вздохнул и покивал головой, как будто соглашаясь с чем-то, ведомым только ему. — Евреев в мире всегда будут ненавидеть. Переходим к следующей мысли, а именно: что делать с этой ненавистью? Можно ее отрицать или пытаться преодолеть. Мы можем даже решить вступить в клуб и ненавидеть самих себя.

— В клуб?

— Ну знаешь, кто там членствует: евреи, которые лучше согласятся на исправление так называемого искривления носовой перегородки, чем расшибуют нос ради собственного выживания; евреи, отказывающиеся признать, что Тина Фей не еврейка, или, наоборот, что ЦАХАЛ — евреи; потом евреи в кавычках типа Ральфа Лорена (урожденного Лифшица), Вайноны Райдер (урожденной Горовиц), Джорджа Сороса, Майка Уоллеса, практически всех евреев, живущих в Соединенном Королевстве, Билли Джоэла, Тони Джадта, Боба Силверса...

— Билли Джоэл не еврей.

— Конечно, еврей.

— "Сцены из итальянского ресторана"?

— Китайского ресторана, нет?

— Нет.

— В общем, я о том, что еврейский кулак может больше, чем дробить и держать карандаш. Отбрось инструмент для письма, и у тебя остался инструмент для нанесения ударов. Ты понял? Нам больше не нужны Эйнштейны. Нам нужны Коуфаксы^[24], бросающие прямо в голову.

— Ты вообще догадываешься... — начал Джейкоб.

— Да, вероятно, догадываюсь.

— ...Что я себя к этим твоим *мы* не отношу?

— А ты догадываешься, что ебанутый мулла с ядерной кнопкой *относит*?

— То есть наша идентичность зависит от каких-то левых психов?

— Если ты не можешь генерировать ее сам.

— Чего ты от меня хочешь? Чтобы я стал израильским шпионом? Взорвал себя в мечети?

- Я хочу, чтобы ты писал что-нибудь, имеющее значение.
- Во-первых, то, что я пишу, имеет значение для множества людей.
- Нет, развлекает их.

Джейкобу вспомнился вчерашний разговор с Максом, и он подумал, не сказать ли, что его сериал приносит больше дохода, чем все книги, изданные в этом году в Америке, вместе взятые. Это, наверное, было бы неправдой, но главное — уверенно заявить.

— Твое молчание я расцениваю как признак того, что ты меня понял, — сказал Ирв.

— А может, ты займешься своим мракобесным блогом, а я — своим высокорейтинговым телевидением?

— Слышишь, Макси, ты не знаешь, кто творил высокорейтинговое развлекалово во времена Маккавеев?

— Скажи скорей, — ответил Макс, сдувая с экрана пыль.

— Я не могу, поскольку мы помним только Маккавеев.

На самом деле Джейкоб думал, что его отец темная, самовлюбленная, самодовольная свинья, слишком выраженный анальный тип и слишком подкаблучник, чтобы понять пределы собственного лицемерия, эмоционального бессилия и психической незрелости.

— Ну так мы, значит, заключили договор?

— Нет.

— Значит, мы договорились?

— Нет.

— Я рад, что мы пришли к согласию.

Но были и доводы за то, чтобы простить его. Были. Убедительные доводы. Прекрасные намерения. Страдания.

Зажужжал телефон Джейкоба. Его настоящий телефон. Звонила Джулия. Настоящая Джулия. Джейкоб готов был выскочить в любое открытое или закрытое окно, лишь бы не продолжать разговор с отцом, но отвечать на этот звонок ему было страшно.

— Привет!

— ...

— Не сомневаюсь.

— ...

— У них хоть место есть для нее?

— ...

— Я догадался. Не про бомбу, а...

— ...

— Я в машине.

— ...
— Это ранний рейс.
— ...
— Макс.
— ...
— Макс, хочешь передать привет маме?
— ...
— Ты в отеле? Я слышу уличный шум.
— ...
— Скажи ей привет.
— Отец говорит "Привет".
— ...
— И тебе.
— И что Бенджи отлично провел у нас время и не умер.
— Он просит передать, что Бенджи у них отлично провел время.
— ...
— Она передает спасибо.
— Скажи, и от меня привет.
— Макс передает привет.
— ...
— И тебе.
— ...
— Ну, в общем. Аргус глубокий старик. Это подтвердили. Выписали новые таблетки от боли в суставах и повысили дозировку тех, других. Он еще погавкает у нас.
— ...
— А ничего не сделаешь. Ветеринарша прочла нам лекцию о том, какая это честь заботиться о любимых существах, такое бывает лишь раз.
— Не было этого, — сказал Макс.
Джейкоб пожал плечами.
— И скажи ей, что ветеринар считает, Аргуса надо усыпить.
— Погоди, — сказал Джейкоб в трубку, а затем отключил микрофон. — Ветеринар этого не говорил, Макс.
— Скажи ей.
Джейкоб включил микрофон и сказал:
— Макс хочет передать, что ветеринар думает, Аргуса надо усыпить, хотя ветеринар ничего такого не сказала.
— Сказала, мам!
— ...

— Сказала.

— ...

— Мы мило поговорили насчет качества жизни и всего такого.

— ...

— Мы заехали в Форт-Рено, я рассказывал ему всякие истории про то, как был мальчишкой.

— ...

— Ели в "Макдоналдсе".

— ...

— Буррито.

— ...

— Нет, из микроволновки.

— ...

— Конечно. Морковку. Хумус тоже.

Несколькими движениями руки Джейкоб изобразил Макс, что Джулия спрашивает, съел ли он овощи.

— ...

— Съест.

— ...

— И еще кое-что: прошлым вечером у нас получился небольшой прокол с аватаром Сэма.

— ...

— В "Иной жизни". Его аватар. Мы с ним баловались.

— Ты баловался, — поправил Макс.

— ...

— Нет, наверное нет. Макс им играл.

— Что? Пап, ну неправда же. Мам, это неправда!

— И мне захотелось, знаешь, выказать интерес, ну и мы стали водить его вместе. Никаких приключений. Просто ходили и осматривались. В общем, мы убили ее.

— Не мы. Ты. Мам, это папа ее убил!

— ...

— Его аватар. Да.

— ...

— Нечаянно.

— ...

— Нельзя починить смерть, Джулия.

— ...

— Вечера я пару месяцев провисел на телефоне с техподдержкой. Я,

наверное, смог бы вернуть аватар в более или менее то состояние, в котором он был, но для этого потребовалось бы сидеть за компьютером, пока Мессия не призовет.

— ...

— Я не разговаривал с Кори как минимум уже год.

— ...

— Просить его сейчас, после того, как не отвечал на его звонки, будет скотством.

— ...

— Да и не думаю, что тут нужен компьютерный гений. Я разберусь. Но хватит про наши болезни и смерти. Как вы там? Весело?

— ...

— Видела пресловутую Билли?

— Пресловутую Билли? — спросил Ирв Макса в зеркало.

— Сэмова девочка, — ответил Макс.

— ...

— И?

— ...

— Ну и как он с ней?

— ...

— Я бы не принимал на свой счет.

— ...

— А Марк?

— ...

— Хорошо, что он там?

— ...

— Пришлось ему смывать в унитаз марихуану или прервать сеанс французских поцелуев?

— Французский поцелуй — это с языками, да? — спросил Макс у Ирва.

— Mais oui^[25].

— ...

— Что случилось?

— ...

— Что?

— ...

— Что-то случилось. Я слышу.

— ...

— *Точно*, что-то случилось.

— Что случилось? — спросил Макс.

— ...

— Ладно, но можешь хотя бы сказать, с чем *связано*, чтобы мои мысли как сумасшедшие не кружили следующие шесть часов по спирали?

— ...

— Я не про это говорил.

— ...

— Джулия, что происходит?

— В самом деле, что происходит? — спросил Ирв, наконец-то заинтересовавшись разговором.

— ...

— Если бы это было ничего, мы бы давно бросили об этом говорить.

— ...

— Ладно, я понял.

— ...

— Погоди, что?

— ...

— Джулия?

— ...

— Марк, что?

— ...

— Какого хера он себе позволяет?

— Выражения, — сказал Макс.

— ...

— Он *женат*.

— ...

— Но *был*.

— ...

— Чего ты от меня хочешь? Проткнуть куклу вуду самого себя?

Джейкоб сделал радио погромче, чтобы его отцу и сыну труднее было подслушать разговор с Джулией. Дама-филолог рассказывала о своей влюбленности в английские автоантонимы — слова, которые сами себе противоположны по значению. *Просмотреть* — значит и рассмотреть, и не заметить. *Санкция* значит одновременно и разрешение и запрет. *Вновь* означает одновременно впервые и заново.

— ...

— Это нечестно.

— ...

— Ну, пусть. Но это то, что люди говорят, когда с ними поступают

нечестно.

— ...

— Конечно, нет.

— ...

— Значит, это самое анекдотическое совпадение во времени со времен...

— ...

— А...

— ...

— Ну и скажи мне, пожалуйста, зачем это все. Если не ответный ход, тогда?..

— ...

— Отлично.

— ...

— Отлично.

— ...

— Как я и делаю, да.

— ...

— Оба.

— Что случилось? — спросил Макс.

— Ничего, — ответил Джейкоб. А затем Джулии: — Макс спрашивает, что случилось.

— ...

— Но ты огорчился, — сказал Макс.

— Жизнь вообще огорчительна, — заметил Ирв, — как кровь — мокрая.

— А короста? — не унимался Макс.

Джейкоб еще увеличил громкость, почти до максимума. Надеялись, что он отойдет, но к утру больной стал отходить. Полисмен подозрительно смотрел на подозрительный предмет в углу. Спички вышли хороши, но скоро вышли.

— ...

— Больше нет никаких *естественно*.

— ...

— Ты едешь домой?

— ...

— Я не понимаю, Джулия. Правда, не понимаю.

— ...

— Но ты мне сказала, на днях в постели, что этого ты...

— ...

— Ты сама сказала, что ты не остановила его. Не могу поверить. Не могу поверить.

— Может, вам, ребята, выйти в другую комнату? — шепотом спросил Джейкоба Ирв.

— ...

— Теперь я понял. Почему ты вчера не звонила.

— ...

— Ну хотя бы бомба-то у Микронезии *осталась*?

— ...

Джейкоб дал отбой.

Они вели сражение друг против друга, и оба потерпели поражение.

— Боже, — сказал Ирв, — что там еще стряслось у вас?

— Да это...

— Пап?

Ровно то время, за которое смог отбросить эту мысль, Джейкоб думал, не сообщить ли отцу и сыну всё. Ему бы стало легче, но ценой стала собственная порядочность.

— Ну... Вся эта срань с переездами и организацией, и как быть, если они вернутся позже, и где будут спать израильтяне, и что они будут есть, и так без конца.

Конечно же, Ирв ему не поверил. Макс, конечно же, не поверил тоже. Но сам Джейкоб почти поверил себе.

Он бежал к жизни, которой бежал.

Слово на "л"

Билли готовила выступление для Генеральной Ассамблеи — после непродуктивного совещания Форума тихоокеанских островов делегация Микронезии собралась в номере Марка и, давно пропустив условленный час отбоя, почти договорилась отдать бомбу любой достойной доверия и надежной стороне, способной обезвредить боеприпас и утилизировать ядерное вещество, — когда ее телефон спел два первых слова из "Someone Like You" Адели: как раз, чтобы вызвать целый ураган эмоций, но при этом не дать понять остальным, что она не считает эту песню полным отстоем. Это был сигнал для сообщений от Сэма: Билли с вечера не выпускала телефон из руки, ей и хотелось и не хотелось услышать: *Я слышала.*

готовишь речь?

с чего ты решил что я хочу с тобой говорить?

с того что ты сейчас написала

надо изобрести эмодзи для слова которое надо изобрести

для того насколько мне больно

прости

вообще герника

...

куда пропал?

пришлось гуглить гернику

мог бы просто спросить

никто на тебя не похож, и ты не похожа ни на кого

это ты на упаковке тампонов вычитал?

???

попробуй еще

эмет хи ашекер а-това бейотер

какая правда? и какая ложь?

очень, очень, очень нравишься... это ложь

а правда?

люблю

это сказать было труднее всего?

нет, это легче всего

почему ты так гадко со мной обошелся?

можно я тебе кое-что скажу?

валяй

в восемь лет у меня левую руку раздавило
тяжелой железной дверью
и три пальца размозжило, их пришлось собирать заново
когда руки перестанут расти, я все равно сделаю искусственные ногти
в общем, я ее все время прячу в кармане, а когда сижу
сую под ногу
знаю
я несколько раз хотел дотронуться до твоего лица
правда?
много раз, много
почему же не дотронулся?
из-за руки
боялся, что я ее увижу?
да
и что я это увижу
ты мог бы другой рукой
я хочу прикоснуться к тебе этой
в этом смысл
и я хочу чтобы ты коснулся меня этой рукой
правда?
...
куда ты пропала?
просто прижала телефон к сердцу
я слышал как оно стучит
хотя мы не говорим по телефону
да
можешь потрогать мое лицо, если хочешь
это пишу я как ахиллес
в жизни я титеха
я в жизни феминистка
ну я же идиоматически
да, я понимаю, что ты не женская грудь
так я тебя реально обманул
ни за что не напишу лол
прости что я тебя обидел
а что это было-то?
это был трусливый способ укусить самого себя
особенно тяжело было
что мне всегда казалось я тебя понимаю

но вчера нет
это напугало меня
ты принимаешь мое извинение?
как остроумно ответил франц розенцвейг
на вопрос религиозен ли он...
"пока нет"
хорошая память
пока нет?
пока нет
но примешь
ты задумывался почему это вообще важно
что ахилесса ранили в пятку
потому что только эта часть тела у него
была уязвимой
и? остался бы бессмертным но хромым
чувствую, ты знаешь ответ
знаю
я бы тоже оченьоченьочень хотел знать
оченьоченьочень хорошо узнаешь
только измени это "хотел"
тысячу раз готов
на "люблю"
ну скажи
там не так что пятка была
его единственным уязвимым местом
его смерть была в пятке
это как если все обитатели небоскреба
спустились в подвал, а его затопило
и тогда люди, работавшие на разных этажах,
которые иначе никогда бы не встретились не разговорились,
не решили вместе пообедать,
не стали бы вместе обедать постоянно,
не познакомились бы семьями,
не стали вместе отмечать праздники,
не завели бы детей,
которые тоже завели бы детей, а те своих детей
но они все утонули
и?

Может быть, дело в расстоянии

Джейкоб был единственным, кто называл израильских кузенов "наши израильские кузены". Для всех остальных членов семьи они были просто "израильскими кузенами". Дело не в том, что Джейкоб хотел подчеркнуть общность с ними, да и от слишком тесной близости его корбило, но ему казалось, что семейного тепла израильтянам причитается соразмерно густоте крови. Или ему казалось, что ему должно так казаться. Было бы легче, если бы с ними было легче.

Тамира Джейкоб знал с детских лет. Их деды были братьями, рожденными в галичанском штетле столь ничтожного размера и значения, что немцы не заглядывали туда, пока не пошли второй раз по черте оседлости за последними остатками евреев. Братьев всего было семь. Исаак и Бенни избежали участи пятерых других, просидев вдвоем в земляной норе больше двухсот дней, а потом скрываясь в лесу. За любым разговором о тех днях, подслушанным Джейкобом — Бенни вроде бы убил фашиста, Исаак вроде бы спас еврейского мальчика, — вставал с десятков историй, которых ему не суждено было подслушать.

Братья год провели в лагере для перемещенных лиц, где познакомились с будущими женами, которые приходились друг другу сестрами. У каждой пары родилось по ребенку, оба мальчика: Ирв и Шломо. Бенни увез семью в Израиль, а Исаак в Америку. Исаак так и не понял Бенни. Бенни понял Исаака, но так и не простил.

Не прошло и двух лет, как Исаак с Сарой открыли еврейскую лавочку в шварце^[26] районе, освоили английский в нужной для жизни мере и начали откладывать деньги. Ирв выучил правило высоко отбитого мяча, алфавитно-слоговую систему именования вашингтонских улиц, научился стыдиться вида и запаха своего дома, а однажды утром его сорокадвухлетняя мать спустилась открыть лавочку и вдруг свалилась и умерла на месте. От чего умерла? От сердечного приступа. От инсульта. От необходимости выживать. Вокруг ее смерти воздвиглась столь высокая и плотная стена молчания, что никто не знал никаких существенных ее обстоятельств, и более того: никто не знал, что́ знают другие. Спустя много десятков лет на похоронах отца Ирв позволит себе задаться вопросом: не наложила ли его мать на себя руки?

В их семье было то, что никогда не следовало вспоминать, и то, что никогда не следовало забывать, а то, что дала им Америка, следовало

рассказывать снова и снова. В детстве Джейкоба дед пичкал историями о величии Америки: как военные кормили его и одевали после войны; как на Эллис-Айленде ему ни разу не предложили сменить имя (он сам решил его сменить); говорил, что ограничивала человека только сила его собственного желания работать, что он никогда ни в ком и ни в чем не встречал даже малейшего налета антисемитизма — только безразличие, а это лучше любви, потому что надежнее.

Братья ездили друг к другу раз в несколько лет, как будто поддержание родственной близости задним числом могло победить немцев и спасти всех. Исаак заваливал семью Бенни дорого выглядевшими безделушками, водил в "лучшие" второсортные рестораны, на неделю закрывал лавку, чтобы показать им достопримечательности Вашингтона. А распрощавшись, вдвое дольше срока их пребывания стонал, какие у них широкие черепа и узкие взгляды, повторял, что американские евреи — евреи, а эти израильские сумасшедшие — жида, народ, который, дай ему волю, будет приносить животных в жертву и служить царям. Но потом снова заводил песню о том, как важно поддерживать тесные связи.

Джейкоб считал израильских кузенов — *своих* израильских кузенов — любопытными, одновременно знакомыми и чужими. В их лицах он видел лица своих родных, только немного другие, и эту инакость равно можно было назвать темнотой или простотой, фальшью или свободой — сотни тысяч лет эволюции, утрамбованные в одном поколении. Может, это был такой экзистенциальный запор, но израильтяне, казалось, ничем не заморочивались. А в семье Джейкоба всем было дело до всего. Они были великие заморочники.

В первый раз Джейкоб приехал в Израиль в четырнадцать лет — просроченный подарок, которого он и не хотел, на бар-мицву, которой не проходил. Новое поколение Блуменбергов отвело новых Блохов к Стене Плача, в трещины которой Джейкоб засунул просьбы о том, что его ни капли не волновало, но, он знал, должно было волновать: лекарство от СПИДа, полноценный озоновый слой и тому подобное. Они вместе квасились в Мертвом море среди древних слоновобразных евреев, читавших полупогруженные в воду газеты, истекавшие кириллицей. Вместе они ранним утром взобрались по скалам в Масаду и набили карманы камнями, которые, вероятно, держали в ладонях еврейские самоубийцы. Они смотрели с высоты квартала Мишкенот-Шаананим, как проступает на рассветном небе ветряная мельница Монтефиори. Сходили в маленький парк, названный в честь прадеда Джейкоба, Гершома Блуменберга. Он был почитаемым раввином, и его выжившие последователи сохранили верность

его памяти, решили не призывать другого раввина и приняли конец своей общины. На улице было 105 градусов^[27]. Мраморная скамья была прохладной, но прибитая к ней металлическая табличка с именем раскалилась так, что нельзя было прикоснуться.

Однажды утром они ехали в машине на прогулку у моря, и вдруг заревела сирена воздушной тревоги. Джейкоб округлившимися глазами посмотрел на Ирва. Шломо остановил машину. Прямо посреди дороги, на шоссе. "Полетело что-то?" — спросил Ирв, как будто сирена могла означать трещину в фильтре выхлопных газов. Шломо и Тамир вышли из машины с бездумной решимостью зомби. Все на шоссе выходили из автомобилей, выпрыгивали из фур, слезали с мотоциклов. И стояли в полном молчании, как тысячи неупокоенных евреев. Джейкоб не знал, был ли это конец, какое-то гордое приветствие ядерной зиме, или повинность, или какой-то национальный обычай. Как болванчики в большом социопсихологическом эксперименте, Джейкоб с родителями сделали то же, что все вокруг, и молча встали рядом с машиной. Когда сирена смолкла, жизнь забурилась. Они сели в машину и продолжили путь.

Ирв, очевидно, слишком боялся обнаружить свое неведение, чтобы разрешить свое неведение, так что о странном событии пришлось спросить Деборе.

— Йом ха-Шоа, — ответил Шломо.

— Который в честь деревьев? — спросил Джейкоб.

— В честь евреев, — ответил Шломо, — которых срубили.

— *Шоа*, — пояснил Джейкобу Ирв, как будто всегда знал это, — означает "холокост".

— Но зачем все останавливаются и стоят молча?

— Затем, что это меньше всего остального кажется неподходящим, — сказал Шломо.

— А куда надо смотреть? — спросил Джейкоб.

— В себя, — ответил Шломо.

Джейкоба этот обычай одновременно зачаровал и оттолкнул. У американских евреев отношение к холокосту было "Никогда не забудем", потому что остается вероятность забвения. В Израиле сирену воздушной тревоги включают на две минуты, потому что иначе она ревела бы, не умолкая.

Шломо был таким же безгранично гостеприимным, как прежде Бенни. Даже более того: его не связывало благородство выжившего. И у Ирва с благородством никогда не было проблем. Так что постоянно происходили сцены, особенно когда в конце обеда приносили счет.

- Не трогай!
- Это ты не трогай!
- Не оскорбляй меня!
- *Я* оскорбляю *тебя*?
- Вы мои гости!
- Вы хозяйева!
- Я с вами больше есть не буду!
- Ну-ну, надейся!

Не один раз подобные соревнования в щедрости переходили в настоящие оскорбления. Не раз — дважды — рвались в клочки совершенно честные деньги. Выигрывали ли все, проигрывали ли все? Откуда это жесткое "или — или"?

С особенной ясностью и теплотой Джейкобу помнилось время, проведенное в доме Блуменбергов, двухэтажном строении с претензией на ар-деко, забравшемся на склон хайфского холма. Там все поверхности были из камня, и в любое время дня сквозь носки чувствовалась их прохлада — весь дом, как скамья в Блуменберг-парке. На завтрак там подавали косо нарезанные огурцы и кубики сыра. Вылазки в странно-специализированные двухкомнатные "зоопарки": парк змей и парк мелких млекопитающих. На ленч мать Тамира готовила множество закусок — с полдюжины салатов, с полдюжины нарезок. У себя дома Блохи взяли за правило стараться не включать телевизор. Блуменберги взяли за правило стараться не выключать.

Тамир был повернут на компьютерах и коллекцией цифровых порноснимков обзавелся еще до того, как у Джейкоба появился текстовый процессор. В те дни Джейкоб листал порножурналы, спрятав в справочник в "Барнс энд Ноубл", с кропотливостью талмудиста, пытающегося постичь Божью волю, исследовал каталоги дамского белья в поисках случайного соска или темнеющего лобка и слушал стоны на канале "Клубничка", где был блокирован видеосигнал, но без помех транслировался звук. Величайшей возможной угрозой нравственности были трехминутные фрагменты любого фильма, бесплатно предоставляемые отелем: семейный, взрослый, взрослый. Даже подростком Джейкоб видел здесь мастурбационную избыточность: если три минуты взрослого фильма убедили тебя, что это стоящий взрослый фильм, значит, он тебе уже не нужен. Компьютер Тамира тратил полдня на загрузку ролика с трахом в сиськи, но зачем еще существует время?

Однажды за просмотром крупнозернистого изображения женщины, рваными движениями раздвигавшей ноги — анимация, составленная из

шести фотоснимков, — Тамир спросил Джейкоба, нет ли у него желания передернуть.

Полагая, что брат шутит, Джейкоб ответил ироничным "нет" с интонацией Тома Брокау.

— Ну, как знаешь, — сказал Тамир, и выдавил на ладонь плюшку увлажняющего крема с маслом ши, намереваясь распорядиться ею по своему усмотрению.

Джейкоб смотрел, как он вытащил из штанов эрегированный член и принялся оглаживать, размазывая крем по всей его длине. Через минуту или две Тамир упал на колени, так что головка его члена оказалась в нескольких сантиметрах от экрана — его могло щелкнуть статическим зарядом. Член у Тамира был толстым, это Джейкоб должен был признать. Но вряд ли длиннее его собственного. В темноте едва ли кто-то заметил бы разницу между их членами.

— Ну и как? — спросил Джейкоб, тут же мысленно укорив себя за столь пакостный вопрос.

И тут, словно в ответ, Тамир схватил салфетку из коробки на столе и, застонав, изверг в нее заряд спермы.

Зачем Джейкоб это спросил? И почему Тамир тут же кончил? Не от того ли, что Джейкоб спросил? Не этого ли (совершенно неосознанно) Джейкоб и хотел?

Примерно с дюжину раз они мастурбировали бок о бок. Конечно, они никогда не дотрагивались друг до друга, но Джейкоб иной раз задумывался, впрямь ли Тамир не мог удержать негромких стонов — не было ли в них определенного значения. Они никогда не обсуждали эти совместные сеансы после — ни через три минуты, ни через три десятилетия, — но ни тот ни другой не стыдился своего участия. В то время они были слишком молоды, чтобы беспокоиться об этом, а потом слишком стары, чтобы не жалеть о том, что утрачено.

Порнография — лишь один пример того, как разительно расходился их жизненный опыт. Тамир уже ходил в школу сам, а Джейкоба родители еще не решались оставить одного на детском дне рождения. Тамир сам готовил себе обед, пока во рту Джейкоба еще искал посадочную полосу "самолет", полный темно-зеленых овощей. Тамир первым из них двоих выпил пива, первым покурил травку, ему первому отсосали, его первым арестовали (а Джейкоба вообще не арестовали), он первым поехал за границу, первым выковал себе душу, разбив сердце. Когда Тамиру дали "М-16", Джейкобу дали проездной по железной дороге европейских стран. Тамир безуспешно пытался держаться в стороне от опасных ситуаций; Джейкоб безуспешно

пытался в них попасть. В девятнадцать Тамир находился в полуподземном укреплении в Южном Ливане, за полутора метрами бетона. Джейкоб находился в Нью-Хейвене в студенческом общежитии, построенном из кирпича, что два года выдерживался в земле, чтобы постройка потом казалась старше. Тамир не обижался на Джейкоба — он сам *был бы* Джейкобом, имейся у него выбор, — но он утратил определенную легкость, без которой не мог в полной мере ценить таких легковесных персонажей, как его кузен. Он сражался за свою страну, пока Джейкоб вечера напролет проводил за спорами, на какой стене, той или этой, будет лучше смотреться дурацкий плакат из "Нью-Йоркера", где Нью-Йорк больше, чем все остальное. Тамир пытался выжить под пулями, а Джейкоб — не околеть со скуки.

После службы Тамир наконец получил свободу жить, как сам хочет. Он стал непомерно честолюбивым, в смысле, решил заколачивать горы бабла и покупать на него горы всякого дерьма. Он бросил Технион после первого курса и начал небольшой высокотехнологичный бизнес, а потом он начинал еще много подобного. Почти все эти предприятия прогорели, но достаточно сохранить хотя бы несколько, чтобы сделать первые пять миллионов долларов. Джейкоб слишком завидовал Тамиру, чтобы доставить тому удовольствие объяснять, чем занимаются его компании, но нетрудно было догадаться, что, как и многие технологические фирмы в Израиле, они применяли военные разработки для гражданской жизни.

С каждым приездом дома, машины, груди подружек и честолюбие Тамира становились все больше. Джейкоб изображал уважение, выдавая лишь строго отмеренную дозу неодобрения, но так или иначе все тонкие реакции оказывались ни к чему по причине эмоциональной глухоты Тамира. Почему Джейкоб не мог просто порадоваться счастью своего кузена? Тамир был человеком не хуже любого другого, чей колоссальный жизненный успех все больше мешал ему жить согласно его умеренно-добродетельной природе. Иметь больше, чем тебе нужно, — это обескураживает. Кто станет винить Тамира?

А Джейкоб винил. Джейкоб винил, потому что он-то имел меньше, чем ему требовалось, — он был порядочным, честолюбивым, сильно нуждающимся молодым романистом, который почти ничего не писал, — и это ни в коем случае не обескураживало. В его жизни ничего не увеличивались — это была неустанная борьба за сохранение изначально заданных Джейкобом параметров, — а люди, не способные позволить себе материальную роскошь, высоко ставят свои роскошные духовные ценности.

Исаак всегда благоволил Тамиру. Джейкоб никогда не мог понять, за что. У его деда, казалось, были серьезные трения со всеми родственниками старше 12 лет, даже не исключая тех, кто заставлял своих детей раз в неделю звонить прадеду по скайпу, водил его по врачам и отвозил в дальний супермаркет, где можно купить шесть лотков с булочками по цене пяти. Исааком все пренебрегли, но меньше других — Джейкоб, а больше других — Тамир. И при этом Исаак обменял бы шестерых Джейкобов на пятерых Тамиров.

Тамир. Вот кто хороший внук.

Даже если он не был настолько уж хорошим или хоть в каком-то смысле внуком.

Может, все дело было в расстоянии. Может, об отсутствующем легко придумывать мифы, а вот за Джейкобом, будто проклятым, будут подсчитывать каждый градус отклонения от идеального проявления человеколюбия.

Джейкоб пытался уговорить Тамира навестить Исаака до переезда в Еврейский дом. Восемнадцать месяцев длились хождение по мукам: они ждали, пока там кто-нибудь умрет и освободит место. Но Тамир не признавал важности события.

"Я за эти десять лет переезжал шесть раз", — ответил Тамир по электронной почте, хотя это было немного не так, а: "я за эти 10 лет прѣзжл 6 рз", как будто в английском, как и в иврите, было мало гласных. Или как будто не нашел способа написать еще небрежнее.

"Ну да, — написал Джейкоб в ответ, — но ни разу в дом престарелых".

"Я приеду, когда он умрет, ладно?"

"Думаешь, он обрадуется?"

"И мы прилетим к Сэму на бар-мицву", — написал Тамир, хотя в тот момент до нее оставался еще год и не было никаких сомнений, что она состоится.

"Надеюсь, он дотянет", — написал Джейкоб.

"Ты скрипишь, как он".

Год прошел, Исаак его пережил, но то же и наглые евреи, позанимавшие все комнаты, принадлежавшие ему по праву рождения. Но вот *наконец* изнурительное ожидание закончилось: кто-то из них сломал бедро и умер, так что Исаак оказался первым в очереди. Судьба бар-мицвы Сэма зависела целиком от него. А израильтяне, как сообщал телефон Джейкоба, уже спускались с небес.

— Послушай, — сказал Джейкоб Макс, пока Ирв въезжал на стоянку, — наши израильские кузены...

— *Твои* израильские кузены.

— Наши израильские кузены не самые уживчивые люди на свете...

— А *мы* самые уживчивые на свете?

— Скажу тебе кое-что, в чем арабы правы, — вклинился Ирв, недовольный тем, что косо оставленная машина мешает парковаться. — Они не дают бабам права́.

— Мы вторые по неуживчивости, — сообщил Джейкоб Максу, — после твоих израильских родственников. Но вот что я хочу сказать: не суди страну Израиль по упрямству, кичливости и меркантильности нашей родни.

— Или, иными словами, по ее стойкости, честности и предусмотрительности, — сказал Ирв, выключая зажигание.

— Израиль тут ни при чем, — сказал Джейкоб. — Просто они *такие*. И они наши.

В конце концов лучше дома ничего нет

В подвале обнаружались рулоны пузырчатой пленки, похожие на рулоны сена с живописных полотен, — десятки литров запаянного воздуха, годами хранившиеся на случай, который так и не настанет.

Стены были голыми: завещанные потомкам награды и дипломы уже сняли, а также ктубы^[28], репродукции афиш с выставок Шагала, свадебные фото и выпускные фото, фото с бар-мицвы и фото с обрезаний, сонограммы в рамочках. Так много висело всего, будто он старался скрыть стены. И в отсутствие самих картинок стены пестрели темными прямоугольниками.

Кучу безделушек "Сделано в Китае" поснимали с полок буфета и убрали в его ящики.

На холодильнике не выцветшие прямоугольники указывали, где раньше висели фото восхитительных, гениальных внуков, не имеющих опухолей, — остались только три школьных снимка, шесть закрытых глаз. Фотографии Вишняка, потревоженные впервые за десяток лет, сложили на полу, а снимки и ярлычки, что когда-то покрывали холодильник, теперь покрывали кофейный столик, каждый в отдельном, запертом на молнию бутербродном пакетики. Именно на этот случай Исаак хранил все эти пакетики — мыл их после употребления и вешал на кран сохнуть.

На кровати снова груды вещей, которые еще только предстояло раздать любимым людям. Последние два года превратились в затяжной процесс раздачи всего, чем он обладал, и оставшееся до нынешнего дня — это то, с чем труднее всего расстаться не из-за сентиментальной привязанности, а из-за того, что кто бы мог захотеть эти вещи иметь? У него было кое-какое действительно приличное серебро. Милые фарфоровые чашки. И если ты можешь допустить, что затеешь хлопоты и траты по перетяжке, тогда без иронии можно было бы подумать о сохранении нескольких кресел. Но кто захочет тащить домой или даже до ближайшего мусорного контейнера оберточную бумагу, на которой до сих пор остались следы граней когда-то облеченных в нее коробок?

Кому понадобятся стикеры для заметок, бумажные сумочки, миниатюрные блокнотики на спирали и массивные ручки, подаренные как рекламные сувениры фармацевтическими компаниями и взятые лишь потому, что их давали?

Коробочка окаменевшего мармеладного драже, подрезанного на

кидуше в честь рождения кого-то, ныне ставшего акушером. Это кто-нибудь возьмет?

Поскольку к нему никто не ходил, места для верхней одежды не требовалось, поэтому шкаф в прихожей стал прекрасным местом для хранения еще одного мотка пузырчатой пленки, в которой не было никакой нужды. Летом пузырьки расширялись, и дверца шкафа выгибалась — шпильки петель от давления поворачивались на тысячные доли градуса против часовой.

Кто из живущих захотел бы получить то, что осталось ему раздать?

И от какого возмущения покоя, от чьего внезапного вмешательства вдруг зашипело последнее имбирное пиво в холодильнике?

Израильтяне приехали!

Тамир ухитрился тянуть за собой три чемодана на колесиках, таща при этом два пакета из дюти-фри, набитых — чем? Какого дерьма ему потребовалось, что он заставил своих родных столько ждать? Швейцарские часы? Одеколон? Громадные пластмассовые шары "Эм энд Энс", наполненные малюсенькими шоколадными шариками?

В каждый приезд Тамир неизменно удивлял Джейкоба своим обликом. Вот перед Джейкобом человек, с которым у него общих генов больше, чем почти с любым другим человеком на земле, а многие ли из спешащих мимо прохожих вообще могли бы предположить, что эти двое родственники? Цвет кожи можно объяснить пребыванием на солнце, а отличия в сложении отнести на счет диеты, упражнений и силы воли, но как насчет его острого подбородка, нависающих бровей, волос на фалангах пальцев и на голове? Как насчет размера его ног, его безукоризненного зрения, его способности отрастить густую бороду за время, пока поджаривается гренок?

Он сразу двинулся к Джейкобу, как перехватчик "Железного купола" [29], сгреб за плечи, смачно поцеловал, затем отстранился на расстояние вытянутых рук. Стиснув плечи Джейкоба, оглядел его с ног до головы, будто примеряясь съесть или изнасиловать.

— Да, видно, мы больше не дети!

— Даже наши дети уже не дети.

Грудь у него была широкая и твердая. Подходящая поверхность, чтобы кому-нибудь вроде Джейкоба расположиться на ней писать о ком-нибудь вроде Тамира.

Он опять отстранился на длину руки.

— Что на тебе написано? — спросил Джейкоб.

— Смешно, ага?

— Ну вроде, но я не уверен, что все понял.

— "Судя по твоему виду, мне надо выпить". По *твоему* виду, а выпить надо *мне*.

— Подожди, то есть "ты такая уродина, что мне надо выпить" или "по твоему виду ясно, что мне надо выпить"?

Тамир обернулся к Бараку и сказал:

— Ну, говорил я тебе?

Барак кивнул и засмеялся, и Джейкоб опять не понял, что это означало.

С последнего приезда Тамира прошло почти семь лет, Джейкоб в

Израиле не бывал со своей свадьбы.

Джейкоб сообщал Тамиру только хорошие новости, по большей части приукрашенные, а порой откровенно выдуманные. Как оказалось, Тамир и сам не чурался украшения и вранья, но чтобы правда вышла наружу, потребовалась война.

Все обнимались со всеми. Тамир оторвал Ирва от земли, выжав из него негромкий пук — этаким анальным Геймлих [\[30\]](#).

— Я заставил тебя пернуть! — воскликнул Тамир, с удовлетворением взмахнув кулаком.

— Ну, просто чуток газа, — смутился Ирв: переименование при отсутствии разницы, как сказал бы доктор Силверс.

— Сейчас пернешь еще разок!

— Ой, не надо.

Тамир вновь обхватил Ирва и оторвал от земли, на сей раз сжав чуть покрепче. И прием вновь сработал, в этот раз даже лучше — в весьма специфическом понимании лучшего. Вернув Ирва на землю, Тамир глубоко вдохнул и вновь распахнул объятия.

— А теперь ты обосрешься.

Ирв сложил руки на груди.

Тамир радостно рассмеялся:

— Шучу, шучу!

Все, кроме Ирва, посмеялись. Макс заливисто хохотал в присутствии Джейкоба первый раз за несколько недель, а возможно, и месяцев.

Затем Тамир вытолкнул вперед Барака и, взъерошив ему волосы, объявил:

— Ну, гляньте. Мужик, верно?

Мужик было самое подходящее слово. Высоченный, словно высеченный из Иерусалимского камня и щедро декорированный шерстью, с грудью — прямо можно было бы играть в пристенок, если бы не лес волос-пружинок такой густоты, что все, попавшее туда, застревает навечно.

Рядом с братьями и обычными прическами Макс выглядел вполне по-мальчишески. Но рядом с Бараком казался мелким, слабым и бесполом. И кажется, это все отметили — и в первую очередь сам Макс, робко отступивший на полшага, в сторону номера матери в вашингтонском "Хилтоне".

— Макс, — возгласил Тамир, обратив взор на племянника.

— Так точно.

Джейкоб смущенно хохотнул.

— "Так точно"? Да ну?

— Вырвалось, — пояснил Макс, почуяв гончих на хвосте.

Тамир окинул его взглядом и заметил:

— Похож на вегетарианца.

— Пескетарианца, — уточнил Макс.

— Ты же ешь мясо, — вмешался Джейкоб.

— Знаю. Я *похож* на пескетарианца.

Барак двинул Макса в грудь, без всякой видимой причины.

— Ох! Что за...

— Шутка, — сказал Барак. — Шутка.

Макс потер грудь.

— Ничего себе шутка — ты мне грудицу сломал.

— Как насчет похавать? — спросил Тамир, хлопая себя по пузу.

— Я думал, может, сначала заедем к Исааку, — предложил Джейкоб.

— Дай человеку поесть, — сказал Ирв, разделив их на два лагеря уже самим выбором одной из сторон.

— Почему бы, черт возьми, и нет, — ответил Джейкоб, вспомнив изречение Кафки: "В борьбе собственной личности против мира вставай на сторону мира".

Тамир окинул взглядом терминал и ударил в ладони.

— "Панда-экспресс"! То, что надо!

Тамир заказал свинину с лапшой ло-мейн. Ирв изо всех сил старался скрыть недовольство, но этих сил хватило не на многое. Если Тамир не способен быть персонажем Торы, то мог бы хотя бы следовать ей. Но Ирв был гостеприимным хозяином — родня есть родня — и прикусывал язык, так что его зубы в конце концов щелкнули.

— Знаешь, где сейчас можно найти лучшую в мире итальянскую еду? — спросил Тамир, насаживая на вилку кусок свинины.

— В Италии?

— В *Израиле*.

— А, я что-то слышал, — сказал Ирв.

Джейкоб такой нелепости стерпеть не смог:

— Ты имеешь в виду, лучшая итальянская еда за *пределами Италии*?

— Нет, я говорю, что лучшая в мире итальянская еда, которая готовится сейчас, готовится в Израиле.

— Правильно. Но ты делаешь двусмысленное заявление, что Израиль — это страна за *пределами Италии*, где готовят лучшую итальянскую еду.

— *Включая Италию*, — поправил Тамир и хрустнул фалангами свободной от вилки руки, просто сжав и разжав кулак.

— Это невозможно по определению. Это как сказать, что лучшее

немецкое пиво варят в Израиле.

— Оно называется "Золотая звезда".

— И я его люблю, — добавил Ирв.

— Ты же вообще пива не пьешь.

— Ну, когда пью.

— А вот спрошу-ка я тебя, — сказал Тамир. — Где пекут лучшие в мире бублики?

— В Нью-Йорке.

— Согласен. Лучшие в мире бублики пекут в Нью-Йорке. Теперь спрошу так: бублики — это еврейская еда?

— Зависит от того, что ты под этим понимаешь.

— Еврейская ли еда бублик в том же смысле, как паста — итальянская еда?

— Ну, в похожем смысле, да.

— И позволь спросить тебя: является ли Израиль родиной евреев?

— Израиль — это еврейское государство. — Тамир выпрямил спину. — И с этими моими словами ты не можешь не согласиться.

Ирв бросил взгляд на Джейкоба:

— Конечно, это родина евреев.

— Все зависит от того, что понимать под родиной, — не сдавался Джейкоб. — Если ты говоришь про родину предков...

— Это как? — не понял Тамир.

— Ну, то есть про место, откуда происходит твоя семья.

— И это...

— Галиция.

— Ну, а до того?

— Что, Африка?

Голос Ирва сделался текучим, как патока, но без сладости:

— Африка, Джейкоб?

— Вопрос выбора. Можно открутить назад до сиденья на деревьях, можно до океана, если хотим. Некоторые прослеживают до райского сада. Ты остановился на Израиле. Я на Галиции.

— Ты чувствуешь себя галисийцем?

— Я чувствую себя американцем.

— А я евреем, — сказал Ирв.

— Правда в том, — произнес Тамир, закидывая в рот последний кусок свинины, — что тебе важнее чувствовать в ладонях сиськи Джулии.

Вдруг без всякой связи с разговором Макс спросил:

— Как вы думаете, туалет здесь чистый?

Джейкобу подумалось, не вызван ли вопрос Макса и его желание смыться знанием, точным или интуитивным, того, что отец уже много месяцев не дотрагивался до груди матери?

— Ну, это же туалет, — ответил Тамир.

— Ладно, потерплю до дому.

— Если тебе надо сходить, сходи, — посоветовал Джейкоб. — Терпеть вредно.

— Это кто сказал? — вмешался Ирв.

— Твоя простата скажет.

— Ты думаешь, моя простата будет с тобой говорить?

— Мне не надо сходить, — сказал Макс.

— Терпеть полезно, — сказал Тамир. — Это как... как оно называется? Не кугель ^[31].

— Сходи попробуй, Макс, ладно? На всякий случай.

— Пусть уж не ходит ребенок, — сказал Ирв. Затем Тамиру: — Кегель ^[32]. И ты абсолютно прав.

— А я схожу, — сказал Джейкоб. — Знаете почему? Потому что люблю свою простату.

— Может, тебе на ней жениться? — предложил Макс.

Джейкобу не хотелось в туалет, но он пошел. И стоял там над писсуаром, придурок с вынутым членом, выжидая секунды, чтобы усугубить бессмысленность этого занятия, ну и на всякий случай.

Рядом мочился мужчина в возрасте Ирва. Струя у него шла неровными толчками, как из газонного дождевателя, и на неврачебный слух Джейкоба это воспринималось как симптом. Сосед негромко крикнул, и Джейкоб невольно бросил взгляд в его сторону, и они успели обменяться мимолетнейшими улыбками, пока не опомнились, где находятся: в таком месте, где допускается лишь секундный обмен взглядами. Джейкобу показалось, что он давно знает этого человека. Ему часто казалось такое над писсуаром, но на сей раз он был уверен — как и всегда. Где же он видел это лицо? Учитель из начальной школы? Учитель кого-то из мальчиков? Кто-то из друзей отца? На миг он решил, что этот незнакомец встречался ему на каком-то старинном фото восточноевропейской родни Джулии и что он явился из прошлого, чтобы доставить какое-то предупреждение.

Джейкоб вернулся к мыслям о негромком журчании ручья и медленном умирании поясницы, о деградации которой он, как и многом и многом другом, не задумывался, пока не вынудили, и тут пазл сложился:

Спилберг. Лишь только эта догадка явилась, она уже не подвергалась сомнению. Конечно же, он. Джейкоб стоял, вынудив член, бок о бок со Стивеном Спилбергом, тоже вынудившим свой. Какова могла быть вероятность такого?

Джейкоб рос, как и любой еврей в последней четверти двадцатого века, под крылом Спилберга. Или скорее, в тени его крыла. "Инопланетянина" он посмотрел в первую неделю проката три раза, все в "Аптауне", и каждый раз прикрывал глаза ладонью, когда велосипедная погоня достигала кульминации, столь упоительной, что буквально нестерпимой. Он смотрел "Индиану Джонса", потом следующего и следующего. Пытался досидеть до конца "Всегда". Никто не совершенен. Но лишь до тех пор, пока Спилберг не снял "Список Шиндлера": в этот момент он просто перестал быть собой, а превратился в их представителя. Их? Миллионов убитых. Нет, подумал Джейкоб, представителем нас. Неубитых. Но снят "Шиндлер" был не для нас. Он снят для *них*. Для них? Конечно, не для Убитых. Они не смотрят кино. Он для всех, кто не относится к *нам*: для гоев. Потому что через Спилберга, на банковский счет которого широкая публика была обязана делать ежегодные взносы, мы наконец нашли способ заставить их увидеть наше отсутствие, ткнуть носом в дерьмо немецких овчарок.

И боже, как его любили. Джейкобу фильм казался затянутым, слезливым и на грани китча. Но он глубоко тронул и его. Ирв осудил выбор жизнеутверждающей истории о холокосте, и, каковы бы ни были цели и намерения автора, статистически пренебрежимый счастливый конец, обеспеченный такой статистически пренебрежимой категорией людей, как хорошие немцы. Но даже Ирва фильм тронул в высшей степени. Исаака же нельзя было растрогать сильнее: *Ты видишь, ты видишь, что с нами сделали, с моими родителями, с братьями, со мной, видишь?* Все растрогались, и все прониклись убеждением, что растрогаться — это самый ценный эстетический, интеллектуальный и этический опыт.

Джейкоб хотел бросить взгляд на пенис Спилберга. Единственный вопрос: под каким предлогом?

Каждый ежегодный осмотр у доктора Шлезингера заканчивался одинаково: доктор опускался перед Джейкобом на колени, обхватывал снизу ладонью его яички и просил повернуть голову и покашлять. Это же врачи, очевидно, просили делать всех мужчин, хоть и неясно, для каких целей. В общем, покашливание и отворачивание как-то связаны с гениталиями. Не особенно убедительно, но довольно, как казалась Джейкобу, логично. Он покашлял и бросил взгляд.

Размер не произвел впечатления — у Спилберга был не длиннее и не короче, не толще и не тоньше, чем у большинства рыхловатых еврейских дедушек. Не был он больше других похож ни на банан, ни на маятник, ни чересчур морщинист, ни лампообразен, не рептилоидный, не плоский, не грибовидный, не варикозный, не крючконосый, не косоглазый. А бросалось в глаза то, чего у него не должно быть: член Спилберга не был обрезан. Взгляд Джейкоба практически никогда не подвергался такому оскорблению, как созерцание необрезанного пениса, поэтому не поручился бы головой за точность своего наблюдения — а это было важно, — но он знал достаточно, чтобы понимать: нужно взглянуть еще разок. Однако строгий туалетный этикет запрещал приветствия, кашель же мог сойти за оправдание одного мгновенного взгляда, и просто невозможно повторить этот прием без того, чтобы это выглядело как заигрывание, и даже в мире, где Спилберг не был творцом "Искусственного разума", такого Джейкоб не допустит.

Таким образом объяснений могло быть четыре: 1) Джейкоб принял за Спилберга другого человека и принял обрезанный пенис за необрезанный; 2) Джейкоб принял за Спилберга другого человека и верно классифицировал его пенис как необрезанный; 3) это был Стивен Спилберг, но Джейкоб ошибочно принял его пенис за необрезанный — *конечно же*, он обрезан; или 4) Стивен Спилберг не обрезан. Будь Джейкоб азартен, он поставил бы гору фишек на пункт 4.

Джейкоб торопливо спустил воду, слишком быстро, чтобы можно было чего-то достичь, вымыл руки и поспешил к своим.

— Вы нипочем не догадаетесь, с кем рядом я сейчас писал.

— *Господи*, пап.

— Почти угадал, Спилберг.

— Это кто? — спросил Тамир.

— Ты серьезно?

— Что?

— *Спилберг*. Стивен Спилберг.

— Ни разу о нем не слышал.

— Не пудри мозги, — ответил Джейкоб, как всегда, не понимая, когда Тамир дурачится, а когда нет.

При всем, что еще можно сказать о Тамире, он умен, эрудирован и любопытен. И однако при всем, что еще можно сказать о Тамире, он глуп, эгоистичен и самодоволен. Если он обладал чувством юмора, то оно было суше крахмала. Именно поэтому он мог подвергать Джейкоба своего рода психологической акупунктуре: "Не втыкается ли в меня игла? Болезненно

ли это? Не стебется ли он напропалую? Ну не мог же он городить всерьез про лучшую в мире израильскую итальянскую еду? И что не слышал о Спилберге? Невозможно, и вполне возможно".

— Это мощно, — сказал Ирв.

— Знаешь, что самое мощное? — Джейкоб подался вперед и договорил шепотом: — Он не обрезанный.

Макс всплеснул руками над столом:

— Что ты там делал, целовал его сосиску в кабинке?

— Кто он, этот Спилберг? — не унимался Тамир.

— Это было у *писсуаров*, Макс. — И для ясности. — И конечно, я не целовал его сосиску.

— Этого просто не может быть, — заметил Ирв.

— Знаю. Но я видел собственными глазами.

— А зачем ты *собственными глазами* разглядывал пенис чужого человека? — спросил Макс.

— Потому что он Стивен Спилберг.

— Почему никто не расскажет мне, кто это такой? — не унимался Тамир.

— Потому что я не верю, что ты этого не знаешь.

— Но зачем мне врать? — спросил Тамир, абсолютно натурально.

— Потому что это ваш странный израильский способ затушевывать достижения американских евреев.

— Но зачем мне это надо?

— Это ты мне скажи.

— Ладно, — сказал Тамир, неторопливо стирая из уголков рта остатки шести пакетиков апельсинового соуса, — как скажешь.

Он поднялся со стула и двинулся в сторону салат-бара.

— Тебе стоит вернуться и убедиться, — сказал Ирв. — Представься ему.

— Ничего подобного ты не сделаешь, — строго произнес Макс, совсем как сделала бы его мать.

Ирв, закрыв глаза, сказал:

— Я потрясен до глубины души.

— Не сомневаюсь.

— Во что нам верить?

— Вот *именно*.

— А мы-то думали, что это барахло про холокост было искуплением холокоста.

— Теперь это барахло?

— И всегда было бараклом, — сказал Ирв. — Но это было наше баракло. А теперь... не могу не удивляться.

— Ну он же все равно евр...

Джейкоб не закончил фразу. Да и не было необходимости. Лишь тень сомнения явилась в мир, ни для чего больше не осталось места.

— Мне надо сесть, — сказал Ирв.

— Ты и так сидишь, — напомнил ему Макс.

— Мне надо сесть на пол.

— Не стоит, — сказал Джейкоб. — Он грязный.

— Теперь все грязное, — сказал Ирв.

В молчании они наблюдали, как десятки людей, балансируя перегруженными подносами, уворачиваются, извиваются и не задевают друг друга. У какой-нибудь высшей формы жизни, надо полагать, тоже была бы своя версия Дэвида Аттенборо. И это существо могло бы для своей телепередачи снять отличный сюжет с такими завораживающими сценами о людях.

Макс, ни к кому не обращаясь, что-то неразборчиво прошептал.

Ирв подпер голову ладонями и сказал:

— Если бы Бог не хотел, чтобы мы обрезались, Он не создал бы смегму.

— Что? — не понял Джейкоб.

— Если бы Бог...

— Я с Максом говорю.

— Я ничего не говорю, — ответил Макс.

— Что?

— Ничего.

— "Челюсти" — такая белиберда, — сказал Ирв.

Тут вернулся Тамир. Остальные настолько ушли в свои апокалиптические домыслы, что не заметили, как долго его не было.

— Ну, в общем так, — сказал он.

— А?

— У него проблемы, задержка мочи.

— У кого?

— У Стива.

Ирв хлопнул себя по щекам и заскулил, будто впервые оказавшись во флагманском магазине сети "Американская девочка".

— Я понимаю, почему ты думал, будто я его знаю. Портфолио весьма впечатляющее. Ну что сказать? Я кино-то особенно не смотрю. На просмотре фильмов денег не заработаешь. А вот на производстве — еще

как. Вы знаете, что он стоит больше трех миллиардов долларов? Именно миллиардов.

— Правда?

— А зачем ему мне врать?

— Но с какой стати он будет сообщать?

— Я спросил.

— Сколько он стоит?

— Ага.

— И ты, видимо, спросил, обрезанный ли он, правильно?

— Спросил.

Джейкоб обнял Тамира. Против воли. Руки сами потянулись к нему. И не в том дело, что Тамир добыл информацию. А в том, что он обладал всеми качествами, которых не было у Джейкоба и которых тот, хоть и не желал, но в которых отчаянно нуждался: нахальство, бесстрашие там, где страх не нужен, бесстрашие там, где страх нужен, невозмутимость.

— Тамир, ты удивительный человек.

— Ну и?.. — взмолился Ирв.

Тамир обернулся к Джейкобу:

— Кстати, он тебя знает. Он тебя не узнал, но когда я упомянул твое имя, он сказал, что читал твою первую книгу. Он сказал, что думал приобрести на нее опцион, что бы это ни значило.

— Он думал?

— Ну, так он сказал.

— Если бы Спилберг сделал по этой книге фильм, я бы...

— Давай к делу, — сказал Ирв. — У него короткий рукав?

Тамир встряхнул стакан с газировкой, высвободив кубики льда из их группового объятия.

— Тамир?

— Мы решили, что будет забавнее, если я вам не скажу.

— Мы?

— Мы со Стивом.

Джейкоб пихнул его — невольно, как и обнял.

— Ты гонишь.

— Израильтяне никогда не гонят.

— Израильтяне только и делают, что гонят.

— Мы же семья! — взмолился Ирв.

— Да. И если не можешь сохранить тайну от своих родных, то от кого сможешь?

— Я отрекаюсь от семьи. Давай, скажи мне.

Тамир соскреб остатки лапши и сказал:

— Перед тем, как полечу домой.

— Что?

— Скажу перед отлетом.

— Ты не можешь так с нами обойтись.

Мог ли он?

— Могу.

Ирв грохнул ладонью по столу.

— Я скажу Макс, — объявил Тамир. — Заранее сделаю подарок на бар-мицву. Как он распорядится информацией — его дело.

— Ты знаешь, бар-мицва у Сэма, не у меня, — сказал Макс.

— Конечно, — ответил Тамир, подмигивая. — Это подарок очень заранее.

Он положил ладони Макс на плечи и привлек его к себе. Почти касаясь губами Максова уха, стал шептать. А Макс улыбнулся. И рассмеялся.

Пока шли к машине, Ирв все показывал Джейкобу, что надо взять у Тамира одну из сумок, а Джейкоб показывал в ответ, что тот ему не отдаст. И Джейкоб махал Макс, чтобы тот поговорил с Бараком, а Макс в ответ махал, рассказывая, что лучше бы отец — что, покурил через дырку в горле? Вот они шли, четверо мужчин и один почти мужчина, и при этом обменивались дурацкими знаками, которые почти ничего не передавали и ни от кого ничего не скрывали.

— Как ваш дед? — спросил Тамир.

— Если сравнить с чем?

— С тем, каким он был последний раз, когда я его видел.

— Это было десять лет назад.

— И он, видимо, постарел.

— Через пару дней он переезжает.

— Совершает алию?^[33]

— Угу. В Еврейский дом.

— Сколько ему осталось?

— Ты спрашиваешь, сколько еще, можно предположить, он проживет?

— Ты находишь такие сложные формулировки для самых простых вещей.

— Я могу сказать лишь то, что говорит врач.

— И что же?

— Он мертв уже пять лет.

— Медицинское чудо.

— Не только медицинское. Не сомневаюсь, он все бы отдал, чтобы повидаться с тобой.

— Давай сначала к вам. Бросим чемоданы, поздороваемся с Джулией.

— Ее не будет дома до позднего вечера.

— Ну перекусим да побездельничаем. Хотелось бы взглянуть на твою аудиовизуальную систему.

— Не думаю, что у нас такая есть. И он обычно очень рано ложится, как...

— Ты наш гость, — сказал Ирв, похлопывая Тамира по спине. — Все, что ты хочешь.

— Конечно, — согласился Джейкоб, вставая на сторону мира в его борьбе против деда. — Можно и позже. Или завтра.

— Я привез ему халвы.

— Он диабетик.

— С арабского базара.

— Знаешь, диабету, в общем, все равно, откуда.

Тамир вынул из сумки халву, развернул, отколупнул кусок и сунул в рот.

— Я поведу, — сказал Джейкоб Ирву, когда подошли к машине.

— Почему?

— Потому что я поведу.

— Я думал, езда по трассе тебя нервирует.

— Не смей, — ответил Джейкоб, посылая в сторону Тамира снисходительную улыбку. А потом сказал Ирву с нажимом: — Дай ключи.

Усевшись, Тамир прижал подошву правой ноги к ветровому стеклу, вывесив мошонку на обозрение всех инфракрасных видеофиксаторов, которые им придется миновать. Он сплел пальцы за головой — опять хруст фаланг, — кивнул и начал:

— По правде говоря, я заколачиваю кучу бабок.

"Ну понеслась, — подумал Джейкоб. — Тамир, изображающий плохого артиста, изображающего Тамира".

— Хайтек попер в гору, и мне хватило ума — смелости хватило — в нужный момент сунуться в кучу разных дел. Это секрет успеха: сочетание интеллекта и смелости. Потому что в мире куча умных людей и в мире куча смелых, но если пойдешь искать, чтобы и умные и смелые, толпу не соберешь. И еще мне повезло. Слушай, Джей...

"С чего он решил, что может по своей прихоти усекать мое имя? Это акт агрессии, пусть даже я не могу его расшифровать, пусть даже ему это нравится".

— Я не верю в везение, но только дурак откажется признать, как важно оказаться в нужном месте в нужное время. Ты сам управляешь судьбой. Вот как я говорю.

— Да так все говорят, — заметил Джейкоб.

— И однако мы не всем можем управлять.

— Как в Израиле? — спросил Ирв с заднего сиденья.

— В Израиле?

Ну понеслось!

— Израиль процветает. Пройдись вечером по Тель-Авиву. Там больше культуры на квадратный фут, чем где-либо в мире. Посмотри на нашу экономику. Нам шестьдесят восемь лет — это меньше, чем тебе, Ирв. У нас всего семь миллионов населения, никаких ископаемых, и мы ведем непрерывную войну. И вот при всем этом у нас больше компаний на платформе НАСДАК, чем у любой другой страны, кроме Америки. У нас новых предприятий открывается больше, чем в Китае, Индии и Британии, и мы регистрируем больше патентов, чем любая другая страна мира, — включая вашу.

— Дела идут, — согласился Ирв.

— *Нигде и никогда* на земле не шли лучше, чем сейчас в Израиле.

— А расцвет Римской империи? — Джейкоб не смог не спросить.

— И где они сейчас?

— Это так римляне спрашивали про греков.

— Мы живем не в той квартире, которую вы видели. Мы постоянно переезжаем. Это выгодно, да и вообще хорошо. Сейчас живем в триплексе — три этажа. Там семь комнат.

— Восемь, — поправил Барак.

— Точно. Восемь.

Все это постановка, напомнил себе Джейкоб, или попытался убедить себя в этом, почувствовав, как шевельнулась в нем ревность. Обычное дело. *Никто не старается тебя принизить.*

Тамир продолжал:

— Восемь жилых комнат, хотя нас всего четверо, пока Ноам в армии. По две комнаты на человека. Но мне нравится простор. И не то чтобы у нас часто гости собираются, хотя бывает много, но я люблю, чтобы было где потянуться: пара комнат для моих бизнес-предприятий; Ривка сходит с ума по медитации; у детей аэрохоккей, игровые приставки. Настольный футбол из Германии. У меня есть помощница, которая не занимается моим бизнесом, а только помогает мне в плане образа жизни, и вот я сказал: "Найди лучший настольный футбол в мире". И она нашла. У нее отличная

фигура, и она всё знает, где найти. Вообще, забавно. Этот стол для футбола можно на год выставить под дождь, и ему ничего не сделается.

— Я думал, в Израиле никогда не бывает дождя, — сказал Джейкоб.

— Бывает, — произнес Тамир. — Но ты прав, климат идеальный. Ну, и в любом случае, вот я ставлю на него кружку или стакан, и остался там хоть раз круг? А, Барак?

— Нет.

— Так вот когда мы осматривались в новой квартире — в самой последней, — я повернулся к Ривке и говорю: "Э?", а она: "Зачем нам такая большая квартира?" И я сказал ей то же, что скажу сейчас вам: чем больше ты покупаешь, тем больше у тебя есть на продажу.

— Тебе надо было бы написать книгу, — сказал Тамиру Джейкоб, вынимая тоненькую иголку из своей спины и втыкая в спину Тамира.

— Как и тебе, — сказал Ирв, вынимая иголочку из спины Тамира и вонзая ее Джейкобу в аорту.

— И я сказал ей кое-что еще: деньги всегда будут у богатых, поэтому и надо хотеть того же, чего хотят богатые. Чем дороже предмет сейчас, тем дороже он станет потом.

— Но ведь это все равно что сказать: дорогие вещи — дорогие, — пояснил ему Джейкоб.

— Именно.

— Что ж, — чревовещал добрый ангел Джейкоба, — с радостью бы взглянул.

— Тебе надо приехать в Израиль.

Джейкоб с улыбкой:

— А твоя квартира к нам не приедет?

— Может, но это дикий геморрой. Да и к тому же скоро это будет другая квартира.

— Ну, тогда я бы с радостью взглянул на ту.

— От ванн у тебя крышу сорвет. Все производства Германии.

Ирв застонал.

— Ты не найдешь такого качества работы.

— Не сомневаюсь, найдешь.

— Ну, не найдешь в Америке. Моя помощница — та, личная, с фигурой — нашла мне туалет с камерой, которая распознает, кто зашел, и включает нужный набор заданных настроек. Ривке нравится прохладное сиденье. А мне нравится, чтобы волосы на заднице опаливало. Иаиль испражняется практически стоя. Барак садится задом наперед.

— Я не сажусь задом наперед, — возмутился Барак, пихая отца в

плечо.

— Ты думаешь, я чокнутый, — продолжал Тамир. — Ты, наверное, осуждаешь меня и даже мысленно смеешься надо мной, но мой туалет знает меня по имени, холодильник сам делает покупки через интернет, а ты едешь на японском картинге.

Джейкоб не считал Тамира чокнутым. Его мания выставлять напоказ и подчеркивать собственное счастье не убеждала, а огорчала. И вызывала сочувствие. Но здесь логика эмоций нарушалась. Все, что должно было вызывать у Джейкоба неприязнь к Тамиру, наоборот, сближало с ним — и не через зависть, а через любовь. Он любил беззащитную уязвимость Тамира. Любил его неспособность — то есть нежелание — прятать собственную гнусность. Быть таким же открытым Джейкоб больше всего хотел бы, но всеми силами удерживался от этого.

— А какая сейчас ситуация? — спросил Ирв.

— Что за ситуация?

— С безопасностью.

— Какой безопасностью? Пожарной?

— С арабами.

— С какими?

— Иран. Сирия. "Хезболла". ХАМАС. ИГИЛ. "Аль-Каида".

— Иранцы не арабы. Они персы.

— А ну тогда, конечно, можно спать спокойно.

— Могло быть лучше, могло быть хуже. А в целом я знаю ровно столько, сколько и ты.

— Я знаю только то, что пишут в газетах, — сказал Ирв.

— А я, по-твоему, откуда новости узнаю?

— Ну, а как это там ощущается, на месте? — не унимался Ирв.

— Был бы я счастливее, если бы Ноам служил на армейской радиостанции диджеем? Конечно. Но я не переживаю. Барак, ты переживаешь?

— Ни капли.

— Ты думаешь, Израиль ударит по Ирану?

— Не знаю, — ответил Тамир.

— Ну, ты как считаешь?

— А по-твоему, *надо* ударить? — спросил Джейкоб.

Он тоже был не чужд нездорового любопытства, кровожадности на расстоянии, свойственной американским евреям.

— Разумеется, надо, — сказал Ирв.

— Если бы существовал способ ударить по Ирану, не ударяя по Ирану,

это было бы здорово. Любой другой сценарий — хреново.

— Тогда что, *по-твоему*, надо делать? — спросил Джейкоб.

— Он тебе только что ответил, — сказал Ирв. — Он считает, нужно шарахнуть по Ирану.

— Я считаю, вы должны шарахнуть, — поправил Ирва Тамир.

— Америка?

— Это тоже было бы здорово. Но я говорю лично про тебя. Ты мог бы применить что-то из биологического оружия, которое демонстрировал.

Тут все рассмеялись, и громче других Макс.

— Серьезно, — гнул свое Ирв, — как думаешь, что будет?

— Серьезно, не знаю.

— И тебя это устраивает?

— А тебя?

— Нет, меня нет. Я считаю, нам надо шарахнуть по Ирану, пока не поздно.

На что Тамир заметил:

— А я считаю, надо прояснить, кому это *нам*: пока не поздно.

Тамир хотел говорить лишь об одном — о деньгах: о среднем доходе в Израиле, размере его собственного легко добытого состояния, непревзойденном уровне жизни на этом ноготке убийственно жаркой родины, со всех сторон окруженной врагами.

Ирв же хотел говорить только о *ситуации*: когда Израиль позволит нам им гордиться, обеспечив свою безопасность? Есть ли какая-то информация с места событий, чтобы можно было помахать ею над головами приятелей, как гранатой, в столовой Американского института предпринимательства или в своем блоге, а потом вытянуть чеку и швырнуть? Не пришла ли пора нам — вам — что-то сделать тут или там?

Джейкоб хотел говорить только о том, каково это — жить рядом со смертью: убивал ли Тамир людей? Убивал ли Ноам? Слышал ли кто-то из них рассказы армейских товарищей, которые кого-нибудь истязали или кого самого истязали? Что самое страшное Тамир и Ноам видели своими глазами?

Евреи, с которыми рос Джейкоб, поправляли очки-авиаторы движением лицевых мышц, одновременно вслушиваясь в строчки "Фугази" и запихивая на место прикуриватель в своем подержанном "вольво"-универсале. Прикуриватель выскакивал обратно, они снова толкали его в гнездо. Ничего не зажигалось, никогда. Они были нулями в спорте, но чемпионами в рассуждениях о спорте. Они избегали драк, но затевали споры. Все они были детьми и внуками иммигрантов, внуками выживших.

Их определяющим свойством и основным предметом гордости была вопиющая слабость.

И при этом они хмелели от мускулов. Не в физическом смысле — грубая сила им казалась подозрительной, глупой и жалкой. Нет, они сходили с ума от силового применения еврейских мозгов: маккавеи, подкатывающиеся под увешанных доспехами греческих слонов, чтобы поразить в мягкое подбрюшье; операции МОССАДа, по соотношению шансов, средств и результата приближающиеся к волшебству; компьютерные вирусы, до того нечеловечески сложные и хитрые, что даже не оставляют еврейских следов. Думаешь, тебе по силам с нами задраться, мир? Думаешь, ты можешь нами помыкать? Можешь. Но мозги побеждают мускулы столь же несомненно, как бумага побеждает камень, и мы тебя проучим: сидя за компьютерами, окажемся теми, кто выстоит.

Пока они, вроде шарика, катящегося по выстроенному Бенджи в обсессивно-компульсивных "Бешеных шариках" лабиринту, катили к выезду с парковки, на Джейкоба сошло какое-то необъяснимое умиротворение. При всем том, что было пролито, остался ли стакан наполовину полным? Или высвободилась крошка веллбутрина^[34], застрявшая в зубах его мозга, и подарила кусочек непереваренного счастья? Стакан все же был наполовину полон.

Несмотря на свои бесконечные хитрые, закономерные и почти благородные протесты, Сэм ходил на занятия в Еврейской школе. И несмотря на то что его заставляли извиниться за мелкую шалость, которой он и не совершал, он покажется на биме.

Несмотря на то что Ирв оставался несносным упертым шовинистом, он был всегда рядом и на свой лад любил их.

Несмотря на длинную череду неисполненных обещаний и на то, что его старший сын служит в армии на Западном берегу, Тамир прилетел. И привез своего мальчика. Они семья, и они *остаются* семьей.

Но что же сам Джейкоб? Где в мыслях был он сам? Вновь и вновь его притягивал супермагнит Марка и Джулии, но совсем не так, как он мог бы предположить. Он часто воображал Джулию с другими мужчинами. Это его практически уничтожало, но что оставалось, трепетало от возбуждения. Он гнал такие мысли, однако сексуальные фантазии призывают то, чего не должно случиться в действительности. Он представлял, как Марк имеет ее после встречи в салоне фурнитуры. Но теперь, когда между ними что-то произошло, — вполне возможно, что они уже перепихнулись, — Джейкоб как-то успокоился. Не потому что фантазии внезапно стали слишком болезненны; нет, они внезапно перестали быть достаточно болезненны.

Теперь, пока он вел машину, набитую родными, а его жена оставалась в отеле с мужчиной, которого, по меньшей мере, целовала, его фантазия обрела точную форму: та же самая машина, но другие седоки. Джулия смотрит в зеркало заднего вида и видит, как Бенджи засыпает в своей особенной манере: спина прямо, шея прямо, взгляд направлен прямо вперед, глаза закрываются так медленно, что движение век неразлично — перемену можно заметить, только если отвести взгляд, а потом взглянуть снова. Чувственность этого, хрупкость, внушаемая этой медлительностью, прекрасны и непостижимы. Она смотрит на дорогу, потом в зеркало, потом вновь на дорогу. Всякий раз, как она видит в зеркале Бенджи, его веки закрываются еще на миллиметр-другой. Засыпание продолжается десять минут, и каждая секунда растягивается до полупрозрачности его медленно смеживающихся век. И за мгновение перед тем, как глаза совсем закроются, Бенджи выпускает короткий пых, как бы задувая видимую только ему свечу. Дальнейшая поездка — это шепот, и каждая рытвина кажется лунным кратером, а на Луне лежит семейная фотография, оставленная там в 1972 году астронавтом Чарлзом Дьюком из экипажа "Аполлона". Она будет там лежать, не меняясь, миллионы лет, и переживет не только запечатленных на ней родителей и детей и внуков внуков их внуков, но и человеческую цивилизацию — останется там, пока ее не пожрет умирающее Солнце. Они подъезжают к дому, глушат мотор, отстегивают ремни, и Марк несет Бенджи в дом.

Это было его новое "не здесь", где и пребывал его разум, когда они подкатали к выезду с парковки. Тамир потянулся за бумажником, но Ирв оказался проворнее.

— В следующий раз я, — сказал Тамир.

— Конечно, — согласился Ирв. — В следующий раз, когда мы будем выезжать с парковки Национального аэропорта, я позволю тебе заплатить за стоянку.

Ворота поднялись, и в первый раз с момента, когда они сели в машину, подал голос Макс:

— Пап, включи радио.

— Что?

— Ты не слышал там?

— Слышал что?

— В будке у мужика.

— У кассира?

— Да. Радио.

— Нет.

— Случилось что-то важное.

— Что?

— Все я, что ли, должен делать? — проворчал Тамир, включая радио. Сначала, включив сообщение в середине, они не могли понять, что именно случилось, но было ясно, что Макс не ошибся в оценке. НОР вещало с прямой спиной. Репортажи шли со всего Ближнего Востока. Было еще рано. Мало что известно.

Сознание Джейкоба метнулось в привычное убежище: худший из возможных сценариев. Израиль напал на Иран или наоборот. Или египтяне напали сами на себя. Взорвали автобус. Захватили самолет. Кто-то принялся палить в мечети или в синагоге, махать ножом в людном месте. Ядерный удар испарил Тель-Авив. Но отличительная черта худшего из возможных сценариев в том, что его по определению невозможно предвидеть.

Иная жизнь шла сама по себе, независимо от них. Как просто Жизнь. Сэм был на конференции "Модели ООН", и в этот момент мать передала ему записку: "Я могу заглянуть за стену. А ты?" — а развалины его первой синагоги мерцали поодаль от фундамента второй. Среди щебня были рассеяны цветные осколки Еврейского настоящего, каждый подсвечен разрушением.

По-настоящему настоящее

В танцевальном зале "Хилтона" концентрическими дугами расставили столы и стулья, чтобы все напоминало Генеральную Ассамблею Объединенных Наций. Делегаты оделись в национальные костюмы, некоторые даже пробовали изображать акцент, пока кто-то из координаторов не ввел мораторий на эту идиотскую затею.

Заканчивалось выступление саудовской делегации. Юная латиноамериканская девочка в хиджабе говорила с сильным настоящим акцентом, у нее тряслись руки, дрожал и прерывался голос. Джулия не могла видеть волнуемых детей. Ей хотелось подойти к девочке, сказать что-нибудь ободряющее ее — объяснить, что жизнь меняется и слабость становится силой, а мечта воплощается в реальность, которая требует новой мечты.

— И потому мы надеемся, — говорила девочка, явно радуясь, что добралась до конца речи, — что Федеративные штаты Микронезии одумаются и с должной осторожностью и без задержки передадут боеприпас Международному агентству по атомной энергии. Я закончила. Благодарю вас. Ас-салам алейкум.

В аудитории раздались жидкие хлопки, главным образом старалась Джулия. В конце зала оживился председатель — координатор с бородкой и бумажником на липучке в заднем кармане:

— Благодарю вас, Саудовская Аравия. А теперь мы заслушаем представителя Федеративных штатов Микронезии.

И все внимание переместилось на делегацию Джорджтаунской средней школы. Поднялась Билли.

— Довольно занятно, — начала она, подкрепляя свое невозмутимое превосходство показным перебиранием бумаг во время речи, — что представитель Саудовской Аравии учит нас, как нам поступить, когда *в ее собственной стране ей законом запрещено плавать*. Ну, это к слову.

Дети засмеялись. Саудовская делегация нахохлилась. Подчеркивая каждое движение, Билли выровняла бумаги, постучав пачкой о стол, и продолжила:

— Уважаемые члены ООН, позвольте мне от лица Федеративных штатов Микронезии высказаться о том, что здесь получило название ядерного кризиса. В словаре Уэбстера кризис определяется как... — Движением пальца по экрану она оживила свой смартфон и прочла: —

... "сложная или опасная ситуация, требующая серьезного внимания". У нас не кризис. В нашей ситуации нет ничего серьезного и ничего опасного. А что у нас на самом деле есть, так это *возможность*, что словарь определяет как... секундочку... — Вайфай был паршивенький, и страница из закладок загружалась у нее дольше, чем планировалось. — Вот: "отрезок времени или ситуация, когда что-либо может быть осуществлено". Мы не выбирали свою судьбу, но мы не собираемся прятаться от нее. Годами, тысячелетиями — ну веками уж точно — лучшие люди Микронезии принимали происходящее безропотно, сознавая наше ущемленное существование как данность, как бремя, как рок.

Джулия с Сэмом сидели в разных концах группы. Рисуя в блокноте кирпичную кладку, Джулия мысленно проигрывала утренний телефонный разговор с Джейкобом: ее данность, ее бремя, ее рок. Зачем ей понадобилось звонить ему именно в тот момент, как она сделала? Она не только принялась палить с бедра, когда нужно было говорить от сердца или хотя бы чуть придержать язык, она не подумала, что в перестрелку могут угодить Ирв и Макс. Что они услышали, что поняли? Что пришлось объяснять Джейкобу и как он справился? Не упомянет ли кто-то из троих ее звонок в разговоре с Тамиром и Бараком? И не в этом ли было дело? Не захотелось ли ей всё взорвать? Кирпичная стена закрыла уже три четверти страницы. Добрая тысяча кирпичей.

Билли продолжала:

— Теперь все изменится, уважаемые делегаты. Микронезия говорит *довольно*. Довольно терпеть помыкания, раболепствовать и питаться объедками. Уважаемые делегаты, все изменится, начиная со следующего списка требований, но скорее всего не исчерпываясь им.

В оставшемся месте, между краем кирпичной стены и обрезом страницы, Джулия написала: "Я могу заглянуть за стену? А ты?" Она сложила страницу пополам, еще раз пополам и передала по ряду. Сэм, читая записку, не продемонстрировал никаких эмоций. Он написал что-то на той же стороне листка, сложил вдвое, потом вчетверо и передал обратно матери. Развернув, она не сразу смогла отыскать его ответ. Над стеной, где писала она, не было ничего. Она поискала на кирпичах — ничего. Посмотрела на Сэма. Тот выставил перед собой руку с растопыренными пальцами и перевернул ее ладонью вверх. Джулия перевернула листок и прочла: "С обратной стороны стены нет".

Пока остальные члены делегации пытались уследить за таким радикальным отходом от согласованного текста речи, Билли пробивала потолок риторики:

— Микронезия отныне получает место в Совете Безопасности ООН, получает членство в НАТО — да, мы понимаем, что мы в Тихом океане, — и режим наибольшего благоприятствования в торговле с Евросоюзом, участниками НАФТА, УНАСУР, Африканского союза и Европейской экономической комиссии; получает место голосующего члена в Комитете по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США...

В зал вбежал один из координаторов.

— Извините, вынужден прервать работу, — сказал он. — У меня важное сообщение. На Ближнем Востоке сейчас произошло сильное землетрясение.

— Настоящее? — спросил кто-то из кураторов.

— Настоящее.

— Насколько сильное?

— В "Новостях" говорят, небывалое.

— Но настоящее, как ядерный кризис? Или *по-настоящему* настоящее?

Телефон Джулии завибрировал от входящего звонка: звонила Дебора. Отступив в угол зала, Джулия ответила, а вымышленный кризис сменялся по-настоящему настоящим.

— Дебора?

— Привет, Джулия.

— У вас все хорошо?

— Бенджи жив-здоров.

— Я испугалась, вижу, что ты звонишь.

— Все хорошо. Он смотрит кино.

— Хорошо. А то я испугалась.

— Джулия... — Дебора глубоко вздохнула, растягивая время неизвестности. — Случилось ужасное.

— Бенджи?

— У Бенджи все отлично.

— Ты сама мать. Ты мне скажешь.

— Конечно, я сказала бы, Джулия. У него все отлично, он счастлив.

— Дай мне его.

— Речь не о Бенджи.

— Боже, что-то случилось с Максом, с Джейкобом?

— Нет. С ними все хорошо.

— Ты говоришь правду?

— Тебе надо ехать домой.

Вей из мир!

Известно было не много, и оттого немногое известное было особенно ужасно. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 18:23, эпицентр находился глубоко под Мертвым морем, поблизости от израильского поселения Калия. Электричество вырубилось практически во всем Израиле, Иордании, Ливане и Сирии. Сильнее других пострадали, судя по всему, Ас-Салт и Амман в Иордании и город Иерихон на Западном берегу, чьи стены тридцать четыре столетия назад обрушились, как утверждают многие археологи, не от трубы Иисуса Навина, а от землетрясения.

Первые репортажи пошли из Старого города в Иерусалиме: построенный крестоносцами храм Гроба Господня, легендарное место захоронения Иисуса Христа, главная святыня христианского мира, сильно пострадавший от землетрясения 1927 года, частично обрушился, засыпав обломками неизвестное число туристов и клириков. Синагоги и ешивы, монастыри, мечети и медресе лежали в руинах. Не поступало никаких новостей о Храмовой горе: либо потому, что их не было, либо потому, что те, кто их знал, держали при себе.

Национальное общественное радио взяло интервью у инженера-строителя. Корреспондент с хрипловатым голосом — вероятно, лысый коротышка-еврей — по имени Роберт Зигель начал:

Заранее приносим извинения за качество сигнала. Обычно, если телефонная связь нарушена, мы используем сотовые телефоны. Но сотовые сети тоже повреждены, и мистер Горовиц говорит с нами по спутниковому телефону. Мистер Горовиц, вы меня слышите?

Горовиц. Да, алло. Я слышу вас.

Зигель. Не могли бы вы дать нам профессиональную оценку того, что происходит сейчас?

Горовиц. Профессиональную оценку Землда, но я еще скажу просто как человек, находящийся здесь, что Израиль пережил страшную катастрофу. Все кругом, куда ни посмотришь, все разрушено.

Зигель. Но вы в безопасности?

Горовиц. *Безопасность* — относительное понятие. У меня в семье все живы, и я, как вы слышите, тоже. Кто-то в большей безопасности. Кто-то в меньшей.

Какого хуя израильские евреи не могут просто отвечать на вопрос? — подумал Джейкоб. Даже сейчас, когда разразилась катастрофа

— само это слово похоже на классическую израильскую гиперболу, — израильтяне не могут дать прямой, неизраильский ответ.

Зигель. Мистер Горовиц, вы инженер на государственной службе, это так?

Горовиц. Инженер, советник правительства, академик...

Зигель. Как инженер что вы можете сказать нам об ущербе, которое наносит землетрясение такой магнитуды?

Горовиц. Ничего хорошего.

Зигель. Нельзя ли немного подробнее?

Горовиц. В Израиле из шестисот пятидесяти тысяч строений меньше половины могут выдержать подобное.

Зигель. Нам предстоит увидеть, как опрокидываются небоскребы?

Горовиц. Конечно, нет, Роберт. Они-то спроектированы с расчетом на еще более сильные толчки. Наибольшую тревогу у меня вызывают здания высотой от трех до и восьми этажей. Многие из них устоят, но в очень немногих можно будет жить. Вы должны помнить, что в Израиле до конца семидесятых не было строительных норм, а существующие теперь никогда строго не соблюдались.

Зигель. Почему так?

Горовиц. У нас головы заняты другими заботами.

Зигель. Конфликтом.

Горовиц. Конфликтом? Да нам бы сильно повезло, если бы речь шла об одном конфликте. Большинство зданий построены из бетона — это очень жесткая, не многое позволяющая конструкция. Здания похожи на самих израильтян, можно сказать. Они соответствуют нуждам растущего населения, но к нынешней ситуации приспособлены хуже некуда.

Зигель. А что насчет Западного берега?

Горовиц. А что насчет него?

Зигель. Как его постройки выдержат подобное землетрясение?

Горовиц. Тут вам нужно спросить палестинского инженера.

Зигель. Что ж, мы непременно попытаемся.

Горовиц. Но раз уж вы спрашиваете, то мне придется предположить, что он разрушен полностью.

Зигель. Что, простите, разрушено?

Горовиц. Западный берег.

Зигель. Разрушен?

Горовиц. Все здания. Все, что есть. Там, должно быть, много жертв.

Зигель. Тысячи?

Горовиц. Боюсь, что вот сейчас, когда я говорю, уже погибли десятки

тысяч.

Зигель. И я уверен, что вы спешите к семье, но, прежде чем мы простимся, могли бы вы сделать некоторые прогнозы о том, к чему это все приведет?

Горовиц. О какой перспективе вы спрашиваете? Часы? Недели? Жизнь поколения?

Зигель. Попробуем начать с часов.

Горовиц. Следующие несколько часов будут для Израиля решающими. Сейчас важнее всего расставить приоритеты. Электричества нет во всей стране и, скорее всего, не будет еще несколько дней даже в крупных городах. Как вы понимаете, главным приоритетом будут военные нужды.

Зигель. Я удивлен, что вы это говорите.

Горовиц. Роберт, вы еврей?

Зигель. Не уверен, что это сейчас имеет значение, но да, я еврей.

Горовиц. Так я удивлен, что другой еврей удивляется. Впрочем, только американский еврей может думать, что вопрос о том, еврей ты или нет, может не иметь значения.

Зигель. Вас заботит безопасность Израиля?

Горовиц. А вас нет?

Зигель. Мистер Горовиц...

Горовиц. Тактическое превосходство Израиля — в технике, и землетрясение сильно его снизило. Разрушения вызовут отчаяние и волнения. И они выльются — стихийно или по чьей-то воле — в беспорядки. И если этого еще не произошло, то мы скоро увидим, как массы людей стекутся к границам Израиля — с Западного берега, из Газы, Иордании, Ливана, Сирии. Вы и без меня знаете, что в Сирии уже проблемы с беженцами.

Зигель. Зачем они устремятся в Израиль, страну, которую большинство представителей арабского мира считает смертельным врагом?

Горовиц. Затем, что у их смертельного врага первоклассная медицина. У смертельного врага есть вода и пища. И Израиль окажется перед выбором: впускать их или нет. Если впустить, придется делить ограниченные и драгоценные ресурсы. Чтобы остальные жили, Израилю придется умереть. Но если не впустить, заговорят стволы. И конечно, у соседей Израиля тоже будет выбор: заботиться о своих гражданах или воспользоваться внезапной слабостью Израиля.

Зигель. Давайте надеяться, что общая трагедия сплотит народы региона.

Горовиц. Да, но давайте не будем наивными в своих надеждах.

Зигель. А что насчет долгосрочной перспективы? Вы упоминали жизнь поколения.

Горовиц. Разумеется, никто не может знать, что будет, но сегодня Израиль столкнулся с гораздо большей опасностью, чем в шестьдесят седьмом или семьдесят третьем, большей даже, чем иранская ядерная угроза. Налицо кризис, угрожающий самому существованию страны. Надо спасать людей, обеспечивать нуждающихся продовольствием и медицинской помощью, восстанавливать электроснабжение, газоснабжение, водопровод и другие инженерные сети как можно быстрее и надежнее. И в то же время надо восстанавливать разрушенное. Это будет задача для целого поколения. Наконец, и, возможно, это самое неподъемное, надо будет удерживать евреев здесь.

Зигель. То есть?

Горовиц. Молодые, честолюбивые израильтяне-идеалисты имеют все основания уезжать из страны. У вас есть выражение: "соломинка,ломавшая хребет верблюду".

Зигель. Да.

Горовиц. На этот хребет обрушились тысячи зданий.

Джейкоб. Вэй из мир!

Джейкоб ничего не собирался говорить и уж точно не хотел восклицать "О горе!". Но ведь никто никогда не собирается воскликнуть "О горе!".

— Плохо дело, — сказал Ирв, качая головой. — Куда ни посмотри, плохо.

Мысли Джейкоба перенеслись к апокалиптическим сценам: в старой спальне Тамира потолок рушится на кровать, женщины в париках, заваленные глыбами Иерусалимского камня, разрушенные руины Масады. Он представил скамью в Блуменберг-парке, превратившуюся в мраморный щебень. Должно быть, там катастрофа, подумал он и поймал себя на том, что осознал: катастрофа определенно произошла, он хотел бы, чтобы она случилась. Он не мог признать этого желания, но и отрицать его не мог.

— Ничего хорошего, — сказал Тамир. — Но не так все и ужасно.

— Хочешь позвонить домой?

— Ты же слышал. Линии отключены. И мой голос ничем не поможет.

— Уверен?

— У них все нормально. Это точно. Мы живем в новом доме. Как он сказал, конструкция рассчитана на подобные толчки — лучше, чем у любого из ваших небоскребов, поверь мне. В доме есть аварийный генератор — два, кажется, — и в бомбоубежище запас продуктов на

несколько месяцев. А убежище получше той квартиры, что ты снимал в Фогги-Боттом. Помнишь ее?

Джейкоб помнил ту квартиру: он прожил в ней пять лет. Но бомбоубежище в доме, где Тамир жил мальчиком, Джейкоб помнил даже более отчетливо, хотя пробыл там не больше пяти минут. Это был последний день той первой поездки в Израиль. Дебора и мать Тамира, Адина, отправились прогуляться по рынку в надежде купить каких-нибудь лакомств для Исаака. За кофе Ирв едва ли не с ухмылкой спросил Шломо, есть ли в доме убежище.

— Конечно, — ответил Шломо, — это закон.

— В подвале?

— Конечно.

Второе *конечно* помогло Ирву понять то, что он должен был понять еще после слов *это закон*: Шломо хотел, чтобы в подвале было убежище, когда полетят бомбы, и чтобы он было там, когда они не летят. Но Ирв настаивал:

— Не мог бы ты показать его нам? Я бы хотел, чтобы Джейкоб увидел.

Это *хотел бы, чтобы Джейкоб увидел* помогло Шломо понять, что он должен был понять еще после *В подвале?* Ирв просто так не отстанет.

Если не считать двери толщиной в двенадцать дюймов, в комнате не сразу можно было заметить что-то необычное. Там царила сырость, на цементном полу выступила влага. Свет был мучнистый, и по цвету, и по текстуре. А звуки, казалось, собирались над головой в облака. На стене висели четыре противогаза, хотя в семье было всего три человека. Акция четыре по цене трех? Или один для домработницы? Для будущего ребенка? Для пророка Илии? И каков будет порядок действий, если химическая атака произойдет, когда здесь же окажется семья Джейкоба? Положено ли действовать как на самолете — взрослым следует сначала позаботиться о себе, а потом уже о детях? Увидел бы Джейкоб, как задыхается, в отражении на стеклах отцовского противогаза? Мать бы такого никогда не позволила. Но ведь она тоже задыхалась бы. Конечно, отец отдал бы маску ей, верно? Хотя она могла бы надеть противогаз Тамира, и тогда никаких проблем. Положено взрослым, обеспечив свою безопасность, позаботиться затем о *своих* детях или обо *всех*, какие рядом? Если бы домработница находилась тут же, потребовала бы она себе противогаз у Блохов? Тамир был старше Джейкоба на несколько месяцев. Считался ли он поэтому, в сравнении с Джейкобом, более взрослым из них двоих? Не существовало такого сценария, чтобы Джейкоб не стал жертвой химической атаки.

— Пошли отсюда, такая сырость, — позвал Джейкоба Тамир.

Джейкобу не хотелось уходить. Он хотел все оставшееся ему в Израиле время потратить на изучение этой комнаты дюйм за дюймом, постижение ее, постижение себя в ней, просто на пребывание в ней. Ему хотелось пообедать там, принести туда вещи и там собрать чемодан, пожертвовать последними минутами осмотра достопримечательностей и провести еще пару часов за этими непробиваемыми стенами. Мало того: он хотел бы услышать сирену воздушной тревоги — не дежурную тревогу, как на Йом ха Шоа, но сирену, возвещающую всеобщую гибель, чего он сам избежит.

— Идем, — повторил Тамир, с неуклюжей силой потянув Джейкоба за руку.

Во время полета домой в Америку, в тридцати трех тысячах футов над Атлантикой, Джейкоб воображал убежище под убежищем, куда уводит еще один пролет лестницы. Но это второе убежище было огромным, настолько большим, что его можно было легко спутать с миром, достаточно вместительным, чтобы там собралось столько людей, что война между ними стала неизбежной. И когда начали бы рваться бомбы в мире по ту сторону толстой двери, мир по эту сторону стал бы убежищем.

Почти десять лет спустя Тамир и Джейкоб сидели с пивом за кухонным столом, который нельзя было обойти вокруг, в квартире, выгороженной из другой квартиры, выгороженной из дома в Фогги-Боттом.

— Я кое с кем познакомился, — сказал Джейкоб, впервые произнеся эти слова вслух.

И почти двадцать лет спустя после этого, в японской машине, пересекающей столицу страны, израильский кузен — израильский кузен Джейкоба — говорил:

— В любом случае, до этого не дойдет.

— До чего?

— До бомбоубежищ. До войны.

— Кто говорит про войну?

— Мы со всем разберемся, — продолжил Тамир, будто размышляя вслух. — *Израиль* в переводе с иврита означает "план на чрезвычайный случай".

Несколько минут ехали в полном молчании. Национальное радио, как могло, старалось выудить что-то из маловразумительных новостей, Тамир полностью ушел в свой телефон, который вполне сошел бы за планшет, а то и за телевизор. Джейкоб, хотя и с маниакальной настойчивостью заглядывал в свой, ненавидел любые телефоны, считая их даже худшим злом, чем новообразования в мозгу, которые они провоцируют у

владельцев. Отчего? Считал, что телефон управляет его жизнью? Или знал, что телефон не управляет его жизнью, но дает ему легкий и допускаемый обществом способ разрушить ее своими руками? Или думал, что другие получают больше сообщений, и более интересных? Или знал заранее, все время, что телефон станет виновником его падения — пусть даже не знал, как именно.

Телефон Тамира особенно бесил Джейкоба. И телефон Барака тоже. Это были телефоны-джипы. Джейкоба не волновало, насколько яркие у них экраны, хорош ли прием и легко ли они сопрягаются с другими убогими гаджетами. Барак оказался в Америке первый раз, а тут, даже если и не считать Америку величайшей страной в мировой истории, по самой крайней мере, есть на что посмотреть тому, кто не поленился оглянуться вокруг. Может, они ищут новости, но интересно, что за новостной сайт вопит *Бум-шакалака!* каждые несколько секунд?

— А что Ноам? — спросил Джейкоб.

— А в чем дело?

— Где он сейчас?

— В эту минуту? — переспросил Тамир. — Прямо сейчас? Понятия не имею. Информирование отцов не входит в задачи государственной важности.

— А когда ты с ним говорил последний раз, где он был?

— В Хеброне. Но я не сомневаюсь, их перебазировали.

— Вертолетом?

— Не знаю, Джейкоб. Откуда мне знать?

— А Иаиль?

— С ней все хорошо. Она в Освенциме.

Бум-шакалака!

— Что?

— Школьная экскурсия.

В тишине катились по Аллее Джорджа Вашингтона, кондиционер сражался с влажностью, проникавшей сквозь незримые бреши, обмен репликами между Джейкобом и Ирвом прерывал неловкие паузы, распиравшие салон, — проехали Грейвелли-Пойнт, где фанаты авиации с радиосканерами и отцы с сыновьями на руках почти могут коснуться шасси заходящих на посадку аэробусов; справа за бурым Потомаком проплыл Капитолий; последовало неизбежное объяснение, почему Монумент Вашингтона слегка меняет цвет на высоте одной трети. Проехали по Арлингтонскому мосту между золотых коней, обогнули сзади Мемориал Линкольна, лестницу, что, кажется, ведет в никуда, и влились в поток на

Рок-Крик-паркуэй. Проехав под террасой Кеннеди-центра и мимо зубчатых балконов "Уотергейта", двинулись вдоль речных извивов прочь от границ столичной цивилизации.

— Зоопарк, — сказал Тамир, отрываясь от экрана.

— Зоопарк, — эхом отозвался Джейкоб.

Ирв наклонился к нему:

— Знаешь, наши любимые приматы, Бенджи и Дебора, сейчас как раз, наверное, там.

Зоопарк лежал в эпицентре дружбы Джейкоба и Тамира, их родства; он означал их переход из юности во взрослую жизнь. И он был в эпицентре судьбы Джейкоба. Джейкоб нередко принимался воображать сцену собственной смерти, особенно когда чувствовал, что понапрасну тратит жизнь. К каким минутам в свои последние минуты он будет возвращаться? Он вспомнит, как они с Джулией заходят в пенсильванский отельчик — оба раза. Вспомнит, как вносит Сэма домой после неотложки — крохотная ручка, замотанная, как у мумии, множеством бинтов, мультяшно велика: самый большой и самый беспомощный кулак в мире. Он вспомнит ночь в зоопарке.

Джейкоб подумал, вспоминает ли Тамир иногда тот случай и вспоминает ли он его прямо в эту минуту.

Тамир в тот же миг рассмеялся утробным потаенным смехом.

— Что тебя развеселило? — спросил Джейкоб.

— Я. Мое чувство.

— Какое чувство?

Тамир опять рассмеялся — поставил личный рекорд?

— Зависть.

— *Зависть*? Не ожидал услышать такое от тебя.

— И я не ожидал, что ее почувствую. Это и смешно.

— Не понимаю.

— Выходит, у Ноама будут истории поинтереснее моих. И мне завидно. Но это хорошо. Так и надо.

— Что так и надо?

— Чтобы у него были истории получше.

— Может, попробуешь позвонить? — предложил Ирв.

— Однажды жил на свете человек, — сказал Джейкоб, — чья жизнь была так хороша, что о ней никаких историй не расскажешь.

— Попробую, — сказал Тамир, набирая длинную строчку цифр. — Ничего из этого не выйдет, но ради тебя, Ирв, попробую.

Через несколько мгновений тишину салона прорезал голос

автоответчика на иврите. Тамир дал отбой и на сей раз без подсказки Ирва позвонил еще раз. Он слушал. Все слушали.

— Сеть перегружена.

Вей из мир.

— Попробуй через минуту.

— Бесполезно.

— Я не паникую, — заметил Джейкоб, — но не стоит ли тебе вернуться домой?

Бум шакалака!

— И как бы я это сделал?

— Мы могли бы вернуться в аэропорт и узнать, какие есть рейсы, — предложил Джейкоб.

— Все рейсы в Израиль и оттуда отменены.

Вей из мир.

— Откуда ты знаешь?

Тамир поднял телефон и спросил:

— Ты думаешь, я играю в игры?

Бум шакалака!

Вторая синагога

Синагоги не умеют чувствовать, но, как верил в то, что любая вещь способна тосковать, Сэм верил, что любая вещь как-то сознает свой неминуемый конец: он говорил костру: "Все хорошо!", когда в нем шипели последние угли, и просил прощения у трехсот миллионов с лишним сперматозоидов, смывая их в канализацию. Любая синагога умеет чувствовать.

Вернувшись с конференции "Модель ООН", Сэм первым делом бросился в "Иную жизнь", как курильщик, спешащий прочь из Сиднейского аэропорта. Планшет ожил с сообщением на экране: Макс объяснял гибель Саманты, вину отца (в смысле, ответственность) и его собственную глубочайшую вину (сознание своей ответственности). Сэм перечел текст дважды, словно пытаясь понять и отсрочить столкновение с реальностью.

Сэм удивился себе: он не впал в ярость, осознав, что это все не глупая шутка Макса. Почему он не разбивает планшет о спинку кровати, не выкрикивает слова, которых не вернешь, в адрес того, кто их не заслуживает, почему хотя бы не заплачет? Ему ни в коем случае не безразлична была судьба Саманты, и он уж точно не достиг никакого просветления в духе "это просто игра". Это не было "просто игрой". Насколько Саманта сознавала свой неминуемый конец? Любой аватар способен чувствовать.

Каждый разговор по скайпу у них с прадедом начинался с "вот и свиделись" и заканчивался на "увидимся!". Сэм переживал оттого, что один из таких разговоров будет последним и что в какой-то момент придется признать какую-то версию этого факта. Они разговаривали прошлым утром, пока Сэм поспешно собирал вещи на конференцию, — Исаак просыпался до рассвета и ложился спать до заката. Они никогда не говорили дольше пяти минут — хотя Исааку сотню раз объясняли, что скайп абсолютно ничего не стоит, он отказывался верить, что долгий разговор не обходится дороже, — а тот утренний был особенно стремительным. Сэм в самых общих чертах описал предстоящую поездку, подтвердил, что он не болен, не голоден, и нет, ни с кем не "встречается".

— К бар-мицве все готово?

— В общем, да.

Но уже собираясь отключиться — "мама меня ждет внизу, наверное, я

побегу", — Сэм испытал ожидаемую неловкость, но на этот раз с какой-то особой настойчивостью, с тоской. И Сэм не мог бы точно сказать, что это его тоска.

— Беги, — сказал Исаак, — мы уже и так слишком долго болтаем.

— Я хотел еще сказать, что люблю тебя.

— Да, я знаю, конечно. И я тебя люблю. Ладно, беги.

— И мне жаль, что ты переезжаешь.

— Беги, Сэмеле.

— Не понимаю, почему ты не можешь остаться.

— Потому что я больше не могу о себе заботиться.

— Нет, у нас.

— Сэмеле.

— Что? Ну я не понимаю.

— Я не могу ходить по лестницам.

— Мы купим такое кресло-подъемник.

— Они слишком дорогие.

— Я потрачу свои деньги с бар-мицвы.

— Мне надо принимать уйму всяких лекарств.

— И мне надо принимать кучу всяких витаминов. Мама здорово со всем этим управляет.

— Не хочу тебя огорчать, но скоро я не смогу сам мыться в ванне и ходить в туалет.

— Бенджи не может сам мыться в ванне, и мы постоянно убираем какашки за Аргусом.

— Я не ребенок и не собака.

— Я знаю, я просто...

— Я забочусь о семье, Сэмеле.

— Ты очень хорошо заботишься, но...

— Не семья заботится обо мне.

— Я понимаю, но...

— Вот так, и всё.

— Я попрошу папу.

— Нет, — ответил Исаак с жесткостью, которой Сэм прежде не замечал.

— Почему? Он точно согласится.

Повисло долгое молчание. Если бы не моргающие глаза Исаака, Сэм решил бы, что программа зависла.

— Сказал тебе, нет, — наконец произнес Исаак сурово.

Сигнал ослабел, изображение пошло квадратами.

Что Сэм сделал? Что-то неправильное, что-то недоброе, но что? Нерешительно, пытаясь загладить нанесенную им и неведомую ему обиду, Сэм сказал:

— И еще у меня есть девушка.

— Еврейка? — спросил Исаак, лицо которого уже превратилось в россыпь пикселей.

— Да, — соврал Сэм.

— Вот и свиделись, — сказал Исаак и отключился.

Эта подмена конца на начало изменила все. Тоска оказалась дедовой.

Вторая синагога осталась такой же, какой Сэм оставил ее. Аватара, чтобы пройти и осмотреть, у него теперь не было, поэтому он наскоро и начерно создал примитивного болвана, чтобы войти. Фундамент был залит, каркас стен выставлен, но без панелей строение можно было прошить насквозь брошенной стрелой или взглядом. Он — Сэм — знал, что новый аватар мужского пола — подошел к стене, схватился за рейки, как за прутья тюремной решетки, и потянул на себя. Сэм одновременно управлял и наблюдал. Подошел к другой стене и повалил ее тоже.

Сэм не рушил, и это не был Сэм. Он выгораживал место внутри большего места, еще не зная, кто он такой.

Раскинувшись во все стороны, строение съеживалось с краев, подобно гибнущей империи, что стягивает армии назад к столице, подобно чернеющим пальцам застрявшего на стене альпиниста. Не стало банкетного зала, баскетбольной площадки и раздевалок, не стало детской библиотеки, учебных классов, кабинетов для администраторов, кантора или раввина, ни часовни, ни святилища.

Что осталось после того, как все эти стены пали? С полдюжины помещений.

Сэм не задумывал такой структуры, он ее просто создал. И он не был Сэмом.

Столовая, гостиная, кухня. Коридор. Ванная, гостевая спальня, гостиная для просмотра телевизора, спальня.

Чего-то не хватало. Здание о чем-то тосковало.

Он отправился к руинам первой синагоги и подобрал почти не пострадавший витраж с Моисеем, плывущим по Нилу, и горсть щебня. Он заменил одно из окон на кухне принесенным витражом, а щебень положил в холодильник, к имбирному пиву.

Но чего-то все равно не хватало. Тоска оставалась.

Подвал. Нужен был подвал. Умеющая чувствовать синагога, сознающая, что даже пока строится, она разрушается, тосковала по

подземелью. У него не было денег купить лопату, так что он принялся рыть руками. Он копал подвал, как могилу. Копал, пока не перестал чувствовать рук, которых и не мог чувствовать. Копал, пока за горкой выброшенной земли не смогла бы укрыться целая семья.

А потом он встал перед своей работой, как первобытный художник перед своей пещерной росписью.

Вот и свиделись.

Сэм выбрал себе светлые волосы, вернул браузер и стал гуглить: как делается пузырьчатая пленка?

Землетрясение

Когда они приехали домой, Джулия сидела на крыльце, охватив колени. Солнце лежало на ее волосах, как желтый мел или пыль, осыпаясь от малейшего движения. Увидев ее, такой, как она была в то мгновение, Джейкоб невольно стряхнул обиду, осевшую на сердце, как галька. Она не была его женой, вот в тот самый момент, она была женщиной, на которой он женился, — личностью, а не ролью.

С его приближением Джулия слабо улыбнулась: улыбка смирения. Утром перед выездом в аэропорт Джейкоб читал врезку в "Нэшнл джиографик" о неисправном метеорологическом спутнике, который больше не может выполнять своих функций, но поскольку ловить его слишком дорого и нет большой необходимости, он будет кружить по орбите просто так, пока не упадет на землю. Улыбка Джулии была такой же далекой.

— Ты что тут делаешь? — спросил Джейкоб. — Я думал, ты вернешься позже.

— Мы решили вернуться на пару часов раньше.

— А где Сэм? — спросил Макс.

— Это ты можешь решить? Как сопровождающий?

— Если у Марка возникнут трудности, я могу туда вернуться за пятнадцать минут.

Джейкобу ненавистно было слышать это проклятое имя. Его сердце вновь наполнилось галькой, и оно пошло ко дну.

— Сэм наверху, — сказала Джулия Макс.

— Пошли, наверное, со мной, — сказал Макс Бараку, и они скрылись в доме.

— Мне надо по-большому, — сказал Ирв, шаркая мимо них. — Потом я присоединюсь к тусовке. Привет, Джулия.

Тамир выбрался из машины и распростер объятия:

— Джули!

Никто не звал ее Джули. Даже Тамир не звал.

— Тамир!

Он обнял ее, разыгрывая свой обычный спектакль объятий: с удерживанием на расстоянии вытянутых рук, оглядыванием с головы до ног, затем прижатием к себе, затем снова отстранением на длину руки и повторным разглядыванием.

— А все остальные стареют, — сказал он.

— Я тоже не молодею, — ответила Джулия, не расположенная отвечать на его заигрывания, но и не стремясь их прерывать.

— Я и не сказал ничего такого.

Они улыбнулись друг другу.

Джейкобу хотелось ненавидеть Тамира за то, что тот все сексуализировал, но Джейкоб не понимал, была эта манера его личной склонностью или результатом воздействия среды — насколько поведение Тамира было просто восточным обычаем, неверно понятым культурным кодом. И может быть, это именно Джейкоб все десексуализировал, даже когда все сексуализировал.

— Мы так рады, что ты побудешь подольше, — сказала Джулия.

"Почему все молчат про землетрясение?" — недоумевал Джейкоб. Может, Джулия боялась, что они еще не знают о нем? Хотела преподнести новость осторожно и разумно, в спокойной обстановке? Или еще не слышала сама? Еще загадочнее, почему Тамир, тот, кто не забывал упомянуть ни о чем, не упомянул об этом?

— Нелегко было решиться, — продолжил Тамир. — Я бы сказал "ты знаешь", но ты не знаешь. В любом случае, я подумал, приедем чуть раньше, потратим это время с пользой — Барак поближе познакомится с американской родней.

— А Ривка?

— Она передает, что очень жалеет. Очень хотела приехать.

— У вас все хорошо?

Ее прямота удивила Джейкоба и напомнила ему о его отстраненности.

— Конечно, — ответил Тамир. — Просто у нее были кое-какие планы, которые нельзя перенести. А теперь: Джейк говорил, ты что-то приготовила поесть?

— Так и говорил?

— Я не говорил. Я даже не рассчитывал, что ты вернешься так рано.

— Не ври жене, — сказал Тамир, подмигивая, и Джейкоб, не уверенный, что Джулия видела это, сказал ей:

— Он мне подмигнул.

— Ну что ж, давайте соберем поесть, — сказала Джулия. — Ты проходи. Макс покажет, где положить вещи, и мы все встретимся за кухонным столом.

Лишь Тамир скрылся в дверях, Джулия взяла Джейкоба за руку.

— Можем поговорить минутку?

— Я ничего такого не говорил.

— Я знаю.

- Они меня бесят.
- Мне надо тебе кое-что сказать.
- Еще что-то?
- Да.

Годы спустя Джейкоб будет помнить это мгновение, как огромную дверную петлю.

- Кое-что случилось, — сказала она.
 - Я знаю.
 - Что?
 - Марк.
 - Нет, — сказала Джулия, — не то. Не со мной.
- И тут с великим облегчением Джейкоб отозвался:

- А, это. Мы уже слышали.
- Что?
- По радио.
- По *радио*?
- Да, это ужасно. Похоже, настоящая жуть.
- Что жуть?
- Землетрясение.

— Ой, — сказала Джулия, понимая и одновременно теряясь, — землетрясение. Да.

Лишь тут Джейкоб заметил, что они до сих пор держатся за руки.

- Постой, о чем ты говоришь?
- Джейкоб...
- Марк.
- Да нет же.

— Я думал об этом, пока мы ехали. Я думал обо всем. После этого телефонного разговора я...

— Помолчи. Пожалуйста.

Джейкоб ощутил, как кровь волной прилила к лицу и так же быстро отступила.

Он где-то сделал что-то ужасное, но не понимал что. Точно, не телефон. С ним уже все открылось. Деньги, которые он снимал через банкоматы много лет? На глупые безобидные игрушки, которые ему так хотелось иметь и было так стыдно в этом признаться? Что? Может, она как-то взломала его почту? Увидела, как он говорит о ней с теми, кто способен понять или, по крайней мере, посочувствовать? Может, он по глупости ли по воле подсознания где-то не разлогинился?

Он взял ее руку в свои ладони.

— Прости.

— Ты не виноват.

— Мне так жаль, Джулия.

Он жалел, так жалел, но о чем? Извиняться было особенно не в чем.

На их свадьбе мать Джейкоба рассказала историю, которой он не помнил и не поверил и которая обидела его, потому что, даже если и не была правдой, то вполне могла быть и высвечивала, кто он есть.

— Вы, наверное, думали, что скажет мой муж, — начала Дебора, вызвав смех среди слушателей. — Наверное, вы заметили, что выступает обычно он. И выступает.

Снова смех.

— Но тут я хотела сказать сама. Это свадьба моего сына, которого я носила в своем чреве, кормила своей грудью, которому отдавала всю себя, чтобы однажды он смог отпустить мою руку и взять руку другой женщины. К чести моего мужа, он не стал ни спорить, ни жаловаться. Просто три недели не разговаривал со мной.

Слушатели вновь засмеялись, и радостнее всех Ирв.

— Это были самые счастливые три недели в моей жизни.

Снова смех.

— А как же наш медовый месяц? — выкрикнул Ирв.

— А у нас был медовый месяц? — спросила Дебора.

Смех.

— Вы, должно быть, заметили, что евреи не приносят брачных клятв. Считается, что договор заключен в самом ритуале. Правда, это так по-еврейски? Перед лицом своего спутника жизни и перед лицом своего бога, в самый важный, наверное, момент жизни считать, что все понятно и без слов? Трудно представить другую ситуацию, где еврею что-то ясно без слов.

Смех.

— Никогда не привыкну к тому, какой странный и легко объяснимый мы народ. Но может быть, кто-то из вас, как и я, волей-неволей слышит знакомые слова: "в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни". Может, это не наш обычай, но он сидит в нашем коллективном подсознании. Был такой год в детстве Джейкоба. — Она взглянула на Ирва и спросила: — А может, больше года? Года полтора? — Затем вновь окинула взглядом слушателей и продолжила: — В общем, нам это казалось дольше, чем на самом деле было... — Смех. — Когда Джейкоб притворялся калекой. Это началось как-то утром с заявления, что он ослеп. "Но ведь ты не открываешь глаза", — сказала я ему. — Снова смех. — "Только потому, что

тут не на что смотреть, — ответил он. — Пусть лучше глаза отдохнут". Джейкоб был упрямый мальчик. Он мог держать оборону день за днем, неделю за неделей. Ирв, ты не догадываешься, от кого у него это?

Смех.

— Моя порода, твоя школа! — выкрикнул Ирв в ответ.

И вновь смех.

Дебора продолжила:

— Он изображал слепоту три или четыре дня — долгий срок для ребенка, да хоть для кого, чтобы не открывать глаз, — но однажды вечером вышел к ужину, хлопая ресницами, и вновь стал ловко управляться с приборами. Я сказала ему: "Какое счастье, что ты поправился". Он, пожав плечами, указал рукой себе на уши. "Что такое, милый?" Он подошел к шкафчику, добыл ручку и бумагу и написал: "Извини, я тебя не слышу. Я оглох". Ирв сказал ему: "Ты не оглох". Джейкоб одними губами сложил два слова: "Я глухой". Где-то через месяц он прихромал в гостиную с подушкой, засунутой сзади под рубашку. Ничего не сказал, только дохромал до книжных полок, взял книгу и удалился. Ирв крикнул ему вслед: "Чао, Квазимодо!" — и продолжил читать. Он думал, это очередная ступень. Я пошла за Джейкобом в комнату, села рядом на кровать и спросила: "Ты сломал спину?" Он кивнул. "Наверное, ужасно больно". Он кивнул. Я предложила для лучшего сращивания примотать к спине палку. С ней он ходил два дня. И поправился. Недели через две я читала ему в постели. Голова его лежала на той самой подушке, которая изображала горб, — и он, подернув рукав пижамы, сказал: "Смотри, что у меня". Я не знала, что именно должна увидеть, знала только, что увидеть нужно, поэтому сказала: "Просто кошмар". Он кивнул. И сказал: "Очень сильный ожог". Земл "Вижу, вижу", — сказала я, осторожненько прикоснувшись. "Погоди, у меня в аптечке есть мазь". Я пошла и принесла увлажняющий крем. "Для лечения сильных ожогов, — притворилась я, будто читаю на этикетке, — обильно нанесите на место ожога. Вотрите в кожу массирующими движениями. Полное излечение наступает к утру". Я массировала ему руку полчаса, этот массаж прошел фазы — приятную, медитативную, интимную и, конечно, успокоительную. Наутро он пришел к нам в кровать, показал руку и объявил: "Помогло". Я сказала: "Чудо". Земл "Нет, — сказал он, — просто лечение".

Снова смех.

— "Просто лечение". Я до сих пор все время это вспоминаю. Не чудо, просто лечение. Увечья и травмы и дальше возникали — сломанное ребро, потеря чувствительности в левой ноге — но уже все реже и реже. И вот

однажды утром, может быть, через год после того как ослеп, Джейкоб не пришел на завтрак. Он часто просыпал, особенно если вечером они с отцом допоздна смотрели бейсбол. Я постучала к нему. Тишина. Я вошла, и он абсолютно неподвижно лежал в постели, руки и ноги вытянуты, а на груди пристроена записка: "Я чувствую себя очень плохо, наверное, ночью умру. Если ты согласишься на меня и я не двигаюсь, значит, я умер". Если бы это была игра, он бы выиграл. Но это не была игра. Я могла втереть крем в обожженную руку, вправить сломанную спину, но мертвому уже ничем не поможешь. Мне нравилась интимность нашего тайного общего понимания, но тут я перестала понимать. Я смотрела, как он лежал, мой терпеливый ребенок, совсем неподвижно. И я расплакалась. Как расплачусь и сейчас. Я встала на колени у его тела и плакала, плакала, плакала.

Ирв вышел на танцпол и встал рядом, приобняв Дебору. Что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула и пошептала в ответ. Он ответил на ухо.

Дебора, успокоившись, продолжила:

— Я долго плакала. Я положила голову ему на грудь и пустила ручейки слез по руслам между ребер. Ты был такой худенький, Джейкоб. Сколько бы ты ни ел, ты был кожа до кости. Кожа до кости. — Она вздохнула. — Ты дал мне вволю поплакать, потом кашлянул, подергал ногами, опять кашлянул и понемногу ожил. Сильнее всего я сердилась, когда ты подвергал себя опасности. Когда не смотрел в обе стороны, переходя дорогу, когда бегал с ножницами, — мне хотелось тебя отлупить. Я прямо удерживала себя, чтобы не дать тебе затрещину. Как можно быть таким небрежным с тем, кого больше всего любишь? Но в тот раз я не сердилась. А только дико устала. Я сказала: "Никогда так не делай. Не смей больше никогда так делать". Все так же лежа на спине, ты повернул голову, мы оказались лицом к лицу — ты помнишь? — и сказал: "Но мне придется".

Дебора вновь принялась плакать и отдала Ирву листок, с которого читала.

— В болезни и здравии, — продолжил он, — Джейкоб и Джулия, мои сын и дочь, бывает только болезнь. Кто-то слепнет, кто-то глохнет. Люди ломают спины, получают страшные ожоги. Но ты был прав, Джейкоб: тебе придется проделать это еще раз. Не для игры, не для репетиции, но как мучительную попытку что-то сообщить, но по-настоящему и навсегда.

Ирв поднял глаза от страницы и передал листок Деборе:

— Боже, Дебора, это убийственно.

В зале еще посмеялись, но горло у многих уже перехватывало. Дебора тоже посмеялась и взяла Ирва за руку.

Он продолжил читать:

— В болезни и болезни. Вот этого я вам и желаю. Не ищите и не ждите чудес. Их нет. Их больше не будет. И нет лекарства от той боли, что всех больней. Есть только одно лечение: верить в боль другого и быть рядом, когда ему больно.

После первой близости в статусе мужа и жены Джейкоб с Джулией лежали рядом на кровати. Лежали рядом и смотрели в потолок.

Джейкоб сказал:

— Мама здорово говорила.

— Да, — согласилась Джулия.

Джейкоб взял ее за руку и признался:

— Но правда была только про глухоту. Остального не было.

Спустя шестнадцать лет, наедине с матерью троих его детей, на крыльце их дома, когда небо было вместо потолка над головой, Джейкоб знал, что все, сказанное тогда матерью, — правда. Даже если он этого не помнит, даже если этого не происходило. Он выбирает болезнь, поскольку не знает, как иначе добиться, чтобы его заметили. Даже те, кто его ищет.

Тут Джулия сжала его руку. Не сильно. Ровно настолько, чтобы передать любовь. Джейкоб почувствовал любовь. Супружескую, матери его детей, романтическую, дружескую, прощающую, преданную, смиренную, упрямо надеющуюся, — все равно, какую именно. Он так много времени в жизни потратил, стоя в дверях, анализируя любовь, не давая себе утешения, принуждая себя к счастью. Джулия чуть сильнее сжала руку своего пока еще мужа, удержала его взгляд в своем и сказала:

— Твой дед умер.

— Прости меня. — Джейкоб произнес слово, родившееся в спинном мозгу.

— Прости?

— Постой, что? Я не расслышал.

— Твой дед Исаак. Он умер.

— Что?

IV

Пятнадцать дней из пяти тысяч лет

День 2

Руководитель спасательной операции в Израиле на предложение оценить, сколько людей оказалось под завалами, отвечает: "Нам и один — как десять тысяч". Журналист подхватывает: "Вы намекаете, что их десять тысяч?"

День 3

Заявление Министерства внутренних дел Израиля: "Сейчас не время для мелких свар. Если исламисты хотят порядка, он будет. Если они хотят сохранить свои священные места, то могут и это. Но они не могут получить то и другое сразу".

На что держатель вакуфа^[35] отвечает: "Сионисты склонны недооценивать арабов и не возвращать что одалживают".

На это министр внутренних дел лично дает ответ: "Израиль ничего не оценивает и ни у кого не одалживается".

День 4

Общественный редактор "Нью-Йорк таймс": "Многие читатели отреагировали на слово "непропорционально" в опубликованной вчера на первой полосе диаграмме жертв землетрясения на Ближнем Востоке".

В Ливане предводитель "Хезболлы" в телеэфире употребляет фразу "землетрясение не было природным явлением и не было землетрясением".

Ведущий вечерних новостей Си-би-эс: "И наконец, сегодня вечером проблеск надежды среди руин. Маленькая Адия, трехлетняя палестинская девочка, потерявшая в Наблусе родителей и трех сестер. Она бродила по развалинам, даже не зная собственной фамилии, и, встретив американского фотожурналиста Джона Тирра, схватила его за руку и не отпускала".

День 5

Ответ израильского посла: "Может быть, стоит спросить тридцать шесть граждан Японии, которых мы "самовольно, неумело и жестоко" спасли ценой собственной крови, не хотят ли они, чтобы их вернули на Храмовую гору?"

Военный эксперт "Фокс ньюс", по поводу несогласованного использования турецкими транспортными самолетами воздушного пространства Израиля: "Отсутствие реакции можно толковать либо как

небывало дружественный жест Израиля, либо как знак небывалой слабости его ВВС".

Двадцатиднолетний араб, гражданин Израиля, единственный уцелевший из пяти братьев и сестер, объясняет: "Стеклянная бутылка бесполезна как оружие и, значит, смертоносна как символ". Возмущения, уже не стихийные, получают название "тдамар" — ненависть.

Президент Сирии: "Вступающее в действие сию минуту перемирие и стратегический союз охватывают одиннадцать крупнейших враждующих мятежных группировок".

День 6

Папа римский объявляет: "Ватикан будет финансировать и курировать восстановление Гроба Господня".

Ответ синода Греческой православной церкви: "Ватикан не будет осуществлять подобной деятельности".

Ответ католикоса всех армян: "Руины должны остаться в неприкосновенности".

Британский парламент принимает резолюцию "для облегчения доставки британской гуманитарной помощи направлять ее непосредственно установленному получателю, а не по израильским каналам".

Младший сенатор от Калифорнии (и еврей): "Несомненно, Израиль делает все, что в его силах, для координации самых широких и самых эффективных спасательных работ. Разумеется, Израиль не может бросить на произвол судьбы население территорий, которые он удерживает".

Канцлер Германии: "Как главный европейский союзник Израиля, мы советуем ему увидеть в произошедшей трагедии возможность сделать шаг навстречу своим арабским соседям".

Секретное сообщение от короля Иордании премьер-министру Израиля: "Нужда в помощи для нас стала слишком острой и неотложной, мы не в том положении, чтобы подвергать сомнению ее источники".

Ответ: "Это просьба или угроза?"

Ответ: "Это заявление".

Американо-израильский комитет по общественным связям объявляет о создании двух списков должностных лиц: "Защитники Израиля" и "Предатели Израиля". В первой публикации 512 защитников и 123 предателя.

Плакат в Аммане: "ОСТАНОВИТЕ ХОЛЕРУ".

День 7

Ответ египетского министра иностранных дел: "Что касается Марша

миллионов, то мы не можем препятствовать свободным людям выразить братскую солидарность по отношению к страдающим жертвам землетрясения".

Представитель Турции в ООН заявляет: "Израиль сократил вдвое число судов с гуманитарной помощью, которым разрешен вход в его территориальные воды".

"Аль-Джазира" заявляет: "Грузы медицинского назначения для Западного берега задерживаются израильтянами на границе".

Госсекретарь США заявляет: "Израиль в полной мере сотрудничает со всеми добросовестными партнерами".

Сирия заявляет: "Мы перемещаем войска к южным границам в целях самозащиты".

Заявление ВОЗ: "Эпидемия холеры, на сегодня подтвержденная более чем в десяти городах на палестинских землях и в Иордании, представляет собой более серьезную опасность, чем новые подземные толчки или даже война".

В телефонном разговоре с израильским премьер-министром президент США подтверждает намерение его государства поддерживать безопасность Израиля "всеми средствами, без ограничения", но добавляет: "Это великое несчастье должно повлечь фундаментальные сдвиги в принципах ближневосточной политики".

Ведущий Си-эн-эн, прижимая наушник указательным пальцем: "Прошу прощения за паузу: мы только что получили сообщение, что почти в семь вечера по местному времени на Ближнем Востоке произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,3.

День 8

Из доклада израильского министерства строительства, распространенного посредством секретной видеоконференции всем членам кнессета на дом: "В числе строений, имеющих ключевое значение и поврежденных до степени невозможности дальнейшего использования: главное здание министерства обороны; институт геофизики в Лоде, международный аэропорт Бен-Гурион, авиабазы Тель-Ноф и Хатцор. Все скоростные шоссе хотя бы частично где-то забиты. Сообщение север-юг прервалось на девяносто минут. Железные дороги не действуют. Порты функционируют по минимуму. Касательно Стены Плача: обвалившиеся участки не нарушают целостности Храмовой горы, но дальнейшие геологические подвижки с высокой вероятностью приведут к катастрофическим разрушениям".

После второго землетрясения Саудовская Аравия и Иордания

подписывают соглашение о "временном объединении". В ответ на вопрос, почему беспрецедентно большая партия гуманитарной помощи из Саудовской Аравии включает воинские формирования, саудовский король отвечает: "Для участия в спасательной операции". В ответ на вопрос, для чего там двести военных самолетов, отвечает: "Их там нет".

Израиль отказывается признать "Трансаравию", таким образом давая ей название.

Иран обещает: "У Иордании не будет более верного союзника, чем Иран", таким образом не признавая Трансаравию.

Совет по правам человека при ООН принимает резолюцию с осуждением "катастрофического кризиса, созданного несогласованным, необъявленным и полным уходом Израиля с оккупированных территорий". Ни одна из стран не воздержалась. Ни одна не голосует против резолюции.

Командующий египетскими вооруженными силами на вопрос, по какому праву Египет аннулирует свои соглашения с Израилем, отвечает: "Все соглашения и интерпретации принимались при тех условиях, которых больше не существует". На вопрос, продолжит ли Египет признавать государство Израиль, отвечает: "Это уже вопрос терминологии".

Под стенами лекционного зала Джорджтаунского университета, где молекулярный биолог из Израиля выступает с докладом о разновидностях плюрипотентной тератокарциномы, выкрикивают: "Позор Израилю! Позор Израилю!"

375 защитников и 260 предателей.

"И наконец, сегодня продолжение истории, тронувшей сердца столь многих по всему миру, — истории маленькой Адии. С тревогой, но также с надеждой и с молитвами мы сообщаем, что импровизированный детский приют, где находилась девочка, частично разрушен вчерашними толчками. Предположительно, часть находившихся в здании людей успела выбежать, однако местонахождение Адии, как и многих других, на сегодня неизвестно.

День 9

Под видом ремонтных рабочих группа израильских экстремистов проникает в мечеть Купол Скалы и поджигает ее. Поджигателей быстро задерживают. Премьер-министр Израиля выступает с заявлением, в котором квалифицирует "попытку поджога" как "террористический акт".

"Файнэшинал таймс": "Заявление ХАМАС о союзе с Исламским государством — еще один шаг к небывалому объединению исламского мира".

От израильского министра здравоохранения — премьер-министру:

"Возможности больниц используются на 5000 процентов, американская же помощь поступает недостаточно быстро и в недостаточном объеме. Эпидемия холеры неизбежна, равно как вспышки дизентерии и тифа. С приближением войны необходимо принять ряд трудных решений, определить приоритеты".

В поспешно организованном выступлении на площади Азади в Тегеране перед толпой примерно в двести тысяч человек аятолла возглашает: "О, Израиль, пробил твой час! Ты сжигаешь наш Купол Скалы, и теперь на твое пламя выйдет наше пламя! Мы сожжем твои города и деревни, школы и больницы, каждый твой дом! Ни один еврей не уйдет!"

День 10

В ежедневном обращении к народу премьер-министр Израиля говорит: "Причины наших утренних действий просты: исторгая вакуф с Храмовой горы и передавая ее под контроль армии, мы можем показать миру, что повреждения, которые получил Купол Скалы, минимальны, и защитить это место, пока оно в опасности.

Три крупнейших европейских сети супермаркетов, опасаясь возмущений, изымают из продажи кошерные товары. В ответ британский депутат-консерватор пишет в Твиттере: "ЕВРЕИ — это не ИЗРАИЛЬТЯНЕ! Как ВЫ СМЕЕТЕ! #еврейкошерны".

Американский политический обозреватель в ответ на совместное объявление войны Израилю Сирией, Египтом, Ливаном и Трансаравией: "Это был закономерный ответ на захват израильской армией Храмовой горы, но ракетные обстрелы и воздушные бои происходят уже неделю. Теперь это лишь объявлено официально".

Ультраортодоксальные евреи Иерусалима распространяют слухи, что "Мессия на пороге".

Президент США, выступая на совместном заседании конгресса: "Израиль должен незамедлительно передать Храмовую гору под контроль международных миротворческих сил, воздержаться от любых ответных военных действий и возобновить участие в спасательной операции на оккупированных территориях. Если Израиль выполнит то, за что ответствен, он получит неограниченную и безусловную поддержку США.

Американо-израильский комитет по общественным связям добавляет президента США в список предателей.

День 11

Передовица "Гардиан": "Вопрос не в том, кто поднял на Храмовой горе израильский флаг, а в том, почему он до сих пор там. Похоже, своим бездействием власти Израиля добиваются эскалации конфликта".

Калиф Исламского государства провозглашает временный союз с "сирийским правительством неверных" и с "Хезболлой".

Представитель турецких ВВС: "Компьютерный вирус, поразивший наши диспетчерские системы, что повлекло многочисленные обвалы сети сегодня утром, — это целенаправленная война".

Израильский премьер-министр заверяет американского президента, что Израиль не разрабатывал и не применял предполагаемый вирус.

Президент США предлагает турецкому премьеру беспрецедентную помощь и новейшее вооружение в обмен на обещание не вступать в войну.

Алжир, Бахрейн, Коморские острова, Джибути, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Сомали, Судан, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен объявляют Израилю войну.

Соединенные Штаты отменяют "приостановку" продажи шестидесяти ракет "Гарпун", ста восьмидесяти пяти "модернизационных комплектов" для основного боевого танка "Абрамс" M1A1, двадцати истребителей "F-16" и пятисот изготовленных в Америке ракет "Хеллфайр-2" Египту. Госдепартамент не дает никаких комментариев.

Президент отделения "Гильель" в Колумбийском университете по поводу первой антиизраильской демонстрации студентов-евреев: "Борьба за справедливость, особенно когда она требует рефлексии и смирения, — составляет суть нашей миссии: облагородить жизнь еврейских студентов, чтобы они могли облагородить жизнь всех евреев в мире".

Си-эн-эн: "Сообщения о крушении американского транспортного самолета, направлявшегося на авиабазу в Негеве, подтверждаются".

289 защитников и 246 предателей.

День 12

Обложка "Нью-Йорк пост": все еще развевающийся израильский флаг и заголовок: "Глумление!"

Албания, Азербайджан, Бангладеш, Гамбия, Гвинея, Косово, Киргизстан, Мальдивские острова, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан объявляют войну Израилю.

Аятолла публикует открытое письмо к "арабским братьям", которое заканчивается словами: "Ваше нежелание допустить нас к театру военных действий принесет вам гибель. Каковы бы ни были между нами различия, это наш шанс".

Госсекретарь США предлагает израильскому премьер-министру "любую необходимую помощь" в обмен на управление военными действиями и контроль за израильским ядерным арсеналом. Отвергнув на

месте это предложение, премьер-министр спрашивает: "А почему не президент разговаривает сейчас со мной?"

Молодая мать в Тель-Авиве: "Ракеты сыплются непрерывно, а убежища затопила городская канализация, так что мы просто ждем на улице, полагаясь на судьбу".

Президент Евросоюза произносит в Брюсселе речь, в которой заявляет: "Катастрофа на Ближнем Востоке показала, что эксперимент провалился".

Израиль объявляет войну "против всех, кто стремится разрушить еврейское государство".

День 13

Национальное общественное радио: "Название "Марш миллионов" никогда не было точным. Когда это было согласованное мероприятие, оно собрало меньше пятидесяти тысяч. Теперь это многочисленные нескоординированные кампании — у них разные отправные точки, но общая цель в Иерусалиме — и численность участников некоторые эксперты оценивают в два миллиона".

Опрос Исследовательского центра Пью показал: пятьдесят восемь процентов американских евреев считают, что США должны вступить в войну.

Новости Ассошиэйтед пресс: "Представители нескольких бедуинских племен в пустыне Негев заявляют, что израильские власти раздают иодид калия евреям, живущим поблизости от атомной станции в Димоне, но не раздают бедуинам.

Израиль никак не отвечает ни на эти обвинения, ни на воинственную риторику Турции, ни на заявления, будто он намерен атаковать гражданские сооружения в крупнейших городах Сирии, Египта, Ливана и Трансаравии, ни на оккупацию трансаравийской армией курортного города Эйлат, ни на решение командования Армии обороны Израиля неукоснительно вычистить из рядов военнослужащих всех арабов, одновременно призвав всех евреев и евреек старше шестнадцати в военизированные формирования".

В крупнейших американских газетах плакаты на разворот, подписанные сотней протестантских священников, утверждают: "Мы все сионисты".

Заявление ООН: "При общем числе беженцев от последствий землетрясения, оцениваемом в двадцать с лишним миллионов, в условиях эпидемии холеры, дизентерии и тифа, которые унесут больше жизней, чем землетрясение или война; при крайнем недостатке продовольствия,

питьевой воды и медикаментов, Ближний Восток ждет гуманитарная катастрофа беспрецедентных масштабов. Либо мы без промедления и с неуклонной решимостью примем меры, либо нас ждут десятилетия глобальной нестабильности и величайшие со времен Второй мировой войны потери среди гражданского населения".

День 14

Представитель Трансаравии: "Вифлеем и Хеврон не захвачены, они освобождены. Эта историческая победа была бы невозможна без наших храбрых братьев из Марокко, Алжира, Ливии и Пакистана".

Президент США — израильскому премьер-министру: "Это дело рук МОССАД. И наш самолет, и турецкие".

"Зачем Израилю уничтожать самолеты последней страны региона, не участвующей в войне, тем более — нашего самого надежного и самого важного союзника?"

"Этот вопрос вы должны задать себе".

"Даю вам слово: Израиль никак не причастен к крушению американского самолета".

Турция объявляет войну "плечом к плечу с братьями-мусульманами против Сионистской Гидры".

301 защитник и 334 предателя.

Военная оценка, переданная премьер-министром Израиля: "На севере и на востоке армия скоро не сможет удержать позиций. 5-я, 7-я и 9-я дивизии Сирийской армии полностью контролируют Голанские высоты и готовят наступление с целью захвата Галилеи. Войска Трансаравии вступили в Негев".

Представитель израильских поселенцев, противящихся эвакуации: "Мы умрем в своих домах".

День 15

Меморандум министерства обороны Израиля премьер-министру:

В качестве ответа на ваш запрос предлагаем три стратегии, которые позволили бы выиграть войну.

Стратегия 1. Естественная убыль

В Израиле превосходная медицинская база, эпидемии же убивают быстрее, чем военные действия, а при обороне армия несет меньшие потери, чем при наступлении. Мы отступим к рубежам, которые можно удержать, усилим уже достаточно крепкие боевые порядки наших войск и выиграем войну, которая станет биологической. Мы ее естественным образом немного ускорим, отрезая врагу снабжение медикаментами и, что важнее, водой. В этом отношении есть возможности действовать в

упреждающем режиме, что стоит обсуждать лично.

Стратегия 2: Ошеломление

Самой решительной демонстрацией силы был бы ядерный удар, но это повлечет за собой слишком много рисков в виде неуправляемых последствий, включая ответные действия и реакцию Америки. Вместо этого мы рекомендовали бы два внезапных удара обычными силами — на востоке и на западе. На западе наиболее эффективной целью будет Асуанская плотина. 95 процентов населения Египта живет не дальше чем в 12 милях от Нила, а электростанция в Асуане дает больше половины электроэнергии в стране. С разрушением плотины водохранилище Насер изольется в русло Нила и затопит практически весь Египет — колоссальные потери среди гражданского населения будут определено исчисляться миллионами. Египет перестанет существовать как государство. На востоке мы ударим по главным нефтяным скважинам, чем серьезно подорвем возможности арабов вести войну.

Стратегия 3: Привлечение диаспоры

Несмотря на то что война обнажила усиливающиеся разногласия между израильской и американской администрацией и между американским и израильским еврейством, Израиль сможет, при надлежащей информационной кампании, кульминацией которой станет выступление в эфире премьер-министра, убедить сто тысяч американских евреев приехать и принять участие в военных действиях.

Это будет чрезвычайно дорогостоящая транспортная операция, которая отвлечет людские и материальные ресурсы и внимание от планирования и осуществления военных действий. Подавляющее большинство добровольцев не будет обладать ни военной подготовкой, ни опытом, не будет ни физически, ни психологически готово к военным действиям и не будет знать иврит. Но само их присутствие заставит Америку вступить в войну. Президент США может наблюдать за истреблением восьми миллионов евреев Израиля, но не реагировать на уничтожение ста тысяч американских евреев не сумеет.

В ожидании вашего ответа мы разработаем полный и детальный план действий.

V

Отсутствие выбора — это тоже выбор

Слово на "и"

— Добрый вечер. Я хочу передать жителям региона, пострадавшего вчера от землетрясения, глубокие соболезнования и решительную поддержку американского народа. Настоящий масштаб разрушений еще не известен, но картины, которые мы видели: целые кварталы в руинах, отцы и матери, ищущие детей среди обломков, — разрывают сердце. Даже для региона, который хорошо знает, что такое страдание, эта трагедия кажется особенно жестокой и непостижимой. Мы думаем о жителях Ближнего Востока, молимся о них и о тех наших согражданах, кто не знает судьбы своих близких там, дома.

Я отдал распоряжение правительству использовать любые ресурсы США для решения срочной задачи спасения тех, кто остается под развалинами, и для обеспечения гуманитарной помощи, которая понадобится в ближайшие дни и недели. Наше правительство, особенно Агентство международного развития, министерства иностранных дел и обороны, тесно взаимодействуют в этих целях с нашими партнерами в регионе и по всему миру.

Мы видим несколько особенно срочных задач. Во-первых, мы спешно устанавливаем местонахождение всех сотрудников посольств США в Тель-Авиве, Аммане и Бейруте и их семей, а также всех американских граждан, живущих или работающих в регионе. Гражданам США, разыскивающим близких, предлагаем звонить на горячую линию Госдепартамента по телефону 299-306-28-28.

— Ну, скажи, — воззвал Тамир, обращаясь к экрану.

— Во-вторых, — продолжил президент, не обращая на Тамира внимания, — мы мобилизуем ресурсы для помощи в спасательных работах. При катастрофах такого масштаба первые несколько дней имеют критическую важность для спасения жизней и предотвращения еще большей трагедии, поэтому я призвал свою администрацию как можно активнее устанавливать, какая помощь требуется на местах, и координировать усилия с нашими зарубежными партнерами.

— Ну, скажи, скажи слово!

— В-третьих, учитывая разнообразие необходимых ресурсов, мы предпринимаем шаги к тому, чтобы все правительства действовали слаженно. Я назначил администратора Агентства международного развития, доктора Филипа Шоу, нашим координатором экстренных мер.

Спасательно-восстановительные работы предстоят сложные и напряженные. Доставляя на Ближний Восток необходимые ресурсы, мы будем тесно сотрудничать с партнерами на местах, в том числе местными правительственными организациями, а также с общественными организациями и представительствами ООН — которые, как мы видим, тоже понесли урон, — и с нашими партнерами в регионе и по всему миру. Это должна быть подлинно интернациональная миссия.

— Скажи слово!

Впервые за несколько десятилетий, а может, и впервые вообще Джейкоб вспомнил электронную игру "Говорим и пишем", которая была у него в детстве. Однажды летом он взял ее на пляж, на солнце она прилипла к садовому столику и непрерывно повторяла *Теперь скажи*, даже после того, как ее выключили, будто призрак: *Скажи, скажи, скажи...*

— И наконец, позвольте мне сказать, что эти дни напомнили нам: мы все — люди и исповедуем общечеловеческие ценности. Невзирая на то что многие переживают непростое время здесь, дома, я бы хотел призвать американцев, желающих внести вклад в экстренную гуманитарную операцию на Ближнем Востоке, посетить сайт Белого дома, где вы узнаете, чем помочь. Сегодня нужно не отсиживаться за национальными границами, а протянуть руку помощи — выразить сострадание и поделиться своими ресурсами с жителями Ближнего Востока. Нужно быть готовыми пережить тяжелые часы и дни, ведь нам еще предстоит узнать истинный масштаб бедствия. Мы будем неустанно молиться о жертвах и их близких. Мы будем действовать решительно и настойчиво. И я обещаю народам региона, что в лице Соединенных Штатов Америки вы имеете друга и партнера и сегодня, и в будущем. Благослови вас Бог и всех, кто помогает вам своим трудом. Благодарю за внимание.

— Так и не смог заставить себя сказать.

— И ты, похоже, не можешь.

Тамир послал Джейкобу самый неприятный из всех взглядов: напускную уверенность, что Джейкоб шутит, — конечно, он шутил.

— Что? Военную? Помощь?

Тамир выключил звук телевизора, где начали показывать истребитель, пронзающий огромные клубы дыма, и сказал:

— Израиль.

— Не валяй дурака.

— Ты не валяй.

— Конечно, он сказал.

— Конечно, нет.

— Сказал. Он сказал: *народы Израиля*.

— *Региона*.

— Ну, он точно назвал Тель-Авив.

— Но точно не назвал Иерусалим.

— *Назвал*. Но даже если нет — а я уверен, что да, — на это у него были совершенно разумные причины, которые ты знаешь.

— Напомни мне, что я знаю?

У Тамира зазвонил телефон, и, как с каждым звонком, раздававшимся после землетрясения, Тамир не стал ждать второго зуммера. Это могли быть новости от Ривки или Ноама. Или ответ на одну из десятка попыток улететь домой. Рано утром он получил имейл и знал, что Ноам и Ривка в безопасности. Но еще без счета родни и друзей не подавали о себе вестей.

— Но это звонил Барак из другой комнаты — спрашивал, можно ли взять планшет.

— А что с твоим?

— Нам надо два.

Тамир дал отбой.

— Это не израильская катастрофа, а региональная, — подвел черту Джейкоб. — Геологическая, а не политическая.

— Все связано с политикой, — возразил Тамир.

— Но это — нет.

— Подожди пару минут.

— И если бы вы не так сильно хотели услышать название своей страны, может быть, его было бы чуть легче произнести.

— А...

— Что?

— Мы сами виноваты.

— Я не так сказал.

— А могу я спросить тебя, — продолжил Тамир, — кто эти *вы*? Когда ты говоришь "если бы вы чуть менее настойчиво хотели", это вот кто — *вы*?

— *Вы*.

— Например, я, Тамир?

— Да. Израильтяне.

— *Израильтяне*. Ладно. Я хотел убедиться, что ты не имел в виду евреев.

— Ну хватит, это было официальное заявление, он просто был осторожен.

— Но ведь это же не политика.

— Вот он и *не хотел* примешивать политику.

— Ну что, какой план? — спросила, входя в комнату, Джулия.

— Дамбартон-Оукс, — ответил Джейкоб.

— Джулия, — сказал Тамир, поворачиваясь к ней, — позволь кое-что у тебя спросить. Если, к примеру, твой друг пострадал, ты думаешь, надо осторожничать?

— Теоретически?

— Нет, в жизни.

— А как пострадал?

— Серьезно пострадал.

— Не знаю, кажется, у меня никто из друзей серьезно не страдал.

— Ну представь.

— Теоретически? Да, я бы осторожничала. Если бы это было необходимо.

— А ты? — спросил Тамир Джейкоба.

— Конечно, я был бы осторожен.

— Мы разные в этом смысле.

— Ты безрассудный?

— Я верный.

— Верность не предполагает безрассудства, — сказала Джулия, будто бы принимая сторону Джейкоба, чего ей вовсе не хотелось, тем более она не знала, о чем речь.

— Предполагает.

— И никому не нужна верность, которая лишь ухудшает дело, — сказал Джейкоб, показывая Джулии: он рад, что она снова за него.

— Если только ситуация не ухудшается в любом случае. Твой отец бы со мной согласился.

— Что доказывает разумность моей позиции.

На это Тамир рассмеялся. И с его смехом накалившаяся атмосфера остыла вполовину, давление спало.

— Где лучшее суши в Вашингтоне? — спросил Тамир.

— Не знаю, — ответил Джейкоб, — но я знаю, что оно не дотягивает до худших израильских, которое лучше, чем лучшее суши в Японии.

— Я, пожалуй, останусь дома, а вы, ребята, поезжайте без меня, — сказала Джулия. — Мне кое-что надо доделать.

— Это что, например? — спросил Тамир так, как только израильтяне могут спросить.

— Ну, для бар-мицвы.

— Я думал, ее не будет.

Джулия бросила взгляд на Джейкоба:

— Ты ему сказал, что бар-мицвы не будет?

— Я не говорил.

— Не ври жене, — сказал Тамир.

— Зачем ты это повторяешь?

— А он повторяет? — спросила Джулия.

— Ты не видишь, — сказал Джейкоб Джулии, — но он меня сейчас толкает. Чтоб ты знала.

Еще раз незримо толкнув Джейкоба, Тамир продолжил:

— Ты мне сказал, что из-за смерти Исаака, землетрясения и того, что произошло между тобой и Джулией...

— Я ничего не говорил, — поспешил заверить Джейкоб.

— Не ври жене, Джейкоб.

— Что, про Марка? — спросила Джулия. — А сказал ты ему про телефон?

— Все это сейчас ему впервые сообщила ты.

— И это вообще не мое дело, — сказал Тамир.

Обращаясь только к Джулии, Джейкоб сказал:

— Я сказал ему только, что мы обсуждали, какие внести изменения в свете, ну, ты понимаешь, всего.

— Изменения во что? — спросил Сэм.

"Как только дети это умеют?" — подумал Джейкоб. Не только бесшумно появиться в комнате, но появиться в самый неудобный момент.

— В твою бар-мицву, — сказал Макс. А *он-то* откуда взялся?

— Мы с мамой обсуждали, как не промахнуться с бар-мицвой, чтобы никого не обидеть в контексте, ну, ты понял.

— Землетрясения?

— Какого землетрясения? — спросил Бенджи, не отрываясь от лабиринта, который рисовал. Неужели он все время был в комнате?

— И дедушки, — сказал Джейкоб.

— И я, и папа...

— Говори просто *мы*, — попросил Сэм.

— В общем, мы не думаем, что рок-группа будет к месту, — сказал Джейкоб, решив представлять сторону родителей в разговоре, чтобы показать Джулии: он тоже не боится сообщать неприятные новости.

— И ладно, — сказал Сэм. — Они все равно адские говнари.

Слишком непросто вести продуктивный диалог с тринадцатилетним мальчиком, когда каждый невзначай затронутый предмет превращается в Окончательный Разговор, требующий оборонительных систем и контратак

в ответ на атаки, которых не было. Безобидное замечание, что у него в обычае забывать всякие мелочи в карманах вещей, брошенных в стирку, заканчивается обвинением родителей в том, что его рост находится в двадцать восьмом центиле, отчего хочется совершить самоубийство на "Ютубе".

— Успели стать говнярами, — констатировал Джейкоб.

Все так же не отрываясь от лабиринта, Бенджи сказал:

— Мама запарковала машину, и неправильно, так что я поднял ее и поставил как надо.

— Спасибо тебе за это, — сказала Джулия Бенджи, а затем обратилась к Сэму:

— Можно и поизящнее слово выбрать.

— Господи Иисусе! — воскликнул Сэм. — Я больше не имею права на свое мнение?

— Стоп, стоп, минуту, — сказал Джейкоб. — Ты же их выбрал, не мама. Не я. А ты. Ты просмотрел видео с десятка групп, и это ты решил, что на твоей бар-мицве будет играть "Электрическая бригада".

— Они были наименее жалкими из трех абсолютно жалких вариантов, и я выбрал их под давлением. Это не то же самое, что быть фанатом.

— Под каким давлением?

— Под тем давлением, что меня принуждали совершать бар-мицву, хотя вы знали, что я считаю все это фуфло полным фуфлом.

Джейкоб попытался заместить Джулию в роли родителя, порицающего плохие слова:

— Фуфло — полным фуфлом, Сэм?

— Неуместное употребление?

— Бедная речь. И попробуй поверить мне, когда я говорю, что не расстроюсь, что не надо платить левым ребятам пять тысяч за исполнение плохих каверов плохих песен.

— Но сам обряд не подлежит обсуждению, — добавил Сэм.

— Да, — подтвердил Джейкоб, — верно.

— Потому что это не предмет обсуждения для тебя, потому что это не предмет...

— И тут ты прав. Так делают евреи.

— Не обсуждают?

— Нет, совершают бар-мицву.

— А... Я-то ничего не понимал. А теперь, когда понял, что мы совершаем бар-мицву, потому что просто совершаем бар-мицву, что мне по-настоящему захотелось сделать, так это жениться на еврейской тетке и

наделать еврейских детишек.

— Тебе надо остыть, — сказала Джулия.

— И я уж *точно* не хочу, чтобы меня хоронили, — продолжил Сэм, и Окончательный Разговор явно замаячил впереди, — особенно если так велит еврейский закон.

— Тогда кремируйся, как я, — сказал Макс.

— Или не умирай, — предложил Бенджи.

Словно дирижер, останавливающий оркестр, Джулия бросила твердое и решительное "*Хватит!*" и положила конец сваре. Что было в ней столь пугающего? Что в женщине пяти футов четырех дюймов ростом, которая никогда не прибегала ни к физическому, ни к эмоциональному насилию и даже не исполняла до конца наказаний, так устрашало ее мужа и детей, что они беспрекословно подчинялись?

Джейкоб взял быка за рога:

— Момент, в котором мы хотим быть поделикатнее: не стоит слишком напоказ радоваться жизни на фоне дедушкиной смерти. Тем более землетрясения. Это было бы плохим тоном, да и просто неловко.

— Напоказ радоваться жизни? — уточнил Сэм.

— Я только говорю, что нужна определенная деликатность.

— Давай скажу, как к этому правильно подойти, — вмешался Тамир.

— Может быть, позже, — оборвал его Джейкоб.

— Значит, без группы, — сказал Сэм. — А этого точно хватит, чтобы не показалось, будто мы радуемся жизни?

— В Израиле мы вообще не празднуем бар-мицву, — сказал Тамир.

— Мазаль тов, — сказал ему Джейкоб. А затем Сэму: — Еще можно исключить доску для пожеланий.

— Которую я всегда хотел исключить, — заметил Сэм.

— Которую я тебе три недели делала, — заметила Джулия.

— Ты делала ее в течение *трех недель*, — уточнил Джейкоб.

— Что?

— Ты не тратила трех нед на ее изготовление.

— Тебе почему-то кажется, что здесь важная разница?

Внезапно ему перестало так казаться, и он сменил тему:

— Наверное, надо еще раз подумать об украшении столов.

— Зачем? — спросила Джулия, поняв, что Джейкоб отбирает радости не у Сэма, а у нее.

— Никак не могу взять в толк стремление американских евреев произносить слова, которых вы не понимаете, — сказал Тамир. — Находить смысл в отсутствии смысла — зачем?

— Они... *праздничные*, — объяснил Джейкоб.
— Они *изящные*.
— Погодите-ка, — сказал Сэм, — а что остается?
— Что остается?
— Вот именно, — поддержал Тамир.
— *Остается*, — сказал Джейкоб, на мгновение, пока Сэм не отстранился, положив ему ладонь на плечо, — то, что ты становишься мужчиной.

— *Остается*, — сказала Джулия, — единство с семьей.
— Вы самые счастливые люди мировой истории, — сказал Тамир.
— Мы стараемся, — сказал Джейкоб Сэму, который, опустив глаза, произнес:

— Да отстой.
— Нет, — сказала Джулия, — мы все сделаем здорово.
— Я не сказал, что будет отстойно. Я сказал: *отстой*. Сейчас.
— Ты бы предпочел лежать в холодильнике, как дедушка? — спросил Джейкоб, не менее удивленный своим словам, чем все стальные. Как он мог так подумать, тем более вслух? Или вот еще: — Предпочел бы задохнуться под обломками здания в Израиле?

— В этом весь мой выбор? — спросил Сэм.
— Нет, но это поможет тебя понять. Вон, посмотри, — сказал Джейкоб, показывая на телевизор с выключенным звуком, где огромные землеройные машины с лесенками, вделанными в колеса, разгребали битый камень.

Сэм посмотрел, кивнул и отвел глаза подальше, туда, где он точно не встретится с взглядом родителей.

— И без *цветов*, — заявил он.
— Без цветов?
— Слишком красиво.
— Не уверена, что проблема в красоте... — сказала Джулия.
— Проблема, — начал Тамир, — в том, что...
— В этом часть проблемы, — сказал Сэм, перебивая Тамира, — так что откажитесь.

— Ну, я не знаю, как можно *отказаться*, — сказал Джейкоб, — когда мы уже за них заплатили. Но можно спросить, нельзя ли как-то поменять оформление в сторону чего-то более соответствующего ситуа...

— И давайте выбросим ермолки с монограммой.
— Но зачем? — не поняла Джулия, обиженная, как мог обидеться только человек, шесть часов подбиривший шрифт, цвета и ткань для

ермолок с монограммой.

— Они нарядные, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Джейкоб, — может, они немного пышноваты, учитывая...

— Уж никак не пышноваты, — возразила Джулия.

— Проблема... — снова начал Тамир.

— И это наверное само собой разумеется, — сказал Сэм, как всегда говорил, собираясь сообщить что-то совершенно не разумеющееся само собой, — что сувениры мы не будем раздавать.

— Прости, тут я должна провести границу, — заявила Джулия.

— На самом деле-то я думаю, он прав, — заметил Джейкоб.

— Ты думаешь? — сказала Джулия. — *На самом деле?*

— Да, — подтвердил Джейкоб, которому *на самом деле* не понравилось, как она передразнила его "на самом деле". — Сувениры предполагают праздник.

— Проблема...

— Ничего они не предполагают.

— Ну, вечеринку, Джулия.

— Сувениры — это обычай, неисполнение которого будет воспринято как отчаянная грубость, Джейкоб.

— Обычай в завершение *вечеринки*.

— То есть мы накажем его друзей за тектонические сдвиги и смерть дедушки?

— Наказывать тринадцатилетних детей — это всучивать им мусорные пакеты, набитые безделушками для туристов, из тех, где живут дальние и никому не нужные родичи Сэма, и говорить, что это *подарок*.

— Хочешь показаться мудаком? — сказала Джулия.

— Ого, — подал голос Барак.

Откуда он взялся?

— Извини? — переспросил Джейкоб, точно как сделала бы Джулия.

— Я не Тору цитировала, — ответила та. — Мы все *знаем*, что значат эти слова.

— Что с тобой?

— Ничего.

Экран телевизора наполнился мельчайшими вспышками — будто светляки в банке.

— Проблема, — сказал Тамир, поднимаясь, — в том, что вам сильно не хватает проблем.

— Могу я сказать очевидное? — спросил Сэм.

— Нет, — одновременно ответили оба его родителя — редкое единство.

На экране телевизора женщина неизвестной этнической принадлежности и гражданства с воем рвала на себе волосы, так сильно, что ее голова дергалась из стороны в сторону. Никакой подписи на экране не было. Не было комментария. Никто не объяснил причину ее горя. Было только горе. Только женщина, зажавшая в кулаках собственные волосы и бьющая себя в грудь.

Жест и тяжесть

Исаак, который должен был уже благополучно разлагаться в земле, все еще сохранял свежесть в человеческом холодильнике в Бетесде. Только для Исаака конец страданий мог стать продолжением страданий. Его последняя воля — объявленная в завещании и в бесконечных разговорах с Ирвом, Джейкобом и всеми, кому он мог доверить эту задачу, — была лежать в земле Израиля.

— Но зачем? — спрашивал его Джейкоб.

— Потому что евреи туда стремятся.

— На рождественские каникулы. Не навсегда.

И когда Сэм, который тоже был в тот раз в гостях, заметил, что тогда к нему будут гораздо реже приходить, Исаак заметил, что "мертвецы мертвые" и прием гостей — это последнее, что может тревожить их мертвые мозги.

— И ты не хочешь лежать рядом с бабушкой и остальной родней? — спросил Джейкоб.

— Мы все встретимся, когда наступит время.

"Ну какой смысл в *этой* херне?" — не спросил Джейкоб, потому что иногда смысл не имеет значения. Последнее желание — как раз такой случай. Участок Исаак приобрел еще двадцать лет назад — уже тогда это было недешево, но он охотно разорился на могилу, — так что для выполнения его последнего желания требовалось время: оставалось только погрузить тело в самолет и организовать логистику на другом конце.

Но когда пришло время бросить тело Исаака в почтовый ящик, доставка оказалась невозможна: все рейсы отменили, а когда небо откроют, в страну обещали пустить лишь те тела, которые только готовились умереть.

Установленное обычаем окно на похороны-до-истечения-суток закрылось, и можно было без особой спешки искать решение. Но не сказать, чтобы родня совсем не чтит еврейский закон. От момента смерти до погребения кто-то обязательно должен быть с умершим. В синагоге есть для этого специальные люди, но шли дни, и их желание присматривать за телом шло на убыль, так что все больше ответственности должны были брать на себя Блохи. И эту ответственность приходилось совмещать с ответственностью за благополучие израильских гостей: Ирв мог свозить их в Джорджтаун, пока Джейкоб сидел у тела деда, а после обеда Джейкоб вел

их в Национальный музей авиации и космонавтики посмотреть "В полет!" в заглатывающем перспективу "Аймаксе", а тем временем Дебора — по контрасту — проводила время с покойником. Патриарх, с которым они нехотя проводили в скайпе по 7 минут в неделю, теперь стал человеком, которого приходилось посещать каждый день. По какому-то чисто еврейскому волшебству, переход из живых в мертвые превратил всеми заброшенного в ни на минуту не покидаемого.

Джейкоб взял основной груз на себя, потому что счел себя наиболее для этого подходящей кандидатурой, а еще потому, что больше всех хотел улизнуть от других обязанностей. Он отсиживал *шмиру* — выражение, которого он не слышал, пока не стал хореографом у *сидящих шмиру* — по меньшей мере раз в день, обычно несколько часов кряду. Первые три дня тело лежало на столе в еврейском погребальном доме, укрытое простыней. Потом его перенесли в подсобное помещение в глубине здания и, наконец, к исходу недели перевезли в Бетесду, куда непогребенные тела отправляются умирать. Джейкоб не приближался к мертвому ближе трех метров, слушал подкасты на убивающей уши громкости и старался не дышать через нос. Он брал книги, просматривал почту (чтобы поймать сеть, приходилось стоять по ту сторону двери), даже кое-что писал: КАК ИГРАТЬ РАССЕЯННОСТЬ; КАК ИГРАТЬ ПРИЗРАКОВ; КАК ИГРАТЬ НЕВЫРАЗИМЫЕ, НО ОЩУЩАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

Утром в воскресенье, когда набившие оскомину жалобы Макса на то, что ему нечем заняться, раздосадовали Джейкоба до крайности, он предложил Максу поехать с ним *посидеть шмиру*, думая: *Это научит тебя ценить твою скуку*. Макс принял вызов и согласился.

В дверях их встретила *сиделка шмиры*, которую они сменили, — ветхая старушка из синагоги, от которой веяло таким холодом и пустотой, что она вполне сошла бы за одно из неподвижных тел, если бы не с избытком нанесенный макияж: только живых евреев бальзамируют. Они кивнули друг другу, она вручила Джейкобу ключи от входной двери, напомнила ему, что в унитаз кроме туалетной бумаги (и конечно, "того самого") смывать ничего нельзя, и смена караула, пусть не с той торжественностью и церемонностью, как перед Букингемским дворцом, свершилась.

— Ужасный запах, — заметил Макс, усаживаясь за длинный дубовый стол в вестибюле.

— Я дышу ртом, когда мне надо вдохнуть.

— Будто кто-то пернул в бутылку водки.

— Откуда ты знаешь, как пахнет водка?

- Дедушка мне давал понюхать.
- Зачем?
- Чтобы доказать, что она была дорогая.
- А цена этого не доказала бы?
- Спроси его.
- Жвачка тоже помогает.
- А у тебя есть?
- Не думаю.

Они поболтали о Брайсе Харпере, а затем о том, почему, несмотря на полную исчерпанность жанра и отсутствие оригинальных идей, до сих пор снимаются вполне достойные фильмы про супергероев, и, как часто случалось, Макс попросил отца рассказать про Аргуса.

- Однажды мы повели его на дрессировку. Я рассказывал?
- Рассказывал. Но Расскажи еще раз.

— Ну, это было сразу, как мы его взяли. Инструктор начал с демонстрации чесания пуза: это, мол, расслабляет собаку, когда она взбудоражена. Мы сидели, образовав круг, человек двадцать, каждый почесывал своей собаке пузо, и тут вдруг что-то громко зарокотало, как будто под зданием проехал поезд метро. И этот рокот доносился с моих колен. Аргус захрапел.

- Такой лапочка.
- Да, точно.
- Но он ведь не очень там хорошо учился?

— Мы бросили. Показалось напрасной тратой времени. Но через пару лет у Аргуса появилась привычка во время прогулки натягивать поводок. И еще он вдруг останавливался и упрямо не хотел идти дальше. И мы обратились к парню, которого посоветовали нам собачники в парке. Не помню, как его звали. Он был из Сент-Люсии, полноватый, прихрамывал. Он надел на Аргуса строгий ошейник и наблюдал, как мы гуляем. Ну конечно, Аргус застыл на месте. "Потяните, — сказал этот парень. — Покажите ему, кто тут главный". Маму это рассмешило. Я потянул, потому что, ну знаешь, я же обычно главный. Но Аргус не подчинялся. "Сильнее", — сказал тот парень, и я потянул сильнее, но Аргус тянул с такой же силой. "Надо показать ему", — повторил парень. Я потянул опять, теперь уже довольно крепко, и Аргус немного засипел, будто задыхался, но не сдался все равно. Я посмотрел на маму. А тот парень говорит: "Вы должны его научить, а то так будет вечно". И я помню, как подумал: *Я переживу, если так будет вечно*. И ночью не мог уснуть. Мне было стыдно, что в тот последний раз я слишком сильно потянул его и он стал

задышаться. И от этого мне стало вообще стыдно за все разы, когда я пытался его учить: идти рядом, давать лапу и даже подбегать по команде. Если бы я мог все это пройти заново, то не стал бы его ничему учить.

Миновал час, потом другой.

Они разок сыграли в "Виселицу", а потом еще тыщу раз. У Макса фразы появлялись не случайно, только вот было не вполне ясно, откуда они брались: ВЕЧЕР ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОЧИ; АСТМАТИЧЕСКИЙ БИНОКЛЬ; ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ СУРОВОСТИ ВОРОНОВ.

— Так называется стая воронов, — пояснил он после того, как Джейкоб разгадал фразу, сохранив только голову, торс и левую руку.

— Ага, я слышал.

— Плач лебедей. Мерцание колибри. Засветка кардиналов^[36].

— Откуда ты это все знаешь?

— Мне нравится узнавать всякие штуки.

— Мне тоже.

— Миньян евреев.

— Отлично.

— Перепалка Блохов.

— Космос Макса.

Потом они поиграли в игру под названием "Призрак", где по очереди нужно добавлять буквы, держа в уме какое-то слово, но стараться, чтобы последняя буква не пришлась на тебя.

— Ж

— Ж.Е.

— Ж.Е.С.

— Я.Ж.Е.С.

— Черт!

— Тяжесть.

— Да. Я загадывал жест.

Они поиграли в "Двадцать вопросов", в "Две правды и одну ложь" и в "Повезло — не повезло". Оба думали, что телевизор, будь он там, облегчил бы их бремя.

— Пойдем посмотрим на него, — сказал Макс невзначай, будто предлагал полакомиться сушеным манго, принесенным с собой.

— На дедушку?

— Ага.

— Зачем?

— Ну он же там.

— Но зачем?

— А почему нет?

— *Почему нет* — не ответ.

— И зачем — не ответ.

Почему нет? Это не запрещалось. Никого не оскорбляло. Не отвращало или не должно было отвращать.

— Я в колледже изучал философию. Не помню сейчас, как это называется, и даже имени профессора не помню, но там я узнал, что некоторые запреты не имеют этического обоснования, а просто что-то не делается, и все. Можно привести много доводов, почему не стоит есть мясо людей, умерших своей смертью, но в итоге это просто табу, и все.

— Я не говорю *съедем его*.

— Да, я понимаю. Просто поясняю.

— Кому *захочется* есть человека?

— Человечина почти наверняка приятна на вкус и пахнет хорошо. Но мы не едим ее, потому что это запрещено.

— А кто решает?

— Хороший вопрос. *Табу* бывают универсальные, бывают в рамках одной культуры или даже семьи.

— Это как мы, например, едим креветок, но не едим свинину.

— Мы не едим креветок постоянно. Только от случая к случаю. Но да, такой принцип.

— Но только тут совсем другое.

— О чем ты?

— О том, чтобы посмотреть на дедушку.

Макс был прав: это совсем другое.

Он продолжал:

— Мы же пришли сидеть с ним, так? Почему же нам с ним не побыть? Какой смысл был сюда тащиться и столько тут просидеть, только чтобы побыть в соседней комнате? Мы так же могли сидеть дома с попкорном и через веб-камеру смотреть на его тело.

Джейкобу было страшно. Совсем простая причина, хотя объяснить эту причину будет уже не так просто. Чего ему бояться? Близости к смерти? Как будто нет. Близости к несовершенному? Материальному свидетельству реальности, в ее гротескной истинности? Близости к жизни.

— Увидимся за дверью, — сказал Макс, перешагивая порог.

Джейкоб вспомнил ночь не один десяток лет назад, когда они с Тамиром пробрались в Национальный зоопарк.

— Ну как? — окликнул он Макса.

— Жутковато, — ответил Макс.

- Я тебе говорил.
- Ты не то говорил.
- Как он выглядит?
- Иди посмотри.
- Мне и тут хорошо.
- Он выглядит, как по скайпу, только подальше.
- Нормально выглядит?
- Я бы, наверное, так не сказал.

Как он выглядел? Было бы это зрелище иным, если бы он умер другой смертью?

Исаак был живым воплощением всей истории Джейкоба: психологическим чуланом его народа, чуланом с проломившимися полками; наследием его непостижимой силы и непостижимой слабости. Но теперь он был просто мертвецом. Живое воплощение истории Джейкоба стало мертвой плотью.

Когда малышом Джейкоб оставался у деда ночевать, они, бывало, вместе принимали ванну, и длинные волосы на руках, ногах и груди Исаака плавали на поверхности, как водоросли на пруду.

Джейкоб помнил, как однажды на его глазах дед заснул в парикмахерском кресле, как его голова качнулась вперед и опасная бритва прокосила полосу от границы волос на затылке и докуда дотянулась рука парикмахера.

Или как дед предложил оттянуть обвислую кожу на его локте, и она вытянулась, как перепонка, в которой уместился бы бейсбольный мяч.

Он помнил запах, оставляемый дедом в туалете: не противный, а страшный. Джейкоб до смерти его боялся.

Помнил, что дед носил ремень чуть ниже сосков, а носки у него заканчивались чуть выше колен; а ногти у него на руках были толстыми, как двадцатипятицентовики, веки — тонкими, как фольга; между хлопками он неизменно разворачивал ладони вверх, будто раз за разом открывал и захлопывал невидимую книгу, словно не мог не попробовать заглянуть, и не мог не отвергнуть, и не мог не дать ей еще шанса.

Однажды он заснул, играя в "Уно", с полным ртом черного хлеба. Джейкоб тогда был, наверное, в возрасте Бенджи. Он осторожно заменил деду его неважный расклад на все "дички плюс четыре", но когда потряс его и разбудил, тот ничуть не удивился своим картам и на следующий ход потянул карту из колоды.

- У тебя ничего нет? — спросил Джейкоб.

Исаак покачал головой и сказал:

— Ничего.

Джейкоб помнил, что в купальные трусы дед переодевался, где заблагорассудится, не волнуясь ни о собственной прилюдной наготы, ни о сгорающем со стыда Джейкобе: возле машины, посреди мужского туалета, даже прямо на пляже. Может, он не понимал? Может, ему было наплевать? Раз в общественном бассейне, куда они ходили иногда утром по воскресеньям, дед разделся догола прямо у бортика. Джейкоб физически чувствовал, как взгляды незнакомых людей трутся друг о друга у него внутри, трутся и вспыхивают огнем ярости: на чужих людей за их осуждение, на деда за его пренебрежение достоинством, на себя за собственное унижение.

К ним подошел спасатель и сказал:

— Там за торговыми автоматами есть раздевалка.

— Ладно, — ответил дед, как будто ему сказали, что на кольцевой дороге есть "Хоум дипо".

— Здесь нельзя переодеваться.

— Почему нет?

Джейкоб десятилетиями раздумывал об этом *"Почему нет?"*. "Почему нет?" — потому что раздевалка вон там, а здесь — это прямо здесь? "Почему нет?" — потому что зачем мы вообще об этом говорим? "Почему нет?" — потому что, если бы ты видел, что привелось мне, ты бы тоже утратил способность к смущению? "Почему нет?" — потому что тело — это всего лишь тело?

Тело — это всего лишь тело. Но пока не стал телом, Исаак был воплощением. И это, по меньшей мере для Джейкоба, объясняло, почему нет: тело его деда не могло быть просто телом.

Сколько это могло продолжаться?

Ирв говорил, что нужно взять и купить участок в "Джудеан-Гарденз", как можно ближе к остальной родне, и уже не растягивать смерть. Джейкоб настаивал, что нужно дождаться, пока в Израиле все не наладится, и тогда исполнить недвусмысленное желание Исаака о последнем и вечном прибежище.

— А если это затянется на месяц, на два?

— Значит, мы больше заплатим похоронному дому.

— А если никогда не наладится?

— Тогда мы вспомним, какие были счастливые, что эта проблема была у нас самой крупной.

Что знают дети?

Джулия хотела отрепетировать разговор с детьми. Джейкоб мог бы ответить, что пока в этом нет необходимости, ведь настоящий разговор не состоится, пока не уляжется пыль после похорон и бар-мицвы. Но согласился, надеясь, что она сама услышит свои слова. К тому же он истолковал ее желание отрепетировать как приглашение к ролевой игре — знак того, что она до конца не уверена. Равно как она истолковала его согласие как показатель того, что он на самом деле готов идти до конца.

— Нам надо кое о чем поговорить? — сделала Джулия первый ход.

Поразмыслив секунду, Джейкоб откорректировал:

— Нам надо кое-что обсудить всей семьей?

— Чем это лучше?

— Просто подчеркивается, что мы семья.

— Но у нас никогда не было семейных обсуждений. Это их насторожит. Они поймут: что-то неладно.

— И это так.

— Но ведь мы вообще этот разговор затеваем для того, чтобы им сказать: все хорошо. Просто кое-что теперь *по-другому*.

— Даже Бенджи на это не купится.

— Но у меня даже нет денег... — заметил Бенджи.

— Бенджи?

— ...Чтобы покупаться.

— Что случилось, малыш?

— А что бы вы хотели?

— Что такое, милый?

— В школе мистер Шнайдерман спросил, чего бы мы хотели, и собрал наши пожелания: он поедет в отпуск в Израиль и отнесет их в Стену Плача. Мне кажется, я загадал неправильное желание.

— И чего же ты пожелал? — спросил Джейкоб.

— Рассказывать нельзя, а то не сбудется.

— Ну а чего, ты думаешь, *надо было* пожелать?

— Нельзя говорить, а то вдруг я передумаю и поменяю желание.

— Но если желания нельзя рассказывать, зачем же ты спрашивал нас про наши?

— Ну да, — согласился Бенджи, развернулся и пошел прочь из гостиной. Они выждали, пока его шаги не затихнут на лестнице.

— В любом случае, — сказала Джулия, понизив голос, — мы хотим, чтобы они почувствовали — все в порядке, и уж потом перейдем к тому, что теперь кое-что по-другому.

— "Мальчишки, можете на минутку зайти в гостиную?" Как-то так?

— А не на кухню?

— Думаю, лучше здесь.

— Ну, а потом? — спросила Джулия. — Предложим сесть?

— Ага, и это тоже будет тревожный сигнал.

— Можно дожидаться момента, когда мы все будем в машине.

— Пожалуй.

— Но так мы не сможем смотреть им в глаза.

— Только через зеркало заднего вида.

— Неудачный символ.

Это рассмешило Джейкоба. Джулия пыталась шутить. И в этом ее старании видно сочувствие. При разговоре с детьми Джулия никогда бы не стала шутить.

— Может, за обедом? — предложила она.

— Тогда придется сначала объяснить, почему мы сегодня обедаем все вместе.

— Мы постоянно обедаем вместе.

— Мы случайно и ненадолго собираемся за столом.

— Что на обед? — спросил Макс, врываясь в гостиную, точно Креймер, хотя он никогда не видел сериал "Сайнфелд".

Джулия бросила на Джейкоба взгляд, который он видел миллион раз в миллионе разных ситуаций: *Что известно детям?* Что понял Сэм два года назад, когда вошел в комнату, где родители занимались сексом: в миссионерской позиции и под простыней, и, слава богу, без непристойных разговоров. Макс, взяв телефон, когда Джейкоб сердито допрашивал гинеколога Джулии о доброкачественности ее доброкачественной опухоли, — что он услышал? Бенджи, вклинившись в их свару на кухне со словом "истина", — что он узнал?

— Мы просто говорили об обеде, — сказал Джейкоб.

— Ага, я знаю.

— Ты слышал?

— Я думал, вы зовете нас обедать.

— Только половина пятого.

— Я думал...

— Ты голодный?

— А что на обед?

— Вероятно, то, что поможет справиться с твоим голодом? — спросил Джейкоб.

— Так, спрашиваю.

— Лазанья с какими-нибудь овощами, — ответила Джулия.

— Простая лазанья?

— Шпинатная.

— Я не голодный.

— Что ж, у тебя есть час нагулять аппетит на шпинатную лазанью.

— Наверное, Аргуса надо выгулять.

— Я только что с ним гулял, — сказал Джейкоб.

— Он сходил?

— Не помню.

— Если б сходил, ты бы помнил, — сказал Макс. — Ему надо облегчиться. Он всегда как будто лижет начало какашки, которой надо выйти наружу.

— Зачем ты нам все это рассказываешь? Просто взял бы и выгулял его.

— Потому что я работаю над речью на дедушкины похороны и мне надо собраться с мыслями.

— Ты будешь говорить речь? — спросил Джейкоб.

— А ты нет?

Джулию тронул очаровательный нарциссизм инициативы Макса. Джейкоб устыдился собственного бездумного нарциссизма.

— Я скажу несколько слов. Или, скорее, дедушка скажет от нас всех.

— От меня не скажет, — отрезал Макс.

— Занимайся речью, — сказала Джулия. — Папа погуляет с Аргусом.

— Я уже гулял.

— Пока он не облегчится.

Макс отправился на кухню и вышел с коробкой вредных органических мюсли, которую понес к себе в комнату.

Джулия крикнула вслед:

— Мюсли или во рту, или в коробке. Больше нигде.

— Нельзя глотать? — отозвался Макс.

— Может, это ошибка, говорить с ними всеми сразу, — сказал Джейкоб, тщательно регулируя громкость. — Может, надо сначала поговорить с Сэмом.

— Наверное, я могу...

— Господи.

— Что?

Джейкоб махнул рукой в сторону телевизора, который теперь был

включен постоянно. Показывали футбольный стадион в Иерусалиме: на этом стадионе Джейкоб с Тамиром смотрели игру больше двадцати лет назад. С десятков бульдозеров. Непонятно было, что они делают и как Израиль позволил транслировать такие картины в эфир, и это незнание пугало. Готовят укрепление? Роют братскую могилу?

Новости до Америки доходили разрозненные, ненадежные и панические. Семейство Блох отвечало так, как лучше всего умело: уравнивало перевозбуждение подавлением. Если в душе они верили, что у них все хорошо, то принимались тревожиться, и терзаться, и исхлестывать сами себя и друг друга в пену. В уютной гостиной они следили за развитием событий, как за спортивным турниром, и временами ловили себя на том, что им хочется драмы. Бывали даже небольшие постыдные разочарования, когда предварительные оценки ущерба корректировались в сторону уменьшения или когда обнаруживалось, что теракт на самом деле был всего лишь несчастным случаем. Что-то вроде игры, в которой мнимые опасности можно обсуждать и смаковать, поскольку результат уже известен. Но если возникает малейшая вероятность настоящей угрозы, если слой дерьма начинает утолщаться — что вскоре и должно начаться, — они махали лопатами, пока не полетят искры: все исправится, все ничего.

Тамира постоянно не было. Каждый день он пытался найти способ улететь домой, но ничего не выходило. Если он говорил с Ривкой или Ноамом, то в одиночестве, и не делился этим ни с кем. И, к удивлению Джейкоба, он при этом не утратил интереса к достопримечательностям и таскал вялого Барака от памятника к памятнику, от музея к музею, от "Чизкейк фэктори" до "Стейкхауса Рут Крис". Джейкоб очень ясно видел в Тамире то, чего не замечал в себе: нежелание принимать реальность. Он осматривал, чтобы не смотреть.

Кадры со стадиона сменились лицом Адии, маленькой палестинки, у которой в землетрясении погибла вся семья и которую подобрал на улице американский фотожурналист. Эта история взволновала мир и продолжала волновать. Может, дело было в прекрасном личике. Может, в том, как они с американцем держались за руки. Это был светлый эпизод в эпицентре трагедии, но и в нем тоже была трагедия, думал Джейкоб, или по крайней мере, недобрый знак, ведь это доброе чувство возникло между палестинкой и американцем. Макс в какой-то момент стал класть фото Адии под подушку на ночь. Когда обрушился сиротский приют и она пропала, Макс тоже пропал. Все знали, где он, — исчез только его голос, взгляд и улыбка — но никто не знал, как его найти.

— Алло! — позвала Джулия, водя рукой перед лицом Джейкоба.

— А?

— Ты смотрел телик, пока мы разговаривали?

— Краем глаза.

— Я понимаю, что Ближний Восток рушится и что в образовавшуюся воронку засосет весь мир, но сейчас это важнее. — Она поднялась и выключила телевизор, который, как показалось Джейкобу, вздохнул с облегчением.

— Сходи погуляй с Аргусом, потом закончим.

— Когда ему действительно надо, он скулит у двери.

— Зачем заставляешь его скулить?

— Ну когда пора, я имею в виду.

— Ты думаешь, надо сначала поговорить с Максом? Потом с остальными?

— Или с Максом и Сэмом. На случай, если один из них расплачется. Бенджи точно подхватит, так что мы должны дать им возможность все переварить и взять себя в руки.

— Или дать им поплакать вместе, — сказала Джулия.

— Может, сначала с Сэмом. У него, скорее всего, будет самая сильная реакция — какой бы она ни была, — но он больше других способен ее сдержать.

Джулия потрогала книгу на журнальном столике.

— А что, если заплачу я? — спросила она.

Эти слова заставили Джейкоба встрепенуться, он захотел коснуться Джулии — взять за плечи, погладить по щеке, почувствовать, как совмещаются бороздки их папиллярных линий, — но он не знал, можно ли это еще. Ее спокойствие во время разговора не казалось холодностью, но создавало вокруг нее некоторую пустоту. Что, если она заплачет? Разумеется, она заплачет. Они все заплачут. Они завоюют. И это будет кошмар. Судьбы детей поломаны. Десятки тысяч людей погибнут. Израиль падет. Он хотел всего этого не потому, что любил страх, а потому, что, представляя худшее, он удерживал его вдали — зная о Судном дне, он проживал день за днем как обычно.

Много лет назад по дороге к Исааку Сэм спросил с заднего сиденья:

— Бог ведь повсюду, правда?

Джейкоб с Джулией переглянулись с привычным недоумением: откуда-он-этого-набрался.

Джейкоб взялся ответить:

— Да, те, кто верит в Бога, обычно так считают.

— И Бог всегда был всюду?

— Полагаю, так.

— Тогда я вот чего не могу понять, — сказал Сэм, глядя на молодой месяц, плывший за окном машины. — Если Бог всюду, куда Он поместил мир, когда сотворил его?

Джейкоб с Джулией переглянулись, теперь восхищенно.

Джулия обернулась и, глядя на Сэма, который все так же смотрел в окно, то и дело переводя взгляд назад, как каретку пишущей машинки, сказала:

— Ты удивительный человек.

— Ладно, — отозвался Сэм, — но куда Он его поместил?

Тем вечером Джейкоб провел небольшое изыскание и узнал, что заданный Сэмом вопрос за тысячелетия заставил написать целые философские тома и что общепринятым ответом служит каббалистическое учение о цимцуме. В общем, Бог был везде, и, как предположил Сэм, когда Он задумал сотворить мир, для мира еще не было места. И тогда Он уменьшился. Одни толкователи видели в этом акт сжатия, другие — сокрытия. Творение потребовало самоумаления, и Джейкобу это казалось высшей скромностью, чистейшей щедростью.

Сидя теперь рядом с Джулией и репетируя ужасный разговор, Джейкоб думал: может быть, все эти годы он неверно понимал пространство, окружавшее жену: ее спокойствие, отстраненность. Может, это не был защитный буфер, а была величайшая скромность, чистейшая щедрость. Что, если она не уклонялась, а приглашала? Или и то и другое одновременно? Уклонялась и приглашала? И ближе к сути: сотворяла мир для их детей и даже для Джейкоба.

— Ты не заплачешь, — сказал он, пытаясь проникнуть в ее пространство.

— А если заплачу, будет плохо?

— Не знаю. Наверное, при прочих равных, лучше на них это не изливать. *Изливать* — немного не то слово. Я имею в виду... Ну, ты знаешь, что.

— Знаю.

Ее *знаю* удивило и еще сильнее встряхнуло Джейкоба.

— Мы это обсудим не один десяток раз, и оно будет восприниматься по-другому.

— Но не перестанет меня убивать.

— А адреналин момента поможет удержать слезы.

— Наверное, ты прав.

Наверное, ты прав. Прошло немало времени — казалось, что прошло немало времени, поправил бы доктор Силверс, — с тех пор, когда Джулия тем или иным образом соглашалась с эмоциональными суждениями Джейкоба, а не противилась им на уровне рефлекса. В этих словах была доброта — *наверное, ты прав*, — которая разоружила его. Ему не нужно было оказаться правым, но нужна была эта доброта. Что, если каждый раз, когда на уровне рефлекса отвергала или просто не замечала его точку зрения, она говорила бы *наверное, ты прав*? Под сенью этой доброты ему было бы так легко признать себя неправым.

— А если ты заплачешь, — продолжил Джейкоб, — то плачь.

— Хочется, чтобы они перенесли это легче.

— Тут без шансов.

— Ну, насколько можно легче.

— Какой-нибудь выход мы найдем в любом случае.

Найдем выход. Какое странное заверение, подумала Джулия во время репетиции разговора, главный смысл которого в том, что выхода они не нашли. И вместе не найдут. И все-таки заверение прозвучало в объединяющей форме: *мы*.

— Пожалуй, выпью воды, — сказала Джулия. — Тебе принести?

— Я подойду к двери и поскоблю, когда по-настоящему захочу.

— Ты считаешь, детям станет хуже? — спросила Джулия, удаляясь на кухню.

Джейкоб подумал, не была ли вода лишь предлогом, чтобы не смотреть ему в лицо при этом вопросе.

— Я включу телевизор на секунду. Без звука. Не могу не видеть, что происходит.

— А как же то, что происходит здесь?

— Я не отвлекаюсь. Ты спросила, станет ли, по-моему, детям хуже. Да, я думаю, это единственно верная формулировка.

Карта Ближнего Востока, хищные стрелы, показывающие продвижение различных армий. Происходят боевые столкновения, в основном с сирийцами и "Хезболлой" на севере. Турки берут все более враждебный тон, а новообразованная Трансаравия накапливает войска и самолеты на территории бывшей Иордании. Но это все пока управляемо, улаживаемо и в нужной степени сомнительно.

— Не сомневайся, я буду плакать, — сказал Джейкоб.

— Что?

— Я бы тоже глотнул воды.

— Я не слышала, что ты сказал.

— Я сказал: даже если ты не увидишь, как я плачу, я буду плакать.

Это было то — *казалось* тем, — что он должен был сказать. Джейкоб всегда знал — ему всегда *казалось*, — что, по мнению Джулии, ее эмоциональный контакт с детьми глубже, что поскольку она мать, женщина, и просто, что это — она, ей удалось создать такую связь, какую отец, мужчина, или Джейкоб, создать не в силах. Она все время давала это понять — *казалось*, что дает понять, — и время от времени говорила вслух, хотя каждый раз это маскировалось разговором о тех возможностях, которые дети находили только в общении с отцом, например, весело проводить время.

В ее представлении их с Джейкобом родительские роли, в общем, так и различались: глубина и веселье. Джулия вскармливала детей грудью. Джейкоб заставлял хохотать, искрометно изображая ложкой самолет, идущий на посадку в рот. У Джулии была глубинная, неподвластная разуму потребность проверять, хорошо ли они спят. Джейкоб будил их, когда в бейсбольном матче объявляли дополнительные иннинги. Джулия учила их таким словам, как *ностальгия*, *экзистенциальный* и *меланхоличность*. Джейкоб любил говорить: "Нет плохих слов, есть неудачное словоупотребление", чтобы оправдать якобы удачное употребление таких слов, как "чмо" или "сраный", которые Джулию бесили не меньше, чем радовали мальчиков.

Был и другой взгляд на это противопоставление глубины и веселья, и на его обсуждение с доктором Силверсом Джейкоб тратил бесконечные часы, — тяжесть и легкость. Джулия всему добавляла тяжести, распахивала закоулки самых интимных переживаний, на любое вскользь брошенное замечание наворачивала подробный разговор, постоянно внушала, как ценно грустить. Джейкобу и беды-то, в большинстве своем, не казались бедами, а те, что казались, лечились отвлечением, едой, физической активностью или временем. Джулия неизменно хотела придать мальчикам серьезности: культура, зарубежные путешествия, черно-белые фильмы. Джейкоб не видел ничего дурного — даже видел благо — в более живых, легкомысленных занятиях, таких как походы в аквапарки, бейсбол, дурацкое кино про супергероев, доставлявшее море удовольствия. Джулия понимала детство как время, когда формируется душа. Джейкоб — как единственный момент в жизни, когда можно чувствовать себя счастливым и защищенным. Они видели друг в друге миллион недостатков и понимали, что друг другом живут.

— Помнишь, — спросила Джулия, — как не знаю сколько уж лет назад моя подруга Рейчел пришла к нам на седер?

— Рейчел?

— Из архитектурной школы. Да помнишь, она пришла со своими близнецами?

— И без мужа.

— Точно. У него случился сердечный приступ в спортзале.

— Поучительная история.

— Ты помнишь?

— Конечно, позвали из жалости.

— Я думаю, в детстве она ходила в ешиву или еще в какое-то строгое еврейское учебное заведение. Тогда я этого не понимала и потому в конце концов почувствовала себя так неловко.

— Отчего?

— Оттого, какие мы неграмотные евреи.

— Но ей понравилось с нами, ведь так?

— Понравилось.

— Так и забудь свою неловкость.

— Это было столько лет назад.

— Неловкость — это тушенка в мире эмоций.

Реплика Джейкоба вызвала у Джулии залиvistый — ему показалось так — смех. Неудержимый смех во время столь серьезного тактического планирования.

— Почему ты о ней вспомнила?

Молчание может быть таким же неудержимым, как и смех. И оно может накапливаться, как невесомые снежинки. И проломить потолок.

— Сама не знаю, — ответила Джулия.

Джейкоб попытался столкнуть этот снег с крыши разговора:

— Может, ты вспомнила, каково это, когда тебя судят.

— Может быть. Я не думаю, что она судила. Но я чувствовала себя, как на суде.

— Ты боишься этого чувства? — спросил Джейкоб.

За несколько дней до этого Джулия вдруг проснулась среди ночи, как от кошмара, хотя не могла вспомнить, что видела во сне. Она отправилась на кухню, нашла в "ящике со всякой ерундой" список учеников Джорджтаунской средней школы и убедилась, что Бенджи будет единственным в своем классе ребенком с двумя домашними адресами.

— Я боюсь, что нашу семью будут осуждать, — сказала она.

— А ты себя осуждаешь?

— А ты нет?

— В этом году из жалости пригласят меня, верно?

Джулия улыбнулась, благодарная за смену темы:

— Ну а почему этот год должен отличаться от других?

Впервые за несколько недель посмеялись вместе.

Джейкоб отвык от такой теплоты и теперь растерялся. Он не ожидал подобного, готовясь к репетиции этого разговора. Скорее ждал некоторой пассивной агрессии. Он думал, придется глотать от нее гадость за гадостью, и у него никогда не хватало духу — не оправдывались примерные расходы на самозащиту — прибегнуть к заготовленному набору ответных ходов.

Доктор Силверс убеждал его, что нужно просто присутствовать, сидеть со своей болью (а не отбрасывать ее от себя) и удерживаться от стремления к какому-то определенному исходу. Однако Джейкобу казалось, что ситуация потребует совершенно невесточной отзывчивости. Он постарается не говорить такого, что можно будет когда-либо позже обернуть против него, поскольку все сказанное будет подшито и сохранено навечно. Ему нужно будет изобразить отступление (скромно признавая ее правоту и демонстративно принимая мнения, которых втайне придерживался давно), не отступив ни на дюйм. Придется быть настолько коварным, что коварство самураев в сравнении показалось бы детской игрушкой.

Но по мере того как разговор обретал форму, Джейкоб понимал, что нет необходимости его как-то направлять. Выигрывать было нечего — следовало только уменьшать потери.

— "Бывают самые разные семьи..." — начала Джулия. — Подходящий вариант?

— Наверное.

— "В одних по два папы. В других по две мамы".

— "Некоторые семьи живут в двух домах"?

— Тут Макс решит, что мы покупаем летний домик, и обрадуется.

— Летний домик?

— Домик на побережье океана. "Некоторые семьи живут в двух домах: один в городе, другой на берегу океана".

Летний домик, подумала Джулия, сознательно обманываясь так же безоглядно, как обманул бы Макс. Они с Джейкобом когда-то это обсуждали: не дом на берегу океана — такого они не могли бы себе позволить, — но что-то уютное, где-нибудь. Это и была важная новость, которую Джулия собиралась сообщить Марку в тот день, пока он не показал ей, насколько ее жизнь бедна новостями. Летний домик — это было бы здорово. Может быть, даже настолько здорово, что на время

спасло бы положение или создало видимость крепкой семьи, пока не найдется следующий костыль. *Видимость счастья*. Если бы их могла устроить видимость — не ради других, а ради самих себя, — могло бы выйти достаточно близкое подобие настоящего счастья и получилось бы все удержать.

Они могли бы больше путешествовать. Планирование поездки, поездка, воспоминания — это помогло бы выиграть немного времени.

Они могли пойти на терапию для семейных пар, но Джейкоб выказывал странную привязанность к доктору Силверсу, и поход к другому психотерапевту расценивался бы как грех (очевидно, более тяжкий, чем просить фекального эякулята у женщины, которая тебе не жена); и когда Джулия представляла, что придется все открыть и тратить время и деньги на два сеанса в неделю, которые обернутся то тяжким молчанием, то бесконечными разговорами, то не могла наскрести в себе должного оптимизма.

Они могли предпринять именно то, чему она посвятила себя в своей профессии, но всячески противилась в жизни: обновление интерьера. У них дома столь многое можно было обновить: переоборудовать кухню (как минимум, трубы и электропроводку, но почему бы и не столешницы, не технику, а в идеале вообще все перепланировать ради большей обтекаемости и красоты); главную ванную; одежные шкафы; раскрыть заднюю часть дома в сад; прорубить пару окон в крыше над душевыми в верхнем этаже; закончить подвал.

— "Один дом, где будет жить мама, один дом, где будет жить папа".

— Ладно, — сказал Джейкоб, — давай я минуту побуду Сэмом.

— Давай.

— Вы хотите переехать одновременно?

— Да, хотим попробовать.

— А мне придется каждый день таскать вещи туда-сюда?

— Мы планируем жить в нескольких минутах ходьбы друг от друга, — сказала Джулия. — И это не будет каждый день.

— А ты это действительно можешь обещать? Я — сейчас я.

— Думаю, в этой ситуации можно и пообещать.

— И как мы будем делить время?

— Я не знаю, — сказала Джулия, — но не через день.

— А кто будет жить здесь? Я опять Сэм.

— Надеемся, хорошая семья.

— И мы хорошая семья.

— Да, конечно.

— У кого-то из вас был роман?
— Джейкоб.
— Что?
— Он такого не спросит.
— Во-первых, может и спросить. Во-вторых, это одна из тем, где, как бы маловероятны ни были вопросы, у нас должны иметься заготовленные ответы.

— Ладно, — сказала Джулия. — Тогда теперь я Сэм.
— Давай.
— У кого-то из вас был роман?
— А я кто? — спросил Джейкоб. — Я? Или ты?
— Ты.
— Нет. Дело совсем не в этом.
— Но я видел твой телефон.
— Стой, *он видел*?
— Не думаю.
— Не думаешь? Или не видел?
— Почти уверена, что не видел.
— Почему же сказала?
— Потому что дети знают такое, о чем мы и не подозреваем. И когда он помогал мне его открыть...

— Он помогал тебе его открыть?
— Я не знала, чей он.
— И он видел?..
— Нет.
— Ты сказала ему...
— Нет, конечно.

Джейкоб вернулся в образ себя самого:

— То, что ты видел, — это переписка с одним из сценаристов нашего сериала. Мы пересылали друг другу реплики для сцены, в которой два человека говорят друг другу довольно непристойные фразы.

— Убедительно, — признала Джулия, выйдя из роли.
— А у тебя, мама? — спросил Джейкоб. — У тебя ничего не было?
— Нет.
— Даже с Марком Адельсоном?
— Нет.
— Ты не целовалась с ним на модели ООН?
— Джейкоб, это что, правда нужно?
— Вот, теперь я буду тобой.

— Ты будешь мной?

— Да, Сэм, я целовалась с Марком на конференции. Это не было предумышленно.

— Никогда бы не использовала этого слова.

— Это было непреднамеренно. И даже не было приятно. Это просто случилось. И мне жаль, что это случилось. Я просила вашего отца принять мои извинения, и он принял. Ваш отец очень хороший человек...

— Мы получили представление.

— А ведь и правда, — сказал Джейкоб, — как же мы объясним причину?

— Причину?

Они ни разу не произнесли слова "развод". Джейкоб мог бы заставить себя произнести его, потому что развода не должно было быть. Но Джейкоб не хотел вытаскивать его на поверхность. Джулия не могла его произнести, потому что не была так уверена. Она не знала, куда его вставить.

Если бы пришлось говорить абсолютно честно, Джулия не смогла бы четко сказать, почему они делают то, что не могут назвать. Она была несчастлива, но не могла бы точно сказать, что подобную несчастливость какой-нибудь другой человек не считал бы счастьем. У нее были неисполненные желания — целое море, — но понятно, что они есть у каждого человека, состоящего или не состоящего в браке. Она хотела большего, но не знала, можно ли это большее где-нибудь найти. Когда-то это незнание вдохновляло. Вселяло веру. Теперь оно стало ничем. Просто незнанием.

— Что, если дети захотят знать, не планируем ли мы новые браки? — спросила Джулия.

— Я не знаю. А ты?

— Определенно нет, — сказала Джулия. — Этого не будет.

— Ты удивительно уверена.

— Ни в чем не уверена сильнее.

— Ты прежде во всем проявляла неуверенность, в хорошем смысле.

— Наверное, все было недостаточно очевидно для меня.

— Единственное, что для тебя очевидно, — это что наш конкретный образ жизни не подошел конкретному человеку, тебе.

— Я готова к следующей главе.

— Соломенная вдова?

— Может быть.

— А что насчет Марка?

— Ну и что насчет него?

— Он милый. Симпатичный. Почему не попробовать?
— Как ты можешь так легко отдать меня кому-то?
— Нет. Нет, ну просто у тебя с ним, похоже, есть какая-то общность,
и...

— Не стоит за меня волноваться, Джейкоб. Я не пропаду.

— Я не волнуюсь за тебя.

Это прозвучало ужасно.

Он попробовал еще раз:

— Я волнуюсь за тебя не больше, чем ты за меня.

Опять не то.

— Марк хороший человек, — сказала Билли, возникнув в комнате.

Что, они сами появляются из обивки мебели, как опарыши из гниющего мяса?

— Билли?

— Привет, — сказала она, протягивая руку Джейкобу. — Мы еще не знакомы, хотя я о вас много слышала.

"Интересно, что?" — хотел спросить Джейкоб, но вместо этого взял ее руку со словами:

— А я много слышал о вас. — Ложь. — И кстати, только хорошее. — Правда.

— Я была наверху, помогала Сэму с его извинениями к бар-мицве, и тут мы вдруг поняли, что не знаем, как точно определяется извинение. Требуется ли оно недвусмысленного раскаяния?

Джейкоб бросил на Джулию взгляд типа: "Смотри-ка, какой словарный запас!"

— Может ли он просто рассказать, что случилось, и объяснить? Обязательно ли там должны прозвучать слова *Я сожалею*?

— А почему сам Сэм не спросит?

— Он гуляет с Аргусом. И попросил меня.

— Я чуть позже поднимусь и помогу, — пообещал Джейкоб.

— Не уверена, что это нужно или, на самом деле, желательно. Нам как бы просто надо знать, что имеется в виду под извинением.

— По-моему, недвусмысленное раскаяние необходимо, — сказала Джулия, — но слова *Я сожалею* не обязательны.

— Я так и чувствовала, — сказала Билли. — Ладно. Что ж, спасибо.

Она двинулась прочь из комнаты, но Джулия окликнула ее:

— Билли!

— Да?

— Ты что-нибудь услышала из нашего разговора? Или только то, что

Марк милый?

— Даже не знаю.

— Ты не знаешь, слышала ли что-нибудь? Или не знаешь, удобно ли будет ответить?

— Второе.

— Дело в том, что...

— Я понимаю.

— Мы еще не говорили с мальчиками...

— Я правда понимаю.

— И тут много всего в контексте, — вклинился Джейкоб.

— Мои родители развелись. Я все понимаю.

— Мы пытаемся решить, что делать, — пояснил Джейкоб, — просто пытаемся разобраться.

— Твои родители развелись? — спросила Джулия.

— Да.

— Давно?

— Два года назад.

— Я сожалею.

— Я не виню себя в их разводе, и вы себя не должны винить.

— Забавная ты, — сказала Джулия.

— Спасибо.

— Их развод, очевидно, не помешал тебе стать интересной личностью.

— Ну, мы же не узнаем, какой я могла бы стать в ином случае.

— Ты правда забавная.

— И правда спасибо.

— Мы понимаем, что это ставит тебя в неловкое положение, — добавил Джейкоб.

— Все нормально, — ответила Билли и снова повернулась к дверям.

— Билли! — позвала Джулия.

— Да?

— Ты бы могла сказать, что развод твоих родителей — это потеря?

— Для кого?

— Хочу поменять желание, — объявил Бенджи.

— Бенджи?

— Мне пора, — сказала Билли, поворачиваясь к выходу.

— Совсем не обязательно, — сказала Джулия. — Останься.

— Я хочу, чтобы вы поверили Сэму.

— Поверили в чем? — спросил Джейкоб, подхватывая Бенджи на колени.

— Мне пора, — сказала Билли и вышла за дверь.

— Я не знаю, — сказал Бенджи. — Я только слышал, как он говорил с Максом и сказал, что хотел бы, чтобы вы ему верили. И я решил пожелать его желание.

— Дело не в том, что мы ему не верим, — сказал Джейкоб, вновь злясь на Джулию за то, что не смогла принять сторону сына.

— А в чем?

— Хочешь знать, о чем говорили Сэм с Максом? — спросила Джулия.

Бенджи кивнул.

— У Сэма неприятности в Еврейской школе: на его столе нашли листок бумаги с написанными плохими словами. Сэм говорит, он их не писал. Его учитель уверен, что это Сэм.

— А почему вы ему не верите?

— Мы не говорили, что ему не верим, — сказал Джейкоб.

— Мы хотим ему верить, — сказала Джулия. — Мы всегда хотим быть на стороне наших детей. Просто на этот раз нам кажется, что Сэм говорит неправду. Это не значит, что он плохой. И не значит, что мы его меньше любим. Мы его любим. Мы стараемся ему помочь. Люди же все время ошибаются. Я все время ошибаюсь. Папа тоже. И мы все рассчитываем на прощение близких. Но для этого нужно извиниться. Хорошие люди не делают меньше ошибок, просто они умеют извиняться.

Бенджи задумался.

Вывернув шею, он заглянул Джейкобу в глаза и спросил:

— Тогда почему *ты* ему веришь?

— Мы с мамой считаем одинаково.

— Ты тоже думаешь, он врет?

— Нет, я тоже считаю, что люди ошибаются и заслуживают прощения.

— Но ты думаешь, он врет?

— Я не знаю, Бенджи. И мама не знает. Только Сэм знает.

— Но ты *думаешь*, он врет?

Джейкоб положил ладони Бенджи на бедра и подождал, пока ангел возгласит. Но ангела не было. И не было агнца. Джейкоб сказал:

— Мы думаем, что он не говорит правду.

— Вы можете позвонить мистеру Шнайдерману и попросить заменить мою записку?

— Конечно, — сказал Джейкоб, — мы можем.

— Но как вы передадите ему мое новое желание, не сказав вслух?

— А почему тебе не написать и не отдать ему?

— Он уже там.

— Где?

— У Стены Плача.

— В Израиле?

— Наверное.

— О, ну тогда не беспокойся. Я уверен, его рейс отменили и у тебя будет возможность поменять желание.

— Почему отменили?

— Из-за землетрясения.

— Какого землетрясения?

— В Израиле на прошлой неделе произошло землетрясение.

— Большое?

— Ты не слышал, как мы о нем говорили?

— Вы говорите много всего, о чем не рассказываете мне. Стена не упадет?

— Конечно, нет, — сказала Джулия.

— Если за что-то и можно не бояться, так это за Стену, — добавил Джейкоб. — Ей ничего не делается уже две с лишним тысячи лет.

— Это да, но было же еще три стены.

— Да, о них есть удивительная история, — сказал Джейкоб, надеясь, что сможет вспомнить обещанную историю. Она спала в его памяти со времен Еврейской школы, где ее рассказывали. Он не помнил, как и кто рассказывал, и вообще с тех пор о ней не думал, однако вот она, часть его самого, — часть, которую нужно передать. — Когда римская армия захватила Иерусалим, им приказали разрушить Храм.

— Это был Второй Храм, — заметил Бенджи, — потому что первый разрушили.

— Точно. Молодец, что знаешь. Ну и вот, три из четырех стен обрушились, но четвертая сопротивлялась.

— *Сопротивлялась?*

— Сражалась. Отбивалась.

— Стена не может отбиваться.

— Не поддавалась разрушению.

— Ага.

— Она выдержала удары молотов, кирок, дубин. Римляне заставили слонов толкать ее, пытались поджигать, даже специально изобрели подвесной шар-таран.

— Круто.

— Но казалось, ничто не могло обрушить четвертую стену. Солдат, которому поручили снести Храм, доложил командиру, что разрушены три

из четырех стен Храма. Но вместо того, чтобы признать — четвертую стену просто не смогли снести, — он предложил оставить ее.

— Для чего?

— В доказательство их мощи.

— Не понимаю.

— Люди, увидев эту стену, смогут представить грандиозность Храма и врага, которого повергли римляне.

— Что?

Джулия пояснила:

— Все поймут, каким огромным был этот Храм.

— Ага, — сказал Бенджи, осмысляя ее слова.

Джейкоб обернулся к Джулии:

— Кажется, в Европе есть организация, которая восстанавливает разрушенные синагоги на старых фундаментах? Типа этого.

— Или мемориала 9/11.

— Есть какое-то слово для этого. Я как-то слышал. *Шуль*. Да, *шуль*.

— Почти как синагога — *шуле*?

— Удивительное совпадение, но нет. Это тибетское слово.

— А как ты мог узнать тибетское слово?

— Понятия не имею, — сказал Джейкоб, — но как-то узнал.

— Ну? Хочешь, чтобы мы принесли тибетский словарь?

— Я, может быть, неправильно его понял, но это вроде бы физический отпечаток, который остается после. Как след ноги. Или русло, где текла вода. Или в Коннектикуте — мятая трава, где спал Аргус.

— Снежный ангел, — подсказал Бенджи.

— *Отличный* пример, — одобрила Джулия, протягивая руку к его лицу.

— Только мы не верим в ангелов.

Джейкоб потрепал Бенджи по колену.

— Нет, я *говорил*, что, хотя в Торе ангелы упоминаются, иудаизм в общем не поощряет...

— Ты мой ангел, — сказала Джулия Бенджи.

— А ты на самом деле моя зубная фея, — ответил он.

Пожеланием Джейкоба было бы усваивать уроки жизни, пока еще не поздно их применить. Но оно, как и стена, в которую его следовало бы поместить, напоминало о вечности.

Бенджи вышел из комнаты, репетицию поспешно свернули, Макса накормили вторым обедом, не шпинатной лазаньей, дверь, отделявшую Сэма и Билли от остального мира, признали в нужной мере приотворенной,

и Джейкоб решил выскочить в хозяйственный за некоторыми необязательными покупками: приобрести шланг покоро́че, чтобы не так неудобно торчал, пополнить запас мизинчиковых батареек, может, повосхищаться какими-нибудь электроинструментами. По дороге он позвонил отцу.

— Я сдаюсь, — сказал он.

— Ты в наушниках?

— Да.

— Ну сними их, а то я ничего не слышу.

— Держать телефон, когда ты за рулем, запрещено.

— И еще от него рак. Участь делового человека.

Джейкоб поднес телефон к лицу и повторил:

— Я сдаюсь.

— Рад слышать. А в отношении чего?

— Давай похороним дедушку здесь.

— Правда? — спросил Ирв, по голосу — удивленный, обрадованный и раздавленный. — Что ж тебя побудило?

А причина — убедил ли его прагматизм отца, устал ли он перестраивать свои дни из-за необходимости проводить часть времени возле мертвого тела или просто был слишком занят похоронами собственного брака, чтобы продолжать упорствовать, — просто не имела особого значения. Понадобилось восемь дней, но решение он принял: Исаака похоронят в Джудеан-Гарденз, на самом обычном, довольно миленьком кладбище в получасе езды от города. Его будут навещать, и он проведет вечность рядом со своими родными, и пусть это будет не первая и не тысячная остановка несуществующего и где-то замешкавшегося Мессии, Он дойдет и туда.

Исходная версия

Айсик, примитивный недоработанный аватар, стоял посреди цифровой лимонной плантации — четко обозначенной и огороженной колючей проволокой собственности лимонадной корпорации, которая снимала якобы смешные видео с типа вызывающими доверие актерами, чтобы заставить заинтересованных-но-не-мотивированных потребителей поверить, что они пьют жидкость, имеющую какое-то отношение к натуральным продуктам. Сэм ненавидел такие корпорации с силой, почти равной половине той ненависти, с какой ненавидел себя за то, что он беспомощный и безмозглый дурачок, который "стойко держится", хотя ненавидит корпорации и об этом кричит. В реальной жизни Сэм никогда бы не ступил за запретную черту. Он был слишком порядочен и слишком труслив. (Эти качества не всегда легко разделить.) Но это одна из многих и многих потрясающих штук "Иной жизни" — и пожалуй, объяснение зависимости Сэма от нее — возможность быть чуть менее порядочным и чуть менее трусливым.

Айсик проник за границу, да, но не затем, чтобы устроить пожар, рубить деревья, *рисовать* граффити (или как правильно называется это действие), и даже не затем, чтобы нарушить границу. Он пробрался туда, чтобы побыть в одиночестве. Среди бесконечных с виду колоннад стволов, под пуховым одеялом из лимонов, он мог остаться наедине со своими мыслями. Не то чтобы ему так уж *нужно* было одиночество. *Нужно* — это слово скорее употребила бы мать Сэма.

— Тебе не нужно сделать домашнюю работу, прежде чем мы отправимся обедать?

— *Закончить*, — отвечал он, находя громадное удовольствие в том, что поправляет ее.

— Тебе не нужно закончить домашнюю работу, прежде чем мы отправимся обедать?

— Нужно ли мне?

— Да. Тебе.

Он не находил никакой радости в особенной радости, которую, казалось, находил в том, чтобы поддевать мать. Но ему *нужно* было так поступать. Нужно было противиться собственному инстинктивному стремлению во всем ей внимать; нужно было отстраняться от того, к чему хотелось лнуть, но больше всего ему нужно было не быть предметом ее

потребностей. Телесных потребностей. И не постоянная потребность матери его целовать отвращала Сэма, а ее нескрываемые старания эту потребность обуздывать. Ему были противны — отвратительны, тошнотворны — ее прикосновения украдкой: лишняя секунда на поправку прически, держание за руку во время обрезания ногтей (он знал, как справиться самому, но не мог без ее помощи, но только строго определенным образом и без вольностей). И еще "незаметные" взгляды: когда он выбирается из бассейна или, хуже того, снимает рубашку, чтобы срочно бросить в стирку. Все, что она краля, она краля у него, и это вызывало не только брезгливость и не только гнев, но и отторжение. Ты можешь получить что хочешь, но не без спросу.

Айсик искал уединения в лимонной роще, потому что Сэм сидел шиву по Исааку, избегая разговоров с родными, чьи главные процессоры были запрограммированы позорить Сэма. А почему еще троюродный брат, которого он не видел несколько лет, считает необходимым заговорить о прыщах? О ломке голоса? Подмигнуть, задавая вопрос о подружках?

Айсик искал уединения. Не чтобы побыть одному, а чтобы не было рядом никого. Это другое.

> Сэм?

> ...

> Сэм, это ты?

> С кем ты говоришь?

> С ТОБОЙ.

> Со мной?

> С тобой. Сэм.

> Кто ты?

> Я ЗНАЛ, что это ты.

> Кто знал?

> Ты меня не узнаешь?

Узнаешь? Аватар, заговоривший с Айзиком, был львом с роскошной радужной гривой; шоколадная замшевая жилетка с переливчатыми пуговицами, почти скрытая под белым смокингом с фалдами до кончика хвоста (который был украшен фианитовым сердечком); отбеленные зубы, почти скрытые накрашенными губами (насколько у льва есть губы); нос, пожалуй, чересчур мокрый; рубиновые зрачки (не рубинового цвета, но из камней); и перламутровые когти, с вырезанными на них пацификами и могоновидами. Если это было хорошо, то это было очень хорошо. Но хорошо ли это было?

Никакого узнавания. Только удивление, оттого что тебя обнаружили в

момент рефлексии, и стыд, оттого что тебя узнали и назвали по имени.

Теоретически кто-то достаточно технически подкованный и недостаточно беззаботный мог бы проследить Айсика до самого Сэма. Но потребовались бы усилия, которых никто из известных ему людей — тех, что *знали* его, — не стал бы совершать. Кроме *разве что* Билли.

Если не вспоминать виртуозно неумелых и вынужденных попыток родителей "проверять", что Сэм делает за компьютером, он не переставал удивляться, сколько ему могло сойти с рук.

Доказательство: он крал в магазинчике на углу, над входом в который поныне красовалась их фамилия, который их прадед открыл, когда английских слов знал меньше, чем потерял братьев. Сэм перетаскал довольно вредной еды — пакетов с чипсами (протыкаемых острым углом сложенного бумажного листа, чтобы, выпустив воздух, их можно было плотно сложить), трубочек мятных драже, спрятанных в карман, — у честных корейских иммигрантов, которые держали возле кассы лимонную дольку, чтобы увлажнять пальцы для удобства отсчета банкнот, чтобы открыть собственный магазинчик, но уже под другим названием, а лучше вообще без названия, лучше просто: МАГАЗИН. Зачем он все это крал? Не для того, чтобы съесть. Он никогда ничего не съел, ни разу. Он всегда, всегда возвращал украденное — и возврат требовал куда большей воровской сноровки, чем кража. Он делал это в доказательство: что он может, что он ужасен и что всем плевать.

Доказательство: объем (терабайты) порнографии, потребляемой им, и объем (в квартах) семени, на это растраченного. *Под носом* было бы, пожалуй, не самой удачной метафорой, но как же могли так называемые родители столь упорно не замечать братской могилы, вырытой у них на заднем дворе и наполненной сперматозоидами?

Шива о многом напомнила Сэму: о том, что дедушки и бабушки смертны, что родители смертны, что смертен он сам и смертен Аргус, о том, как несомненно утешительно бывает выполнение ритуалов, которых ты не понимаешь, — но ярче всего напомнила первую в жизни мастурбацию, тоже во время шивы. Это были поминки по его прабабке Дорис. На самом деле, хотя считалась она прабабкой, родство с ней было более дальним, как минимум, троюродным. (А дедушка после нескольких рюмок очень дорогой водки даже предположил, что Дорис Блохам даже не кровная родня.) Так или иначе, она не была замужем, не имела детей и козыряла одиночеством, чтобы поближе подобраться к стволу семейного древа.

Пока собравшаяся незнакомая родня жевала, Сэм, подобно Моисею,

устремившемуся к охваченному пламенем кусту, ринулся в ванную. Что-то подсказывало, момент настал, хотя он и не понимал, как действовать. В тот день он применил гель для волос, потому что он оказался под рукой и был маслянистым. Чем дольше он гонял кулак туда-сюда по стволу члена, тем сильнее крепло в нем подозрение, что происходит событие громадной важности — не просто приятное, но мистическое. Ему становилось все приятнее и приятнее, он сжимал пальцы все крепче, и тут ощутил еще более острое удовольствие, а затем одним маленьким нажимом человека человечество совершило гигантский скачок через пропасть, разделяющую жалкую, фальшивую, пустую жизнь и тот беспечный, беззлобный, разумный мир, в котором Сэм хотел провести оставшиеся ему дни и ночи на земле. Из его члена брызнула жидкость, которую, надо признать, он полюбил сильнее, чем любого из людей в своей жизни, чем любую мысль, полюбил настолько, что она стала его врагом. Иногда, в не столь торжественные моменты, он даже разговаривал со своей спермой, пока она засыхала в его пупке. Иногда он смотрел ей в сотни миллионов глаз и говорил просто: "Враги".

Первый раз был откровением. Первые несколько тысяч раз. Он подрочил еще в тот же день, и еще и еще вечером. Он дрожил с решимостью альпиниста, видящего перед собой вершину Эвереста, потерявшего всех друзей и всех шерпов, израсходовавшего весь кислород в баллонах, но предпочитавшего смерть отступлению. Каждый раз он применял гель для волос, не задумываясь о том, какой может быть эффект от постоянного намазывания на член вещества, предназначенного для формирования прически. На третий день волосы у него на лобке напоминали ершик для прочистки труб, а член покрылся чешуей.

Тогда он принялся дрочить с алоэ. Но зеленый когнитивно диссонировал, создавал ощущение, будто палишь инопланетянина, и это было неприятно. Сэм переключился на увлажняющий лосьон.

Сэм был сумасшедшим экспериментатором от мастурбации, неустанно искавшим способы превращать руку в подобие вагины. Тут ему помог бы настоящий опыт с аутентичной вагиной, но его неспособность не заметить в слове "аутентичный" "титек" делала вероятность такого события столь же мизерной, сколь мизерной делало ее употребление Сэмом слова *мизерный*. Однако чем еще мог быть интернет, как не справочником по гинекологии, и опять-таки, есть вещи, которые мы знаем, не имея возможности познать эмпирически: так младенцы не ползут вперед, оказавшись на краю утеса, — а в этом Сэм был уверен на 95 процентов. Когда через пять несправедливо бесконечных, космически долгих лет Сэм получил первый

опыт с настоящей женщиной — не с Билли, как ни жаль, а с какой-то просто милой, умной и симпатичной, — он удивился тому, насколько точными были его представления. Он знал все время, знал все. Пожалуй, если бы он знал, что все знает, эти пять лет было бы немного легче вытерпеть.

Он пробовал просто ладонью, без увлажнения, ладонью, смазанной: медом, шампунем, вазелином, кремом для бритья, рисовым пудингом, зубной пастой (лишь однажды) или остатками витаминной мази, тюбик от которой его родители не могли набраться духу выбросить, несмотря на то, что выкидывали все на самом деле важное. Он изготавливал искусственную вагину из трубки от туалетной бумаги, затягивая один конец пищевой пленкой (и закреплял ее резинками для денег), наполняя трубку кленовым сиропом, а затем затягивая пленкой и второй конец (тут опять резинки) и делая в пленке прорезь. Он трахал подушки, одеяла, вакуумные чистильщики бассейнов, мягкие игрушки. Дрочил на каталог "Виктория Секретс", и на выпуск "Спортс иллюстрейтед" с купальниками, и на рекламы на задних страницах "Сити пейпер", и на рекламу лифчиков в журнале "Перейд", и практически на все, что великая власть его всемогущего и целеустремленного воображения могла превратить в анус, вагину, сосок или рот (в таком порядке). Конечно, у него был неограниченный доступ к такому объему бесплатного порно, который не просмотришь и за время жизни всех граждан Китая, вместе взятых, но даже помешанный на анальном сексе двенадцатилетний подросток понимает связь между затраченной мыслительной работой и остротой оргазма, и потому самой яркой его фантазией было перехватить арабскую девственницу на пути к какому-то мученику, готовящемуся ей всадить, нырнуть к ней под бурку и там, в этой темной сурдокамере, в этом черном космосе, раз за разом проводить языком вокруг ее ануса. Мог бы хоть кто-нибудь поверить, что эта фантазия не имела никакого отношения ни к религии, ни к национальности, ни даже к табу?

Он пытался стягивать резинками запястье — резинки в мастурбации то же, что мука в хлебопечении, — чтобы пальцы онемели и казались чужими. Это невероятно здорово получалось, и Сэм чуть не лишился руки. Он расставлял зеркала, чтобы видеть только свою дырку, не видя остального тела, и успешно внушал себе, что это дырка женщины, которая хочет, чтобы он ее туда отымел. Он мастурбировал доминантной и недоминантной рукой — здоровой и увечной — и докрасна натирал член сразу обеими ладонями. Несколько месяцев его любимым приемом был тот, который он называл — конечно, никому не называя, — "хват Роджера

Эберта": вывернуть запястье, чтобы большой палец смотрел вниз. (По каким-то причинам, которых он не понимал и не видел необходимости понимать, это тоже создавало ощущение, что рука — чужая.) Он закрывал глаза и задерживал дыхание, пока в голове не начинало мутиться. Он трахал собственные подошвы, будто озабоченный тибетский отшельник. Даже если бы он пытался оторвать собственный член от тела, то и тогда не тянул и не сжимал бы его сильнее, и это чудо, что он себя не покалечил, хотя, даже переживая оргазм, он чувствовал, что в каком-то глубинном смысле наносит себе непоправимый вред, и что так и надо, и что это тоже один из элементарных кирпичиков того знания, которым он обладал от рождения.

Он мастурбировал в туалетах поездов, самолетов, в школьных туалетах в обычной школе и в еврейской, в магазинных туалетах "Гэпа", "Зары" и "Эйч энд Эм", в ресторанных туалетах, в туалетах всех домов, где ему случалось бывать и где у него была возможность воспользоваться туалетом. Где только можно спустить воду, он дрочил.

Сколько раз он пытался пососать собственный член? (Подобно Танталу, сколько он ни тянулся, плод только отдалялся.) Он пытался засунуть его себе в зад, но для этого понадобилось бы отогнуть член в ту сторону, куда он хуже всего гнулся, все равно что стараться опустить разводной мост в воду. У него получалось потереть возле ануса мошонкой, но от этого только брала досада.

Однажды в одном сообществе, посвященном анилингусу, он наткнулся на довольно заманчиво описанный способ во время дрочки засовывать в задницу палец. И когда он отучил свой сфинктер рефлекторно изображать китайскую ловушку для пальцев, то ощущение было довольно приятным, пусть и довольно странным. Как миска, с края которой кто-то нетерпеливый — а именно: Сэм — начисто смазал пальцем крем. Он и в самом деле смог нащупать свою простату и, как было обещано, в момент оргазма видел сквозь стены. Правда, смотреть было не на что, кроме соседней скучной комнаты. А вот извлечение пальца все убило. Во-первых, сразу после оргазма все то, что перед оргазмом казалось не просто добрым, но логичным, необходимым и неизбежным, разом стало необъяснимым, тревожным и противным. Можно затушевать или даже вовсе отрицать почти все, что ты сказал или сделал, но палец в заднице нельзя ни затушевать ни отрицать. Его можно оставить там или вынуть. И его нельзя оставить там.

Сэм никогда не был в ладу со своим телом — ни в одежде, которая вечно не сидела, ни когда исполнял свою жуткую пародию на

недэцэпэшную ходьбу, — исключением были лишь минуты мастурбации. Во время мастурбации он одновременно и владел своим телом, и существовал в нем. Он был естественным, расслабленным, самим собой.

- > Это Я.
- > Все равно не понял. И перестань кричать капсами.
- > Это я.
- > Билли?
- > Билли?
- > Макс?
- > Нет.
- > Прадедушка?
- > НОАМ.
- > Не ори.
- > Ноам, твой кузен.
- > Мой израильский кузен Ноам?
- > Нет, твой шведский кузен Ноам.
- > Смешно.
- > И по-израильски.
- > Твои у нас тут, брат и отец.
- > Я знаю. Отец мне писал с кладбища.
- > Странно. Он говорил, что не может с вами связаться.
- > Наверное, имел в виду телефон. По электронке мы все время переписываемся.
- > Мы сейчас сидим шиву у бабушки дома.
- > Да, я и это знаю. Он мне прислал фотку лосося.
- > Зачем?
- > Затем, что там был лосось. И затем, что, пока он не снимет на телефон, все для него не совсем реально.
- > Ты говоришь по-английски лучше моего.
- > "Лучше меня".
- > Верно.
- > В общем, я хотел тебе сказать, как там это принято искренне говорить, — "соболезную твоей утрате".
- > Не верю в искренние соболезнования.
- > Желаю меньше переживать. Так пойдет?
- > Как ты меня нашел?
- > Точно так же, как ты нашел бы меня, если бы искал. Ничего сложного.
- > Я не знал, что ты есть в "Иной жизни".

> Я тут раньше целыми днями просиживал. Но в этой роще не был ни разу.

> Я тоже ни разу, в этой роще.

> Тебе нравится, когда люди без причины повторяют только что сказанное? Как ты сейчас? Ты мог бы сказать "и я не был", но ты взял мои слова и сделал их своими. Я сказал: "Я в этой роще не был ни разу", и ты сказал: "Я тоже ни разу, в этой роще".

> Да, мне нравится, когда люди без причины повторяют только что сказанное.

> Если бы использовал смайлики, я бы сейчас поставил.

> Рад, что ты их не используешь.

> В армии для "Иной жизни" нет времени.

> Слишком много реальной жизни?

> Я не верю в реальную жизнь.

>);

> Я совсем распустился. Погляди на мои ногти.

> На твои? Погляди на меня! У меня еще остатки плаценты на лице.

>???

> Мой отец совершил аватарубийство.

> Зачем?

> Нечаянно понюхал Букет Погибели.

> Зачем?

> Затем, что ходит с головой в жопе, и сфинктер пережимается, не дает крови снабжать мозг. Ну, как бы там ни было, я уже понемногу восстанавливаюсь, и меня не очень-то устраивает скорость.

> Ты выглядишь... старым.

> Ага. Я стал типа как прадедушка.

> Зачем?

> По той же причине, по какой я стану таким в реальности, наверное? Я имею в виду, в этой жизни.

> Тебе не надо немного плода стойкости?

> Несколько сотен тысчонок не повредило бы.

> Могу отдать свои.

> Я пошутил.

> А я нет.

> Зачем тебе это делать?

> Потому что они тебе нужны, а мне нет. Хочешь 250 000?

> 250 000!

> Не ори.

> На это у тебя, наверное, целый год ушел.
> Или три.
> Не могу принять.
> Еще как можешь. Подарок на бар-мицву.
> Я даже не знаю, будет ли она у меня.
> Бар-мицва — это не то, что у тебя бывает. Она то, чем ты становишься.
> Я даже не знаю, придется ли мне ею стать.
> Знают ли младенцы, что рождены?
> Они плачут.
> Так плачь.
> Где ты сейчас?
> Еще пару часов дома.
> Я думал, в каком-то опасном месте.
> Вижу, ты знаком с моей мамулей.
> Твой отец сказал, что ты на Западном берегу.
> Я был. Но вернулся за день до землетрясения.
> Вот блин, как же так, мы уже столько говорим, и я еще не спросил, как твои дела. Я лох. Прости.
> Все нормально. Не забывай, это я тебя нашел.
> Я лошара.
> Мне ничего не грозит. Никому из нас не грозит.
> Что было бы, если бы ты остался на Западном берегу?
> Не знаю, правда.
> Прикинь.
> Зачем?
> Просто мне любопытно.
> Ну, если бы мы там застряли во время землетрясения, нам пришлось бы оборудовать временную базу какого-нибудь типа и ждать эвакуации.
> Какую примерно базу?
> Какую мы сумели бы оборудовать. Может, занять какое-то здание.
> В окружении врагов, которые хотят вас убить?
> Что у вас нового?
> Они бы швыряли в вас всякое говно.
> Говно?
> Ну, гранаты там, еще что-то.
> Не бывает никаких "гранат и еще чего-то". Оружие имеет точные названия.
> Верно.

- > Может, швыряли бы. Может, нет. Может, им было бы не до нас.
- > Не очень хорошо.
- > Нет такого варианта, при котором будет хорошо.
- > А какой худший вариант?

Сэма, как и его отца, привлекали худшие сценарии. Почему они его волновали, было вполне понятно, но почему утешали, это объяснить труднее. Может, они показывали, как далеко это все от его спокойной и мирной жизни. Может, знакомство с худшими из возможных исходов давало какую-то психологическую подготовку, помогало отстраняться. Может, они были просто еще одним острым инструментом — как те ролики, без которых он, ненавидя их, не мог обойтись, — выпускавшим наружу его нутро.

Когда он был в шестом классе, в его Еврейской школе детей заставили смотреть документальный фильм о лагерях смерти. Сэм так и не понял, поленился ли учитель (законный способ скоротать два часа работы), не мог или не хотел объяснять этот материал, или не считал возможным дать его как-то иначе, чем просто продемонстрировать. Даже в тот момент Сэм понимал, что ему рано видеть такое.

Они сидели за дээспэшными партами для правшей, а учитель — чье имя они все запомнят до конца своих дней, — пробормотав несколько тусклых фраз о контексте и о выводах, добавил предупреждение и нажал "Пуск". Они смотрели на шеренги голых женщин, многие из которых прижимали к груди младенцев. Они плакали — и матери, и дети, — но почему они только плакали? Почему они были такими покорными? Такими безответными? Почему матери не бежали? Не пытались спасти жизни детей? Почему не защищали детей? Уж лучше получить пулю на бегу, чем послушно шагать на смерть. Ничтожный шанс — это бесконечно больше, чем никаких шансов.

Сами еще дети, они смотрели из-за парт; видели, как мужчины рыли для себя братские могилы и вставали на краю на колени, сплетя пальцы на затылке. Зачем они рыли себе могилы? Если тебя все равно убьют, зачем помогать убийце? Ради нескольких лишних секунд жизни? В этом мог быть смысл. Но как они умудрялись сохранять такое самообладание? Думали, это даст еще несколько секунд жизни? Может быть. Ничтожный шанс бесконечно больше, чем никаких шансов, но мгновение жизни — это вечность. Будь славным еврейским мальчиком, и вырой славную еврейскую могилу, и стань на колени, ты же мужчина, и, как говорила Сэму в детском саду воспитательница по имени Джуди Шо: "Бери, что дали, и будь доволен".

Они видели зернистые фотоснимки людей, превращенных в материл для научных опытов, — мертвых близнецов, Сэм не мог не вспоминать их, вцепившихся друг в друга на столе. При жизни они так же льнули друг к другу? Сэм вновь и вновь задавался этим вопросом.

Они видели фотографии, сделанные в освобожденных лагерях: груды из сотен тысяч худых, как скелеты, тел, в обратную сторону согнутые колени и локти, вывернутые из суставов ноги и руки, глаза так глубоко ввалившиеся, что их не видно. Холмы из тел. Бульдозеры, проверяющие детскую веру в то, что мертвецы ничего не чувствуют.

Что он понял? Что немцы были — и *остались* — нелюдями, нелюдями, способными не только отрывать младенцев от матерей и рвать на части их жалкие тельца, но и хотеть этого; что не вмешайся другие народы, немцы до последнего истребили бы всех еврейских мужчин, женщин и детей на планете; что, конечно же, дед Сэма был абсолютно прав, даже если казался кому-то безумцем, когда говорил, что еврей не должен покупать никаких немецких товаров, независимо от размера и вида, не должен никаких денег опускать в немецкие карманы, не должен посещать Германию, зато должен всегда морщиться, слышав язык варваров, и ему не следует никак взаимодействовать сверх того, что абсолютно неизбежно, ни с одним немцем, независимо от возраста. Напиши это на дверях своего дома, напиши на воротах.

Или он понял, что все, однажды произошедшее, *может* повториться вновь, *вероятно* повторится, *должно* повториться, *повторится*.

Или понял, что его жизнь неразрывно связана с глубоким страданием, даже если не есть его прямое следствие, и что существует какое-то экзистенциальное уравнение — пусть он не знает какое и что из него следует, — связывающее его жизнь и их смерти.

И еще он почувствовал кое-что. Что почувствовал? Что это было за чувство? Сэм не рассказывал родителям, что увидел. Не искал ни объяснений, ни утешений. Он получал довольно наставлений — почти всегда невольных и исключительно деликатных — никогда об этих вещах не спрашивать, даже просто не признавать их. Этой темы не касались, она была неупоминаемой, вечным предметом не-обсуждения. Куда ни посмотришь, и там ее нет.

Отец был помешан на показном оптимизме, воображаемой скупке недвижимости и анекдотах; мать — на прикосновениях перед прощанием, рыбьем жире, на том, в чем ходят дети, и на том, что все надо "делать как следует"; Макс — на грандиозном умении сочувствовать и добровольном самоотчуждении; Бенджи — на метафизике и примитивной безопасности.

А он, Сэм, вечно чего-то жаждал. Какова была природа этой жажды? Она как-то связана была с одиночеством (его собственным и других людей), со страданием (его и других), со стыдом (его и других), со страхом (его и других). Но еще с упрямой верой, и с упрямым достоинством, и с упрямой радостью. И при том она не равнялась вполне ни одному из этих чувств и не была их суммой. Это было ощущение себя евреем. Но что это за ощущение?

Есть вещи, которые сегодня сказать непросто

Израиль по-прежнему заявлял, что справится с ситуацией, но по-прежнему не открывал воздушное пространство, и десятки тысяч израильтян застряли в отпусках, а евреи других стран, готовые поспешить на помощь, не могли прилететь. Тамир пытался пробраться на борт грузового самолета Красного Креста, выправить специальное разрешение через военного атташе посольства, устроиться сопровождать партию строительной техники. Но пути домой не было. Тамир, наверное, единственный был доволен, что оказался на похоронах, — там и ему выпало несколько часов покоя.

Сэм надел на похороны свой плохо подогнанный костюм для бар-мицвы. Носить его было единственным, что Сэм ненавидел больше, чем его на себя надевать: зеркальная камера пыток, мать с ее бесполезной помощью, переживший холокост старикан портной, несомненный педофил, не раз и не два, а трижды схвативший Сэма паркинсоновскими пальцами за пах и объявивший: "Полно места".

Тамир и Барак были в свободных брюках и в рубашках с коротким рукавом: их наряд на любой случай, будь то поход в синагогу, в магазин за продуктами, баскетбольный матч "Маккаби" или похороны главы рода. Любого толка формальности: в одежде, в речи, в проявлении эмоций — казались им вопиющим посягательством на данное Богом право всегда быть самими собой. Джейкобу это казалось возмутительным и достойным зависти.

На Джейкобе был черный костюм, в кармане которого лежала коробочка с мятными пастилками: память из тех дней, когда ему было настолько не все равно, как пахнет у него изо рта, что он пытался учуять это, выдыхая в ладони.

Джулия была в винтажном платье от Жана Туиту, которое купила на "Этси" за бесценок. Оно не было в точном смысле траурным, но Джулии до сих пор не представилось повода его надеть, а она хотела это сделать, и при выхолощенной бар-мицве события торжественнее похорон ей не светило.

— Ты великолепно выглядишь, Джулия, — подсказала она Джейкобу, ненавидя себя за это.

— Ослепительно, — ответил Джейкоб, ненавидя ее за то, что она сказала, но и удивленный тем, что его оценка все еще важна ей.

— Эффект мог быть сильнее, не будь комплимент выпрошен.

— Джулия, мы на похоронах. И спасибо тебе.

— За что?

— Ты сказала, что я хорошо выгляжу.

Ирв был в том же костюме, который носил со времен Шестидневной войны. Исаак был в покрывале, которое было на нем в день его свадьбы, раз в год он облачался в него, а после бил себя в грудь кулаком: *За грех, совершенный пред Тобой отвержением уст... За грех, совершенный явно или тайно... За грех, совершенный пред Тобой по смущению духа...* Карманов у этого покрывала не было, ведь мертвых положено погребать без всякого обременения.

Небольшой — и численно и по габаритам — отряд из "Адас Исраэль" прошелестел сквозь скорбь как бриз: они принесли табуреты, повесили зеркала, организовали угощение и выставили Джейкобу недетализированный счет, но запросить уточнения было бы равнозначно еврейскому сеппуку. Будет скромная служба, затем погребение в Джудеан-Гарденз, затем скромный киддуш^[37] в доме Ирва и Деборы, затем вечность.

На похоронах была вся местная родня и несколько старых чудаковатых евреев из Нью-Йорка, Филадельфии и Чикаго. Джейкоб не раз встречал этих людей, но только на церемониях перехода: бар-мицвах, свадьбах, похоронах. Их имен он не знал, но лица рефлекторно, сразу, навевали экзистенциальные выводы: если вы тут, если я вас вижу, должно быть, происходит что-то важное.

Рав Ауэрбах, знавший Исаака несколько десятилетий, месяцем раньше перенес insult и потому доверил проведение обряда другому — молодому, взъерошенному, бойкому и, похоже, туповатому недавнему выпускнику того учреждения, где готовят раввинов. На нем были незашнурованные теннисные туфли, и Джейкоб видел в этой неряшливости своего рода приношение человеку, который, вероятно, *ел* кожаные туфли в бессолнечных лесах Польши. Хотя это мог быть и какой-то религиозный знак почтения, типа сидения на табуретах или зашивания зеркала.

Перед началом службы новый рав подошел к Джейкобу и Ирву.

— Сожалею о вашей утрате, — сказал он, сложив ладони ковшиком перед собой, будто в них было сочувствие, или мудрость, или пустота.

— Да, — ответил Ирв.

— Есть некоторые обрядовые...

— Не распространяйтесь. Мы не религиозная семья.

— Пожалуй, это зависит от того, как понимать *религиозность*, — заметил рав.

— Пожалуй, не зависит, — поправил его Джейкоб, вступаясь не то за

отца, не то за отсутствие бога.

— И это сознательная позиция, — продолжил Ирв. — Не лень, не инертность, не ассимиляция.

— Я уважаю вашу позицию, — сказал рав.

— Мы не хуже любых других евреев.

— Уверен, вы лучше большинства.

Ирв мгновенно парировал:

— Меня не особенно волнует, что вы уважаете, а что нет.

— И это я тоже уважаю, — сказал рав. — Вы человек твердых убеждений.

Ирв обернулся к Джейкобу:

— Да этому парню все нипочем.

— Идемте, — сказал Джейкоб. — Пора.

Рав напомнил последовательность несложных ритуалов, которые Джейкобу с Ирвом, хотя и совершенно добровольно, но обязательно следовало исполнить, чтобы обеспечить Исааку легкий переход в то место, которое обещает еврейская вера. После своего первоначального отпора Ирв, казалось, не просто согласился, но захотел расставить точки над зайнами и черточки над хетами — будто заявить о сопротивлении было равно оказанию сопротивления. Он не верил в Бога. Не мог, и всё, открыться этой глупости, даже если она принесла бы ему столь необходимое утешение. Было лишь несколько моментов, касающихся не веры, а религиозности, и каждый из них связан с Джейкобом. Когда Дебора рожала, Ирв молился, ни к кому не обращаясь, о том, чтобы с ней и с ребенком все было хорошо. Когда Джейкоб родился, Ирв молился, ни к кому не обращаясь, чтобы его сын надолго пережил его, чтобы он больше узнал, лучше познал себя, чем удалось Ирву, и был счастливее. На бар-мицве Джейкоба, стоя у Ковчега, Ирв возносил благодарственную молитву, не обращаясь ни к кому, которая дрожала, потом пресеклась, а потом рванулась с такой прекрасной свободой и звучностью, что у Ирва не осталось голоса для выступления на банкете. В помещении Больницы Джорджа Вашингтона, где они с Деборой не читали книги, в которые уставились, и Джейкоб, едва не сорвав дверь с петель, ворвался, лицо в слезах, халат в крови, и кое-как смог вымолвить: "У вас родился внук", Ирв закрыл глаза, но свет не погас, и произнес свою молитву, в которой не было звуков, а была только сила. Он всегда обращался ни к кому и к Царю Вселенной. Ирв достаточно времени убил на борьбу с глупостями. Тут, на кладбище, любая борьба казалась глупостью.

Рав прочел короткую молитву, не сообщив ни перевода, ни общего

изложения смысла, и поднес лезвие бритвы к лацкану пиджака Ирва.

— Этот пиджак мне нужен на бар-мицву внука.

Не услышав Ирва, или, наоборот, услышав, молодой рав сделал едва заметный надрез и приказал Ирву разорвать его — сделать настоящую прореху — указательными пальцами. Это выглядело смешно, такое движение. Это было колдовство, след из тех времен, когда женщин забивали камнями за неправильное отправление месячных и немыслимо было сотворить такое с пиджаком от братьев Брукс. Но Ирв хотел похоронить отца в соответствии с еврейским законом и традицией.

Он просунул пальцы в разрез, будто в рану на собственной груди, и потянул. Ткань затрещала, и у Ирва потекли слезы. Джейкоб много лет не видел, как отец плачет. Он не мог вспомнить, когда видел его плачущим в последний раз. Внезапно появилась мысль, что, возможно, он вообще никогда такого не видел.

Ирв посмотрел на сына и прошептал: "Вот и не осталось у меня родителей". Рав объявил, что настал момент, пока гроб не сняли с катафалка, Ирву простить отца за все и попросить у него прощения.

— Все нормально, — сказал Ирв, отвергая предложение.

— Я знаю, — сказал рав.

— Мы сказали друг другу все, что нужно было сказать.

— А вы все равно, — убеждал рав.

— Мне кажется глупым говорить с мертвым.

— А вы все же поговорите. Не хотел бы я, чтобы вы потом жалели, что не воспользовались последней возможностью.

— Он умер. Его это уже не касается.

— Вы живы, — сказал рав.

Ирв покачал головой и долго не прекращал качать, но объект отрицания сменился: теперь это был не ритуал, а собственная неспособность Ирва в нем участвовать.

Он обернулся к Джейкобу:

— Прости.

— Ты понимаешь, что не я мертвец.

— Да. Но мы оба ими когда-нибудь станем. Такие дела.

— Простить за что?

— Извинение — лишь тогда извинение, когда оно всеобъемлющее. Я прошу прощения за все, в чем мне надо просить прощения. Без всякой связи.

— Я думал, без связи мы были бы монстрами.

— Мы монстры в любом случае.

— Да, ладно, я тоже кретин.

— Я не говорил, что я кретин.

— Ладно, это я шмок.

Ирв погладил Джейкоба по щеке и почти улыбнулся.

— Ну что ж, начнем, — сказал он раву и приблизился к катафалку сзади.

Он нерешительно положил руки на гроб и опустил голову. Джейкоб расслышал несколько слов — ему хотелось слышать все, — но смысл до него не доходил.

Шепот не умолкал — и после "Прости меня", и после "Я тебя прощаю". Что он там говорит? Почему Блохам так трудно говорить друг с другом, пока они живы? Почему нельзя, полежав в гробу, выслушать все невысказываемые чувства близких, а потом вернуться в мир живых с тем, что узнал? Все слова говорились тем, кто не мог на них ответить.

Было жарко и сыро, не лучший момент для стихийных речей. Потом пропитывалось белье, белые рубашки и черные пиджаки мужчин, и даже сложенные платки в их нагрудных карманах. С потом они теряли физический вес, как будто хотели обратиться в соль, подобно жене Лота, или в ничто, подобно человеку, которого они пришли хоронить.

Большинство кузенов чувствовали, что обязаны произнести какие-то слова, так что пришлось всем в этой парилке терпеть дольше часа бессвязные банальности. Исаак был храбрым. Он был упорным. Он любил. И какой-то странный перевертыш того, что говорят гои о своих: он выжил ради нас.

Макс рассказал, как прадедушка однажды отозвал его в сторонку и спросил, не имея в виду ни дня рождения, ни хануки, ни какой-то другой важной даты, ни блестящего табеля, ни школьного концерта: "Чего ты хочешь? Скажи мне. Хоть что. И у тебя будет, что ты хочешь". Макс ответил, что хочет *дрон*. В следующий раз, когда Макс пришел к Исааку, то опять отозвал его в сторонку и вручил настольную игру "Реверси" — не то имитацию "Отелло", не то оригинал, который "Отелло" имитирует. Макс сообщил скорбящим, что если кто-то задался бы вопросом, какое слово меньше всех похоже на "дрон", то это было бы слово "Реверси". Затем он кивнул или поклонился и вернулся на свое место рядом с матерью. Ни морали, ни утешения, ни вывода.

Ирв, который начал сочинять речь задолго до смерти Исаака, предпочел промолчать.

Тамир стоял немного в стороне. Неясно было, старается ли он сдерживать эмоции или хочет вызвать их. Не раз и не два он доставал

телефон. Его невозмутимость не ведала границ, не было такого, от чего он не мог бы отмахнуться: смерть ли это, стихийное ли бедствие. И было в Тамире еще что-то, злившее Джейкоба и почти несомненно вызывавшее зависть. Почему Тамир так мало похож на Джейкоба? Такой вопрос. И почему сам он так мало похож на Тамира? Это тоже вопрос. Если бы привести их к единому знаменателю, вышел бы вполне достойный еврей.

Наконец вперед выступил рав. Он откашлялся, сдвинул очки на нос и вынул из кармана небольшой блокнот на спирали. Пролистнув несколько страниц, сунул его обратно, будто перенес содержимое в память или убедился, что перепутал блокноты.

— Что можно сказать об Исааке Блохе?

Он выдержал достаточно долгую паузу, чтобы возникли сомнения в его риторике. Может, он и впрямь задал вопрос? Признавая, что не знал Исаака настолько, чтобы говорить о нем?

Что можно сказать об Исааке Блохе?

Моментально влажный цемент недовольства, которое Джейкоб почувствовал возле катафалка, застыл до той твердости, когда об него расшибаешь кулаки. Этот парень был Джейкобу ненавистен. Ненавистна его ленивая праведность, его вшивая манерность, его маниакальное оглаживание бороды — жесты из дешевого театра; слишком тугой воротничок, развязанные шнурки и криво сидящая ермолка. Такое время от времени накатывало на Джейкоба — быстрое, сплошное и вечное отвращение. Так бывало с официантами, так было с Дэвидом Леттерманом и с равом, который обвинял Сэма. Не раз он возвращался домой после обеда со старым приятелем, из тех, с кем прошел не одну житейскую страду, и невзначай сообщал Джулии: "Кажется, тут конец". Поначалу она не понимала, что он имеет в виду — *конец чего? почему конец?* — но прожив несколько лет с этим категоричным и беспощадным человеком, столь неуверенным в собственных достоинствах, что ему было просто необходимо четко определять достоинства ближних, она научилась если не понимать его, то хотя бы узнавать.

— Что можно сказать, когда о человеке можно сказать так много?

Рав сунул руки в карманы, закрыл глаза и кивнул.

— Не слов не хватает, времени. Не хватит времени — всего, оставшегося до конца времен, — чтобы описать трагедию, и героизм, и трагедию жизни Исаака Блоха. Мы могли бы стоять здесь и говорить о нем до наших собственных похорон, и того бы не хватило. Я был у Исаака утром в день его смерти.

Погодите-ка, что? Как это можно? Ведь он же просто никчемный

шмок, он тут лишь потому, что у настоящего, хорошего рава перестала работать половина рта? Если бы по дороге из аэропорта они заехали к Исааку, встретились бы они с этим парнем?

— Он позвонил и попросил меня зайти. В голосе не было никакой тревоги. Никакого отчаяния. Но была просьба. И я пришел. Раньше я не был у него дома. Мы лишь пару раз встречались в шule, на бегу. Он усадил меня за кухонный стол. Налил стакан имбирного пива, подал тарелку черного хлеба и нарезанную дыню. Многие из вас угощались тем же за его столом.

Осторожный смешок признания.

— Он говорил медленно, с напряжением. Рассказал о бар-мицве Сэма, о сериале Джейкоба, о том, что Макс рано научился делить в столбик, что Бенджи ездит на велосипеде, о проектах Джулии и о *мешугах* Ирва — это он так сказал.

Смешок. Рав набирает очки.

— Потом он сказал: "Равви, я больше не отчаиваюсь. Семьдесят лет меня мучили кошмары, но теперь я их не вижу. И чувствую только благодарность за мою жизнь, за каждое прожитое мгновение. Не только за добрые минуты. Я благодарен за каждую минуту своей жизни. Я видел так много чудес".

Это могло быть либо нагло нагроможденной горячей навозной кучей лжи, либо откровением, позволявшим заглянуть в подсознание Исаака. Только этот рав точно знал — что честно пересказано, что приукрашено, а что и вовсе выдуманно. Кто-нибудь вообще слышал, чтобы Исаак произносил слово *отчаяние*? Или *благодарность*? Он сказал бы: "Было ужасно, но ведь могло обернуться и хуже". Но сказал бы он вот *так*? Благодарен за *что*? И что это за многочисленные чудеса, которые он видел?

— Потом он спросил, говорю ли я ни идише. Я ответил, что не говорю. Он удивился: "Что это за раввин, который не знает идиш?"

Довольно отчетливый смех.

— Я сказал, что бабушки и дедушки говорили на идише с моими родителями, но родители не давали мне слушать. Они хотели, чтобы я говорил по-английски. А идиш *забыл*. Исаак сказал мне, что поступал так же, что он последний носитель идиша в семье, что язык уйдет с ним в могилу. А потом он положил ладонь мне на руку и сказал: "Я научу вас одному выражению на идише". Глядя мне в глаза, он произнес такие слова: *Кайн бриере из ойх а бриере*. Я спросил, что это значит. Он убрал руку и сказал: "А вы справьтесь". Снова смех.

— Я *справился*. С телефона, в его ванной.

Еще смех.

— Кайн бриере из ойх а бриере. Это значит: "Отсутствие выбора — это тоже выбор".

Ну нет, такого Исаак сказать не мог. В этих словах столько фальшивой мудрости, столько смирения. Исаак Блох был разным, но никогда не был покорным.

Если отсутствие выбора — тоже выбор, то именно таким выбором Исааку пришлось бы довольствоваться каждый день после 1938 года. Но он был нужен семье, особенно до того, как она у него появилась. Им было нужно, чтобы Исаак повернулся спиной к родителям, и их родителям, и к пятерым братьям. Чтобы он прятался в норе вдвоем со Шломо, шел на негнущихся ногах в сторону России, питался по ночам объедками, брошенными в мусор, прятался, крал, рыскал. Им нужно было, чтобы он подделал документы, и попал на пароход, и правильно соврал иммиграционному чиновнику в Штатах, и потел по восемнадцать часов в сутки, чтобы лавка приносила доход.

— Потом, — продолжал молодой рав, — он попросил меня купить ему в "Сэйфуэ" туалетной бумаги, потому что там на нее акция.

Захихикали все.

— Я сказал ему, что ему не придется покупать. Это будет забота Еврейского дома. Он снисходительно улыбнулся и сказал: "Но такая цена..."

Засмеялись громче, свободнее.

— "Это все?" — спросил я. "Все", — ответил он. "Может, вы хотели что-то услышать от меня? Что-то сказать?" Он ответил: "В двух вещах нуждается каждый человек. Первое — знать, что ты что-то привносишь в мир. Вы согласны?" Я сказал, что согласен. "Второе, — продолжил он, — туалетная бумага".

Самый громкий смех.

— Я вспоминаю хасидское учение, с которым познакомился, готовясь в раввины. Есть три восходящих уровня скорби: слезы, безмолвие и пение. Как мы оплакиваем Исаака Блоха? Слезами, молчанием или пением? Как мы оплакиваем его уход? Конец той эпохи жизни евреев, в которой он существовал и которую представлял? Конец эпохи евреев, говоривших этой музыкой разбитых инструментов; строивших грамматику против часовой стрелки и не понимавших смысла ни одного расхожего выражения; говоривших *мене* вместо *мне*, *немцы* вместо *нацисты* и умолявших абсолютно здоровых родственников не болеть, вместо того чтобы просто испытывать благодарность за здоровье? Конец стопятидесятидецибелловых

поцелуев, этого пьяного европейского протокола. Льем ли мы слезы об их исчезновении? Молча скорбим? Или поем им хвалы? Исаак Блох не был последним из таких евреев, но они уже уходят и скоро исчезнут. Мы знаем их — мы жили среди них, они сформировали нас как евреев и как американцев, как сыновей, дочерей, внуков, — но время нашего общения с ними подходит к концу. И скоро они уйдут навсегда. И мы будем их только помнить. Пока не забудем.

Мы знаем их. Плачем об их страданиях, молчим о том, что невозможно выказать, поем об их беспримерной стойкости. Больше не будет старых евреев, которые в любой мало-мальски хорошей новости видят предвестие неминуемого конца света, на фуршете ведут себя, как в продуктовом магазине перед ураганом, и прикасаются пальцем к нижней губе, прежде чем перевернуть страницу своего народного эпоса, изданного кофейным магнатом.

Ненависть Джейкоба стала смягчаться — не испаряться, даже не таять, но терять четкость очертаний.

Рав помолчал, сложил ладони, вздохнул.

— Пока мы стоим у могилы Исаака Блоха, идет война. Даже две войны. Одна вот-вот вспыхнет. Другая продолжается семьдесят лет. Надвигающаяся война решит, уцелеет ли Израиль. Та вторая решит, уцелеет ли еврейская душа. Выживание было главной темой и главным императивом еврейского бытия с самого начала, и не потому, что мы так хотели. У нас всегда были враги, нас всегда преследовали. Неправда, что все ненавидят евреев, но в каждой стране, где бы нам ни случилось жить, в любое десятилетие любого века мы сталкивались с ненавистью. И потому мы спали вполглаза, держали под кроватью собранные чемоданы, а в кармане пиджака, у сердца, — билет на поезд в один конец. Мы старались никого не обижать и не очень шуметь. Преуспевать, да, но не привлекать при этом к себе лишнего внимания. Мы всю свою жизнь выстраивали вокруг установки сохранить жизнь — с нашими историями, привычками, ценностями, мечтами и тревогами. Кто мог бы нас упрекнуть? Мы травмированный народ. А ничто так не деформирует сознание и душу, как пережитая травма. Если вы спросите сотню евреев, какую книгу признать еврейской книгой столетия, то услышите в ответ: "Дневник Анны Франк". Если вы спросите о главном еврейском произведении искусства этого столетия, то ответ будет тот же. Несмотря на то что дневник создавался не как книга и не как произведение искусства и вовсе не в том столетии, о котором задан вопрос. Но его магнетизм — как символа и как факта — непреодолим.

Джейкоб оглянулся вокруг: одного ли его удивило, какое направление приняли рассуждения рава. Никто, казалось, не был этим смущен. Даже Ирв, у которого голова умела только вращаться на оси несогласия, кивал.

— Но хорошо ли это для нас? Хорошо ли склоняться к страданию, а не к суровости, к бегству, а не к погоне, к жертвенности, а не к силе? Никто не может упрекнуть Анну Франк в том, что она умерла, но мы можем упрекать себя в том, что ее историю рассказываем, как свою собственную. Наши истории столь много значат для нас, потому легко можно забыть, что мы сами их выбираем. Мы решаем, какие страницы вырывать из исторических книг, а какие скручивать в наши мезузы^[38]. Мы решили сделать важнейшей еврейской ценностью саму жизнь и не различать ценность различных образов жизни, или, если взять глубже, не признавать, что бывает нечто более важное, чем жизнь.

Столь многое в нынешнем иудаизме: видеть в Ларри Дэвиде что-то помимо хохмы, не возражать против стереотипа "американской еврейской принцессы", принимать неловкость, бояться гнева, переносить акцент со спора на признание — есть прямое следствие того, что мы позволили дневнику Анны Франк заменить Библию в роли нашей библии. Ведь еврейская Библия, чье назначение — определять и сохранять еврейские ценности, вполне недвусмысленно гласит, что жизнь не есть высочайшая цель. Выше — *праведность*. Авраам просил Господа пощадить Содом ради *праведников*, живших там. Не потому, что жизнь сама по себе заслуживает спасения, а потому, что сохранять нужно *праведность*. Бог наслал на землю потоп и спас только Ноя, который *был праведен*. Существует еще концепция ламедвовников — тридцати шести праведников, которые есть в каждом поколении и ради добродетели которых мир спасается от изничтожения. Человечество существует не потому, что заслуживает спасения, а потому, что праведность немногих оправдывает существование всех остальных. Один образ из моего детства, а возможно, и из вашего — та строчка из Талмуда: "И всякий, спасающий одну жизнь, спасает целый мир". Это красивая идея, и она достойна того, чтобы жить по ней. Но мы не должны приписывать этой формуле больше, чем она в себе несет. Насколько более великим народом были бы сегодня евреи, если бы нашим устремлением было *не избегать смерти, а праведно жить*. Если бы вместо "Так со мной поступили" нашей мантрой было "Я так поступил".

Рав помолчал. Не мигая глядел, прикусил нижнюю губу.

— Есть вещи, о которых сегодня трудно говорить.

Он почти улыбнулся, точно как Ирв, когда гладил Джейкоба по щеке.

— В иудаизме особое отношение к слову. Назвать предмет словом —

значит вдохнуть в него жизнь. "Да будет свет", — сказал Господь, и воссиял свет. Никакой магии. Никаких воздетых рук и грома. Произнесенное слово сделало это возможным. Может, это самая мощная из еврейских идей: слово создает. Это как на свадьбе. Вы говорите "согласен" и тем соглашаетесь. А что это на самом деле такое — быть в браке?

У Джейкоба зачесалась кожа на голове. Джулии захотелось пошевелить пальцами.

— Быть в браке — это значит говорить, что ты в браке. Не только супругу, но обществу и, если ты верующий, Богу. И так же с молитвой, с настоящей молитвой, которая никогда не бывает просьбой и никогда не бывает хвалой, но выражением чего-то столь важного, что иначе не может быть выражено никак. Как писал Абрахам-Джошуа Хешель: "Молитва не может нас спасти. Но может сделать нас достойным спасения". Сказанные слова делают нас достойными, праведными.

Он опять покусал губу и покачал головой.

— Есть вещи, о которых сегодня трудно говорить. Часто бывает так: все говорят о том, чего никто не знает. А сегодня никто не говорит о том, что известно всем. Думая об этих войнах, которые выпали нам, — войне за спасение наших жизней и войне за спасение наших душ, — я вспоминаю величайшего из еврейских предводителей, Моисея. Вы, наверное, помните, что его мать, Иоахаведа, спрятала его в тростниковой корзине, которую пустила вниз по Нилу в последней надежде спасти от смерти. Корзину нашла дочь фараона. "Смотрите, — сказала она. — Еврейский младенец плачет!" Но как она узнала, что ребенок еврейский?

Рав помолчал, выдерживая напряженную паузу, будто изо всех сил старался спасти жизнь птице, которая просто хотела упорхнуть.

Заговорил Макс:

— Наверное, потому, что евреи пытались спасти детей от убийц, и только в такой ситуации кто-то может положить ребенка в корзину и пустить по реке.

— Пожалуй, — сказал рав, не с покровительственным одобрением, а только с восхищением от догадки Макса. — Пожалуй.

И снова выдержал паузу.

Заговорил Сэм:

— Вот я вполне серьезно: может, она увидела, что он обрезан? Правильно? Она говорит: "Смотрите!"

— Это могло быть, — покивал головой рав.

И погрузился в молчание.

— Я ничего не знаю, — сказал Бенджи, — но может, он плакал по-

еврейски?

— А как плачут по-еврейски? — спросил рав.

— Я ничего не знаю, — еще раз объявил Бенджи.

— Никто ничего не знает, — сказал рав. — Попробуем разобраться вместе. Как можно плакать по-еврейски?

— Мне кажется, новорожденные вообще-то не говорят.

— А слезы говорят?

— Не знаю.

— Странно, — сказала Джулия.

— Что именно?

— Ведь она бы *услышала* его плач? Так бывает. Ты слышишь плач ребенка и идешь к нему.

— Да, да.

— А она говорит: "Смотрите! Еврейский младенец плачет". *Смотрите*. Она *видит*, что ребенок плачет, но *не слышит* его.

— Так скажите мне, что это означает, — попросил рав — без покровительственности, без самодовольства.

— Она поняла, что он еврей, потому что только евреи плачут беззвучно.

На секунду, как мгновенный укол, Джейкоба охватил ужас от того, что он умудрился потерять самого умного человека в мире.

— Была ли она права? — спросил рав.

— Да, — ответила Джулия. — Ребенок был еврейским.

— Но была ли она права, что евреи плачут беззвучно?

— Моим опытом не подтверждается, — сказала Джулия со смешком, который вызвал облегченный смешок и у остальных.

Не двинувшись с места, рав ступил в могилу молчания. Он поднял на Джулию невыносимо прямой взгляд, будто, кроме них двоих, никого не осталось в живых, будто единственным, что отличало похороненных от стоявших, был угол в девяносто градусов.

Пристально глядя ей в лицо, рав спросил:

— Но по вашему опыту, плачут ли евреи беззвучно?

Джулия кивнула.

— А теперь я хотел бы задать вопрос тебе, Бенджи.

— Ага.

— Предположим, для нас, как евреев, есть две возможности: плакать беззвучно, как говорит твоя мама, или плакать по-еврейски, как ты сказал. Как это будет звучать — плач по-еврейски?

— Не знаю.

— Никто не знает, значит, ты не можешь ошибиться.

— Я даже не догадываюсь.

— Может, как смех? — предположил Макс.

— Как смех?

— Ну, я не знаю. Но у нас так.

На секунду, как мгновенный укол, Джейкоба охватил ужас, что он умудрился сломать жизнь трем самым прекрасным на свете человеческим существам.

Он вспомнил, что, когда Сэм был малышом, каждый раз, как он оцарапается, порежется или обожжется, после каждого анализа крови, каждого падения с ветки дерева, которая потом всегда считалась "слишком высокой", Джейкоб спешил подхватить его на руки, будто земля под ногами внезапно вспыхнула огнем, и говорил: "Ты цел. Все нормально. Ничего страшного. Ты цел". И Сэм всегда ему верил. И Джейкоба потрясало, как это всякий раз срабатывало, и устыжало. Бывало, если требовалась ложь более явная, например, когда текла кровь, Джейкоб даже говорил: "Смешно". И сын верил ему, ведь у сыновей нет выбора. Но сыновьям бывает больно. И если они боль никак не показывают, это не значит, что ее нет. Это другая боль. Когда Сэму разmozжило пальцы, он повторял: "Смешно. Смешно же, да?" Это было унаследованное.

Ноги Джейкоба уже не выдерживали веса сердца. Он чувствовал, что колени подгибаются, не то от слабости, не то для молитвенного преклонения.

Он положил руку Джулии на плечо. Она не обернулась, никак не ответила на его прикосновение, но помогла устоять на ногах.

— Что ж, — сказал рав, вернувшись к роли главного оратора, — что мы скажем об Исааке Блохе и как мы будем оплакивать его? В его поколении было лишь два типа евреев: те, кто погиб, и те, кто выжил. Мы клялись чтить погибших, честно хранили обещание никогда их не забывать. Но отвернулись от тех, кто уцелел, и забыли их. Вся наша любовь досталась мертвым. Но теперь оба эти типа евреев имеют равный статус в смерти. Может, Исаак не встретится с братьями в загробной жизни, но он встретился с ними в смерти. И что же мы можем сказать о нем теперь и как мы его оплачем? Его братья погибли не потому, что были слабее, но Исаак выжил и умер оттого, что был сильным. *Кайн бриере из ойх а бриере.* Отсутствие выбора — это тоже выбор. Как мы расскажем историю человека, у которого никогда не было выбора? От этого зависит наше понимание праведности, того, какая жизнь достойна спасения. О чем плакал младенец Моисей? О себе ли он плакал? От голода или страха?

Плакал ли о своем народе? Его неволе и страданиях? Или то были слезы благодарности? Может, дочь фараона не слышала его плача, потому что он *не плакал*, пока корзину не открыли. Как нам следует оплакать Исаака Блоха? Слезами — но какими именно слезами? Молчанием — какого рода? Или какой песней? Наш ответ не спасет Исаака, но может спасти нас.

Всеми тремя, разумеется. Джейкоб видел фигуру рава сквозь толщу пяти тысячелетий. Всеми тремя, в силу трагедии, в силу почтения и в силу благодарности. В силу всего, чему надо было случиться, чтобы мы оказались здесь, в силу лжи, ожидающей впереди, в силу моментов радости столь великой, что они нисколько не подобны счастью. Слезами, молчанием, пением, потому что он выжил, чтобы мы могли грешить, потому что наша религия столь же великолепна, непрозрачна и хрупка, как витражи в минуты чтения Кол Нидре, потому что Экклезиаст ошибся: время есть не для всего.

Чего ты хочешь? Скажи мне. Что угодно. И у тебя будет, что ты хочешь.

Джейкоб заплакал.

Джейкоб завыл.

Имена были великолепны

Джейкоб нес гроб вместе с кузенами. И груз был значительно легче, чем он ожидал. Как мог человек, проживший столь тяжелую жизнь, оказаться таким легким? А вот задача эта оказалась на удивление непростой: несколько раз они чуть не упали, а Ирву лишь полувзмаха не хватило, чтобы скатиться в могилу вместе с отцом.

— Это самое плохое кладбище в мире, — заметил Макс, ни к кому не обращаясь, но достаточно громко, чтобы слышали все.

Наконец им удалось устроить простой сосновый гроб на широких полосах ткани и опустить в могилу.

Вот и все: свершилось. Ирв взял на себя ответственность — привилегию *мицвы* — бросить на отцовский гроб первую лопату земли. Он набрал с горой, повернулся к могиле и, опрокинув лопату, высыпал землю. Удар был громче, чем все ждали, и резче: будто все частички этого кома земли одновременно соприкоснулись с досками и будто падали они с гораздо большей высоты. Джейкоб поморщился. Джулия с мальчиками поморщились. Все поморщились. Кто-то подумал о теле в гробу. Кто-то об Ирве.

Как играть ранние воспоминания

Мои первые воспоминания попрятаны в дедовском доме, как афикоманы^[39]: пенные ванны со средством для мытья посуды; футбол в комнате, на коленках, с внуками уцелевших — эти игры всегда кончались ушибами или ранами; портрет Голды Меир, на котором, как казалось, двигались глаза; кристаллы растворимого кофе; жемчужинки жира на поверхности любой жидкости; игра в "Уно" за кухонным столом: только мы, два человеческих существа, вчерашний бублик, недельная "Джюиш Уик", восстановленный из концентрата сок с последней крупной распродажи, когда уж она там была. Я всегда его обыгрывал. Бывало, мы за вечер по сто партий играли, иной раз тратя на это оба вечера выходных, иногда по три уикенда в месяц. Он всегда проигрывал.

Что я считаю своим самым первым воспоминанием, вряд ли на самом деле первое — оно слишком позднее. Я путаю основополагающее и первое: так же и в домах, как нередко повторяла Джулия, первый этаж — это обычно второй, а то и третий.

Вот мое самое первое воспоминание: я сгребал листья перед домом и заметил что-то возле боковой двери. Это была мертвая белка, на которой

уже начали копошиться муравьи. Сколько она там пролежала? Отравилась ли она ядом? Каким? Загрызла ли ее соседская собака, а потом, исполнившись собачьего раскаяния, принесла нам свой позор? Или свою гордость? А может, белка умерла, пытаюсь проникнуть в дом?

Я побежал в дом и рассказал матери. У нее были запотевшие очки: она мешала в кастрюле, которую не видела. Не поворачиваясь, она сказала мне: "Иди к папе, он разберется".

Сквозь открытую дверь — стоя по безопасную сторону порога, — я смотрел, как отец надел на руку чистый полиэтиленовый пакет из тех, в которых приносили утреннюю "Пост", поднял белку, а затем вынул руку, вывернув пакет наизнанку, так что белка оказалась в нем. Пока отец мыл в ванной руки, я стоял рядом с ним возле раковины и задавал вопрос за вопросом. Мне то и дело преподавали уроки, и я привык думать, что любые события содержат какое-то необходимое знание, какую-то мораль.

Она была холодная? Когда, по-твоему, она умерла? А от чего? Ты не боялся?

— Боялся? — спросил отец.

— Тебе было противно?

— Конечно.

— Но ты пошел и взял ее, как нечего делать.

Отец кивнул.

Я смотрел, как его обручальное кольцо посверкивает сквозь мыльную пену.

— Ты думал, что это отвратительно?

— Угу.

— Это было вообще ужасно.

— Угу.

— Я не смог бы ее взять.

Он посмеялся отеческим смешком и сказал:

— Когда-нибудь и ты сможешь.

— А что, если не смогу?

— Когда ты отец, то за тобой уже никого нет. Если ты не сделаешь что нужно, то кто сделает?

— Все равно, я не смог бы.

— Чем сильнее тебе будет не хотеться это делать, тем больше ты будешь отцом.

В шкафу лежала не одна сотня пластиковых пакетов. Отец выбрал чистый и показал мне, как в таком случае надо с ним управляться.

Несколько дней я думал только о той белке, а потом забыл о ней на

четверть века, пока Джулия не забеременела Сэмом: в те дни мне стал вновь и вновь сниться кошмар — наша улица и вся округа завалены дохлыми белками. Тысячи дохлых белок: вдоль бровки тротуара, в полных мусорных контейнерах, простертые в застывших позах с вымокшим под струями дождевальными установок мехом. Во сне я неизменно откуда-то возвращался домой, неизменно шел пешком, и это всегда был конец дня. Занавешенные окна в доме светились, будто телеэкраны. У нас не было настоящего камина, но во сне из трубы поднимался дымок. Мне приходилось шагать на мысочках, чтобы не ступать по белкам, но иногда и этого не удавалось избежать. Я извинялся — перед кем? Белки лежали на подоконниках, на ступенях у дверей, вываливались из водосточных труб. Я видел их очертания сквозь ткань, проходя под матерчатыми навесами. Белки торчали из дверных прорезей для почты: очевидно, пытались найти еду или воду или просто умереть в доме — как та белка, что хотела умереть в доме моего детства. И во сне я знал, что мне придется убирать их всех.

Джейкобу захотелось встать подле отца, как он сделал тогда, ребенком, и спросить, как тот сумел бросить лопату земли в отцовскую могилу.

Ты думал, что это отвратительно?

Угу, ответил бы отец.

Я не смог бы.

Отец рассмеялся бы по-отечески и сказал:

Когда-нибудь и ты сможешь.

А что, если не смогу?

Дети хоронят родителей, потому что мертвых нельзя не хоронить. Родителям не обязательно приводить детей в этот мир, но детям приходится провожать родителей из него.

Ирв подал лопату Джейкобу. Их взгляды встретились. И отец прошептал сыну на ухо:

— Вот так оно и будет.

Представляя, как дети будут жить после него, Джейкоб не видел в этом для себя никакого бессмертия, как о том обычно, не особо мудрствуя, говорят, — обычно те люди, что пытаются уговорить других продолжать род. Не чувствовал ни удовлетворения, ни умиротворения, ни какого бы то ни было облегчения. Он чувствовал только неодолимую печаль обездоленного. Когда у тебя есть дети, смерть еще горшая несправедливость, потому что ты большего лишаешься. На ком женится Бенджи? (Против всех своих стараний, Джейкоб не мог отвязаться от еврейской уверенности, что он, конечно, захочет жениться и *женится*.)

Какая высокоморальная и доходная профессия привлечет Сэма? Каким странным хобби будет предаваться Макс? В какие страны они будут ездить? Какие у них будут дети? (Конечно, они захотят иметь детей и будут иметь детей.) Какие у них будут проблемы и радости? Какой смертью каждый из них умрет? (Ну, хотя бы он не увидит их смертей. Может, это и есть компенсация за то, что придется умереть самому.)

Прежде чем вернуться в машину, Джейкоб пошел прогуляться. Шел и читал надписи на надгробьях, словно страницы огромной книги. Имена зачаровывали — потому что это были еврейские хайку, потому что они совершили путешествие на машине времени, а те, кому они принадлежали, давно сгинули, потому что они смущали, как завернутые в бумагу столбики монет, потому что были прекрасны, подобно кораблям в бутылках, привезенным на кораблях, потому что они представляли собой мнемонические правила: *Мириам Апфель, Шайндель Потэш, Берил Дресслер...* Джейкобу хотелось запомнить их, использовать потом. Запомнить всё и всё использовать: шнурки рава, не связанные мелодии скорби, застывшие следы посетителя, приходившего в дождь.

Сидней Ландесман, Этель Кайзер, Лебель Альтермн, Дебора Фишбах, Лейзер Беренбаум...

Он запомнит эти имена. Он их не забудет. Он применит их. Сделает что-нибудь из того, что перестало быть хоть чем-то.

Сеймур Кайзер, Шошанна Остров, Эльза Глазер, Зура Нидлман, Хайме Раттнер, Симха Тиш, Дина Перлман, Рашель Нойштадт, Иззи Рейнхардт, Рубен Фишман, Хиндель Шульц...

Будто слушаешь течение еврейской реки. Но в нее можно войти дважды. Можно — Джейкоб мог: думал, что может, — собрать все, что утеряно, и заново найти, оживить, вдохнуть новую жизнь в спавшиеся легкие этих имен, этих акцентов, поговорок, повадок и существований. Молодой раб сказал верно: больше никто не будет носить таких имен. Но он ошибся.

Майер Фогель, Фрида Вальзер, Юссель Оффенбахер, Рейчел Блуменштейн, Велвл Кронберг, Лея Бекерман, Мендель Фогельман, Сара Бронштейн, Шмуэль Герш, Вольф Зелигман, Абнер Эдельсон, Юдит Вайс, Бернард Розенблут, Элиезер Умански, Рут Абрамович, Ирвин Перлман, Леонард Гольдбергер, Натан Москович, Пинкус Зискинд, Соломон Альтман...

Джейкоб где-то читал, что сегодня на планете живет больше людей, чем их умерло за всю историю человечества. Но такого ощущения не было. Казалось, что умерли все. И что для любой индивидуальности — при всей

небывалой диковинности этих имен, имен небывало диковинных евреев — исход у всех один.

Незаметно для себя он оказался там, где сходятся стены, в углу огромного кладбища, в углу огромной вселенной.

Джейкоб обернулся окинуть глазами безбрежность, и лишь тут до него дошло, или вломилось в сознание то, что он заставлял себя не признавать: он стоял среди самоубийц. Он находился в гетто для тех, кто не имел права лежать с остальными. В этом углу был отгорожен стыд. Здесь погребали в земле неизъяснимый стыд. Своя посуда для молочного, своя для мясного: одно с другим нельзя смешивать.

Мириам Анфель, Шайндель Потэш, Берил Дресслер...

Джейкоб в общих чертах знал о запрете самоубийства и расплате — посмертной — за такое деяние. Наказание достается не преступнику, а его жертвам: тем, кто остались жить и теперь должны хоронить своего мертвеца в другой земле. Джейкоб помнил это так же, как помнил запрет на татуировки — что-то на тему осквернения тела, — которые тоже определяют тебя в другую землю. И — не столь мистический, но ничуть не менее религиозный — запрет на употребление "пепси", за то, что "Пепси" предпочла рынок арабских стран израильскому. И запрет притрагиваться к *шиксам*, любым из способов, которыми ты до смерти хочешь к ним прикасаться, потому что это *шанда*, позор. И запрет сопротивляться, когда старики трогают твоё тело в любых местах, в каких хотят, потому что они исчезают, исчезающий народ, и это *мицва*.

Стоя в этом неогражденном гетто, Джейкоб вспомнил об эрувах — удивительной еврейской увертке, о которой рассказала ему Джулия, когда он не знал и о запрете, который эта хитрость позволяет обходить. Джулия узнала об эрувах не в контексте изучения еврейского закона, а в архитектурной школе: это был пример "магического строения".

В Шаббат евреям ничего нельзя "носить": ни ключи, ни монеты, ни салфетки, ни таблетки, ни трости, ни ходунки, ни даже детей, которые еще не умеют ходить. Формально этот запрет не относится к ношению в пределах жилища. Но что, если посчитать частным жильем огромную территорию? Что, если целый квартал будет считаться частным владением? А город? Эрув — это веревка или проволока, окружающая какой-то участок земли и сообщающая ему статус частного владения, в котором разрешается ношение. Эрувом окружен Иерусалим. Практически весь Манхэттен тоже. Практически в любом еврейском сообществе на земле есть эрув.

— И в Вашингтоне?

— Конечно.

— Ни разу не видел.

— А ты разве смотрел?

Она отвела его на перекресток Рино и Дейвенпорт, где эрув сворачивает за угол и его легче всего заметить. И он там висел, чисто зубная нитка. Они прошагали вдоль эрува по Дейвенпорт до Линнеан-авеню, затем по Брэндивайн-стрит и по Брод-брэнч. Они шли под нитью, которая летела от дорожного щита к фонарному столбу, потом к телеграфному, потом к следующему...

И теперь он стоял в окружении самоубийц, а в его карманах лежали: скрепка, которой Сэм умудрился придать форму самолета, скомканная двадцатка, Максова ермолка для похорон (очевидно, приобретенная на свадьбе людей, о которых он даже не слышал), квитанция из химчистки на брюки, в которые он сейчас одет, камень, который Бенджи подобрал с могилы и отдал отцу на хранение, и ключи — больше, чем было замков во всей его жизни. Чем старше он становился, тем больше с собой носил, тем сильнее должен был становиться.

Исаака похоронили в покрывале без карманов, в шестистах ярдах от той, что двести тысяч часов была его женой.

Сеймур Кайзер: любящий брат, любящий сын, — головой в духовке. *Шоанна Остров*: любящая жена, — в ванне со вспоротыми запястьями. *Эльза Глазер*: любящая мать и бабушка, — повесилась на потолочном вентиляторе. *Зура Нидлман*: любящая жена, мать и сестра, — зашла в реку с полными карманами камней. *Хайме Раттнер*: любящий сын, — перерезал вены над раковиной в ванной. *Симха Тиш*: любящий отец, любящий брат, — кухонный нож в животе. *Дина Перлман*: любящая бабушка, мать и сестра, — бросилась в лестничный пролет. *Рашель Нойштадт*: любящая жена и мать, — разрезальный нож в шее. *Иззи Рейнхардт*: любящий отец, муж и брат, — бросился с Мемориального моста. *Рубен Фишман*: любящий муж, — на скорости сто миль в час направил машину в дерево. *Хиндль Шульц*: любящая мать, — зазубренным хлебным ножом перерезала вены. *Исаак Блох*: любящий брат, муж, отец, дед и прадед, — повесился на брючном ремне у себя на кухне.

Джейкобу захотелось выдернуть нитку из своего черного пиджака, привязать к дереву в углу и обойти по краю гетто самоубийц, окружая его разматываемой ниткой. И потом, когда общественное станет частным, он унесет прочь их позор. Но куда?

Суша всегда окружена водой. Не каждая ли береговая линия — эрув? А экватор не эрув ли вокруг Земли? А орбита Плутона — эрув Солнечной системы? А обручальное кольцо все у Джейкоба на пальце?

Реинкарнация

- > Ну так что нового?
- > Кризис еще в самом разгаре.
- > Это не новость.
- А тут все по-старому, кроме того, что прадедушка умер.
- > Как твои, нормально?
- > Да. Похоже, папа основательно расстроился, но трудно сказать, потому что он всегда кажется немного расстроенным.
- > Ясно.
- > Ну и это же не его отец все равно. Только дед. Это грустно, но меньше. Гораздо меньше.
- > Ясно.
- > Мне реально нравится, когда люди повторяют одно и то же. Почему это?
- > Я не в курсе.
- > У твоих тут тоже вроде все хорошо. Они, конечно, волнуются за тебя. Постоянно о тебе говорят. Но если они не могут попасть туда, то хорошо, что они здесь.
- > Подыскивали они что-нибудь?
- > Что именно?
- > Дом.
- > Для чего?
- > Купить.
- > А зачем им покупать здесь дом?
- > Мой отец ничего не говорил?
- > Про что?
- > Может, говорил твоему?
- > Вы переезжаете?
- > Он про это говорил не один год, а когда я пошел служить, принялся искать варианты. Пока по интернету, ну, может, через местных риелторов. Я думал, это все разговоры, но когда нас перебросили на Западный берег, он занялся этим всерьез. Думаю, он нашел несколько подходящих вариантов, и потому-то он сейчас у вас. Хочет посмотреть своими глазами.
- > Я думал, из-за моей бар-мицвы.
- > Ну, потому что он остался дольше чем на несколько дней.
- > Я и не знал.

- > Наверное, он стесняется.
- > Не знал, что он способен такое чувствовать.
- > Чувствовать — да. Показывать — нет.
- > Твоя мать тоже хочет переехать?
- > Не знаю.
- > А ты сам хочешь?
- > Сомневаюсь, что буду еще жить с родителями. После армии учеба. После учебы жизнь. Надеюсь.
- > Но что ты думаешь?
- > Стараюсь не думать.
- > Тоже стесняешься?
- > Нет. Это не то слово.
- > Как думаешь, твой отец изменяет матери?
- > Странный вопрос.
- > Странный?
- > Да.
- > Да — странный? Или да — думаешь, что изменяет?
- > И то и другое.
- > Господи. Seriously?
- > Если задаешь такой вопрос, не удивляйся ответу.
- > Почему ты думаешь, что изменяет?
- > А почему ты задал этот вопрос?
- > Не знаю.
- > Так спроси себя.
- > Почему я задал этот вопрос?

Он спрашивал не без причины. Он спрашивал, потому что нашел второй телефон отца на день раньше, чем его нашла мать. И *нашел*, пожалуй, не самое точное слово, ведь на телефон он наткнулся, обшаривая отцовские любимые тайники, — под ворохом носков в комод, в коробке в глубине "подарочного шкафа", над дедовскими часами, преподнесенными Ирвом на рождение Бенджи. Обычно ничего более лакомого, чем порно, в добычу Сэму не доставалось. "Зачем, — хотел бы он спросить, но никогда бы не отважился, — человек, имеющий компьютер, ноутбук, планшет и смартфон, *тратится* на порножурналы?"

Сэм нашел пачку полусотенных банкнот, отложенных, видно, на какие-то радости, о которых матери лучше было не знать, на что-то абсолютно невинное, вроде электроинструментов, про которые, Джейкоб боялся, Джулия скажет, что ими никто не будет пользоваться. Нашел пакетик марихуаны, который за полтора года после обнаружения нисколько не

уменьшился в размере. Нашел запас хэллоуинских конфет — такая грусть. Нашел пачку страниц с заглавием "Библия для "Исчезающего народа""...

Как играть вожделение

Никак. У тебя есть все, что тебе когда-либо могло потребоваться или хотеться. Ты здоров (пока), и это прекрасно. Ты вообще представляешь, сколько страданий и трудов понадобилось, чтобы этот момент стал возможен? Возможен для тебя? Поразмышляй, как это здорово, какой ты везучий и счастливый.

...рыть дальше было скучно.

Но потом, проверяя ящик отцовской прикроватной тумбочки, Сэм нашел телефон. У отца был айфон. Все это знали, поскольку страдали от его бесконечного нытья про то, какая это чудесная штучка и как он от нее зависит. ("Он буквально искалечил мне жизнь, — говорил Джейкоб, применяя какую-нибудь абсолютно необязательную функцию, например проверяя погоду на три дня вперед: — Вероятность дождя. Интересно".) А это был обычный смартфон, такой, какой дают бесплатно в нагрузку к грабительскому тарифному плану. Что это — реликвия, старье, которое отец не может выкинуть из-за ностальгических воспоминаний? Может, он набит фотографиями Сэма и его братьев, а отец не разобрался, как перенести их на свой айфон (хотя считал себя слишком умным, чтобы попросить помощи в магазине или хотя бы у своего технически подкованного сына), вот он и убрал его в ящик, который со временем мог бы наполниться телефонами, набитыми фотографиями.

Открыть телефон оказалось легче легкого — отец всегда использовал для всех своих секретных нужд три слишком предсказуемые вариации общесемейного пароля.

Типовые обои: закат.

Никаких игр. Из приложений ничего круче калькулятора. Зачем тогда вообще смартфон?

Наверное, это мамин телефон. Особенный, для них двоих. Трудно было понять, зачем такое могло понадобиться, но, может, как раз дело именно в том, что особого смысла и нет. Просто это как-то мило. Где-то наивно, но в то же время романтично и где-то пошло. Если только у этого телефона не было прямого назначения, которое, как теперь подумал Сэм, наверное, и было, например, этот телефон они берут в путешествия, на нем предоплаченные минуты международных разговоров.

Но пока он прокручивал сообщения, становилось ясно, что все его догадки неверны, абсолютно неверны, и либо его родители совсем не те люди, которыми он их считал, даже близко не те, либо в мире есть не одна

Джулия, потому что та Джулия, которая была его матерью, *никогда*, ни за что не смогла бы совершить большими пальцами такие движения, чтобы получились слова *"возьми влаги с моей кунки и смочи мне очко, чтобы войти"*.

Сэм пошел с телефоном в ванную, заперся там и стал читать.

Хочу по два твоих пальца в каждую из моих дырок.

Это что, как Спок? Что, вообще, за херня это все?

на животе, ноги широко разбросаны, руками ты раздвигаешь ягодицы, как можешь, широко, мохнатка сочится на простыни...

Что за херня?

Но не успел он задаться таким же вопросом в третий раз, как отворилась входная дверь, телефон выскользнул за унитаз, раздался голос матери "я дома", и он постарался погромче протопать по лестнице к себе.

Сэм ни разу не видел доктора Силверса, но знал, что сказал бы этот доктор: "Сэм бросил телефон намеренно". Как все в их семье, кроме Джейкоба, Сэм терпеть не мог доктора Силверса и ревновал отца за то, что у того был такой доверенный советчик, а доктора Силверса ревновал за то, что этим советчиком был он. Чем хорошим хоть в каком смысле и хоть для кого бы то ни было могла обернуться находка телефона?

> Твой отец, что ли, изменяет матери или что?

Внезапно, вновь в настоящей ненастоящей жизни Айсик рванул вперед на несколько ярдов. Он прихрамывал, качался при ходьбе. Покружив вокруг пустого места — как планета вокруг отсутствующего Солнца, как невеста вокруг отсутствующего жениха, — он подобрал окаменевшую птицу из былых поколений "Иной жизни", может, трехлетней давности: значок "Твиттера". Айсик непонимающе посмотрел на камень, положил наземь, снова поднял, замахнулся, будто собираясь бросить, затем слегка постучал себя по голове, будто проверяя на спелость.

> Видишь, как тормозит?

> Не тормозит. Я начал передачу.

> Передачу чего?

> Плода стойкости.

> Я же сказал, не надо.

> Ты не сказал. А если бы и сказал, я бы не послушал.

Поток цифровых изображений, проступающих на экране и тут же выцветающих, лишь машина успеет их обработать: тут были сохраненные моменты из другой жизни Саманты, ее разговоры с другими, какие-то случаи, были какие-то смазанные и отрывочные картины. Сэм заметил экранные образы, которые видел прежде, и другие, должно быть, их видел

Ноам: след самолета в синем небе; радужную вязь "Этси", нож бульдозера, зависший в микроне от какой-то старушки; куннилингус сзади в примерочной; лабораторная обезьянка в корчах; сиамские близнецы (один смеется, другой плачет); спутниковые фото Синая; вырубленные футболисты; цветочные круги лака для ногтей; ухо Эвандера Холифилда; усыпляемая собака.

- > Сколько ты передаешь?
- > Все.
- > Что?
- > 1738341.
- > ОБОСРАТЬСЯ, ЕБ МАТЬ ТВОЮ! У тебя столько было в банке?
- > Я тебе делаю полное переливание.
- > Что?
- > Слушай, мне пора собираться.
- > Куда?
- > В Иерусалим. Нашу часть выдвигают. Только не говори моему отцу, лады?
- > Почему?
- > Он будет волноваться.
- > Но он и должен волноваться.
- > Но от этого волнения ни ему, ни мне не легче.
- > Но мне не нужно так много. У меня было всего 45 000, когда отец меня убил.
- > Ну сделай себя титаном.
- > Свой аватар.
- > Своего прадедушку.
- > Это слишком.
- > Ну, а что они у меня будут гнить? Сидр мне из них делать?
- > Так используй их.
- > Да не буду я. А ты будешь.

Картинки полетели быстрее, так быстро, что воспринимались лишь подсознательно, они наплывали одна на другую, сливались, а из угла экрана просочился свет: сначала еле заметный, пятнышко на экране, затем свет стал расползаться, как пятно на потолке от лопнувшей трубы, он затапливал лихорадочно меняющиеся картинки, и вот уже больше света, чем изображения, и вот практически белый экран, но ярче белого, и блеклые образы, будто сквозь снежную лавину.

В этот момент, наверное, самой чистой эмпатии, какую только Сэму довелось испытать, он пытался представить, что видит на экране Ноам.

Наползающую, как здесь — свет, темноту? Предупреждения о падающем уровне жизнеспособности? Сэм вообразил, как Ноам щелкает на этих предупреждениях кнопку "Пропустить", раз за разом, и щелкает "Подтвердить", когда наконец ему нужно подтвердить свой окончательный выбор.

Лев подошел к старику, опустился рядом на колени, положил огромные и царственные лапы на сгорбленные плечи Айсика, лизнул то, что можно было назвать седой тенью щетины (свечением щетины?), лизнул еще и еще раз, как будто возвращая Айсика к жизни, хотя на самом деле возвращал его туда, где он был прежде жизни.

> Ты глянь на себя, Бар-Мицва.

Он опустил тяжелую голову на впалую грудь Айсика. Айсик погрузил пальцы в струящуюся львиную гриву.

В середине поминок по прадеду Сэм принялся плакать. Плакал он нечасто. Этого с ним не было ни разу после того, как Аргус вернулся со второго протезирования тазобедренного сустава, два года назад, с выбритой половиной спины, франкенштейновскими швами, с опущенной головой и потупленным взглядом.

— Вот так выглядит выздоровление, — сказал тогда Джейкоб. — Через месяц он будет прежним.

— Через *месяц*?

— Он быстро пролетит.

— Для нас, но не для него.

— Мы будем его баловать.

— Он едва может ходить.

— Ему и не надо ходить больше, чем требуется. Ветеринар сказал, для выздоровления самое важное — как можно меньше быть на ногах. Гулять только на поводке. И никаких лестниц. Придется ему теперь жить внизу.

— Но как он будет подниматься, чтобы лечь в кровать?

— Ему придется спать тут, внизу.

— Но он пойдет наверх.

— Не думаю. Он понимает, насколько слаба его нога.

— Он пойдет.

— Я положу на ступеньки книги, загорожу ему путь.

Сэм завел будильник на два часа ночи, чтобы спуститься провести Аргуса. Он прервал первый зуммер, потом второй, но на третьем звонке его совесть проснулась. Он поплелся вниз по лестнице, не до конца сознавая, что он уже не в постели, чуть не заработал паралич из-за выложенных на ступени томов Энциклопедии искусств и обнаружил, что отец спал на

подстеленном спальном мешке в обнимку с Аргусом. Вот тогда Сэм и заплакал. Не от любви к отцу — хотя в тот момент он его несомненно любил, — но потому, что из двух животных на полу больше жалел отца.

> Ты глянь на себя, Бар-Мицва.

Он стоял у окна. Кузены играли в приставку, уничтожая мультяшных противников. Взрослые были наверху, насыщались мерзкой, пахучей, копченой и студенистой едой, к которой у евреев резко вспыхивает вкус в моменты раздумий. Его никто не заметил, чего он и хотел, даже если это и не было ему нужно.

Он плакал не о том, что сейчас видел: не о смерти прадеда, не о гибели аватара Ноама, не о крушении родительского брака, не о своей сорвавшейся бар-мицве, не о рухнувших зданиях Израиля. Его слезы текли вспять. Доброта Ноама высветила зияющее отсутствие доброты вокруг. Отец спал на полу тридцать восемь дней (лишнюю неделю для надежности). Не потому ли ему было проще одаривать добротой собаку, что собака точно не отвергла бы? Или потому, что потребности животных такие животные, а потребности людей такие человеческие?

Может, мужчиной Сэму стать и не придется, но плача у того окна — дед совершенно один в земле в двадцати минутах езды; аватар возвращается в цифровую пыль где-то на охлаждаемом сервере в информационном центре, расположенном неподалеку от нигде; родители всего лишь по ту сторону потолка, но потолка без краев, — Сэм возродился.

Только плач

Иудаизм верно трактует смерть, думал Джейкоб. Он учит нас, что делать, в тот момент, когда мы меньше всего понимаем, что делать, а чувствуем дикую потребность сделать *что-то*. Надо сидеть вот так. Посидим. Надо вот так-то одеться. Оденемся. В этот вот момент ты должен сказать вот эти слова, пусть даже тебе придется читать их с бумажки в транслитерации. *На-ах-се*.

Джейкоб перестал плакать больше часа назад, но у него до сих пор не прошло то, что Бенджи звал "послеплачевым дыханием". Ирв принес ему рюмку персикового шнапса и сообщил: "Я сказал раву, что мы будем рады его видеть, но не думаю, чтобы он пришел", — и вернулся в свою крепость на подоконнике.

Стол был заставлен тарелками с едой: все виды ржанных бубликов, любые мини-бублики, плоские бублики, булочки, булочки с творогом, с творогом и зеленым луком, с лососевой пастой, с тофу, копченая и соленая рыба, угольно-черные шоколадные кексикки с завитушками из белого шоколада, похожими на квадратные галактики, пышки, рогалики, несезонные хоменташен (с земляникой, со сливой, с маком) и "салаты" — евреи словом *салат* называют любую еду, которую не удержать в одной руке: огуречный салат, салат из белой рыбы, тунца и печеного лосося, салат из зелени, салат из пасты, салат из киноа. Была лиловая газировка и черный кофе, диетическая кола и черный чай, а минералки столько, что в ней мог бы поплыть авианосец, и виноградный сок — напиток более еврейский, чем еврейская кровь. И пикули, нескольких видов. Каперсы не подходят ни к какому блюду, но каперсы, которые всякая ложка старается обойти стороной, проникают туда, где им уж точно не положено быть, например в чью-то полупустую чашку с полудекофеинизированным кофе. А в центре стола преломляли вокруг себя свет и время невероятной плотности кугели. Еды было больше чем необходимо в десять раз. Но так и надо.

Родственники, нагружая тарелки до потолка следующего этажа, обменивались историями об Исааке. Смеялись над тем, каким он был забавным (намеренно и случайно), над тем, каким упрямым врединой он был (намеренно и нет). Рассуждали о том, каким он был героем (по своей воле и воле случая). Кто-то плакал, возникали какие-то неловкие моменты, слышались слова благодарности за то, что появилась возможность собраться всей родней (одни родичи не виделись с бат-мицвы Леи, другие

— даже с похорон бабушки Дорис), и все поглядывали в телефоны: новости с войны, счет в игре, погода.

Дети, уже позабывшие, что должны бы от первого лица грустить о смерти Исаака, играли в подвале в видеоигры от первого лица. У Макса вдвое участился пульс: он наблюдал попытку убийства, предпринятую тем, в ком он подозревал своего троюродного брата. Сэм сидел в сторонке с айпадом, прохаживаясь по виртуальной лимонной роще. Так всегда и происходило — вертикальная сегрегация. И неизбежно те взрослые, у кого хватало соображения бежать из взрослого мира, перебирались в подвал. Что и сделал Джейкоб.

Там собралось не меньше дюжины кузенов — большинство по линии Деборы, а кое-кто — по линии Джулии. Самые младшие одну за другой распаковывали настольные игры — не играть, а чтобы распечатать и перемешать все мелкие детали. То и дело кто-нибудь из них ни с того ни с сего принимался бузить. Те, что постарше, окружили Барака, который исполнял какой-то виртуозный акт жесточайшего насилия на телевизоре таких габаритов, что края его можно было увидеть только от противоположной стены.

Бенджи в одиночестве запихивал между пластин венецианской шторы смятые банкноты из "Монополии".

— Ты очень щедр к этому окну, — сказал Джейкоб.

— Это не настоящие деньги.

— Нет?

— Я знаю, что ты шутишь.

— Ты маму тут, случайно, не видал?

— Нет.

— Эй!

— Что?

— Ты, что ли, плакал, дружище?

— Нет.

— Точно? А похоже, плакал.

— Ни хрена себе! — выкрикнул кто-то из детей.

— Выражения! — гаркнул в ответ Джейкоб.

— Я нет, — сказал Бенджи.

— Ты грустишь о прадедушке?

— Не очень.

— Так что же тебя расстроило?

— Ничего.

— Папы это все равно видят.

— Почему ты тогда не видишь, что меня расстроило?
— Папы не все знают.
— Только Бог знает.
— Кто тебе сказал?
— Мистер Шнайдерман.
— Кто это?
— Наш учитель в Еврейской школе.
— *Шнайдерман*. Ага.
— Он сказал, Бог знает все. Но мне это кажется бессмыслицей.
— И мне так кажется.
— Но это потому, что ты не веришь в Бога.
— Я только говорил, что я не уверен. Но даже если бы я и верил, это все равно было бы для меня бессмыслицей.
— Правильно, ведь если Бог знает все, то зачем писать записки и засовывать в Стену?
— Резонно.
— Мистер Шнайдерман сказал, что Бог все знает, но иногда забывает. И вот записки ему напоминают, что важно.
— Бог забывает? Серьезно?
— Так он сказал.
— И что ты об этом думаешь?
— Это странно.
— Вот и мне так кажется.
— Но это потому, что ты не веришь в Бога.
— Если бы я верил в Бога, то это был бы Бог, который помнит.
— И мой бы тоже.

При всем своем агностицизме по поводу существования Бога и по поводу смысла этого вопроса (возможно ли, чтобы в разговоре о Боге два человека, кто бы они ни были, имели в виду действительно одно и то же?) Джейкоб хотел, чтобы Бенджи верил. И уж точно, так хотел доктор Силверс. Тревожные раздумья о смерти у Бенджи несколько месяцев медленно, но безостановочно копились, и теперь появился риск, что они из восхитительных резко станут нездоровыми. Доктор Силверс сказал: "У него будет еще вся жизнь, чтобы получить ответы на теологические вопросы, но он никогда не вернет себе этот момент выстраивания первых отношений с миром. Сделайте так, чтобы он чувствовал себя в безопасности". Джейкобу это показалось справедливым, хотя его передергивало от одной мысли о религиозных наставлениях. В следующий раз, когда Бенджи обнаружил свою тревогу и инстинктивно Джейкоб готов

был согласиться с тем, что вечное несуществование и впрямь самое ужасное, что можно вообразить, он вспомнил приказ доктора Силверса: *Сделайте так, чтобы он чувствовал себя в безопасности.*

— Ну, ты же слышал о царствии небесном, верно? — спросил Джейкоб, лишив крыльев одного несуществующего ангела.

— Я знаю, ты думаешь, что его нет.

— Ну, этого никто не знает наверняка. И уж точно не я. Но ты знаешь, что такое царствие небесное?

— Вообще-то нет.

Тут Джейкоб развернул самое утешительное объяснение, не поскупившись ни на гиперболы, ни на логическую связность.

— И если я захочу в царствии небесном допоздна не спать? — спросил Бенджи, в этот момент валявшийся на софе.

— Сколько хочешь, — сказал Джейкоб. — Хоть каждую ночь.

— И может, разрешено будет есть десерт до обеда.

— Обед вообще не надо будет есть.

— Но тогда я не буду здоровым.

— Здоровье будет не важно.

Бенджи склонил голову на плечо.

— Дни рождения.

— А что с ними?

— Какие они там?

— Ну, они, конечно, никогда не кончаются.

— Подожди, все время день рождения?

— Да.

— Гости и подарки каждый день?

— Каждый день и целыми днями.

— Подожди, и надо будет всем писать благодарственные письма?

— Даже спасибо не надо говорить.

— Погоди, это что, значит, ты — ноль или бесконечность?

— А ты как хочешь?

— Бесконечность.

— Тогда ты бесконечность.

— Погоди, что, всегда у всех день рождения?

— Только у тебя.

Бенджи поднялся на ноги, вскинул руки над головой и объявил:

— Хочу умереть прямо сейчас!

Но не делайте так, чтобы он чувствовал себя в полнейшей безопасности.

В полуподвале у Ирва и Деборы, столкнувшись с более тонким и сложным теологическим вопросом, Джейкоб вновь поступился стремлением к истине ради эмоциональной стабильности Бенджи:

— Может, Бог помнит все, но иногда сам решает что-то забыть?

— А зачем ему это?

— Чтобы мы помнили, — ответил Джейкоб, довольный своей импровизацией. — Это как пожелания, — продолжил он. — Если бы Бог знал, чего мы хотим, *нам* и не надо было бы хотеть.

— И Бог хочет, чтобы сами знали.

— Вполне возможно.

— Я раньше думал, что прадедушка — Бог, — сообщил Бенджи.

— Да ну?

— Да, но он умер, значит, Богом он точно не был.

— Можно думать и так.

— И мама точно не Бог.

— Это почему?

— Потому что она нипочем не забудет обо мне.

— Ты прав, — согласился Джейкоб, — нипочем не забудет.

— Несмотря ни на что.

— Несмотря ни на что.

Новая серия негромких ругательств среди детей постарше.

— В общем, — сказал Бенджи, — из-за этого я и плакал.

— Из-за мамы?

— Из-за записки в Стену Плача.

— Потому что думал про забывчивого Бога?

— Нет, — ответил Бенджи, указывая на телевизор, который показывал не видеоигру, как думал Джейкоб, а последствия самого недавнего и самого свирепого подземного толчка. — Потому что Стена обрушилась.

— *Стена?*

Они выплеснулись в мир, все мольбы, втиснутые в каждую щель стены, но еще и все те мольбы, что были втиснуты в каждое еврейское сердце.

— Не осталось доказательств, какими великими они были, — сказал Бенджи.

— Что?

— Ну, помнишь, ты мне рассказывал про римлян.

Что знают дети, что они помнят?

— Джейкоб! — позвал сверху Ирв.

— Стена Плача, — произнес Джейкоб, как будто, если громко

произнести название, она вновь будет существовать.

Джейкоб мог сделать так, чтобы дети чувствовали: они в безопасности. Но мог ли он обеспечить их безопасность? Бенджи покачал головой и сказал:

— Нет, теперь это только Плач.

Смотри! Еврейский ребенок плачет

Присутствие Тамира не только не давало всё додумать, но и требовало от Джулии быть радушной хозяйкой. А смерть Исаака требовала от нее, по крайней мере, изображать любовь и участие, когда на деле она испытывала только печаль и сомнение. Она, в общем, справлялась с растущим в ней возмущением, даже в общем умудрялась прятать озлобление, но в определенный момент роль хорошего человека заставляла ее ненавидеть и себя и остальных.

Как любой живой человек, она предавалась фантазиям. (Хотя тяжкая вина быть человеком заставляла Джулию постоянно напоминать себе, что она "не хуже любого другого".) Дома, которые она проектировала, были ее фантазиями, но бывали и другие.

Она воображала неделю одиночества в Биг-Сур. Может быть, в "Постранч-инн", в номере с видом на океан. Может, массаж, процедуры для лица, может, "лечение", которое ничего не лечит. Может, она прошла бы сквозь тоннель, вырубленный в гигантской секвойе, и годичные кольца изгибались бы вокруг нее.

Она воображала личного повара. Веганы живут дольше, и здоровье у них лучше, и кожа свежее, и она могла бы это себе позволить, если бы кто-нибудь для нее делал покупки, готовил и прибирал.

Она воображала, как Марк замечает за ней разные мелочи, которых она не замечает сама: милые перетолкования идиом, как ведут себя ее ступни, когда она чистит зубы, ее смешные взаимоотношения с десертными меню.

Она воображала прогулки без цели, раздумья, не имеющие практической ценности, например, на самом ли деле вредны лампы накаливания.

Она воображала тайного поклонника, анонимно подписывающего ее на журнал.

Воображала, что у нее исчезли гусиные лапки под глазами, как исчезают гусиные следы на пыльной деревенской улице.

Воображала исчезновение экранов: из ее жизни, из жизни детей. Из фитнес-зала, из врачебных приемных и из такси, экранов, висящих за барами и в обеденных залах, экранов в смарт-часах пассажиров метро, сжимающих в руках планшеты.

Воображала смерть своих напыщенных клиентов вместе с их мечтами

о все более и более навороченной кухонной технике.

Воображала смерть так называемого учителя, который четыре года назад похихикал над ответами Макса, и потом Джулия целый месяц разговорами перед сном возвращала сыну былую радость от учебы в школе.

Доктору Силверсу пришлось бы умирать не меньше двух раз.

Она воображала внезапное исчезновение Джейкоба — из дома, из мира. Представляла, что он падает замертво в тренажерном зале. Для чего требовалось сначала представить, что он *ходит* в тренажерный зал. Для чего требовалось представить, что у него снова появилось желание быть привлекательным не только благодаря профессионализму и карьерным успехам.

Разумеется, она не хотела его смерти, ни в мыслях, ни в сердце, ни сознательно, ни бессознательно, и когда она фантазировала о его смерти, это всегда было не больно. Иногда его охватывала паника от ужасного осознания конца, когда он пытался сквозь ребра схватить свое останавливающееся сердце. Иногда, умирая, он думал о детях. Конец всем "когда-то": он уйдет навсегда. Она останется одна, и наконец-то не одинока, и люди будут переживать за нее.

Она будет готовить завтрак, обед и ужин (как уже и готовит), сама везде прибирать (как уже и прибирает), покупать миллиметровую бумагу для не имеющих выходов лабиринтов Бенджи, еду с водорослями, обжаренными в соусе терияки для Макса, клеую, но не суперкрутую сумку через плечо для Макса, когда старая истреплется и развалится. Она будет одевать детей на предновогодних распродажах в "Заре" и "Крюкатсе" и сама возить их в школу (как уже возит). Ей придется самой себя содержать (чего она не смогла бы при ее нынешнем образе жизни, но и не пришлось бы, спасибо страховому полису Джейкоба). Воображение Джулии было достаточно сильным, чтобы ранить ее. А она была в достаточной мере слабой, чтобы не ранить никого больше.

И тут являлась самая убийственная мысль, мысль, которую нельзя было трогать даже самыми кончиками пальцев воображения: смерть детей. Эта самая страшная мысль посещала Джулию много раз до того, как она забеременела Сэмом: она представляла выкидыш, синдром внезапной детской смерти; падение кувырком с лестницы, свои попытки в падении защитить его тельце от острых ребер ступеней; представляла рак всякий раз, когда видела больного раком ребенка. Было знание, что школьный автобус, в который она сажала любого из своих детей, обязательно перевернется и по склону холма слетит в замерзшее озеро, где лед быстро

затянет пробитую полыню. Всякий раз, как кто-то из детей получал общий наркоз, она говорила ему "до свидания", как будто "прощай". По природе она не была склонна к тревоге, тем более к самым мрачным мыслям, но Джейкоб верно сказал после увечья Сэма, что ее любви слишком много для счастья.

Увечье Сэма. Это была территория, на которую ей совсем не хотелось ступать, потому что оттуда не было пути назад. Но центр травмы в ее мозгу упорно толкал ее туда. И она никогда не возвращалась оттуда окончательно. Она смирилась с тем, почему это произошло — ее не волновало почему, — вопрос был в том, как. Это было слишком больно, поскольку какова бы ни была цепь событий, случившееся не было ни необходимым, ни неизбежным. Джейкоб никогда не спрашивал ее, не она ли отворила ту дверь. (Слишком тяжелую, чтобы Сэм мог открыть ее сам.) Джулия никогда не спрашивала Джейкоба, не он ли эту дверь закрыл, раздавив Сэму пальцы. (*Может*, это Сэм привел ее в движение, а довершила дело сила инерции?) Это было пять лет назад, и вся эпопея — "скорая", утро длиной в столетие, дважды в неделю прием у пластического хирурга, год восстановления — сблизил их теснее, чем когда-либо. Но она же породила черную дыру молчания, от которой всему вокруг нужно было держаться на безопасной дистанции, которая столь многое поглотила, и одна чайная ложка вещества которой весила больше, чем миллион солнц, поглощающих миллион фотоснимков миллионов семей на миллионах лун.

Они могли говорить о том, как им сильно повезло (еще чуть-чуть, и Сэм лишился бы пальцев), но не о том, как им не повезло. Могли обсуждать какие-то общие моменты, но никогда не возвращались к деталям: как доктор Фред раз за разом втыкал иглы Сэму в пальцы, чтобы определить чувствительность, а Сэм смотрел в глаза родителям и умолял, заклинал прекратить. Вернувшись из больницы, Джейкоб положил свою окровавленную рубашку в пакет и вынес в уличный контейнер на углу Коннектикут-авеню. Джулия свою испачканную кровью блузку сунула в старую наволочку и кое-как заткнула в стопку штанов.

Слишком много любви для счастья, но сколько счастья нужно? Смогла бы она все повторить? Джулия всегда думала, что способна терпеть боль много лучше других — уж точно лучше своих детей и Джейкоба. Бремя легче всего было нести ей, но независимо от этого в конце концов все равно нести выпадет ей. Только мужчины могут вычеркнуть детей. Но если бы она могла начать все заново?

Она часто думала о тех японских инженерах на пенсии, которые вызывались пойти в разрушенные цунами реакторы и исправить

повреждения. Они знали, что получают смертельную дозу облучения, но предполагаемый срок оставшейся жизни был меньше того времени, за которое их убил бы рак, поэтому они не боялись. В галерее фурнитуры Марк сказал Джулии, что в жизни никогда не поздно быть счастливым. Когда же в ее жизни будет достаточно поздно, чтобы быть честной?

Все переменялось, но удивительно, как мало от этого изменилось. Разговор затрагивал все новые темы, но они перестали понимать, о чем говорят. Когда Джейкоб показал Джулии каталог домов, куда он мог бы переехать, было ли это хоть на гран более реально, чем когда он показывал каталог домов, куда они могли бы переехать вместе? Когда они рассказывали друг другу, какой видят счастливую жизнь отдельно друг от друга, было это хоть на гран менее притворно, чем когда они рассказывали друг другу, какой видят счастливую совместную жизнь? Репетиция разговора с детьми превратилась в какой-то театр, будто они старались верно поставить сцену, а не выправить жизнь. У Джулии возникло чувство, что для Джейкоба это сродни игре, что он получает удовольствие. Или хуже: что планирование развода стало новым ритуалом, удерживающим их вместе.

В домашнем быту ничего не менялось. Они говорили, что Джейкоб будет спать в другой комнате, но в гостевой комнате жил Тамир, на диване спал Барак, а отпраиваться в отель, после того как все заснут, и возвращаться до того, как проснутся, казалось слишком жестоким и слишком расточительным. Они без конца обсуждали, как оптимально поделить время с детьми, обеспечить легкие переезды и добиться, чтобы дети по возможности меньше скучали, но не делали никаких шагов к тому, чтобы починить то, что сломалось, или оставить это позади.

После похорон...

После бар-мицвы...

Когда уедут израильские кузены...

Когда закончится учебный год...

Они как бы закрывали глаза на собственное отчаяние, и, может быть, пока было достаточно лишь обсуждать ситуацию. Дальнейшее могло подождать — до тех пор, когда ждать будет уже нельзя.

Но похороны, как турбулентность на самолете и сороковой день рождения, заставляют вспомнить о конечности всего. Будь это в другой день, Джулия с Джейкобом нашли бы способы и дальше жить в собственном чистилище. Они бы придумали себе занятия, отвлечения, эмоциональные аварийные выходы, фантазировали бы. После похорон разговор казался едва ли не преступлением, но Джулию теперь неотступно

мучили вопросы. Все, что в любой другой день можно было до поры отодвинуть, стало неотложным. Ей вспомнилось, что Марк озабочен временем: его слишком мало. "Я растрачиваю жизнь!"

Она пошла в спальню, где десятки курток и пальто ворохом лежали на кровати. Будто мертвые тела, еврейские мертвецы. Ее детство тоже впечатало в сознание эти снимки, и теперь ассоциаций было не избежать. Снимки голых женщин, прижимающих к груди детей. Джулия не видела их после того, первого раза, но никогда не переставала их видеть.

Рав повел глазами через терпеливо ждущую могильную яму и посмотрел в лицо Джулии. Он спросил: "Но по вашему опыту, плачут ли евреи беззвучно?" Увидел ли он то, что никому не было слышно?

Джулия нашла свой плащ, оделась. В карманах чего только не было: чеки, изрядный запас конфет, чтобы кому-то сунуть, ключи, визитки, всякие иностранные монеты из путешествий — она помнила планирование и сборы, но не сами путешествия. В двух горстях она перенесла все это в мусорную корзину, как *ташлих*, как то, что положено выбросить.

Не задерживаясь, она прошла к выходу: мимо белого капустного салата, черного кофе, голубых луфарей, кремовых пышек; мимо лиловой газировки и персикового шнапса; мимо трепа о вложениях денег, об Израиле, об онкологии. Прошла мимо жужжания кадиша, мимо завешенных зеркал, мимо выставленных фотографий Исаака — с израильтянами в их последний приезд, на сорокалетию Джулии и просто его одного на диване — он сидел и смотрел перед собой. Уже в дверях она впервые заметила на журнальном столике открытую книгу посетителей. Полистала посмотреть, что написали мальчики.

Сэм: *Сожалею.*

Макс: *Сожалею.*

Бенджи: *Сожалею.*

Ей тоже было жаль, и, переступая порог, она дотронулась до мезузы, но не поцеловала пальцев. Она вспомнила, как Джейкоб предложил выбрать собственный текст для мезузы в их доме. Они выбрали строчку из Талмуда: "У каждой травинки есть ангел, который, склоняясь к ней, шепчет: "Расти!" Узнает ли об этом семья, которая поселится в их доме после них?"

Вольер со львами

Вечером Джейкоб с Тамиром засиделись допоздна. Джулия где-то была, но не рядом. Исаак не был рядом, не был нигде. Дети, как предполагалось, спали у себя в комнатах, но Сэм был в "Иной жизни", одновременно сидя в чате с Билли, а Макс смотрел значения слов, которых он не понял в "Над пропастью во ржи" — обламываясь, как сказал бы Холден, что приходится пользоваться бумажным словарем. Барак был в гостевой комнате, спал, разметавшись. На первом этаже только двое братьев — старые друзья, мужчины средних лет, отцы несовершеннолетних детей.

Джейкоб вынул из тихо жужжавшего холодильника пиво, отключил звук телевизора и с громким театральным вздохом сел к столу напротив Тамира.

— Тяжко это все.

— Он прожил хорошую долгую жизнь, — отозвался Тамир и сделал долгий большой глоток.

— Наверное, — согласился Джейкоб. — Только про хорошую сомневаюсь.

— Правнуки.

— О которых он говорил, что это его месть немецкой нации.

— Месь сладка.

— Он целыми днями вырезал скидочные купоны на товары, которых никогда не покупал, рассказывая всем, кто готов был выслушивать, что его никто не слушает. — Глоток. — Однажды я повел детей в берлинский зоопарк...

— Ты был в Берлине?

— Мы там снимали, и как раз были школьные каникулы.

— Ты повез детей в Берлин, а не в Израиль?

— Я говорю, мы пошли в зоопарк, что в Восточном, и это оказалось, наверное, самое кошмарное место из всех, какие я видел. Там сидела пантера в вольере размером с парковку для инвалидов, где растения такие же натуральные, как пластиковая китайская еда на витринах. Она ходила восьмерками круг за кругом, строго по одной линии. И когда поворачивала, оглядывалась назад и щурилась. Каждый раз. Мы там залипли. Сэму было лет семь, он придавил ладони к стеклу и спросил: "А когда у дедушки день рождения?" Мы с Джулией переглянулись. Чтобы семилетка такое спросил

в такой момент?

— Просто ребенок волновался, что его дедушка чувствует себя запертой пантерой.

— Именно. И правильно волновался. Та же рутина, день за днем, год за годом: растворимый кофе с мускусной дыней; изучение "Джуиш уик" сквозь огромную лупу; обход дома с целью удостовериться, что свет везде выключен; толкание ходунков на теннисных мячиках в шутку, чтобы вести все те же бессвязные разговоры с теми же собеседниками с макулярной дегенерацией, — только имена в новостях о болячках и выпускниках менялись; еще надо развести кубик куриного бульона, листая все те же альбомы с фотографиями; съесть бульон, пробираясь через следующий абзац; подремать перед одним из пяти неизменных фильмов; прогуляться по улице, чтобы убедиться в продолжающемся существовании мистера Ковальски; пропустить ужин; обойти дом, проверяя, что свет везде все так же выключен; лечь в постель в семь вечера и одиннадцать часов видеть все те же вечные кошмары. Это счастье?

— Его версия.

— Не та, которую кто-то бы выбрал.

— Множество людей выбрало бы ее.

Джейкоб подумал о братьях Исаака, о голодных беженцах, о переживших холокост, у кого даже не осталось родных, которые могли бы о них не вспоминать, — и устыдился неполноценной жизни, которую сделал возможной для своего деда, и того, что считал ее неполноценной.

— Не могу поверить, что ты возил детей в Берлин, — сказал Тамир.

— Это невероятный город.

— Но не свозив прежде в Израиль?

Гуглу известно расстояние от Вашингтона до Тель-Авива, а рулеткой можно измерить ширину стола, но Джейкоб даже приблизительно не мог бы определить эмоциональную дистанцию между собой и Тамиром. Он подумал: "Понимаем ли мы друг друга? Или мы фактически чужие люди, только притворяемся и делаем вид?"

— Жалею, что мы так мало общались, — сказал Джейкоб.

— С Исааком?

— Нет. *Мы*.

— Думаю, если бы хотели, то общались бы.

— Не скажи, — возразил Джейкоб. — Есть много всего, чего я хотел бы делать, но не делал.

— Хотел бы в то время или задним числом?

— Трудно сказать.

— Трудно *понять*? Или неохота *говорить*?

Джейкоб проглотил пиво и ладонью стер влажное кольцо со стола, жалея в этот момент, что он не такой человек, чтобы спускать подобные вещи. Он подумал обо всем, что сейчас творилось за стеной, над потолком и под полом, — как мало он понимает происходящее в собственном доме. Что происходит в розетке, когда в нее ничего не включено? Есть ли сейчас вода в трубах? Должна быть, ведь она сразу польется, если повернуть кран. И выходит ли, таким образом, что дом в любой момент заполнен стоячей водой? Наверное, у нее нехилая масса? Узнав в школе, что его тело более чем на шестьдесят процентов состоит из воды, Джейкоб поступил, как учил отец, — усомнился. Вода столько не весит, чтобы это было правдой. Затем он поступил, как учил отец, и пошел искать истины у отца. Ирв наполнил водой мусорный бак и предложил Джейкобу его поднять. И пока тот пытался, сказал: "Почувствуй кровь".

Джейкоб поднес банку с пивом ко рту. На телеэкране мелькали кадры со Стеной Плача. Откинувшись на стуле, Джейкоб спросил:

— Помнишь, как мы улизнули из дома моих родителей? Столько лет назад?

— Нет.

— Когда мы сбежали в Национальный зоопарк.

— В Национальный зоопарк?

— Серьезно? — спросил Джейкоб. — За несколько дней до моей бар-мицвы?

— Естественно, я помню. Ты забыл, что вспоминал об этом в машине по дороге из аэропорта. И это было как раз накануне твоей бар-мицвы. А не за несколько дней.

— Да. Я знаю. Я знаю. Не знаю, зачем я переврал.

— Что бы сказал твой доктор Силверс?

— Я впечатлен, что ты помнишь его имя.

— Ты мне облегчил задачу.

— Что бы сказал доктор Силверс? Наверное, что я защищаюсь неопределенностью.

— Сколько ты платишь этому типу?

— Нереальную кучу бабла. А страховая доплачивает еще две трети.

— Защищаешься от чего?

— Чтобы не слишком грузиться?

— Больше, чем я?

— Я сейчас не доказываю, что я просветленный.

И не только за стенами, над потолком и под полом — в самой комнате

происходили события, о которых Джейкоб имел лишь самое смутное представление: радиопередачи, телеканалы, разговоры по сотовой сети, блютус, вай-фай, токи в микроволновке, излучение от плиты и ламп, солнечная радиация от величайшей из ламп. Все это непрерывно пронизывает комнату, что-то вызывает опухоли или убивает сперматозоиды, но ничто не ощущается.

— Мы были такие дураки, — усмехнулся Тамир.

— Да мы и сейчас.

— Но тогда были еще дурнее.

— Но притом были романтиками.

— Романтиками?

— По отношению к жизни. Не помнишь, как это было? Верить, что сама жизнь может быть предметом любви?

Пока Тамир поднялся за новой порцией пива, Джейкоб написал Джулии: *ты где? я звонил мэгги она сказала тебя нет.*

— Нет, — произнес Тамир в открытый холодильник, — я этого не помню.

Носки у них в то утро в зоопарке тридцать лет назад насквозь пропитались потом. Тем летом в столице любые движения превращались в очистительный ритуал. Они увидели знаменитых панд — Лин-Линь и Син-Сина, слонов с их слоновьей памятью, дикобразов, утыканных письменными принадлежностями. Родители спорили, в каком городе климат менее жесткий: в Вашингтоне или в Хайфе. Каждая сторона хотела проиграть, потому что проигрыш означал выигрыш. Тамир, который был на крайне важные шесть месяцев старше Джейкоба, большую часть прогулки потратил на рассуждения о том, какая в зоопарке ненадежная система безопасности и как легко можно туда пробраться; вероятно, он не отдавал себе отчета, что зоопарк открыт, и они там, и он бесплатный.

Из зоопарка они поехали по Коннектикут-авеню до Дюпон-серкл — Ирв и Шломо впереди, Адина и Дебора сзади, Джейкоб с Тамиром лицом назад на детских сиденьях; закусили бутербродами в каком-то незапоминающемся кафе, а вторую половину дня провели в Национальном музее авиации и космонавтики, отстояв очередь на двадцать семь восхитительных минут документалки.

Чтобы компенсировать плохонький ленч, вечером они отправились в заведение "У Арманда" на "лучшую в Вашингтоне чикагскую пиццу", а потом ели мороженое в "Свенсене", потом смотрели скучный боевик, просто чтобы пережить изумление от того огромного экрана, видеть который — все равно что пережить противоположность погребения, а

может, даже противоположность умирания.

Пятью часами позже, когда во всем доме светилась только клавиатура домофона, Тамир, тряхнув за плечо, разбудил Джейкоба.

— Ты что? — спросил Джейкоб.

— Пошли, — шепотом ответил Тамир.

— Что?

— Вставай.

— Я сплю.

— Спящие не разговаривают.

— Это называется говорить во сне.

— Мы идем.

— Куда?

— В зоопарк.

— Какой зоопарк?

— Вставай, придурок!

— У меня бар-мицва завтра.

— Сегодня.

— Угу. Мне надо выспаться.

— Выспишься на бар-мицве.

— Зачем нам в зоопарк?

— Пролезть.

— Зачем это нам?

— Не будь ссыклом.

Может быть, здравый смысл у Джейкоба еще не подгрузился, а может, ему и впрямь не хотелось выглядеть в глазах Тамира ссыклом, но он сел, потер глаза и принялся одеваться. В его голове сложилась фраза — *Это так не похоже на меня*, — которую он всю ночь будет мысленно повторять, пока не обратится в противоположность самого себя.

В темноте они прошли по Ньюарк-стрит, свернули направо у Национальной библиотеки. В молчании, скорее как лунатики, чем агенты МОССАДа, они брели по Коннектикут-авеню, через мост Кинг-Вэлли (который Джейкоб не мог пройти, не представив, как бросается вниз), мимо Кеннеди-Уоррен-билдинг. Они бодрствовали, но все это был сон. Подошли к зеленому бронзовому льву и бетонным буквам: ЗООПАРК.

Тамир был прав: перескочить бетонную изгородь по пояс высотой оказалось легче легкого. Настолько легко, что поневоле подумаешь о ловушке. Джейкобу хватило бы просто пересечь эту границу, номинально проникнуть на территорию зоопарка и тут же развернуться, унося в трясущемся кулаке свежеполученный вымпел за переход границы. Тамиру

этого было мало.

Будто карликовый коммандо, он пригнулся, оценил обстановку и быстрым жестом скомандовал Джейкобу следовать за ним. И Джейкоб повиновался. Тамир провел его мимо информационного киоска, мимо схемы, дальше и дальше от улицы, пока они не потеряли ее из виду, как моряки теряют из виду землю. Джейкоб не понимал, куда Тамир его ведет, но знал, что он — ведомый, и шел следом. *Это так не похоже на меня.*

Животные, насколько он мог видеть, спали. Слышно было только, как ветер шелестел в густом бамбуке и еле уловимо гудели торговые автоматы. Днем зоопарк был похож на торговый пассаж в День труда. Теперь здесь было как посреди океана.

Животные всегда оставались для Джейкоба загадкой, но более всего — когда спали. Ему еще казалось возможным представить — пусть приблизительно, грубо, в общих чертах — мысли бодрствующего животного. Но что видит во сне носорог? Видит ли он сны вообще? Бодрствующие животные не проваливаются в сон — они засыпают постепенно, мирно. Но спящий зверь, кажется, всегда на грани рывка в явь, в сражение.

Они дошли до львиного вольера, и Тамир остановился.

— Я не переставал про это думать с самого утра, когда мы тут оказались первый раз.

— Про что?

Тамир зацепился руками за край ограды и сказал:

— Хочу коснуться земли.

— Ты уже касаешься.

— Там.

— *Что?*

— На секунду.

— Рехнулся?

— Я серьезно.

— Да нет.

— Да да.

— Ну ты, значит, ебанутый.

— Да. Но я, блядь, совершенно серьезно.

Тут Джейкоб понял, что Тамир привел его к единственному месту, где высота изгороди достаточно невелика, чтобы какой-нибудь псих со справкой мог вылезти обратно. Тамир, очевидно, приметил это место днем, прикинул высоту изгороди, может быть — да точно, — проигрывал всю сцену в уме.

— Не лезь, — сказал Джейкоб.
— Почему?
— Потому что ты знаешь, почему.
— Не-а.
— Потому что *тебя сожрет лев*, Тамир. О боже, блядь, милостивый.
— Они спят, — сказал Тамир.
— Они?
— Их там три.
— Ты считал?
— Да. И к тому же так написано на табличке.
— Они спят, пока никто не вторгается на их территорию.
— И они даже не здесь. Они внутри.
— Откуда *ты* знаешь?
— Ты их видишь?
— Я ни хера не зоолог. Я скорее всего вообще не вижу ничего из того, что там сейчас происходит.
— Они спят внутри.
— Пошли домой. Я всем скажу, что ты запрыгнул. Я скажу, что ты убил льва, или заставил его у тебя отсосать, или что там тебе надо, чтобы быть героем, но давай смоемся отсюда поскорей.
— То, чего я сейчас хочу, не имеет никакого отношения ни к кому другому.
Тамир уже начал подтягиваться на ограду.
— Ты умрешь, — сказал Джейкоб.
— Ты тоже, — ответил Тамир.
— А что мне прикажешь делать, если лев проснется и бросится на тебя?

— Что *тебе* делать?
Этот вопрос рассмешил Джейкоба. А его смех рассмешил Тамира. От этой невольной шутки напряжение спало. После этой невольной шутки дикая, идиотская идея показалась возможной, даже почти разумной, а может, даже блестящей. Альтернатива — здравый смысл — показалась безумием. Потому что они были молоды. Потому что молодым человек бывает лишь однажды в жизни, которая дается лишь раз. Потому что беззаботность — это единственное, что можно, как кулак, бросить в лицо небытия. Сколько жизни можно вынести?

Все происходило быстро, но длилось бесконечно. Тамир спрыгнул в вольер, приземлившись с гулким ударом, которого явно не ожидал, потому что в его взгляде, пойманном Джейкобом через стекло, полыхнул ужас. И

как будто под ногами была раскаленная лава, Тамир тут же попытался оторваться от земли. С первого прыжка он немного не дотянулся до края изгороди, зато со второго это вышло, по виду, легко. Он подтянулся, Джейкоб помог ему перевалиться через стекло, и они вдвоем повалились, хохоча, на дорожку.

Что чувствовал Джейкоб, смеясь на пару с братом? Он смеялся над жизнью. Смеялся над собой. Даже в тринадцать лет человеку уже ведом ужас и трепет от собственной незначительности. В тринадцать — *особенно*.

— Теперь ты, — сказал Тамир, когда они, поднявшись с земли, отряхивали на себе одежду.

— Да на хер, ни за что.

Это так не похоже на меня.

— Давай.

— Я лучше сдохну.

— Одно другому не мешает. Лезь, надо.

— Потому что ты залез?

— Потому что ты хочешь.

— Я не хочу.

— Давай, — не унимался Тамир. — Ты будешь счастлив. Это будет счастье на годы.

— Счастье это не то, что для меня важно.

И вдруг твердо:

— Сию же секунду, Джейкоб.

Джейкоб хотел ответить шуткой на эту внезапную агрессию:

— Предки убьют меня, если я погибну прямо накануне бар-мицвы.

— Это и *будет* твоя бар-мицва.

— Ни за что.

Тут Тамир приблизился прямо к лицу Джейкоба:

— Я тебя тресну, если ты не полезешь.

— Кончай.

— Серьезно, стукну.

— Но у меня очки и прыщи.

Эта неловкая шутка ничего не ослабила, ничего не сделала почти разумным. Тамир ударил Джейкоба в грудь, причем настолько сильно, что тот отлетел на ограду. Впервые в жизни его ударили.

— Че за херня, Тамир?

— Ты чего нюни распустил?

— Ничего я не распустил.

— Если не распустил, тогда и не распускай.

— Никто не распускал.

Тамир положил руки Джейкобу на плечи и уткнулся лбом в его лоб. Джейкоб до года сосал материнскую грудь, его мыли в кухонной раковине, он тысячу раз засыпал на плече отца, но такой теплой близости он еще никогда не ощущал.

— Надо, ты должен, — сказал Тамир.

— Не хочу.

— Ты хочешь, но боишься.

— Нет.

Но он хотел. И боялся.

— Давай, — сказал Тамир, подводя Джейкоба к стене. — Это легко. Это секунда. Ты видел. Ты видел, что это плевое дело. А помнить будешь всю жизнь.

Это так не похоже на меня.

— Мертвецы не помнят.

— Да не дам я тебе пропасть.

— Не дашь? А что ты сделаешь?

— Прыгну к тебе.

— Чтобы мы пропали вместе?

— Да.

— Но от этого я не стану менее мертвым.

— Станешь. Давай, двигай.

— Погоди, слышал звук?

— Нет, потому что не было никакого звука.

— Серьезно. Я не хочу умирать.

И это как-то случилось, не случившись, без всякого решения, без всякого сигнала от мозга хоть к каким-то мышцам. Джейкоб вдруг почти перевесился через стекло, даже не забираясь на него. Руки у него так бешено тряслись, что он едва держался.

Это так не похоже на меня.

— Отцепляйся, — сказал Тамир. Джейкоб держался.

Это так не похоже на меня.

— Спрыгивай.

Он отрицательно помотал головой и разжал пальцы.

И оказался на земле в вольере для львов.

Это абсолютно противно моей натуре.

Там, на земле, посреди искусственной саванны, посреди столицы страны, он испытал что-то настолько неукротимое и настоящее, что это могло бы или спасти, или погубить его жизнь.

Через три года он прикоснется языком к языку девушки, ради которой по локоть отрезал бы себе руки, если бы только она сказала. А на следующий год подушка безопасности в машине разорвет ему роговицу, но спасет жизнь. Через два года он с удивлением будет смотреть на губы, сомкнувшиеся на его члене. И в том же году позже скажет отцу *в лицо* то, что говорил *о нем* годами. Он скурит бушель травы, увидит во время шутивого матча в тачбол, как его колено гнется в обратную сторону, необъяснимым образом расплчется в чужом городе у холста, изображающего женщину с ребенком, потрогает бурого медведя в спячке и редкого панголина, неделю проживет ожиданием анализа, будет беззвучно молиться о спасении своей жены, пока та с воплями исторгает из своего тела новую жизнь, — у него будет множество моментов, когда жизнь видится огромной и драгоценной. Но эти моменты составляют такую ничтожную часть его земного срока: пять минут в год? А сколько за жизнь? День? Не больше? За четыре десятка прожитых лет один день чувствовать себя живым?

В вольере для львов Джейкоб почувствовал, как его собственное существование обступило и обняло его. Он почувствовал себя — наверное, впервые в жизни — совершенно спокойно.

Но затем он услышал звук, вернувший его в реальность. Обернувшись, он встретил взгляд Тамира и понял, что тот тоже слышал. Шорох. Шелест листы. Что они разделили в том взгляде? Страх? Но он напоминал смех. Как будто кто-то из них отмочил самую смешную в мире хохму.

Повернувшись в сторону вольера, Джейкоб увидел зверя. Не в воображении, а настоящего зверя в настоящем мире. Зверя, который не раздумывает и не объясняет. Необрезанного зверя. До льва было пятьдесят футов, но от его дыхания у Джейкоба запотели очки.

Без единого слова Тамир взобрался на гребень стены и протянул сверху руку. Джейкоб подпрыгнул, но не достал. Он лишь слегка коснулся руки Тамира, отчего расстояние между ними показалось бесконечным. Джейкоб вновь прыгнул, и вновь они лишь коснулись друг друга кончиками пальцев, а лев уже сорвался с места, с каждым прыжком вдвое сокращая расстояние. Времени сгруппироваться для прыжка или прикинуть, как подпрыгнуть на дюйм или два выше, у Джейкоба не было, он просто попробовал еще раз, и теперь — то ли на адреналине, то ли вмешался Бог, внезапно пожелавший доказать Свое существование, — он ухватил запястье Тамира.

И через миг они оба опять валялись пластом на дорожке, и Тамир принялся смеяться, а за ним и Джейкоб, а потом, а может, сразу, Джейкоб

расплакался.

Может, он понял. Может, он откуда-то знал, подросток, смеющийся и плачущий лежа на земле, что больше никогда не испытает ничего похожего. Может, он видел с высоты этой вершины бескрайнюю равнину впереди.

Тамир тоже плакал.

Тридцать лет спустя они все еще стояли у ограды, но, несмотря на все добавившиеся к росту дюймы, оказаться за ней уже не могли. Стекло тоже выросло. Стекло выросло сильнее, чем они.

— После той ночи я больше ни разу не чувствовал себя живым, — сказал Джейкоб, подавая Тамиру еще пива.

— Такая скучная была жизнь?

— Нет. В жизни много всего было. Но я ее не чувствовал.

— У счастья есть разные версии, — напомнил Тамир.

Помедлив перед открыванием следующей бутылки, Джейкоб сказал:

— Знаешь, я не уверен, что в это верю.

— Ты не хочешь в это верить. Ты хочешь верить, что твоя работа так же важна, как война, что долгий брак должен так же волновать, как первое свидание.

— Знаю, знаю, — отозвался Джейкоб. — Не ожидай многого. Научись любить бесчувственность.

— Я не это сказал.

— Я всю жизнь цеплялся за убеждение, что все, о чем мы в детстве говорили, содержит хотя бы крупину истины. Что мечты о жизни, которую чувствуешь, — не лживы.

— Ты хоть раз догадался спросить себя, почему придаешь такое значение чувствам?

— А чему же еще можно придавать значение?

— Миру.

— Да у меня мира-то хватает, — сказал Джейкоб. — Слишком много мира.

— Есть разные версии мира.

По дому пролетел сквозняк, и где-то в утробе кухонной вытяжки побренчала заслонка.

— Джулия думает, я ни во что не верю, — сказал Джейкоб. — Может, она и права. Я не знаю, считается это верой или неверием, но, но я не сомневаюсь, что мой дед сейчас пребывает не где-то там, а в земле. Мы получаем то, что получаем. Работа, брак.

— Ты разочарован?

— Да. Или опустошен. Нет, что-то между разочарованием и

опустошением. Деморализован?

Послышался какой-то щелчок, и упрямый жидкий свет над раковиной померк. Где-то нарушился контакт.

— Трудный день был, — сказал Тамир.

— Да, но в этом дне десятилетия.

— Даже если они ощущаются, как несколько мгновений?

— Когда меня спрашивают, как дела, я почему-то отвечаю: "У меня сейчас переходный момент". Все в жизни — это переход, турбулентности по пути к конечной цели. Но я так давно это говорю, что, наверное, пора смириться: остаток жизни будет одним долгим переходом — песочные часы без колб. Сплошная перемигивка.

— Джейкоб, у тебя в самом деле почти нет проблем.

— Проблем хватает, — отозвался Джейкоб, набирая новое сообщение Джулии, — уж поверь. Но они такие мелкие, такие домашние. Дети целыми днями пялятся в экран. У собаки недержание. У меня ненасытный голод на порно, но я не могу рассчитывать, что у меня встанет на аналоговую мохнатку. Я лысею — знаю, ты заметил, и спасибо, что промолчал.

— Ты не лысеешь.

— Я маленький человек.

Тамир покивал и заметил:

— А кто не маленький?

— Ты.

— А что уж во мне такое большое? Не терпится услышать.

— Ты был на войнах и живешь под угрозой будущих войн, и, боже мой, Ноам сейчас в самом центре бог знает чего. Риски, которые есть в жизни, отражают величие жизни.

— И это стоит всего остального? — спросил Тамир. — И то, что ты сейчас сказал, я приму за оскорбление. — Он отпил полбутылки. — Еще пинта, и я рассвирепею.

— А чем тут оскорбляться. Я просто говорю, что ты избежал Великой Равнины.

— Ты думаешь, мне надо что-нибудь, кроме скучного белого домика в скучном районе, где никто не знает соседей, потому что все смотрят телевизор?

— Да, — ответил Джейкоб. — Я думаю, тогда ты свихнулся бы, как мой дед.

— Он-то не свихнулся. Кто свихнулся, так это ты.

— Я не имею в виду...

Свет снова зажегся, избавив Джейкоба от необходимости объяснять, чего он не имел в виду.

— Послушай себя, Джейкоб. Ты думаешь, все это игра, потому что сам — всего лишь зритель.

— Как это понимать?

— Даже не болельщик. Ты не знаешь, за кого топишь.

— Эй, Тамир. Ты прицепился к тому, чего я даже не говорил. В чем дело?

Тамир махнул в сторону телевизора — израильские солдаты удерживали беснующуюся толпу палестинцев, рвущихся в западный Иерусалим, — и сказал:

— Вот в чем дело. Ты, наверное, не заметил?

— Но именно про это я и говорю.

— Экшн. Да. Ты любишь драматизм. Тебя смущает то, кто мы есть.

— *Что?* И кто мы?

— Израиль.

— Тамир, перестань. Не знаю, о чем ты толкуешь и почему разговор этого коснулся. Я что — не могу взять и поплакаться на жизнь?

— Если я смогу взять и защитить свою.

Надеясь, что, если дать Максусу чуть больше самостоятельности, это развеет его хандру, Джейкоб с Джулией стали позволять ему одному совершать небольшие походы по округе: в пиццерию, в библиотеку, в пекарню. Однажды он принес из аптеки картонные рентгеновские очки. Джейкоб тайком наблюдал, как Макс их примерил, затем перечитал текст на упаковке, снова примерил, снова прочел. Он ходил в них по дому, все больше волнуясь.

— Полная параша! — воскликнул он, бросая очки на пол.

Джейкоб тактично объяснил ему, что это прикол, шутка: обмануть других, будто можешь видеть сквозь одежду.

— Почему тогда это не написали на упаковке? — спросил Макс, и его гнев перешел в стыд. — И разве было бы менее смешно, если с ними и *правда* можно было видеть сквозь одежду?

Что творилось в душе Тамира? Джейкоб не мог понять, как их милая перепалка о счастье превратилась в горячий политический спор, в котором был лишь один участник. Что-то он в Тамире задел, но что?

— Я много работаю, — сказал Тамир. — Ты это знаешь. Всегда работал много. Некоторые работают, чтобы поменьше бывать в семье. Я же работаю, чтобы семью обеспечивать. Ты не думаешь, что я вру, верно?

Джейкоб кивнул, не в силах заставить себя произнести: "Конечно, не

думаю".

— Пока Ноам был маленьким, я часто не обедал дома. Но каждое утро возил его в школу. Это было для меня важно. Так я многое узнал о других родителях. По большей части они мне нравились. Но одного папашу я совершенно терпеть не мог — натуральный придурок, типа меня. Ну и, соответственно, и его ребенка я тоже терпеть не мог. Его звали Эйтан. Ну, пожалуй, ты уже понял, к чему я веду?

— Вообще-то, не имею понятия.

— Ноам пошел в армию, и кто оказался в его части?

— Эйтан.

— Эйтан. С его отцом мы обмениваемся имейлами, когда кто-то из нас получит хоть какие-то крохи информации. Мы никогда не встречаемся и даже ни разу не говорили по телефону. Но переписываемся все время. И я не стал относиться к нему лучше — чем больше мы общаемся, тем больше он меня бесит. Но я люблю его. — Тамир обхватил ладонью пустую бутылку. — Можно один вопрос?

— Конечно.

— Сколько денег ты отдаешь Израилю?

— Сколько денег? — переспросил Джейкоб, поднимаясь к холодильнику, чтобы вынуть еще пива и просто чтобы размяться. — Забавный вопрос.

— Да. Что ты даешь Израилю? Я серьезно.

— Ты имеешь в виду Объединенный еврейский призыв? Университет Бен-Гуриона?

— Конечно, включая и это. Посчитай еще поездки в Израиль: с родителями, со своей семьей.

— Ты же знаешь, с Джулией и детьми я там не бывал.

— Это верно, ты ездил в Берлин. Что ж, представь, что вы поехали в Израиль. Представь отели, где вы останавливались бы, поездки на такси, фалафель, мезузы из иерусалимского камня, которые вы повезете домой.

— Не пойму, куда ты клонишь.

— Ну, я знаю, что отдаю больше шестидесяти процентов дохода.

— Ну, то есть налогами? Ты там *живешь*.

— И это означает, что я тем более должен нести финансовое бремя.

— Тамир, я правда не понимаю, к чему этот разговор.

— А ты не только отказываешься что-то честно отдать, ты еще и *отбираешь*.

— Что отбираю?

— Наше будущее. Ты знаешь, что больше *сорока процентов*

израильтян думают об эмиграции? Был такой опрос.

— И я как-то в этом виноват? Тамир, я понимаю, что Израиль — это не университетский городок, и какая это пытка — быть сейчас оторванным от семьи, но ты не на того чувака напал.

— Ну же, Джейкоб.

— Что?

— Ты плачешься, как тебе хреново, какая у тебя ничтожная жизнь. — Тамир наклонился вперед. — Я боюсь.

Джейкоб от волнения не мог вымолвить ни слова. Казалось, будто он вошел сегодня вечером на кухню с картонными рентгеновскими очками и в досаде швырнул их на пол, а вместо объяснений, что это очки для прикола, чтобы обманывать других, будто в них видишь все насквозь, Тамир вдруг взял и стал прозрачным.

— Я боюсь, — повторил он. — И меня тошнит от общения с папашей Эйтана.

— У тебя есть не только папаша Эйтана.

— Это верно: у нас есть арабы.

— У нас.

— У нас? Твои детки спят на органических матрасах. А мой сын сейчас в самом *пекле*. — Тамир снова показал рукой на телеэкран. — Я отдаю больше половины всего, что имею, а ты — один процент, щепотку. Ты хочешь иметь отношение к эпическим событиям, и ты чувствуешь себя вправе учить меня, как мне устраивать мой дом, и притом ты ничего не даешь и ничего не делаешь. Давай больше или болтай поменьше. Но больше не говори у нас.

Как и Джейкоб, Тамир предпочитал не держать телефон в кармане и всегда выкладывал его на стол или куда-нибудь. Несколько раз, несмотря на то, что их телефоны совсем не были похожи, Джейкоб хватал трубку Тамира. В первый раз на рабочем столе было фото маленького Ноама, готовящегося бить угловой. В следующий раз там было другое фото: Ноам в военной форме, отдает честь. В следующий раз: Ноам на руках у Ривки.

— Я понимаю, что ты волнуешься, — сказал Джейкоб. — Лично я бы лез на стену. И на твоем месте я бы тоже, наверное, злился на меня. Тяжелый день выдался.

— Помнишь, как ты залип на нашем бомбоубежище? Когда первый раз приезжал? И твой отец тоже. Мне пришлось вас оттуда практически выволакивать.

— Это неправда.

— Когда мы разбили полдюжины арабских армий в сорок восьмом...

— Мы? Ты даже еще не родился тогда.

— Да, верно, мне не надо было говорить *мы*. Ведь это включает тебя, а ты к этому не имеешь никакого отношения.

— Да ровно столько же, сколько и ты.

— Вот только мой дед рисковал тогда жизнью, а значит — и моей жизнью тоже.

— У него не было выбора.

— Америка всегда была возможным выбором для нас. Так же как Израиль — для вас. Каждый раз вы завершаете свой седер словами: "На будущий год в Иерусалиме", и каждый год вы предпочитаете справлять седер в Америке.

— Это потому что Иерусалим тут как идея.

Тамир рассмеялся и хлопнул по столу:

— Не для тех, кто там живет, поверь. Не для тех, кому приходится надевать на своего ребенка противогаз. Что делал твой отец в семьдесят третьем, когда египтяне и сирийцы теснили нас к морю?

— Он писал статьи, устраивал марши, лоббировал.

— Ты знаешь, я люблю твоего отца, но я надеюсь, ты себя слышишь, Джейкоб. Статьи? Мой отец командовал танковым подразделением.

— Мой отец не стоял в стороне.

— Он делал, что мог делать, ничем не жертвуя и даже не рискуя. Как ты думаешь, он рассматривал возможность сесть в самолет и отправиться в Израиль?

— Он не представлял, как это — воевать.

— Это не очень трудно, просто стараешься не умереть. В сорок восьмом винтовки раздавали ходячим скелетам, едва они сходили с кораблей из Европы.

— И у него была дома жена.

— Да ты что.

— И это была не его страна.

— Вот, в яблочко.

— Его страной была Америка.

— Нет, у него не было родины.

— Америка была его родиной.

— Америка — это страна, где он снимал угол. И ты знаешь, что случилось бы, если бы мы проиграли ту войну, как многие и многие из нас боялись?

— Но вы не проиграли.

— Ну, а если бы? Если бы нас *опрокинули* в море или просто перебили

до последнего там, где мы стояли?

— Ты это к чему?

— Твой отец писал бы статьи.

— Я не очень понимаю, чего ты добиваешься этими словесными упражнениями. Пытаешься показать, что ты живешь в Израиле, а я нет?

— Нет, что ты можешь обойтись без Израиля.

— *Обойтись?*

— Да. Ты любишь его, поддерживаешь, поешь о нем, молишься о нем, даже завидуешь евреям, которые там живут. Но ты не пропадешь и без Израиля.

— В смысле, не перестану дышать?

— В этом смысле, да.

— Ну, в *этом* смысле и Америка для меня не обязательна.

— Абсолютно точно. Люди думают, что у палестинцев нет родины, но палестинцы умирают за свою родину. Это вот тебя надо жалеть.

— Потому что я не стану умирать за страну?

— Именно. Это еще не все. Ты вообще ни за что не станешь умирать. Прости, если это ранит твои чувства, но не притворяйся, будто это неправда или несправедливо. Джулия была права: ты ни в что не веришь.

Именно в этот момент каждый из них должен был сорваться, но Джейкоб взял со стола свой телефон и спокойно сказал:

— Пойду отолью. И когда я вернусь, мы сделаем вид, что последних десяти минут не было.

Тамир никак не отреагировал.

Джейкоб заперся в ванной, но он не стал мочиться и не стал притворяться, что ссоры не было. Он вынул из кармана телефон. На рабочем столе было фото, сделанное на шестой день рождения Макса. Они с Джулией дали Максиму полный чемодан разных костюмов. Там был костюм клоуна. Костюм пожарного. Индейца. Посыльного. Шерифа. Первым, который Макс примерил, что и увековечено в цифровом снимке, был костюм солдата. Джейкоб смыл унитаза вхолостую, открыл настройки телефона и заменил фото на рабочем столе какими-то из стандартных обоев: изображением листа, оторванного от дерева.

Вернувшись на кухню, он сел на свой стул напротив Тамира. Он хотел было разрядить обстановку анекдотом о разнице между "субару" и эрекцией, но не успел открыть рта, как Тамир объявил:

— Я не знаю, где Ноам.

— Как это?

— Несколько дней он был дома. Мы переписывались и разговаривали.

Но сегодня днем их часть куда-то перебросили. Ривка не знает куда. И я ничего не слышал. Он звонил, но у меня, идиота, был отключен телефон. Что я за отец?

— Ох, Тамир. Сочувствую. Не могу даже представить, что ты чувствуешь.

— Можешь.

— У Ноама все будет хорошо.

— Ты мне это обещаешь?

Джейкоб без причины почесал плечо и сказал:

— Жаль, что не могу.

— Я многое сейчас сказал всерьез. Но многое и не совсем. Или я не уверен, что всерьез.

— Я тоже кое-что сказал невсерьез. Бывает.

— Почему он не может написать хотя бы одно предложение? Две буквы: О-К.

— А я не знаю, где сейчас Джулия, — сказал Джейкоб, напоминая, что и он тоже настоящий. — Она не в командировке.

— Нет?

— Нет. И я боюсь.

— Тогда можем поговорить.

— А что мы делали сейчас?

— Издавали звуки.

— Тут я во всем виноват. Джулия. Семья. Я вел себя так, будто могу без них обойтись.

— Постой, не гони. Скажи, что...

— Она нашла телефон, — объявил Джейкоб, будто мог сказать это, только перебивая кого-то. — Мой тайный телефон.

— Бля. Зачем тебе понадобился тайный телефон?

— Это была глупость, конечно.

— Ты ходил налево?

— Я даже не понимаю, что это значит.

— Ты понял бы, если бы Джулия пошла налево.

Эти слова запустили цепную реакцию в мозгу Джейкоба: что, если Джулия сейчас в постели с Марком? Он пялит ее, пока они тут о ней говорят? Тамир спросил:

— Ты ее пялил?

Джейкоб помолчал, как будто обдумывая ответ, как будто не понимая, что значит это слово.

— Да.

— Больше одного раза?

— Да.

— Но не в доме?

— Нет, — ответил Джейкоб с оскорбленным видом. — В отелях. Один раз в офисе. Это было просто как разрешение, признание того, что мой брак не удался. Джулия, наверное, даже порадовалась бы, что это произошло.

— Еще бы, всякий обрадуется разрешению, которого не просил.

— Может быть.

— Это тот же разговор, который мы сейчас вели. Тот же самый.

— Я думал, мы выяснили, что несли хренотень?

— И ее тоже, но не в том смысле, что ты не можешь сказать: "Вот кто я есть". Ты не можешь сказать: "Я женатый мужчина. У меня трое прекрасных детей, замечательный дом, отличная работа. У меня есть не все, чего я хочу, меня не настолько ценят, как мне бы хотелось, я не так богат, не настолько любим и не столько трахаюсь, как мне бы хотелось, но вот я такой, и это мой выбор, и я это принимаю и признаю". Ты так сказать не можешь. Но при этом и не признаешь, что хочешь большего, что тебе нужно больше. Не то что перед другими, ты даже себе не признаешься, что несчастлив.

— Я несчастлив. Если ты это хотел от меня услышать, то вот. И я хочу большего.

— Это просто сотрясение воздуха.

— А что не просто сотрясение?

— Поехать в Израиль. Поселиться там.

— А, ну теперь ты прикалываешься.

— Говорю то, что ты и так знаешь.

— Что, если я перееду в Израиль, мой брак как-то поправится?

— Что, если бы ты мог встать и сказать: "Вот кто я такой", ты, по крайней мере, проживал бы свою собственную жизнь. Даже если то, какой ты есть, для других — кошмар. Даже если это кошмар для тебя самого.

— А я проживаю не свою жизнь?

— Да.

— А чью же?

— Может быть, придуманную для тебя дедом. Или отцом. Или тобой придуманную. А может, и вообще никакую.

Джейкобу показалось, что стоило бы обидеться, и у него был порыв ответить Тамиру, но вместе с тем он ощутил смирение и благодарность.

— Сегодня тяжелый день, — сказал он. — И я не уверен, что мы оба

говорим то, что действительно думаем. Здорово, что ты здесь. Это напоминает мне о детстве. Давай не усугублять.

Тамир в один глоток допил последнюю треть бутылки. Опустил пустую посудину на стол с осторожностью, какой Джейкоб ни разу в нем не замечал, и сказал:

— И когда мы только перестанем не усугублять?

— Мы с тобой?

— Ну да.

— А что тогда? Гори все огнем?

— Или все, кроме того, что наше.

— Твое и мое?

— Ну конечно.

Он допил оставшееся в бутылке у Джейкоба и выбросил обе в ведро.

— Мы сдаем, — сказал Джейкоб.

— Я нет.

— У вас там полотенце хватает?

— Ты что думаешь, я их ем?

— Стараюсь быть радушным хозяином.

— Вечно пытаешься кем-то быть.

— Это да. Всегда стараюсь кем-то быть. Это хорошо меня характеризует.

— Ну ладно.

— И ты тоже все время пытаешься кем-то быть. И Барак. И Джулия, и Сэм, и Макс, и Бенджи. Все.

— Ну, а кем я пытаюсь быть?

Джейкоб на миг замолчал, задумался.

— Ты пытаешься быть больше, чем ты есть.

Улыбка Тамира показала, что удар неплох.

— А.

— Каждый пытается кем-то быть.

— Твой дед не пытается.

Что это? Дурацкая шутка? Ленивые потуги на мудрость?

— Он перестал пытаться, — сказал Джейкоб, — и это его убило.

— Ты ошибаешься. Он из нас единственный, кому удалось.

— Что удалось?

— Чем-то стать.

— Мертвецом?

— Нет, настоящим.

Джейкоб уже было сказал: *Вот теперь не понял*. Он уже было сказал:

Я в домике!

Он уже было сказал: *Я не согласен ни с одним твоим словом, но я тебя понимаю.*

Вечер можно было закончить, разговор закруглить, сказанное впитать, переварить и выделить, усвоив питательные вещества.

Но вместо этого Джейкоб спросил:

— Хочешь еще пива? Или от него только косеют и толстеют?

— Мне пойдет все, что и тебе, — ответил Тамир. — Включая окосеть и растолстеть.

— И облысеть.

— Нет, тут ты позаботишься о нас обоих.

— Знаешь, — сказал Джейкоб, — у меня там наверху есть пакет травы. Где-то заначен. Ему, наверное, столько же лет, сколько Макс, но ведь травка не портится, правда?

— Не больше, чем дети, — сказал Тамир.

— Бля.

— А чего ты боишься? Нас не торкнет?

В двери

Три часа Джулия шла пешком до квартиры Марка. Джейкоб писал и звонил, писал и звонил, а Джулия не писала и не звонила удостовериться, что Марк дома. Кнопку звонка она нажимала и отпускала одновременно: цепь замкнулась на оглушительное мгновение, будто птица ударилась в окно.

— Алло?

Она молча застыла. Улавливает ли микрофон ее дыхание? Слышит ли Марк с четвертого этажа, как она выдыхает?

— Джулия, я тебя вижу. Там небольшая камера, прямо над кнопками.

— Это Джулия, — сказала она, будто пытаюсь отрезать и выбросить последние пару секунд и по-человечески ответить на "алло".

— Да, я на тебя смотрю.

— Не очень приятное ощущение.

— Так выходи из-под прицела и поднимайся.

Дверь сама собой отворилась.

А затем перед ней распахнулись двери лифта, а потом еще раз.

— Не ожидал тебя, — сказал Марк, встречая ее на пороге.

— И я от себя такого не ожидала.

Она невольно окинула комнату взглядом. Все было новым и свеженьким: фальшивая лепнина, блестящие полы, прямо как для боулинга, пухлые ползуны регуляторов света.

— Как видишь, — сказал Марк, — еще многое не закончено.

— А у кого закончено!

— Куча мебели приедет завтра. Завтра все будет выглядеть совсем не так.

— Что ж, я рада, что увидела, как оно до.

— И это временно. Мне нужно было где-то жить, а тут... можно жить.

— Ты думаешь, я сужу тебя?

— Нет, но думаю, ты оцениваешь мое жилище.

Она взглянула на Марка: он явно старался — ходил в тренажерный зал, укладывал волосы, покупал вещи, которые кто-то — в журнале или в магазине — рекомендовал ему как стильные. Оглядела квартиру: высоки ли потолки, окна, сияет ли техника.

— А где ты ешь?

— Обычно куда-нибудь хожу. Всегда.

- А где ты открываешь почту?
- Вот на этом диване я делаю все.
- И спишь на нем?
- Тут я делаю все, только не сплю.

Все, только не сплю: это было невыносимо двусмысленно. Или так показалось Джулии. Но в этот момент ей все казалось невыносимо двусмысленным, потому что она была невыносимо к этому предрасположена. Пока не восстановилась кожа, у Сэма рана оставалась открытой и был постоянный риск заражения. Джулия по-детски не хотела видеть причину уязвимости в самой ране своего ребенка: для нее рука Сэма оставалась прежней, а вот внешняя среда как бы стала более агрессивной. Из больницы они поехали напрямик в кафе-мороженое. "Полить всеми сиропами?" — спросила официантка. Толкая ладонью дверь — первую дверь, которую она отворяла после того, как захлопнулась та, тяжелая, — Джулия заметила обратную сторону таблички "Открыто".

— Смотри, — сказала она, находя в своей шутке еще одну причину ненавидеть себя, — мир закрыт.

— Нет, — сказал Сэм. — *Защищен*. Как бухта.

Еще одна причина ненавидеть себя.

У нее было столько всего, что можно было сказать Марку. И куча тем для пустой болтовни. В летнем лагере Джулия научилась застилать кровать с больничными уголками. В больнице она научилась втискивать плотно сложенные слова между тяжкими секундами. Но вот сейчас ей не хотелось, чтобы было аккуратно или незаметно. Но ей и не хотелось, чтобы все было таким растрепанным и раскрытым, каким казалось.

Чего же ей хотелось?

— Чего я хочу? — спросила она, мягко, словно вдруг оказалась в открытом космосе.

Ей хотелось что-то в себе обнажить, но что и насколько?

— Что? — спросил Марк.

— Не знаю, зачем я тебя спрашиваю.

— Я не расслышал, что ты спросила, — сказал он, подступая поближе, может быть, чтобы лучше слышать.

Она перепробовала все: соковую диету, поэтические запои, вязание, писание писем от руки людям, с которыми прервался контакт, моменты полной искренности, которые они друг другу обещали в Пенсильвании шестнадцать лет назад. С десятков раз она пыталась медитировать, но неизменно сбивалась, когда надо было "вспомнить свое тело". Она понимала, что от нее требуется, но не могла и не хотела это выполнить.

Она сделала шаг навстречу Марку, приближаясь, может быть, затем, чтобы ее слова были лучше слышны.

Но теперь, и без всяких усилий, она вспомнила свое тело. Вспомнила свои груди, которых чужие мужчины не видели, не вождедели со времен ее молодости. Вспомнила их тяжесть: они, как медленно опускающиеся к земле гири, дающие ход ее биологическим часам. Они появились слишком рано, но росли слишком медленно, и ее единственный за годы колледжа парень, чей день рождения она до сих пор помнила, называл их "платоническими". Во время месячных груди становились такими чувствительными, что, когда она расхаживала по дому, приходилось их придерживать. Еще годы после того, как его выключили в последний раз, Джулии иной раз еще слышался астматический хрип электрического молокоотсоса. Она узнала свои груди лучше и ближе, когда появились причины за них бояться, но в последние три года неизменно отводила взгляд, когда их зажимали между платформами маммографа — всякий раз техник, которого ни о чем не спрашивали, сообщал: облучения во время процедуры получаешь меньше, чем во время трансатлантического перелета. Полетев на свой сорок первый день рождения с Джейкобом в Париж, она представляла, как дети выискивают в небе их самолет, а ее груди рдеют, будто радиоактивные сигнальные огни.

Чего же ей хотелось?

Ей хотелось обнажить все.

Ей хотелось чего-то невозможного, такого, что, осуществившись, уничтожит ее самое. И тут она поняла Джейкоба. Она поверила ему, когда он сказал, что те слова были только слова, но не поняла его. А теперь понимала: ему нужно было сунуть руку в дверь. Но закрывать дверь, дробя свои пальцы, он не собирался.

— Мне надо домой, — сказала она.

Ей нужно было что-то невозможное, такое, что, осуществившись, спасло бы ее.

— Ты пришла, чтобы это сказать?

Джулия кивнула.

Марк стоял прямо и как будто стал выше, чем был прежде.

— Я так понял, что ты куда-то движешься сейчас, — сказал он. — Никто лучше меня не просекает такое. И я действительно рад стать привалом, где ты можешь вытянуть ноги, заправить бак и облегчиться.

— Пожалуйста, не сердись, — сказала она как-то по-девчоночьи.

Она вся горела от страха — что Марк злится, что злится справедливо, что она в конце концов будет наказана за дело. Еще простительно

допустить, чтобы детям было больно, но нет такого наказания, которое было бы достаточным тому, кто сам, понимая это, причиняет боль своим детям. Ведь она принялась уничтожать собственную семью — намеренно, а не потому, что иначе нельзя. Собралась выбрать отсутствие выбора.

— Надеюсь, я сильно помог тебе вырасти, — продолжал Марк, уже не стараясь спрятать обиду. — Да. Надеюсь, ты со мной научилась чему-то и потом используешь это с кем-нибудь другим. Но могу ли я безвозмездно предложить небольшой совет?

— Мне надо уже идти, — повторила Джулия, до смерти боясь того, что сейчас скажет Марк и что его слова станут какой-то магической карой для нее и убьют ее детей.

— Не в тебе проблема, Джулия, — проблема в твоей жизни.

Доброжелательность оказалась еще хуже того, что так пугало Джулию. Марк отворил дверь.

— А это я говорю только ради твоего и своего покоя: знай, что в следующий раз, когда увижу на экране твое лицо, я даже не подойду посмотреть, как ты ждешь.

— Мне надо домой, — сказала она.

— Удачи дома, — сказал он.

Джулия вышла.

Она взяла такси до отеля, реконструкцию которого ее недавно пригласили курировать.

Там была карикатурно огромная и противоестественно симметричная цветочная композиция, и прямо над ней висела хрустальная люстра в сто тысяч подвесок.

Коридорный сказал что-то в наладонный микрофон, провод которого уходил ему в рукав и спускался сбоку к передатчику, прикрепленному на поясе, — наверное, можно было придумать связь и поудобнее.

И портье, который почти мог бы быть Сэмом через пятнадцать лет, но с безупречной левой рукой, спросил:

— Сколько вам понадобится ключей?

Ей хотелось сказать: "Все". Ей хотелось сказать: "Ни одного".

Кто в пустой комнате?

Пока Джейкоб поднимался за травкой, Тамир успел изготовить трубку из яблока, причем обошелся, очевидно, без всяких инструментов.

— Ловко, — сказал Джейкоб.

— Я вообще ловкач.

— Ну, фрукт в приспособление для приема наркотиков точно умеешь переделать.

— Все еще пахнет дурью, — заметил Тамир, открывая внутренний пакетик. — Хороший знак.

Они приоткрыли окно и закурили в молчании, прерываемом только унизительным кашлем Джейкоба. Откинулись на стульях. Ждали.

Телевизор каким-то образом переключился на спортивный канал. Не обрел ли телевизионный приемник сознание и волю? Показывали документальный фильм о трансфере Уэйна Гретцки из "Эдмонтон ойлерз" в "Лос-Анджелес кингз" в 1988 году — чем это обернулось для Гретцки, для Эдмонта, для Эл-Эй, для хоккея, для планеты Земля и для Вселенной. То, что в любой другой момент заставило бы Джейкоба разбить телевизор или ослепить себя, неожиданно оказалось счастливейшим облегчением. Не Тамир ли переключил?

Они потеряли чувство времени — пройти могло и сорок пять секунд, и сорок пять минут. Для них это имело не большее значение, чем для Исаака.

— Мне хорошо, — сказал Джейкоб, опираясь на локоть, как подобает свободному человеку: этому его учили в детстве на пасхальных седеках.

— Мне очень хорошо, — эхом отозвался Тамир.

— Вот как-то глубинно, в корне... *хорошо*.

— Мне знакомо это ощущение.

— Но дело-то в том, что моя жизнь не хороша.

— Да.

— Да — в смысле ты знаешь? Или да — твоя тоже?

— Да.

— Детство прекрасно, — продолжил Джейкоб, — а потом начинается пустая суета. Если повезет, тебе будет не до лампочки, чем ты занимаешься. Но тут различие только в степени.

— Но степень тут имеет значение.

— Действительно?

— Если хоть что-то важно, то все важно.

- О, реально зачетная попытка изречения мудрости.
- Китайская лапша имеет значение. Дурацкие и сальные шутки имеют значение. Жесткие матрасы и мягкие простыни имеют значение. Босс имеет значение.
- Босс?
- Спрингстин. Стульчак с подогревом сиденья. Мелочи: заменить лампочку, продуть своему ребенку в баскетбол, катить куда-то без цели. Вот она твоя Великая равнина. И я могу продолжить.
- А еще лучше, не мог бы ты вернуться к началу и все это точно повторить, а я запишу?
- Китайская еда имеет значение. Глупые, сальные шутки имеют значение. Жесткие матрасы и мягкие простыни...
- Меня вставило.
- А я смотрю на абжур сверху.
- Пыльный? — спросил Джейкоб.
- Другой бы спросил, клево ли это.
- Нельзя людям позволять жениться, пока им не станет поздно заводить детей.
- Подай петицию, может, соберешь подписи.
- И быть счастливым в профессиональной жизни невозможно.
- Никому?
- Хорошему отцу. И так тяжело сбиваться с пути. Все эти чертовы еврейские гвозди прошивают мне ладони.
- Еврейские гвозди?
- Ожидания. Предписания. Заповеди. Стремление всем угодить. И все прочие.
- Прочие?
- Ты когда-нибудь читал те стихи, или запись в дневнике, я не помню, что, того парнишки, который умер в Освенциме? А может, в Треблинке? Несущественная деталь, но я... Ну там, где "В следующий раз, бросая мяч, брось его за меня"?
- Нет.
- Серьезно?
- Да вроде.
- Ну считай, повезло тебе. В общем, может, я не точно теми словами передаю, но суть такая: не плачь обо мне, а живи за меня. Меня скоро отравят газом, так что сделай мне одолжение и радуйся жизни.
- Нет, никогда не слышал.
- А я слышал, наверное, тысячу раз. Это было главным мотивом

моего еврейского образования, и это убивало все. Не потому, что каждый раз, бросая мяч, думаешь о мертвом мальчишке, который должен был стать тобой, а потому, что иногда хочется тупо пялиться в ящик, а ты думаешь: "Нет, я должен пойти побросать мяч".

Тамир рассмеялся.

— Смешно, если не считать того, что это бросание мяча становится отношением и к успехам в учебе, и ты начинаешь, если что-то не идеально, считать, насколько ты недобросил, потом ты поступаешь в колледж, ради учебы в котором убитый парнишка сам бы убил, учишь то, что тебе неинтересно, но само по себе полезно, хорошо и щедро оплачивается, женишься по-еврейски и заводишь еврейских детишек, живешь по-еврейски в каком-то полоумном стремлении искупить то страдание, благодаря которому твоя — все более не твоя — жизнь вообще стала возможна.

— Тебе надо еще курнуть.

— Загвоздка вот в чем, — продолжил Джейкоб, забирая яблоко, — ты выполняешь то, что от тебя ожидают, и это приносит радость, но выполняешь ты только один раз — "У меня высший балл!", "Я женюсь!", "У нас мальчик!" — а потом нужно жить с этим дальше. В тот момент никто не догадывается, но в итоге все узнают, хотя никто не признается, потому что этим самым подрывалось бы основание еврейской "Дженги". Свои эмоциональные запросы меняешь на принадлежность к сообществу, жизнь в теле, пронизанном нервами, меняешь на принадлежность к сообществу, поиск меняешь на принадлежность к сообществу. Я знаю, в общности есть благо. Со временем все изменяется, растет, зреет, исполняется. Но за все назначена своя цена, и то, что мы о ней не говорим, не означает, что мы в состоянии ее заполнить. Так много счастья, но кто-нибудь хоть раз взял и задумался, зачем надо столько счастья?

— Счастье — это проклятье, которому другие завидуют.

— Тамир, тебе надо почаще дуть. Ты превращаешься в сраного магистра Йоду, ну или, по крайней мере, в Дипака Чопру.

— Может, это ты от травы слышишь по-другому?

— Ну, понял! Я как раз про это.

— Ты становишься забавным, — заметил Тамир, поднося яблоко к губам.

— Я всегда забавный.

— Тогда, может, это я слышу по-другому. — Тамир затянулся. — Как Джулия отнеслась? К тем сообщениям?

— Не обрадовалась. Понятно же.

— Вы остаетесь вместе?

— Да. Конечно. У нас дети. Мы немало прожили вместе.

— Ты уверен?

— Ну, в смысле, мы *говорили* о разводе.

— Надеюсь, ты не ошибаешься.

Джейкоб затянулся.

— Я тебе когда-нибудь говорил про мой сериал?

— Конечно.

— Нет, в смысле *мой* сериал.

— Джейкоб, я курнул. Представь, что мне шесть лет.

— Я пишу сценарий про нас.

— Про тебя и про меня?

— Ну, нет, про тебя нет. Или пока нет.

— А вышел бы классный сериал.

— Про мою семью.

— Я тоже твоя семья.

— Про мою семью *здесь*. Про Исаака. Родителей. Джулию и ребят.

— А кто захочет это смотреть?

— Пожалуй, кто угодно. Но не в этом дело. Дело в том, что сценарий, похоже, реально хороший, и возможно, чтобы его написать, я и родился на свет, и в последние лет десять я практически только им и занимаюсь.

— Десять лет?

— И я никогда его никому не показывал.

— Почему?

— Ну, пока был жив Исаак, я боялся, что предаю его.

— В каком смысле?

— Рассказывая правду о том, кто мы есть, какие мы.

— Какое же в этом предательство?

— На днях я слушал утром радио, научный подкаст, я такие люблю. Там брали интервью у тетки, которая два года жила в монреальской биосфере — под куполом в полной изоляции. Вот у нее. Довольно интересно рассказывала.

— Давай его послушаем.

— Да нет, я просто ищу сравнение.

— А я с радостью послушал бы прямо сейчас.

— Я даже не понимаю, всерьез ты или стебешься.

— Джейкоб, прошу тебя.

— Все равно не понимаю. Ну, в любом случае, она рассказывала, как жизнь в замкнутом куполе позволила ей понять, насколько все в мире

взаимосвязано: этот ест этого, потом срет, чем питает вот этих, а они... понеслось. А потом стала говорить про то, что я уже знал — не потому, что я такой, на хер, умник, а потому, что это из тех знаний, которые есть у большинства людей, — что с каждым вдохом ты с большой вероятностью вдыхаешь молекулы, которые выдохнул Пол Пот, или Цезарь, или даже динозавры. Ну, про динозавров, может, я приплел. Меня что-то в последнее время стали занимать динозавры. С чего бы, не знаю. Лет тридцать я про них вообще не вспоминал, и вдруг ни с того ни с сего они мне снова интересны. Я слушал в другом подкасте...

— Ты слушаешь немало подкастов.

— Знаю. Это так. Стремно, ага?

— Ты спрашиваешь меня, стремно ли тебе?

— Унизительно это.

— Не вижу, почему.

— Ну что за человек будет прятаться в пустой комнате и прижимать к уху телефон на минимуме громкости, чтобы ему, и только ему было слышно, как оттуда тарабанят о чем-то глубоко постороннем, типа эхолокации. Это унизительно. А унижение унизительно. — Бутылкой из-под пива Джейкоб размазал по столу кольцо конденсата. — Ну в общем, в том, другом подкасте рассказывали, как все динозавры — и не большая часть там, а вообще все — враз исчезли. Они бродили по земле черт-те сколько миллионов лет, а исчезли, ну, типа, за какой-то час. Почему люди всегда используют слово *бродили*, когда речь заходит о динозаврах?

— Не знаю.

— Но так всегда говорят. Динозавры *бродили* по земле. Странно.

— Ну да.

— *Ужасно* странно, правда?

— Чем дольше я об этом думаю, тем более странно.

— *Евреи бродили по Европе тысячелетиями...*

— И потом, за каких-то десять лет...

— Но я же говорил про другое. Эта тетка из биосферы... динозавры... может, Пол Пот?

— Дыхание.

— Точно! С каждым вдохом мы поглощаем молекулы, вся херня... В общем, я стал зевать, потому что это звучало как банальный околонуточный треп. Но потом она пошла дальше и сказала, что наши выдохи точно так же будут вдыхать наши прапрапрапраправнуки.

— И будущие динозавры.

— И будущие Пол Поты.

Они засмеялись.

— И это меня всерьез расстроило почему-то. Я не заплакал или там чего. Мне не пришлось съезжать на обочину. Но выключить ее пришлось. Внезапно это стало для меня чересчур.

— Почему, ты думаешь?

— Почему я вообще думаю?

— Нет. Почему, как думаешь, ты расстроился, когда представил, как твои прапрапрапраправнуки вдыхают твои выдохи?

Джейкоб выдохнул молекулы, которые вдохнет последний в его роду.

— Ну попробуй, — настаивал Тамир.

— Наверное, — еще один выдох, — наверное, в меня с детства вкладывали: я не стою того, что было до меня. Но никто никогда меня не готовил к тому знанию, что и всего грядущего за мной я тоже не стою.

Тамир взял яблоко, поднял его так, чтобы свет лампы бил сквозь вырезанную сердцевину, и заявил:

— Хочу трахнуть это яблоко.

— Что?

— Но хуй у меня толстоват, — продолжил Тамир. И затем, пытаясь просунуть в дыру указательный палец с волосатыми фалангами: — Я даже пальцем не могу его трахнуть.

— Тамир, положи яблоко.

— Это Яблоко Истины, — возвестил Тамир, не слушая Джейкоба. — И я хочу его выебать.

— Иисусе.

— Я не шучу.

— Ты хочешь трахнуть Яблоко Истины, но хуй у тебя толстоват?

— Да. Именно в этом и затык.

— Вот сейчас? Или вообще в жизни?

— И то и другое.

— Ты под кайфом.

— Ты тоже.

— Ученый, который рассказывал про динозавров...

— Ты это о чем?

— Ну, тот подкаст. Там ученый сказал нечто такое прекрасное, что я думал, вот-вот умру.

— Не умирай.

— Он предложил слушателям представить пулю, выпущенную в воду, и как эта пуля оставляет позади коническую полость, коридор — дыру в воде, — которая не сразу схлопывается. Он сказал, что астероид пробил бы

такой же тоннель — брешь в атмосфере — и что, глядя на астероид, динозавр увидел бы в дневном небе дыру в ночь. Это было бы последнее, что он увидел перед исчезновением.

— Может, ты не умереть хочешь, а хочешь стать как динозавр?

— А?

— Динозавр перед исчезновением наблюдал невероятной красоты картину. Ты об этом услышал и подумал, что это невероятно прекрасно, а значит, ты исчезнешь.

— Не тем людям дают стипендии Макатура.

— Я врал.

— Про что?

— Да в основном про всё.

— Ну?

— Мы с Ривкой обсуждали переезд.

— Да ладно?

— Обсуждали.

— А куда?

— Ты хочешь меня заставить это сказать?

— Думаю, да.

— Сюда.

— Да ты шутишь?

— Только обсуждали. Обдумывали. Время от времени мне приходят предложения работы, и с месяц назад пришло просто отличное, в технической компании. Мы с Ривкой за обедом разыгрывали разговор, представив, что я как бы принял предложение, и разговор скоро перестал быть игрой.

— Я думал, ты там счастлив. А весь этот гон про Америку и съемное жилье?

— Ты что-нибудь слышал из того, что я сейчас говорил?

— Когда ты меня уговаривал совершить алию?

— Значит, я могу совершить яилу.

— А это что?

— *Алия* вспять.

— Ты сейчас ее провернул в уме?

— Пока ты говорил.

— И что, есть какая-то постоянная Блохов-Блуменбергов, которую надо поддерживать?

— Еврейская постоянная. В идеале американские и израильские евреи просто меняются местами.

— И не об этом ли мы все время говорили? Это у тебя муки совести, что покидаешь Израиль?

— Нет, мы говорили про твои муки совести, что ты покидаешь семью.

— Я не покидаю семью, — возразил Джейкоб.

— И я не покидаю Израиль, — сказал Тамир.

— Одни разговоры?

— Когда папа что-то мне предлагал — еще кусочек халвы или погулять вечером, — а я отказывался, он все время говорил: *Де зелбе праиз*. "За ту же цену". Единственный случай, когда он употреблял идиш. Идиш он ненавидел. Но это вот говорил. И не просто на идише, он еще при этом имитировал голос деда. Говорить об отъезде из Израйля мне ничего не стоит. Та же цена, что и не говорить. Вот прямо так и слышу, как отец передразнивает деда: *Де зелбе праиз*.

Тамир оживил телефон и показал Джейкобу фотографии Ноама: из роддома, первые шаги, первый день в школе, первый футбольный матч, первое свидание, первый раз в военной форме.

— Я на этих фотках был помешан, — сказал Тамир. — Не глядя на них, я просто знаю, что они тут. Иногда я проверяю их под столом. Иногда ради этого иду в туалет. Помнишь, как с детьми ходил в супермаркет, пока они еще мелкие? То чувство, что в ту же секунду, как потеряешь из виду, они исчезнут навсегда? Так и это.

Всех динозавров смело с лица земли, но выжили кое-какие млекопитающие. Преимущественно те, что умели копать. Под землей их не коснулся страшный жар, пожравший все живое на поверхности. А Тамир зарывался в свой телефон, в фотографии сына.

— Мы хорошие люди? — спросил Тамир.

— Что за странный вопрос.

— Странный ли?

— Не думаю, что существует высшая сила, которая нас судит, — сказал Джейкоб.

— Но как мы сами себя должны судить?

— Слезами, молчанием, или?

— И даже мое признание — вранье.

— Должно быть, я дал тебе повод соврать.

— Я хочу уехать. Ривка не хочет.

— Ты хочешь покинуть Израиль? Или семью?

— Израиль.

— Ты ходил налево?

— Нет.

— А она?

— Нет.

— Я все время усталый, — сказал Джейкоб. — Постоянно вымотанный. Раньше я об этом не думал, но что, если все это время я на самом деле ничуть не уставал? Что, если эта якобы усталость была моим убежищем?

— Бывают и похуже убежища.

— И что, если я решу впредь никогда не уставать? Если я просто откажусь уставать. Будет уставать только тело, но не я сам.

— Не знаю, Джейкоб.

— А что, если я не смогу без посторонней помощи выбраться из своей норы? Если мне там станет слишком привычно, спокойно? И меня придется выкуривать?

— Думаю, ты прямо сейчас себя оттуда выкуриваешь.

— Что, если для выкуривания мне нужна Джулия?

Джейкоб взглянул на яблоко, лежащее между ними. Он понял, о чем думал Тамир, захотев это яблоко трахнуть. Это была не сексуальная похоть, а экзистенциальная — проникнуть в свою истину.

— Знаешь, чего бы я хотел прямо сейчас?

— Ну?

— Побрить голову.

— Зачем?

— Так я увижу, какой я лысый на самом деле. И все увидят.

— Может, лучше поджарим немного попкорна?

— Это будет кошмар. Но я к этому готов. Но это будет кошмар. Но я готов.

— Ты повторяешь одно и то же.

— По-моему, я засыпаю.

— Так спи.

— Но...

— Что?

— Я тоже врал.

— Я знаю.

— Знаешь?

— Да. Только не знаю, про что именно.

— Я не ходил налево.

— Нет?

— Или ходил, но я ее не трахал.

— Что же ты *делал*?

— Просто перекидывался сообщениями. И не так уж много их было.
— Зачем же ты врал?
— Не хотел, чтобы это открылось.
— Да нет, *мне*.
— А... Не знаю.
— Была же причина.
— Я под кайфом.
— Но это единственное, о чем ты мне соврал.
— Когда Джулия нашла телефон и я рассказал ей правду — что на самом деле ничего не было, — она мне поверила.
— Ну и отлично.
— Но не потому, что не сомневается во мне. Она сказала, будто знала, что мне не хватит духу.
— И ты хотел, чтобы я думал, что у тебя его хватает.
— Да, так я себя представляю.
— Даже при том, что духу *не хватает*.
— Именно.
— Ты вот сейчас спрашивал, что за человек будет прятаться по углам, чтобы послушать научный подкаст?
— Да.
— Такой человек, который использует тот же телефон, чтобы писать сальности женщине, к которой он не притрагивался.
— Это был другой телефон.
— Но та же рука.
— Ну вот ты и побрил мне голову, — произнес Джейкоб, закрывая глаза. — Скажи мне, чего я не вижу.
— Ты более лысый, чем я думал, но не такой лысый, как думаешь сам.
Джейкоб инстинктивно дернулся: падение в шахту лифта, означающее наступление сна. Он не осознавал ни хода времени, ни течения мысли, ни длительности пауз между мыслями.
Что могло произойти со звуком времени? А что, если все, отрепетированное с Джулией, уже произошло? Что, если примерить возможность — *не за ту же цену*? И ему больше не придется шептать на ушко детям при свете свечей? И размышлять за мытьем посуды о недавнем праздновании дня рождения. И услышать, как грабли скребут о камень, сгребая к бордюру палую листву, чтобы можно было прыгнуть в нее еще разок? К чему он будет прислушиваться, чтобы услышать свою жизнь? Или он останется к ней глух?
Следующее, что он почувствовал и услышал, были чья-то рука и голос.

— Есть новости, — сказал Тамир, трясая Джейкоба за плечо.

— Что?

— Ты заснул.

— Нет. Я просто задумался.

— В новостях что-то важное.

— Погоди секунду.

Джейкоб поморгал, прогоняя туман из глаз, помотал головой от плеча к плечу и пошел на диван.

Двумя часами раньше, пока Джейкоб с Тамиром накуривались, какие-то израильские экстремисты пробрались в Купол Скалы и подожгли его. Огонь не причинил, как заявила израильская сторона, почти никакого вреда, но сама попытка дала эффект более чем достаточный. Телевизор, каким-то образом переключившийся со спортивного канала на Си-эн-эн, демонстрировал образы ярости: мужчины — только мужчины, — тычущие кулаками в небо, выпускающие в небо ломаные струи пуль, пытающиеся убить небо. Джейкоб видел такое раньше, но те кадры были из районов, пострадавших от землетрясения, прежде всего из Газы и с Западного берега. А на этот раз репортажи шли один за другим из разных мест, разливаясь в безбрежное море ярости: хоровод мужчин, сжигающих израильский флаг в Джакарте; мужчины в Хартуме, размахивающие палками перед портретом израильского премьер-министра; мужчины в Карачи, в Дакке, в Рияде, в Лахоре; мужчины с банданами на лицах, швыряющие камни в витрины еврейских магазинов в Париже; мужчина, чей кошмарный акцент свидетельствовал об английском словарном запасе не больше чем в сотню слов, вопит на камеру в Тегеране: "Смерть евреям!"

— Дело плохо, — сказал Джейкоб, замороженный и отравленный этими сценами.

— Плохо?

— Совсем плохо.

— Мне надо попасть домой.

— Знаю, — сказал Джейкоб, слишком пьяный, чтобы воспринять смысл или даже понять, бодрствует он или еще спит. — Мы это уладим.

— Сейчас же. Надо ехать в посольство.

— Да. Хорошо.

Тамир тряхнул головой и повторил:

— Сейчас же, сейчас же, сейчас же.

— Я понял. Подожди, я что-нибудь надену.

Но ни один с дивана не поднялся. Телевизор теперь переполнялся еврейской яростью: мужчины в черных шляпах вопят на иврите в Лондоне;

темнокожие мужчины в одном из последних оставшихся кибуцев размахивают руками перед камерой, истерически повторяя какие-то непонятные Джейкобу слова; еврейские мужчины, теснящие еврейских солдат на страже Храмовой горы.

Тамир сказал:

— Тебе тоже надо ехать.

— Конечно. Одну минуту.

— Нет, — сказал Тамир, хватая Джейкоба за плечи с той же силой, как и тридцать лет назад в зоопарке. — Тебе надо ехать домой.

— Я дома. Ты о чем?

— В Израиль.

— Что?

— Тебе надо поехать со мной в Израиль.

— *Надо?*

— Да.

— Тамир, ты же хотел *уехать* из Израиля.

— Джейкоб.

— А теперь зовешь туда меня?

Тамир показал на телеэкран:

— Ты смотришь?

— Я уже неделю это смотрю.

— Да нет. Такого еще никто не видел.

— Что ты имеешь в виду?

— Вот так все и кончится, — сказал Тамир. — Вот так.

И впервые с момента приезда Тамира в Вашингтон, да и впервые вообще, Джейкоб увидел их с Тамиром семейное сходство. Он увидел перепуганные глаза своих мальчиков — такие у них бывали перед сдачей крови и если кто-то поранился, и кровь потекла.

— *Как кончится?*

— Израиль погибнет.

— Оттого что муслимы вопят в Джакарте и в Рияде? Да что они могут сделать, пойдут пешком на Иерусалим?

— Да. И верхом, и в своих сраных драндулетах, и на автобусах их повезут, и на кораблях. И не только в них дело. На нас посмотри.

— Это пройдет.

— Нет. Именно так все и кончится.

Ни картинки на экране, ни слова Тамира не испугали Джейкоба так, как испугал тот ужас, который он привык видеть в глазах своих детей, в глазах Тамира.

— Тамир, но если ты правда так думаешь, тебе надо скорее вывозить семью из Израиля.

— Я не могу! — рыкнул Тамир, и Джейкоб увидел в его стиснутых челюстях ярость Ирва — глубоко потаенную скорбь, которая не знала иного выражения, кроме слепой ярости.

— Почему? — спросил Джейкоб. — Что может быть важнее, чем защитить семью?

— Я не могу их вывезти, Джейкоб. Самолеты не летают ни туда, ни оттуда. Ты думаешь, я не пробовал? Чем, по-твоему, я занят целый день? По музеям хожу? По магазинам? Я и пытаюсь защитить семью. Я не могу их оттуда выволить, значит, должен лететь туда сам. И ты тоже должен лететь.

Для безоглядной отваги Джейкоб уже слишком проснулся.

— Израиль не мой дом, Тамир.

— Это только потому, что он еще не разрушен.

— Нет, это потому, что мой дом не там.

— Но мой — там, — сказал Тамир, и тут Джейкоб увидел Джулию. Он увидел мольбу, которой не умел заметить, пока дом Джулии еще можно было спасти. Джейкоб осознал собственную слепоту.

— Тамир, ты...

Но слова не складывались, потому что не было мысли, которую им предстояло нести. Но и все равно — Тамир уже не слушал. Низко наклонившись, он набирал текст в телефоне. Ривке? Ноаму? Джейкоб не спрашивал, он чувствовал, что не должен там быть.

А должен быть в пустой комнате и там набирать в телефоне: *ты умоляешь трахнуть твою тугую мандешку, но ты этого еще не заслужила.*

Его местом была пустая комната, где та же самая рука прижимала к уху другой телефон, чтобы ему, и только ему было слышно: "Слепые могут видеть. Это правда. Издавая щелкающие звуки, не раскрывая рта, они ориентируются по эху, отраженному ближайшими предметами. Таким способом слепые могут прогуливаться по пересеченной местности, двигаться по городским улицам и даже ездить на велосипеде. Но зрение ли это? Сканирование мозга таких людей показывает, что при эхолокации активны те же зрительные центры в мозгу, что и у зрячих людей; просто слепые видят ушами, а не глазами".

Его местом была пустая комната, где он мог читать в телефоне: *на уикенд мой муж с детьми уедет, приходи и трахни меня по-настоящему.*

Его местом была пустая комната, где он слушал: "Почему же не

становится больше слепых велосипедистов? Согласно Дэвиду Спеллману, знаменитому педагогу по эхолокации, это потому, что лишь немногие обладают достаточной свободой, чтобы этому научиться". — "Редкий родитель, может, один из ста, или даже меньше, способен смотреть, как его слепой ребенок приближается к перекрестку, и не схватить его за руку. Из любви они ограждают его от опасностей, но тем самым они ограждают его и от зрения. Когда я учу детей ездить на велосипеде, они неизбежно падают, точно так же, как и зрячие дети. Но родители незрячих почти всегда делают из этого вывод, что я слишком многого требую от их ребенка, и они спешат его защитить. Чем больше родители хотят, чтобы ребенок видел, тем менее возможным они это делают, потому что помехой становится любовь". — "Как же вам удалось это преодолеть и научиться?" — "Отец умер до моего рождения, а мать работала на трех работах. Я научился видеть из-за отсутствия любви".

За ту же цену

Тамир отправился наверх, а Джейкоб на диване пытался прокрутить в памяти последние несколько мгновений, последние два часа и последние две недели, последние тринадцать, и шестнадцать, и сорок два года. Что произошло?

Тамир говорил, что Джейкоб ни ради чего не стал бы умирать. Даже если это правда, какое это имеет значение? Что безоговорочно хорошего в столь безоговорочной самоотверженности? А чем плохо зарабатывать достаточно неплохие деньги, есть достаточно хорошую еду, жить во вполне приличном доме и стараться быть настолько нравственным и творческим, насколько позволяют обстоятельства? Он пытался, он всякий раз немного недотягивал, но что было эталоном? Он обеспечивал своей семье достаточно безбедную жизнь. Казалось, что жизнь дается один раз, должна быть лучше, чем просто безбедной, но сколько попыток обрести большее кончались потерей всего?

Много лет назад, когда они с Джулией еще показывали друг другу свою работу, Джулия как-то спустилась к нему, держа в руках по кружке чая, и спросила, как движется дело.

Джейкоб откинулся на спинку кресла и сказал:

— Ну, далеко не так хорошо, как могло бы быть, но, думаю, ровно настолько хорошо, насколько я сейчас могу сделать.

— Ну тогда так хорошо, как только и может быть.

— Нет, — возразил Джейкоб. — Могло бы быть намного лучше.

— Но как? Если бы писал кто-то другой? Если бы ты писал в другой момент жизни? Тогда бы мы говорили о другой работе.

— Если бы я лучше умел писать.

— Но ты не можешь лучше, — сказала Джулия, ставя чай ему на стол. — Ты пишешь всего лишь отлично.

При всем том, чего он не мог дать Джулии, он давал ей многое. Он не был большим писателем, но работал упорно (достаточно), и его увлекали (достаточно) собственные сюжеты. Признать, что тебе сложно, — это не слабость. Сделать шаг назад — не отступление. Он не зря завидовал завывающим мужчинам на молитвенных ковриках в Куполе Скалы, но может быть, он ошибался, видя в их истовом рвении отражение собственной экзистенциальной апатии. Агностицизм требует не меньшей самоотдачи, чем религиозный фундаментализм, и может быть, Джейкоб

сам разрушил то, что любил, не в силах увидеть совершенство достаточно хорошего.

Он позвонил Джулии на мобильный. Она не ответила. Было два часа ночи, но не было такого времени дня в эти дни, когда бы она ответила на его звонок.

Привет, вы позвонили Джулии...

Но она увидит, что он звонил.

После гудка он сказал:

— Это я. Не знаю, смотришь ли ты новости, но какие-то фанатики подожгли Купол Скалы или пытались поджечь. Еврейские экстремисты. Думаю, у них получилось, формально. Пожар был очень небольшой. Но шум, ты понимаешь, поднялся великий. В общем, ты можешь посмотреть. Или прочесть об этом. Я даже не знаю, где ты. Где ты? Короче говоря...

Его время истекло, и связь прервалась. Он позвонил опять.

Привет, вы позвонили Джулии...

— Меня отрубили. Не знаю, сколько записалось, но я говорил, что Ближний Восток взорвался, Тамир в полной истерике, и он хочет, чтобы я отвез его в посольство, прямо сейчас, в два часа ночи, и попробовать как-то улететь в Израиль. И тут такая штука, он говорит, я должен ехать с ним. Я сначала думал, он имеет в виду...

Связь прервалась. Он позвонил снова.

Привет, вы позвонили Джулии...

— Вот... Это я. Джейкоб. Разумеется. В общем, я сейчас говорил, что Тамир в панике, и я его везу в посольство — разбужу Сэма и скажу, что мы уезжаем и что ему придется...

Снова отбой. Допустимое время сообщения, казалось, ужималось с каждым разом. Он позвонил вновь.

— Джейкоб?

— Джулия?

— Который час?

— Я думал, у тебя телефон отключен.

— Что случилось?

— Ну, я в общем, надиктовал в сообщениях, но...

— Который час?

— Где-то два.

— Что такое, Джейкоб?

— Где ты?

— Джейкоб, для чего ты мне звонишь в два часа ночи?

— Потому что это важно.

— У детей все хорошо?
— Да, все хорошо. Но Израиль...
— Ничего не случилось?..
— Нет. С детьми нет. Они спят. Это с Израилем.
— Расскажешь мне утром, хорошо?
— Джулия, я бы не стал звонить, если бы...
— Если с детьми все нормально, остальное может подождать.
— Не может.
— Может, поверь мне. Спокойной ночи, Джейкоб.
— Какие-то фанатики хотели поджечь Купол Скалы.
— Завтра.
— Будет война.
— Завтра.
— Война против нас.
— У нас куча батареек в холодильнике.
— Что?
— Не знаю. Я наполовину сплю.
— Думаю, я поеду.
— Спасибо.
— В Израиль. С Тамиром.
Джейкоб услышал какое-то движение, потом глухие помехи.
— Ты не поедешь в Израиль.
— Я правда думаю, что поеду.
— Ни в один свой сценарий ты бы такой глупой фразе не позволил проскочить.
— Как это понимать?
— Понимать так, что поговорим утром.
— Я поеду в Израиль, — сказал он, и в этот раз без я думаю, в словах был уже совсем иной смысл — уверенность, которая, когда ее высказали вслух, показала Джейкобу всю его неуверенность. Впервые ему хотелось услышать от Джулии "Не уезжай!". Но она ему просто не поверила.
— Но зачем?
— Помочь.
— Чем? Писать для армейской газеты?
— Буду делать, что скажут. Насыпать песок в мешки, делать бутерброды, воевать.
Рассмеявшись, Джулия проснулась окончательно.
— *Воевать?*
— Если будет необходимо.

— И какая от тебя польза?

— Им нужны люди.

Джулия хихикнула. Джейкобу показалось, что он услышал ее смешок.

— Я не ищу твоего одобрения или уважения, — сказал он. — Я тебе сообщаю, потому что нам нужно понять, как и что у нас будет в ближайшие пару недель. Я думаю, ты придешь домой и мы...

— Я уважаю и одобряю твое желание стать героем, особенно сейчас.

— То, что ты сейчас делаешь, — некрасиво.

— Нет, — ответила Джулия, уже агрессивно четко выговаривая слова, — некрасиво то, что *ты* делаешь. Будишь меня среди ночи, чтобы разыграть идиотский спектакль кабуки на тему... Даже *не знаю* какую. Решимость? Отвага? Самопожертвование? Ты думаешь, я приду домой? Это мило. И что тогда? Я буду в одиночку заботиться о детях, пока твой турнир по пейнтболу не закончится? Это же пустяки: три раза в день накормить — ну, это девять раз приготовить, потому что ни один не будет есть то же, что другой, — отвезти на виолончель, к логопеду, на один футбол и на другой футбол, в Еврейскую школу, к одному врачу и к другому врачу? Да. Я тоже хочу быть героиней. По-моему, быть героем чудесно. Но прежде чем примерять плащи, давай посмотрим, справляемся ли мы с тем, что и так должны делать.

— Джулия...

— Я не закончила. Ты меня поднял среди ночи с этой абсурдной хренью, так что теперь уж послушай меня. Если уж мы и впрямь хотим поразвлечься, на секунду представив эту смехотворнейшую ситуацию — тебя на войне, — то нам надо признать, что если армия готова поставить тебя в строй, то это армия в отчаянном положении, а в такой ситуации в армии не склонны рассматривать каждую жизнь как отдельную вселенную, а поскольку никакой военной подготовки у тебя нет, я не думаю, что тебя отправят на сложные задачи типа обезвреживать мины или бесшумно снимать часовых, а скорее скажут: "Встань на пути у этой пули, чтобы твое тело ее хотя бы замедлило, прежде чем она долетит до того, кто здесь по-настоящему нужен". И тогда ты будешь труп. А твои дети останутся без отца. И твой отец станет еще больше кликушествовать. А...

— А ты?

— Что?

— Кем ты станешь?

"В болезни и в болезни, — сказала его мать на свадьбе. — Этого я вам желаю. Не ищите и не ждите чудес. Их нет. Их больше не будет. И нет лекарства от той боли, что всех больней. Есть только одно лечение: верить

в боль другого и быть рядом, когда ему больно".

В детстве Джейкоб вылечился от притворной глухоты, но приобрел к этому недугу особый интерес, который не утратил и в зрелые годы. Он никогда не говорил об этом ни Джулии, ни кому-то еще, поскольку это показалось бы противным, неправильным. И никто, даже доктор Силверс, не подозревал, что Джейкоб знает язык жестов и что он посещал ежегодные собрания вашингтонского отделения Национальной ассоциации глухих. Там он не притворялся. Он выдавал себя за учителя начальной школы для глухих детей. Свой интерес к предмету он объяснял тем, что у него глухой отец.

— Кем ты станешь, Джулия?

— Я не понимаю, что я, по-твоему, должна сказать. Признать, что эгоистично было рассуждать, как я одна управлюсь с тремя детьми?

— Нет.

— Или ты намекаешь, что я этого втайне хочу?

— Разве? Такое мне и в голову не приходило, но, видно, приходило тебе.

— Ты серьезно?

— Кем ты станешь?

— Я понятия не имею, что ты сейчас пытаешься мне внушить, но я на хер как устала от этого разговора, так что если у тебя еще есть что сообщить...

— Почему ты просто не ответишь, кем ты станешь тогда?

— Ты о чем?

— Не понимаю, почему ты никак не заставишь себя сказать, что ты не хочешь, чтобы я уезжал.

— Именно это я тебе втолковываю последние пять минут.

— Нет, ты говорила, что это будет нечестно по отношению к детям. Нечестно по отношению к тебе.

— *Нечестно* — это твое слово.

— И ни разу ты не сказала, что ты — ты, Джулия, — не хочешь, чтобы я уезжал, просто потому что ты не хочешь, чтобы я уезжал.

Джулия распахнула молчание, как молодой рав разодрал прореху в лацкане Ирва на похоронах.

— Вдовой, — сказал Джейкоб. — Вот кем ты станешь. Ты постоянно проецируешь свои потребности и страхи на детей, на меня, на всех, кто оказывается рядом. Почему-то ты не можешь признать, что ты — *ты* — не хочешь стать вдовой?

Он услышал, как ему показалось, что пружины матраса вернулись в

состояние покоя. С какой постели она поднялась? Насколько ее тело обнажено и насколько темно в комнате?

— Потому что я не стану вдовой, — ответила она.

— Нет, ты станешь.

— Нет, Джейкоб, я не стану. Вдова — это женщина, у которой умер муж.

— Так?

— А ты мне не муж.

В семидесятые годы в Никарагуа не было никакой государственной системы помощи глухим детям — ни специальных школ, ни учебных пособий, ни информационных центров, не было даже единого языка жестов. Когда в Никарагуа открылась первая школа для глухих, там учили читать испанский по губам. Но на переменах дети общались, используя знаки, которые были в ходу у них дома, и так естественным путем создавали общий словарь и грамматику. Выпуск за выпуском покидали школу, и этот импровизированный язык усложнялся и расширялся. Это единственный документально подтвержденный случай, когда язык был создан полностью с нуля его носителями. Им не помогали взрослые, ничего не записывалось на бумаге, не было никаких пособий. Существовало только желание детей, чтобы их поняли.

Джейкоб с Джулией пытались. Они придумывали жесты и писали друг другу, пока дети не понимали букв, и создавали шифры. Но язык, который они создали и даже сейчас продолжали создавать, не раздвигал границ мира, а сужал их.

Я тебе не жена.

Из-за тех эсэмэсок? Все разрушить из-за какой-то цепочки из нескольких сотен букв? А как это, по его мнению, должно было произойти? Что он, по его мнению, делал? Джулия была права: не момент слабости. Он вывел переписку на секс, он купил второй телефон, когда он не писал ей, то придумывал, что напишет, он тайком читал ее сообщения, едва они приходили. Не раз он усаживал Бенджи смотреть кино, чтобы самому пойти передернуть на новое письмо. *Почему?*

А потому что все было идеально. Он был отцом мальчиков, сыном своего отца, мужем своей жены, другом друзей, но кем он был себе?

Цифровая завеса способствовала самоисчезновению, которое наконец делало возможным самовыражение. Когда он был никем, он получал свободу быть самим собой. И он не то чтобы разрывался от подавляемой похоти, хотя он и разрывался. Важна была свобода. Именно поэтому, получив от нее *на уикенд мой муж с детьми уедет, приходи и трахни меня*

по-настоящему, он ничего не ответил. И на *нельзя же ДО СИХ ПОР только дрончить* — не ответил. И поэтому *что* *тряслось* были последними словами, которыми обменялись их телефоны.

— Я не знаю, как бы я мог сильнее сожалеть о том, что натворил, — сказал Джейкоб.

— Мог бы для начала сказать мне, что сожалеешь.

— Я много раз просил прощения.

— Нет, много раз ты говорил мне, что просишь прощения. Но ни разу не просил.

— Просил в тот вечер на кухне.

— Нет, не просил.

— В постели.

— Нет.

— По телефону из машины, когда ты была на модели ООН.

— Ты сказал мне, что просишь прощения, но ты не просил. Я обращаю внимание на такое, Джейкоб. Я помню. С тех пор как я нашла телефон, ты всего один раз сказал "прости меня". Когда я сообщила, что умер твой дед. И ты сказал это не мне. И вообще никому.

— Ну, не важно, если в этом дело.

— Дело *в этом*, и *это* важно.

— Не важно, если дело в этом, потому что, если ты не помнишь моих извинений, значит, я не извинился в достаточной степени. Тогда услышь меня сейчас: прости меня, Джулия. Мне очень жаль, и мне стыдно.

— Дело не в телефоне.

В тот вечер, когда Джулия нашла телефон, она сказала Джейкобу: "Ты кажешься счастливым. Но это не так". И еще: "...несчастливость настолько тебя ужасает, что ты лучше пойдешь ко дну вместе с кораблем, чем согласишься признать — в нем пробоина". А что, если она *не согласна* идти на дно вместе с кораблем? Потому что, если дело не в телефоне, значит, дело во всем сразу. Что, если, закрываясь в пустой комнате, он закрывал в пустом доме Джулию? Что, если просить прощения он должен за все?

— Скажи, — продолжил он, — скажи мне, зачем ты так стремишься разрушить нашу семью?

— И ты смеешь это говорить?

— Но это правда. Ты разрушаешь нашу семью.

— Нет. Я прекращаю наш с тобой брак.

Джейкоб не поверил, что она осмелилась это сказать.

— Прекращение брака разрушит нашу семью.

— Не разрушит.

— Но зачем? Зачем ты прекращаешь наш брак?

— С кем я вела все эти разговоры последние две недели?

— Мы *обсуждали*.

Она дала его словам растаять в секунде тишины и сказала:

— Вот *потому*.

— Потому что мы *обсуждали*?

— Потому что ты все время говоришь, а твои слова никогда ничего не значат. Свою главную тайну ты спрятал за стеной, ты помнишь?

— Нет.

— На нашей свадьбе. Я обошла вокруг тебя семь кругов, и окружила тебя любовью, и много лет окружала, и стена упала. Я ее опрокинула. Но знаешь, что я увидела? Твоя главная тайна в том, что за этой стеной — только камень. Там *ничего нет*.

Вот теперь у Джейкоба больше не было выбора.

— Я еду в Израиль, Джулия.

То ли от упоминания ее имени, то ли от перемены в его тоне, а вероятнее всего, оттого, что разговор достиг переломного момента, а фраза приобрела новый смысл, Джулия поверила.

— Не могу верить, — сказала она.

— Я должен.

— Кому?

— Нашим детям. И их детям.

— У наших детей нет детей.

— Но будут.

— То есть такой обмен: лишишь отца, роди ребенка?

— Ну ты же сама сказала, Джулия: меня посадят за компьютер.

— Я этого не говорила.

— Ты сказала, там не такие дураки, чтобы дать мне в руки оружие.

— Нет, я и такого не говорила.

Джейкоб услышал щелчок выключателя. Отель? Квартира Марка? Разве мог он спросить сейчас, где она, не вложив в вопрос ни ревности, ни осуждения, ни намек на то, что он едет в Израиль, чтобы наказать ее за визит к Марку?

"Искусственных языков" изобретено более тысячи — лингвистами, писателями, любителями, — и при их создании всегда старались выправить неточность, недостаточность и нерациональность естественных языков. Некоторые из искусственных языков основаны на музыкальном звукоязыке и поются. Некоторые основаны на цветах и немых. Самые восхитительные искусственные языки были созданы, чтобы показать, каким может быть

человеческое общение, но ни один из этих языков не получил распространения.

— Если ты хочешь это сделать, — сказала Джулия, — если ты правда хочешь это сделать, мне нужно от тебя две вещи.

— Что ты имеешь в виду?

— Если ты едешь в Израиль...

— Я еду.

— ...Ты должен выполнить два моих условия.

— Хорошо.

— Сэм должен пройти бар-мицу. Ты не можешь уехать, пока мы это не устроим.

— Хорошо. Давай устроим это завтра.

— То есть сегодня?

— В среду. И мы все проведем здесь.

— Он хотя бы выучил уже гафтару?

— Сколько надо, выучил. Пригласим родню, всех, кто сможет, друзей Сэма, кого он захочет. Израильтяне здесь. Девяносто процентов того, что нам понадобится, я могу купить в "Здоровом питании". Про всякие примочки, конечно, придется забыть.

— Мои родители не смогут быть.

— Мне жаль. Можем мы подключить их по скайпу?

— И нужна Тора. Это не примочка.

— Точно. Черт. Если рав Зингер не будет участвовать...

— Он не будет.

— Отец может попросить парней из той шуле в Джорджтауне. Он там знает кое-кого.

— Ты этим займешься?

— Да.

— Хорошо. Я могу купить... И если я...

Она переключилась на свои внутренние схемы, на тот никогда не отдыхающий материнский отдел мозга, который хранит сведения о детских праздниках, предстоящих через две недели, помнит о пищевых аллергиях друзей детишек, всегда знает, у кого какой размер обуви, и не нуждается в напоминаниях цифрового дневника, чтобы записываться дважды в год на профилактический осмотр у стоматолога, и ведет реестр исходящих благодарственных записок на подарки к дню рождения.

— Какое второе условие? — спросил Джейкоб.

— Что, прости?

— Ты сказала, я должен сделать две вещи.

— Ты должен усыпить Аргуса.

— *Усыпить?*

— Да.

— Чего ради?

— Потому что пора и потому что он твой.

Мальчиком Джейкоб любил раскрутить глобус, остановить его пальцем и вообразить, как бы все было, если бы он жил в Нидерландах, Аргентине, в Китае или в Судане.

Мальчиком Джейкоб воображал, что его палец на миг останавливает вращение настоящей Земли. Никто этого не замечает, как никто, по сути, не чувствует вращения Земли, но солнце замирает в небе, океан стекленеет, и фотографии сваливаются с холодильников.

Своими словами — *Потому что пора и потому что он твой* — Джулия будто пальцем остановила его жизнь.

Потому что пора и потому что он твой.

Место, где сходились два условия, было его домом. Но мог ли он там жить?

На последней своей конференции Джейкоб познакомился с парой глухих родителей и их восьмилетним, тоже глухим, сыном. Они недавно переехали в Штаты из Англии, рассказал мужчина, потому что мальчик в автомобильной аварии потерял левую кисть.

— Сожалею, — показал Джейкоб, обводя сжатым кулаком вокруг сердца.

Глухая мать прикоснулась четырьмя пальцами к нижней губе, затем вытянула руку, опустив пальцы книзу, будто посылая воздушный поцелуй без поцелуя.

Джейкоб спросил:

— Здесь врачи лучше?

Женщина ответила знаками:

— В британском языке жестов нужны обе руки для изображения букв пальцами. В американском нужна только одна. Он справился бы и там, но мы хотим создать ему наилучшие условия.

Мать с мальчиком отправились к палатке ремесел, отец остался с Джейкобом. Они проговорили час, в тишине, заполняя пространство друг между другом историями своих жизней.

Джейкоб читал о глухих парах, которые хотели иметь глухих детей. Одна такая пара даже прибегла к генетическому вмешательству. Потом он довольно часто об этом думал, о моральной стороне такого выбора. Когда они достаточно поболтали, чтобы вопрос не показался праздным

любопытством, Джейкоб спросил мужчину, что тот почувствовал, когда узнал, что его сын, как и он сам, глух.

— Меня спрашивали, мальчика я хочу или девочку, — прожестикуюлировал тот в ответ. — Я ответил, что хочу здорового ребенка. Но у меня было одно самое тайное желание. Может быть, вы знаете, что слух у новорожденного проверяют только перед самой выпиской?

— Не знал.

— Посылают в ухо звуковой сигнал: если он отражается, значит, ребенок слышит. Поэтому ждут, сколько можно, пока ушной канал освободится от амниотической жидкости.

— Если звук не возвращается, то ребенок глухой?

— Точно.

— Куда же уходит звук?

— В глухоту.

— То есть какое-то время вы не знали?

— День. Один день он не был ни то ни другое. Когда медсестра сообщила, что он глухой, я плакал и плакал без конца.

Джейкоб вновь нарисовал кулаком круг на груди.

— Нет, — показал глухой отец. — Слышащий ребенок был бы благословением. Но глухой ребенок — особенное благословение.

— Это и было ваше желание?

— Мое самое тайное желание.

— Но как же насчет наилучших возможностей?

— Могу я спросить, не еврей ли вы? — поинтересовался глухой отец.

Вопрос был столь неожиданный, что Джейкоб не был уверен, так ли он понял его, но все же кивнул.

— Мы тоже евреи.

Это вековое признание и смутило, и моментально успокоило Джейкоба.

— Откуда ваш род?

— Отовсюду. Но в основном из Дрогобыча.

— Мы с вами земляки, — показал глухой отец.

На самом деле он показал "Мы с вами из одних мест", но Джейкоб уловил, что его руки говорили на идише.

— Евреям труднее, — продолжал этот отец. — Не всегда получаешь лучшие условия.

— Да, все иначе, — ответил Джейкоб.

Отец показал:

— Я прочел в одном стихотворении такую строчку: "Можно найти

мертвую птицу, но нигде не увидишь их стаю".

Знак для *стаи* — две ладони, волнообразным движением отодвигаемые от живота.

Домой Джейкоб вернулся как раз к субботнему обеду. Они зажгли свечи и благословили их. Благословили вино и пили его. Развернули халу, благословили, преломили, раздали, ели. Благословения канули во вселенской глухоте, но когда Джейкоб с Джулией шептали в детские ушки своих мальчиков, молитвы возвращались эхом. После еды Джейкоб с Джулией, Сэм, Макс и Бенджи, закрыв глаза, ходили по комнатам.

VI

Разрушение Израиля

Спешите домой

В конце концов спешить с бар-мицвой не пришлось — лишь через восемь дней Тамир с Джейкобом нашли способ попасть в Израиль, — но на усыпление Аргуса времени явно не хватало. Джейкоб поговорил с несколькими сострадательными ветеринарами, а кроме того, посмотрел несколько жутких видеороликов на "Ютубе". Даже когда эвтаназия была очевидным "благом" — не на шутку страдающему животному дают возможность уйти легко, — это была жуть. Джейкоб не мог на такое пойти. Не был готов. И Аргус не был готов. Они не были готовы.

Посольство по-прежнему отказывало в помощи, коммерческие авиакомпания в Израиль по-прежнему не летали. Поэтому Тамир с Джейкобом пробовали раздобыть журналистскую аккредитацию, записаться в волонтеры "Врачей без границ", прилететь в какую-нибудь соседнюю страну и добраться в Израиль на корабле — все бесполезно.

Их положение и положение во всем мире изменила трансляция во многих странах речи израильского премьер-министра — речи, составляя которую он должен был понимать: эти слова будут учить наизусть школьники или вырежут на мемориальных досках.

Глядя прямо в камеру и прямо в еврейские души смотревших на него евреев, он заявил о беспрецедентной угрозе самому существованию Израиля и просил всех евреев от шестнадцати до пятидесяти пяти "поспешить домой".

Воздушное пространство страны должно было открыться для прибывающих рейсов, и пассажирские аэробусы, освобожденные от кресел, чтобы принять на борт больше народу, будут один за другим вылетать с аэродромов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Чикаго, Парижа, Лондона, Буэнос-Айреса, Москвы и других крупных центров концентрации еврейского населения.

И направлять самолеты будут только перед самым взлетом, ведь никто не знал, даже приблизительно, какова будет их загрузка.

Сегодня я не мужчина

— Нам нужно кое-что обсудить по-семейному, — сказал Сэм.

Это было вечером накануне его поспешной бар-мицвы. Через двенадцать часов должна была начаться доставка блюд для праздничного стола. И немного спустя ожидалось те немногочисленные родные и друзья, что смогли принять приглашение, отправленное за столь недолгое время до события. А потом он станет мужчиной.

Макс и Бенджи сели на кровать Сэма, ногами упершись в пол, Сэм же устроил свои девяносто два фунта в любимом крутящемся кресле — любимом за то, что диапазон его движений давал ощущение могущества, и любимом за то, что прежде оно принадлежало отцу. Экран стационарного компьютера Сэма мерцал — через Синай двигалась армия.

С родительским тактом Сэм изложил соответствующую возрасту слушателей версию событий вокруг отцовского телефона и сделанные им — из обрывков разговора, подслушанного Максом в машине, из рассказа Билли, что-то видевшей на конференции "Модель ООН", из собственных наблюдений — выводы об отношениях их матери с Марком. ("Я не понимаю, что здесь такого, — сказал Бенджи. — Люди все время целуются, и это же хорошо?") Сэм пересказал, что подслушала Билли из разговора-репетиции их родителей (это подтверждалось сведениями, которые разнюхал Макс) и что сообщил ему Барак о решении их отца отправиться в Израиль. Все знали, что Джейкоб солгал, сказав, будто Джулия ночевала на объекте реконструкции, но в то же время они чувствовали: он и сам не знает, где она на самом деле была, потому никто об этом не заговаривал.

Сэм частенько фантазировал, как убивает братьев, но бывало, представлял и как он их спасает. Эти два противоположных стремления его раздирали с тех пор, как у него появились братья. Теми же руками, на которых качал маленького Бенджи, Сэм хотел переломать ему ребра, и острота этих сосуществующих импульсов определяла его братскую любовь.

Но не теперь. Теперь он хотел только нянчить их. Теперь в нем не было ни собственничества, ни ревности к их успехам, ни обжигающей беспредметной досады.

Когда Сэм добрался до кульминации — "Скоро все изменится", — Макс расплакался. Сэм инстинктивно хотел было сказать: "Смешно, смешно", но возобладал более сильный рефлекс, и он произнес: "Понимаю,

понимаю". Когда расплакался Макс, расплакался и Бенджи — как будто переполненная емкость излилась в другую переполненную емкость, переполнив ее.

— Дело дрянь, — заключил Сэм. — Но все будет нормально. Мы просто не позволим, чтобы это произошло.

Бенджи проговорил сквозь слезы:

— Не понимаю. Целоваться приятно.

— А что мы сделаем? — спросил Макс.

— Они откладывают все до тех пор, пока не пройдет моя бар-мицва. Они собирались сообщить нам про развод только после нее. Папа собирался переехать после бар-мицвы. А теперь он после бар-мицвы думает лететь в Израиль. Так что я не буду проходить бар-мицву.

— Хороший план, — сказал Бенджи. — Ты умный.

— Но они возьмут и заставят тебя, — сказал Макс.

— Ну как они заставят? Зажмут мне нос, пока я не разражусь гафтарой?

— Засадят дома.

— И что?

— Лишат компьютера.

— И что?

— Тебе будет плохо.

— Да не будет.

— А ты мог бы убежать? — предложил Бенджи.

— Убежать? — в один голос переспросили старшие, и Макс не смог удержаться от восклицания:

— Джинкс!

— Сэм, Сэм, Сэм, — сказал Бенджи, освобождая брата от наложенной на него немоты.

— Я не могу убежать, — сказал Сэм.

— Только пока война не кончится, — уточнил Макс.

— Я вас, ребята, не брошу.

— А я буду без тебя скучать, — заявил Бенджи.

Когда родители сообщили Сэму и Максусу, что у них появится братик, Джейкоб, сгруппировавшись, предложил, чтобы дети придумали ему имя — чудесная мысль, которая оборачивается ста миллионами идей, но ни одной хорошей. Макс быстро остановился на Эде-Гиене, в честь прихвостня Шрама из "Короля Льва", очевидно решив, что такую роль младший брат будет при нем играть: верного подручного. Сэм хотел назвать братца именем Пенный: это было третье слово, на которое упал его палец при беглом

пролистывании словаря. Сэм собирался предложить первое же, но им оказались *поборы*, а вторым — *амбивалентность*. Беда была не в том, что братья не сошлись, а в том, что оба имени были великолепны — Эд-Гиена и Пенный. Чудесные имена, носить которые любой почел бы за особую честь и которые практически гарантируют носителю счастливую судьбу. Они бросили монету, затем решили бросить трижды, потом семь раз, и наконец Джулия, вполне в своем духе, нежно сложила бумажку с выигравшим вариантом в японского журавлика и пустила в открытое окно, однако заказала мальчикам футболки с термопереводной надписью "Братья Пенного" и, конечно, комбинезон с именем "Пенный". Осталась фотография, где все трое в этих брендовых одежках спят на заднем сиденье "вольво", который в порядке легко выполнимой уступки Максу был теперь назван "Гиена Эд".

Сэм хлопнул себя по коленям, поманил Бенджи и сказал:

— Я бы тоже скучал без тебя, Пенный.

— Кто пенный? — не понял Бенджи, забираясь к брату на колени.

— Ты едва им не стал.

Макса все это слишком будоражило, чтобы принять или дать какое-то определение.

— Если ты убежишь, то я тоже.

— Никто не убежит, — сказал Сэм.

— И я, — сказал Бенджи.

— Мы должны остаться, — сказал Сэм.

— Почему? — спросили братья.

— Джинкс!

— Бенджи, Бенджи, Бенджи.

Сэм мог бы сказать: "Потому что о вас нужно заботиться, а я сам не справлюсь". Или: "Потому что бар-мицва моя и только мне нужно удирать от нее". Или: "Потому что жизнь — не фильм Уэса Андерсона". Но вместо этого он сказал:

— Иначе наш дом совсем опустеет.

— Так и надо, — сказал Макс. — Так ему и надо.

— И еще Аргус.

— Возьмем его с собой.

— Он и до угла не сможет дойти. Куда ему в бега?

Макс уже отчаивался:

— Тогда усыпим его, а потом убежим.

— Ты бы убил Аргуса, чтобы не было бар-мицвы?

— Я бы убил его, чтобы прекратить жизнь.

- Да, его жизнь.
- Нашу.
- У меня вопрос, — сказал Бенджи.
- Что? — в один голос спросили братья.
- Джинкс!
- Черт возьми, Макс.
- Все нормально. Сэм, Сэм, Сэм...
- Какой у тебя вопрос?
- Макс сказал, ты можешь убежать, пока не кончится война.
- Никто не убегает.
- А что, если война никогда не кончится?

Евреи, пробил ваш час!

Джулия вернулась как раз к укладыванию детей. Это оказалось не так больно, как представляла она или Джейкоб, но только потому, что она представляла вечер гробового молчания, а он — вечер воплей. Они обнялись, мягко улыбнулись друг другу и приступили к делу.

— Папа добыл Тору.

— И раввина?

— Это было два в одном.

— Только не кантора, прошу.

— Слава Богу, нет.

— А ты все нашла в "Здоровом питании"?

— Я предпочла кейтеринг.

— За день-то?

— Ну, не лучший поставщик в городе. Кто-то им вменял сальмонеллез, но это не доказано.

— Слухи, конечно. У нас будет сколько, человек пятнадцать? Двадцать?

— Еды будет на сотню.

— Все эти шары с метелью... — сказала Джулия, искренне жалея.

Они лежали в деревянных клетях на трех полках в бельеовом шкафу, по пятнадцать в ряду, по восемь рядов на полке. Их там никто не тронет несколько лет — такая масса плененной воды, как весь тот воздух, запертый в складированной пузырчатой упаковке, как слова, запертые в рисованных облачках мыслей. Наверное, в стеклянных сводах были микроскопические трещины, и вода медленно испарялась — может, по четверти дюйма в год, — и ко времени, когда Бенджи пришла пора проходить, или не проходить, бар-мицву, этот снег лежал на сухих дорожках, все еще белый.

— Кстати, дети ни о чем не догадываются. Я вчера сказал им, что ты уехала на объект, и они больше ни о чем не спрашивали.

— Мы никогда не узнаем, что им известно.

— И они не узнают.

— Всего лишь ночь, — сказала Джулия, загружая тарелки в машинку. — Но я никогда не покидала их по *своей воле*. Только когда мне приходилось. Я ужасно себя чувствую.

Вместо того чтобы облегчить ее переживания, Джейкоб решил

разделить их:

— Это тяжело. — Но рядом был и другой ангел, сквозь крошечные ступни приколотенный к плечу Джейкоба: — Ты была у Марка?

— Когда?

— Это к нему ты ездила?

На этот вопрос было много возможных ответов. Она выбрала:

— Да.

Он принес снизу еще тарелок. Она приняла душ, чтобы снять напряжение в плечах и отпарить Сэму костюм. Он сводил Аргуса в Роуздейл, где они слушали, как в темноте другие собаки бегают за палкой. Она перестирала ворох детских трусов и носков, посудных полотенец. И они опять сошлись на кухне — вынимали из машинки чистые, все еще теплые тарелки.

Поневоле Джулия продолжила мысль с того места, где бросила:

— Пока они были малы, я и на две секунды глаз от них не отводила. Но придет время, и мы по нескольку дней подряд не будем разговаривать.

— Такого не будет.

— Будет. Все родители надеются, что с ними такого не случится, но это происходит со всеми.

— Мы не позволим такому произойти с нами.

— В то же время мы это только подхлестываем.

Потом они были наверху. Джулия перебирала свои флаконы и бутылочки и уже не могла вспомнить, что ищет. Он поменял отделения для своих свитеров и для футболок — в этом году чуть раньше обычного. За окнами было уже темно, но Джулия опустила шторы от утреннего солнца. Он влез на кушетку, чтобы дотянуться до лампочки. И вот они у парных раковин, чистят зубы.

— Есть интересный дом на продажу, — сказал Джейкоб, — в Рок-Крик-парке.

— На Дейвенпорт?

— Что?

Она сплюнула и сказала:

— Дом на Дейвенпорт?

— Да.

— Видела его.

— Ездила смотреть?

— Нет, объявление.

— Довольно неплохой, да?

— Этот дом лучше, — сказала Джулия.

— Этот самый лучший.

— Это очень хороший дом.

Он сплюнул, затем принялся чистить язык, то и дело ополаскивая щетку.

— Я лягу на диване, — сказал он.

— Могу и я.

— Нет, я пойду. Мне надо привыкать спать в неудобных местах, закалиться.

Его шутка затронула что-то важное.

— Наш по-модному потертый диван не так уж плох, — отшутилась она.

— Может, правильно будет поставить будильник пораньше и вернуться в спальню, чтобы дети увидели нас утром вместе?

— Когда-то же они должны узнать. А может, и уже знают.

— После бар-мицвы. Давай не портить им хотя бы это. Даже если все просто притворяются.

— А мы что, правда больше не собираемся говорить о твоём отъезде в Израиль?

— А о чем тут еще можно говорить?

— Это безумие.

— Это уже было сказано.

— Это нечестно по отношению ко мне и к детям.

— Это тоже было сказано.

А что она не сказала, и что он хотел бы услышать, а услышав, даже мог бы передумать ехать, было: "Потому что я не хочу, чтобы ты уезжал". Но вместо этих слов она тогда сказала: "Ты мне не муж".

Диван оказался удивительно удобным — более удобным, чем органический матрас из водорослей и конского волоса за семьсот долларов, купленный по настоянию Джулии, — но Джейкоб не мог уснуть. И даже ворочаться не было сил. Он не понимал, что чувствует: не то вину, не то унижение, не то просто грусть, — и, как всегда, его одолевали эмоции, которые он не мог определить и которые превращались в гнев.

Он спустился на первый этаж и включил телевизор. Си-эн-эн, Эм-эс-эн-би-си, "Фокс ньюс", Эй-би-си — всюду новости с Ближнего Востока, все об одном. Не пора ли наконец признать, что он ищет свой сериал, который даже и не его? Если это не самолюбование, то самобичевание. А это тоже самолюбование.

Наконец, вот и он, ретрансляция по Ти-би-эс. Иной раз Джейкобу удавалось убедить себя, что, если вырезать брань и обнаженку, выйдет еще

лучше, что эти моменты вставлены лишь затем, что свободу показывать наготу и ругань нужно использовать, раз уж она есть. Джейкоб подумал, много ли исполнительные продюсеры делают на продаже сериала другим каналам, и переключился.

Он проскочил какое-то кулинарное реалити-шоу, какой-то экстремальный спорт, какую-то гадкую серию "Гадкого меня". Все это были очередные перепевки чего-то другого, да и то, что перепевалось, тоже отродясь не было оригинальным. Джейкоб совершил полный оборот вокруг планеты телевидения, вернувшись туда, откуда вышел: на Си-эн-эн.

Вульф Блицер опять переключил зрителей с созерцания своей полуфантомной бороды — вроде не борода, но и не отсутствие бороды — на очередную новую оправу. Человек с телевидения, стоящий перед экраном телевизора и с помощью этого телевизора в телевизоре объясняющий ближневосточную геополитику. Джейкоб ушел в себя. Обычно в моменты таких ментальных странствий он примеривался, не помастурбировать ли и стоит ли ради тех крошек воздушного риса, что могли еще остаться на дне пакета, тащиться наверх. Но теперь из-за завтрашней бар-мицвы он стал вспоминать собственную, которая прошла почти тридцать лет назад. Из Торы он учил "Ки Тиса" — вот невезенье, самый длинный фрагмент в "Исходе" и один из самых длинных во всей Торе. Кое-что он помнил и теперь. "Ки Тиса" значит "когда берешь": отличительные слова фрагмента, рассказывающего о первой в истории евреев переписи населения. Джейкобу смутно помнились еще какие-то мелодии, но это могли быть и обычные музыкальные фразы, похожие на еврейский распев, за такие цепляются люди, изображая, что читают молитву, которую, к собственному стыду, никогда не знали.

Отрывок был насыщен драматическими событиями: перепись евреев, восхождение Моисея на гору Синай, золотой телец, Моисей разбивает скрижали завета, второе восхождение Моисея на Синай и возвращение с будущими Десятью Заповедями. Но лучше всего Джейкоб помнил даже не саму гафтару, а сопроводительный текст, выдержку из Талмуда, которую дал ему учитель-раввин: речь шла о том, что случилось с разбитыми скрижалями. Даже при том, насколько все это было скучно тринадцатилетнему подростку, сам вопрос показался Джейкобу прекрасным. Согласно Талмуду, Бог повелел Моисею поместить в ковчег и две целые скрижали, и обломки разбитых. Евреи носили их — и целые и разбитые — все сорок лет блужданий по пустыне и положили те и другие в Иерусалимском Храме.

— Зачем? — спросил рав, ни лица, ни голоса которого Джейкоб не мог

вспомнить и которого сейчас точно уже не могло быть среди живых. — Почему они просто не погребли обломки с почтением, достойным священного текста? Или не бросили их, как скверну и проклятие?

Когда внимание Джейкоба вернулось к телеэкрану, Вульф что-то говорил, показывая голограмму аятоллы, строил предположения о содержании его предстоящего выступления — первое официальное заявление Ирана после поджога в Храме Скалы. Очевидно, мусульманский и еврейский мир с нетерпением ждали, что будет сказано, потому что здесь обозначится крайняя реакция на ситуацию, будет очерчена граница.

Джейкоб метнулся наверх, схватил пакет с воздушным рисом, жареные водоросли и последнюю пару шоколадных батончиков, а еще бутылку немецкого пшеничного пива и поспешил обратно к телевизору, чтобы успеть к началу сюжета. Вульф не сказал, что речь будет произнесена под открытым небом, на площади Азади, перед двумястами тысячами человек. Он умудрился совершить непростительный для тележурналиста промах: сбросить цену, понизить ожидания, выставить *по-настоящему* важную передачу как нечто необязательное.

К микрофону вышел чуть полноватый мужчина: угольно-черный тюрбан, белоснежная борода, черное одеяние, словно черный воздушный шар, накачанный воплями. В его глазах светилась несомненная мудрость и даже кротость. Такое лицо, несомненно, могло бы принадлежать и еврею.

Спешите домой!

"В Израиле сейчас девять вечера. Два часа дня в Нью-Йорке. Семь вечера в Лондоне, одиннадцать утра в Лос-Анджелесе, восемь вечера в Париже, три часа дня в Буэнос-Айресе, девять вечера в Москве, четыре утра в Мельбурне.

Эту речь транслируют по всему миру все крупные новостные каналы. Ее синхронно переводят на десятки языков, ее увидят люди всех вероисповеданий, рас и культур. Но я обращаюсь только к евреям.

После опустошительного землетрясения, случившегося две недели назад, Израиль постигает одно бедствие за другим. Их приносит нам не только равнодушная Мать-Природа, но и наши враги. Находчивость, сила и решимость помогли нам сделать то, что евреи делали всегда: выжить. Сколько более могущественных народов исчезло с лица земли, на которой еврейский народ выжил? Где викинги? Где майя? Хетты? Шумеры? Где наши исторические враги, что всегда преобладали численно? Где фараоны, убившие наших первенцев, но не одолевшие нас? Где вавилоняне, разрушившие наш священный Храм, но не растоптавшие нас? Где римляне, срывшие наш Второй Храм, но не уничтожившие нас? Где нацисты, которые не смогли нас истребить?

Они исчезли.

А мы есть.

Разбросанные по всей планете, мы мечтаем о разном, говорим на разных языках, но нас объединяет история, более великая и более славная, чем у любого другого народа, когда-либо украшавшего собой землю. Мы вынесли все и привыкли считать, что так будет и впредь. Братья и сестры, потомки Авраама, Исаака и Якова, Сары, Ревекки, Рахили и Леи, сегодня я говорю вам: наш народ выжил лишь потому, что его пока никому не удалось уничтожить, наша история — это история выживания. Если мы переживем десять тысяч бедствий, но после этого нас изничтожат, история евреев будет историей гибели. Братья и сестры, наследники царей и цариц, пророков и святых — мы все дети еврейской матери, отпускающей тростниковую корзину в реку истории, нас пустили по течению, и настоящее мгновение решит нашу судьбу.

Царь Соломон знал: праведник, семь раз упав, семь раз поднимется. Мы падали семь раз и поднимались. Мы пережили землетрясение небывалой силы. Мы пережили разрушение наших домов, утрату самого

необходимого, новые подземные толчки, эпидемии, ракетные удары, и теперь нас со всех сторон осаждают враги, вооружаемые и финансируемые сверхдержавами, в то время как нам помощь больше не приходит ниоткуда и наши друзья отводят глаза. Нашей праведности не убыло, но мы не можем теперь пасть. Две тысячи лет назад нас разбили, и две тысячи лет мы были обречены на изгнание. Как премьер-министр государства Израиль, я здесь, чтобы сейчас сказать вам: если мы вновь падем, книга Плача не только пополнится новой главой, но эта глава будет последней. Историю еврейского народа — нашу историю — будут рассказывать вместе с историями викингов и майя.

В книге "Исхода" есть рассказ о сражении Израиль с Амаликом: муж на мужа, войско на войско, народ на народ, и полководцы взирали на битву с далеких холмов, позади своих воинских порядков. Во время боя Моисей заметил, что, когда он поднимает руки, Израиль теснит врага, а когда опускает — несет потери и отступает. И тогда Моисей стал держать руки вытянутыми перед собой. Но, как мы вновь и вновь убеждаемся, Моисей был всего лишь человеком. Ни один человек не способен без конца держать руки вытянутыми перед собой.

К счастью, рядом был его брат Аарон и зять Гур. Моисей подозвал их, и они держали ему руки, пока не закончилось сражение. Израиль одержал верх.

Пока я говорю с вами, военно-воздушные силы Израиля при поддержке других родов войск нашей армии начинают операцию "Руки Моисея". Начиная с восьми утра самолеты компании "Эль-Аль" будут подниматься в воздух с аэродромов в главных мировых центрах расселения евреев и понесут еврейских мужчин и женщин в возрасте от шестнадцати до пятидесяти пяти в Израиль. Для обеспечения безопасности в воздухе эти авиалайнеры будут встречать и сопровождать истребители израильских ВВС. По прибытии в страну наших храбрых братьев и сестер аттестуют и каждого направят туда, где он лучше всего сумеет помочь Израилю выстоять. Подробные сведения об операции вы найдете на сайте www.operationarmsofmoses.com.

Мы готовились к этому шагу. Мы привели домой из пустыни наших эфиопских братьев и сестер. Мы привели домой русских евреев, иракских евреев, французских евреев. Мы привели тех, кто пережил Шоа. Но это будет небывалое деяние — небывалое в истории Израиля, небывалое в мировой истории. Однако и нынешний кризис также не имеет прецедентов. Только собрав всю свою силу, Израиль сможет избежать полного уничтожения.

К исходу первых суток операции в Израиль прилетят пятьдесят тысяч евреев.

К исходу третьего дня — триста тысяч.

На седьмой день диаспора соберется дома: миллион евреев встанут плечом к плечу со своими израильскими братьями и сестрами. И с помощью этих Аронов и Гуров наши руки не просто взметнутся в победном салюте, мы сможем диктовать условия мира".

Сегодня я не мужчина

Тору развернули на кухонном острове, и Сэм прочел отрывок с изяществом, прежде не осенявшим никого из семейства Блох, — с изяществом человека, полностью открывающего себя. В Ирве такого изящества не было, он стеснялся плакать и старался удерживать слезы. В Джулии такого изящества не было, ее слишком заботили внешние приличия, чтобы она могла ответить зову самого глубинного инстинкта и встать рядом с сыном. В Джейкобе такого изящества не было, он слишком беспокоился о том, что подумают окружающие.

Тору сложили, зачехлили и убрали в шкаф, освобожденный от полок и карандашей с красками. Мужчины, окружавшие Сэма, отступили и сели на стулья, слушать его гафтару, и он прочел ее не спеша, четко, с размеренностью хирурга-офтальмолога, оперирующего собственный глаз. Обряд совершился. Осталась только речь.

Сэм стоял возле кухонного острова, послужившего ему бимой. Он представил, что из его лба бьет пучок мутноватого света, создавая все, что находится перед ним: ермолку на макушке Бенджи (*Свадьба Джейкоба и Джулии, 23 августа 2000 г.*), талит^[40], в который, будто в незаконченный костюм призрака, замотался дед, пустой складной стул, на котором сиживал прадед.

Он обошел стол, затем пробрался между сидящими к Макс и обнял за плечи. Потом взял лицо Макса в ладони — в любой другой момент такой физической близости ни один из них не потерпел бы — и что-то прошептал ему на ухо. Не команду. Не секрет. Не сообщение. Макс растаял, как поминальная свеча.

Сэм пробрался обратно, на свою сторону кухонного острова.

— Привет собравшимся. Вот. Значит. Ну. Что я могу сказать? Вы знаете, как иногда кто-то получает награду и притворяется, будто настолько не верил в победу, что не потрудился приготовить речь? Я не верю, что хоть раз в истории человечества это не было враньем. Ну, по крайней мере, если это на "Оскаре" или чем-то столь же серьезном и церемонию показывают по телевидению. Мне кажется, люди думают, если сказать, что не подготовил выступление, будешь казаться скромным или, еще хуже, трезвомыслящим, но на самом деле они кажутся абсолютно лицемерными нарциссами.

А речь на бар-мицву, по-моему, похожа на самолет, попавший в бурю:

если уж попал в нее, остается одно — лететь вперед. Меня этому выражению научил прадедушка, хотя он на самолетах не летал последние лет тридцать. Он вообще любил всякие выражения. Я думаю, они помогали ему чувствовать себя американцем.

Но у меня не настоящая речь. Честно говоря, я не думал, что буду говорить, и ничего не приготовил, кроме моей первоначальной речи на бар-мицву, которая теперь абсолютно бессмысленна, учитывая, что все полностью поменялось. Но я долго ее сочинял, так что если кто-нибудь хочет, тому я, пожалуй, мог бы отправить ее по электронке. В общем, я вспомнил про этих актеров, которые притворяются, будто не готовились, потому что думал, вы скорее поверите мне, если я покажу, что понимаю, насколько нельзя доверять таким заявлениям. Но по-настоящему важный вопрос: почему мне не все равно, поверят ли мне.

В общем, раньше дедушка Ирв, бывало, давал пять долларов, если сумеешь произнести речь, которая его в чем-нибудь убедит. Хоть в чем и хоть в какой момент. Так что мы с Максом постоянно выступали с коротенькими речами: почему люди должны держать собак, почему эскалаторы способствуют ожирению и их надо запретить, почему роботы еще при нашей жизни поработят людей, почему следует продать Брайса Харпера, почему нужно прихлопывать мух. Не было такого предмета, о котором бы мы не брались рассуждать, потому что, даже если деньги нам не требовались, мы хотели их получить. Нам нравилось, как они копятся. Или нам нравилось побеждать. Или чтобы нас любили. Я не знаю. Я об этом упоминаю, потому что, кажется, тогда мы с Максом довольно неплохо наловчились на ходу импровизировать, чем я сейчас и буду заниматься. Спасибо, дедуля?

Во-первых, я вообще не хотел походить бар-мицву. Тому не было никаких особых этических или интеллектуальных причин, мне просто казалось, что это колоссальная трата времени впустую. Может, это этическое? Не знаю. Думаю, я бы и дальше не хотел, пусть даже родители меня тактично выслушивали и предлагали посмотреть на бар-мицву под разными другими углами. Этого мы теперь не узнаем, потому что мне просто сказали: мы это делаем, и всё. Так же, как мы не едим чизбургеры, не едим, просто потому что не едим. Хотя мы иногда едим калифорнийские роллы из настоящих крабов, хотя мы их вообще-то не едим. И мы частенько не соблюдаем Шаббат, хотя соблюдение Шаббата — это то, что мы вообще-то делаем. Я ничего не имею против лицемерия, когда оно мне на пользу, но какая мне польза применять к бар-мицве принцип мы *это* делаем?

Так что я пытался саботировать. Я не учил гафтару, но мама включала запись в машине каждый раз, когда везла меня куда-нибудь, и текст вообще-то необычайно легко запоминается — любой в нашей семье может его прочесть наизусть, и Аргус начинает вилять хвостом на первом стихе.

Я отвратительно вел себя с учителем в Еврейской школе, но он все спокойненько глотал, ведь папа с мамой, выписывая чеки, его не обижали.

Как некоторые из вас, наверное, знают, в Еврейской школе меня обвинили в том, что я написал кое-какие неподобающие слова. Как это ни ужасно, когда тебе не верят, я был рад скандалу, надеясь, что он меня освободит от бар-мицвы. Как видим, не вышло.

До сих пор я ни разу об этом не задумывался, но сейчас мне вдруг пришло в голову, что я не знаю, пытался ли я раньше помешать чему-нибудь произойти в моей жизни. Ну то есть понятно, что я старался не выбегать в офсайд и любыми средствами избегаю писсуаров без разделительных перегородок, но сейчас речь о *событиях*. Я никогда не пытался увильнуть от дня рождения или, не знаю, там, Хануки. Может быть, по неопытности я и думал, что это легко. Но сколько я ни старался, моя еврейская зрелость только приближалась.

Потом случилось землетрясение, и это все изменило, и умер мой прадед, и это тоже все изменило, и на Израиль напали со всех сторон, и случилось еще много всего, что сейчас не время и не место излагать, в общем, внезапно все стало иначе. И пока все менялось, мое нежелание проходить бар-мицву тоже менялось и укреплялось. Теперь дело было не только в колоссальной трате времени — оно уже было потрачено, если задуматься. И не в том, что я знал о множестве неприятных событий, которые должны произойти после моей бар-мицвы, и пытался вроде бы таким образом их предотвратить.

Невозможно предотвратить то, что произойдет. Можно только устраниваться от участия, как сделал прадедушка Исаак, или полностью влиться во что-то, как мой папа, который принял великое решение поехать в Израиль на войну. Или может быть, как раз папа решил устраниваться и не присутствовать там, то есть здесь, а прадедушка полностью влился.

В этом году в школе мы проходили "Гамлета", и все знают эту историю с "быть или не быть", и мы обсуждали это всё, наверное, три урока подряд — выбор между жизнью и смертью, действием и размышлением, еще чем-то и еще чем-то. И это было похоже на топтание на месте, пока моя подруга Билли не сказала нечто удивительно умное. Она спросила: "Разве нет других вариантов, кроме этих двух? Ну, к примеру, скорее быть или скорее не быть, вот в чем вопрос". И тут я подумал, что, может быть, и выбирать в

полном смысле не нужно. "Быть или не быть — вот в чем вопрос". Быть *и* не быть. Вот ответ.

Мой израильский кузен Ноам — здесь его отец, Тамир, — сказал мне, что бар-мицва — это не то, что ты совершаешь, а то, чем ты становишься. Это так, но и не так. Бар-мицва — и *то*, что ты совершаешь, *и* то, чем ты становишься. Сегодня я определенно *совершаю* бар-мицву. Я прочел кусок из Торы и гафтару, и это все не под дулом пистолета. Но я хочу, пользуясь возможностью, ясно объявить для всех, что я ничем и никем не *становлюсь*. Я не просил превращать меня в мужчину, я не хочу быть мужчиной и отказываюсь быть мужчиной.

Папа как-то рассказывал мне, что в детстве нашел возле домадохлую белку. Он смотрел, как дедушка ее оттуда убирал. Потом он сказал дедушке: "Я бы так не смог". А дедушка сказал: "Конечно, смог бы". А папа опять: "Нет, не смог бы". А дедушка сказал: "Когда ты отец, за тобой никого уже нет". А папа ответил: "Все равно не смог бы". А дедушка сказал: "Тем больше ты отец, чем меньше тебе хочется делать такие вещи". Я так не хочу и не стану.

Теперь объясню, зачем я написал те слова.

Евреи, пробил ваш час!

"О правоверные, час пробил! Война Господа против Его врагов окончится Его торжеством! Воинство праведных победно ступит на святую землю Палестины. Мы отомстим за Лод, отомстим за Хайфу, Акко и Дейр-Ясин, отомстим за поколения мучеников, отомстим, хвала Всевышнему, за Аль-Кудс!^[41] О, Аль-Кудс, растерзанный евреями, превращенный в шлюху сыновьями свиней и макак, мы вернем тебе былую честь и славу!

Они сожгли дотла Храм Скалы. Но гореть будут сами. Я возвещаю вам сегодня слова, что исполняли сердца тысяч мучеников: "Евреи, помните Хайбар, армия Мохаммеда грядет!" Как Пророк Мохаммед, да пребудет с ним мир, разбил вероломных евреев в Хайбаре, так и сегодня воинства Пророка готовы окончательно унижить и уничтожить евреев!

Евреи, пробил ваш час! На ваш огонь мы ответим огнем! Мы сожжем ваши города и села, ваши школы и больницы, все дома до единого! Ни одного еврея не минует кара! Вспомним, о правоверные, чему учит нас Пророк, да пребудет с ним мир: в День Суда даже камни и сучья заговорят, словами или нет, они будут вопить: "О, воин Господа, о Правоверный, позади меня притаился еврей, приди и убей его!"

Спешите домой

""Смотрите на меня, — сказал Гедеон своим немногочисленным воинам перед войском мадианитян недалеко от того места, где я сейчас стою. — И делайте то же. Когда подойду к их стану, делайте точно, что и я. Когда я и те, кто со мной, затрубим в рога, тогда и вы трубите вокруг всего стана и кричите: "Меч Господа и Гедеона!" Заслышав и завидев наше единство, враги смешались и бежали.

Большая часть еврейского народа предпочитает жить не в Израиле, евреев не объединяет ни общая религия, ни политические взгляды, нет у них единой культуры и языка. Но все мы сейчас в тех же водах истории.

Евреи всего мира, те, кто жил прежде вас — ваши деды и прадеды, — и те, кто придет после вас — внуки и правнуки, — призывают: спешите домой.

Спешите домой не только затем, что дома вы нужны, но и затем, что вам нужен дом.

Спешите домой не только драться за Израиль, но драться за себя.

Спешите домой, потому что народ без дома — не народ, как человек без дома не человек.

Спешите домой не затем, что согласны со всеми шагами Израиля, не затем, что считаете Израиль безупречной, или лучшей из стран. Спешите домой не затем, что Израиль таков, каким вы его хотите видеть, а затем, что он ваш.

Спешите домой затем, что история запомнит, какой выбор сделал каждый из нас сегодня.

Спешите домой, и мы победим в этой битве и установим прочный мир.

Спешите домой, и мы отстроим эту страну заново, чтобы она стала еще сильнее и еще ближе к тому, что нам завещано, чем она была до постигшего ее бедствия.

Спешите домой и станьте пальцами, сжимающими перо, которым пишется история еврейского народа.

Спешите домой и помогите держать руки Моисея поднятыми. И потом, когда остынут орудийные стволы и здания станут там, где прежде были, только еще величавее, и на улицах зазвучат голоса играющих детей, и вы увидите свое имя не в книге Плачей, но в книге Жизни.

И тогда, куда бы вы ни решили поехать дальше, вы всегда будете

дома".

Сегодня я не мужчина

Пару недель назад всем не терпелось узнать, каким образом я стану извиняться в своей речи на бар-мицве. Как я объясню свое поведение? Признаюсь ли вообще? Когда меня обвиняли, я вовсе не собирался ничего объяснять, а тем более извиняться. Но теперь, когда у всех мысли заняты совсем другим и всем уже, по правде-то, наплевать, я хотел бы объяснить свой поступок и принести извинения.

Моя подруга Билли, которую я уже упоминал, сказала, что меня затюкали. Она по-настоящему прекрасна, умна и добра. Я сказал ей: "Может, сейчас у меня наступило внутреннее согласие". Она спросила: "Согласие между кем и кем?" И я подумал: какой интересный вопрос.

Я сказал ей: "Ничего меня не затюкали". А она возразила: "Именно так и сказал бы затюканный человек". И я спросил: "А ты, полагаю, не затюкана?" Она сказала: "Каждый в какой-то степени". "Ладно, — сказал я, — тогда я не более затюканный, чем средний человек". "Скажи самое трудное", — попросила она. А я такой: "Это что же?"

И она говорит: "Не сию секунду. Ты даже не поймешь, что это, без долгого и напряженного обдумывания. Но когда поймешь, не бойся сказать". — "А если я не пойму?" — "Поймешь". — "Ну а если?" Она сказала: "Я предложила бы тебе обсудить условия, но ты слишком затюканный, чтобы сказать мне, чего на самом деле хочешь".

Что, очевидно, было правдой.

"Так, может, это и есть то, что труднее всего сказать", — предположил я. "Что? — спросила она. — Что ты хочешь меня поцеловать? Это даже не в первой сотне".

Я много раздумывал над ее словами. И о них я думал в Еврейской школе в тот день, когда исписал тот самый листок. Я прочувствовал каждое из написанных ругательств, увидел, тяжело ли их написать, произнес их мысленно. Вот зачем я их написал. Но дело не в этом.

А дело вот в чем: я ошибся. Я думал, что *труднее* всего произнести самые *гадкие* слова. Но на самом деле говорить ужасные вещи довольно легко: дебил, пизда, да что угодно. В каком-то смысле это еще легче, оттого что мы знаем, насколько это гадкие слова. В них нет ничего пугающего. По-настоящему трудно говорить, например, о том, чего не знаешь.

И я сегодня потому тут стою, что понял: труднее всего сказать не слово, не фразу, а событие. Не может быть самым трудным то, что ты

говоришь себе. Самое трудное обязательно говорят другому человеку или людям.

Евреи, пробил ваш час!

"О правоверные, Всевышний приказывает своим слугам нести смерть евреям. Я призываю воинов Корана в последний поход против этих скотов, что убивают пророков. О правоверные, разве должен я напоминать вам историю о еврейке, которая дала Пророку, да пребудет с ним мир, отравленного ягненка, желая Его убить? Пророк, да пребудет с ним мир, сказал своим спутникам: "Не ешьте этого ягненка, он говорит мне, что в нем яд". Но Его друг Бишр ибн аль-Бары поздно услышал предупреждение и умер от яда. Еврейка пыталась погубить нашего Пророка, да пребудет с ним мир, но, хвала Господу, не преуспела. Такова натура евреев, этого дважды проклятого народа! Они попытаются вас убить, но Господь взрастит в ваших сердцах знание об их злобных умыслах и спасет вас. Поступайте с ними, как Пророк, да пребудет с ним мир, поступил с евреем Кинаной ибн аль-Раби, сокрывшим драгоценности еврейского клана Бану-Надир. Пророк, да пребудет с ним мир, сказал аз-Зубайру ибн аль-Аввamu: "Пытай этого еврея, пока не выведаешь у него все, что знает". Аз-Зубайр приложил к груди еврея раскаленное железо, и тот едва не испустил дух. Тогда Пророк, да пребудет с ним мир, отдал еврея Кинану Мухаммеду ибн Масламе, и тот отсек ему голову! А потом сделал евреев Кинаны своими рабами. Мухаммед, да пребудет с ним мир, взял себе самую прекрасную из евреек! Так поступайте, о, правоверные! Пусть Пророк будет вам примером в том, как обходиться с евреями!

Палестинские братья! Помните! Когда правоверные, арабы, палестинцы поднимаются в поход против евреев, они делают это во славу Господа. Они идут на битву как правоверные! В хадисе не сказано: "О сунниты, о шииты, о палестинцы, о сирийцы, о персы, поднимайтесь в поход". Там сказано: "О правоверный!" Слишком долго мы сражались между собой и терпели поражения. Теперь мы сражаемся вместе, и мы победим.

Мы сражаемся во имя Ислама, потому что Ислам велит нам сражаться насмерть со всяким, кто грабит нашу землю. Уступки — это путь Шайтана!"

Спешите домой

Но и потом, после того, как премьер-министр произнес последние слова, камера продолжала показывать его. Он не отводил взгляда. И камера продолжала смотреть на него. Сначала это показалось неловкой накладкой в трансляции, но это не было случайно.

Премьер смотрел в объектив.

И объектив не отъезжал.

И тут премьер-министр сделал нечто неимоверно символичное, картинное до вульгарности и настолько чрезмерное, что это могло бы сбить с ног слушателей, уже готовых совершить нужное усилие веры.

Премьер-министр вынул из-под кафедры шофар. И ни словом не объяснив его символизм — религиозную или историческую значимость, его назначение: разбудить спящих евреев, заставить их покаяться и вернуться, — и даже не сказав, что именно этот шофар, этот дважды скрученный рог, был найден в Масаде, в колодце, что его две тысячи лет сохранял там сухой жар пустыни, что внутри него остались биологические следы благородного израильского героя-мученика, — министр поднес рог к губам.

Камера не отъезжала.

Премьер-министр вдохнул и заполнил крученный рог молекулами всех когда-либо живших евреев: дыханием царей-воителей и рыбаков, портных, барышников и исполнительных продюсеров; кошерных мясников, радикальных издателей, кибуцников, бизнес-консультантов, хирургов-ортопедов, кожевников и судей; благодарным смехом человека, у чьей постели в больнице собралось больше сорока его внуков, притворным стоном проститутки, прятавшей детей под кроватью, на которой она целовала в губы нацистов; вздохом античного философа в момент озарения, криком осиротевшего ребенка, заблудившегося в лесу; последним пузырем воздуха, всплывшим из Сены и лопнувшим на ее поверхности, когда тонул Пауль Целан, набивший карманы камнями; словом, едва успевшим сорваться с губ первого еврейского астронавта, пристегнутого к креслу лицом в вечность. И дыханием тех, кто никогда не жил, но на чьем существовании держалось существование евреев: патриархов, родоначальниц, пророков; последней мольбой Авеля; радостным смехом Сары, предчувствующей чудо; голосом Авраама, предлагающего своему Богу и своему сыну то, что нельзя было предложить сразу двоим: "Вот я".

Премьер-министр поднял шофар на сорок пять, на шестьдесят градусов, и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в Майами, Чикаго и Париже, в Лондоне, Буэнос-Айресе, Москве и Мельбурне телевизионные экраны задрожали, затряслись.

Сегодня я не мужчина

"Труднее всего сказать то, что труднее всего услышать: если придется выбирать из родителей одного, я смогу.

И я говорил об этом с Максом и Бенджи, и каждый из них, если придется выбирать, тоже сможет выбрать. Двое из нас выбрали одну сторону, третий другую, но мы сошлись в том, что, если придется выбирать, мы все выберем одну сторону, чтобы не разлучаться.

Пару недель назад я был на конференции "Модель ООН", страна, которую мы представляли, Микронезия, внезапно получила в свое распоряжение атомную бомбу. Мы не просили атомную бомбу, не хотели ее, и вообще ядерное оружие с любой точки зрения ужасно. Но есть причина, по которой человечество им обладает, и эта причина — чтобы никогда не пришлось его использовать.

Вот и все. Я закончил".

Он не кланялся, и никто не хлопал. Никто не пошевелился и не раскрыл рта.

Как всегда, Сэм не понимал, что ему делать с собственным телом. Но большой организм — полная комната родных и друзей — зависел от его движений. Если он расплчется, кто-нибудь станет его утешать. Если выбежит вон, кто-нибудь бросится вслед. Если возьмет и заговорит с Максом, все начнут болтать. Но если останется стоять на месте, сжимая кулаки, все тоже будут молча стоять.

Джейкоб раздумывал, не похлопать ли в ладоши и не сказать ли какую-нибудь ерунду типа "А теперь к столу!".

Джулия раздумывала, не подойти ли к Сэму, приобнять, коснуться лбом его головы.

Даже Бенджи, который всегда знал, что делать, поскольку никогда об этом не раздумывал, оставался неподвижен.

Ирв жаждал принять статус главы рода, но не знал как. Есть ли у него в кармане пятидолларовая купюра?

С середины кухни подала голос Билли:

— Все равно!

Все повернулись к ней.

— Что? — спросил Сэм.

И словно перекрикивая шум, которого не было, она завопила:

— Все равно!

Евреи, пробил ваш час!

Толпа голосила еще долго после того, как аятолла опустил руку, вскинутую в последнем призыве к солидарности. Долго после того, как он покинул импровизированную сцену в окружении десятка телохранителей в штатском. Одобрительный гул — аплодисменты, скандирование, крики, пение — продолжался и после того, как аятолле приветствовали выстроившиеся в очередь ближайшие советники, каждый из которых поцеловал и благословил его. И после того, как он сел в машину со стеклами толщиной в два дюйма и без дверных ручек и укатил прочь, гул не смолкал, даже усилился, но толпа, лишившись центра притяжения, стала растекаться во все стороны.

Вульф Блицер и те, кого он пригласил в студию, принялись обсуждать речь — без паузы на переваривание увиденного они повторяли цитату за цитатой, пока не перемешали все в произвольном порядке, — а камера всё показывала толпу. Море людей не умещалось на площади Азади, оно растекалось по прилегающим улицам, будто кровь, и камеры уже не охватывали всей панорамы.

Джейкоб представлял, как по всем улицам Тегерана течет река людей, выбрасывающих кулаки в небо, стучащих себя в грудь. Представлял, что все парки и открытые пространства переполнены народом, как площадь Азади. Камера крупным планом показала женщину, безостановочно шлепающую тыльной стороной ладони о другую ладонь; орущего мальчика на плечах отца: четыре руки, вскинутые вверх. Люди на балконах, на крышах, на ветвях деревьев. На крышах автомобилей и на гофрированных металлических козырьках, до того раскаленных, что не прикоснуться рукой.

Слова аятоллы капали в миллиард с лишним отверстых ушей, на него были устремлены двести тысяч пар глаз на площади, а всего 0,2 процента населения Земли составляли евреи, но, глядя на повторно прокручиваемые моменты речи — взлетающие кулаки аятоллы, волнующиеся толпы, — Джейкоб думал только о своей семье.

Прежде чем новорожденного Сэма разрешили забрать из больницы, Джейкобу пришлось высидеть пятнадцатиминутную лекцию, излагающую десять заповедей заботы о новорожденном — самые основные правила для молодых родителей: НЕ ВСТРЯХИВАТЬ МЛАДЕНЦА; ОБРАБАТЫВАТЬ ПУПОК ВАТНЫМ ТАМПОНОМ, СМОЧЕННЫМ В МЫЛЬНОЙ ВОДЕ,

НЕ РЕЖЕ РАЗА В ДЕНЬ; ПОМНИТЬ ПРО РОДНИЧОК; КОРМИТЬ МЛАДЕНЦА ТОЛЬКО ГРУДЬЮ ИЛИ МОЛОЧНЫМИ СМЕСЯМИ, ОТ ОДНОЙ ДО ТРЕХ УНЦИЙ КАЖДЫЕ ДВА-ТРИ ЧАСА, И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО СРЫГИВАТЬ, ЕСЛИ ОН УСНУЛ ПОСЛЕ ЕДЫ; ну и тому подобное. Все это знает любой, кто ходил на занятия для будущих родителей, или жил под одной крышей с младенцем, или просто родился евреем. Но десятая заповедь Джейкоба придавила. ПОМНИТЕ: ВСЕ ЭТО НЕНАДОЛГО.

Спешите домой

Гости разошлись по домам, "убер" приехал за Торой, Тамир повез всех детишек на матч "Натс" (в седьмом иннинге, спасибо Максовой предусмотрительности и смекалке, о бар-мицве Сэма возвестило табло), и после необязательного просмотра имейлов и прогулки с Аргусом до угла Джейкоб с Джулией принялись за уборку. Пока у них не было детей, на вопрос о том, в каких образах им видится воспитание детей, они ответили бы что-то вроде "чтение в постели", "купание", "бег за велосипедом и поддержание за седло". Воспитание детей включает такие моменты близости и теплоты, но главное не в них. Воспитание — это уборка. Тяжкая ноша семейной жизни не предполагает ни взаимной любви, ни смысла, только удовлетворение. Удовлетворение не от того, что удалось вполне себя выразить, а от того, что ты справляешься со всем, что на тебя валится.

Джулия так и не смогла смириться с бумажными тарелками, поэтому предстояло несколько раз загрузить машинку посудой. Джейкоб загрузил ее до предела, а остальное взялся мыть сам, и они с Джулией менялись на мытье и вытирании.

— Ты была права, что не поверила ему, — сказал Джейкоб.

— Выходит так. Но ты был прав, что нам надо было ему верить.

— Наверное, мы и тут прокололись?

— Не знаю, — сказала Джулия. — В этом ли дело? С детьми, что ни возьми, вечно прокалываешься. Просто учишься и стараешься впредь не прокалываться так сильно. Но они опять вырастают, и на ошибках не учишься.

— Безвыигрышная лотерея.

Они посмеялись.

— Любовь называется.

Губка уже наполовину истерлась, единственное чистое посудное полотенце промокло, а моющее средство пришлось разводить водой, чтобы хватило, но они как-то справлялись.

— Послушай, — сказал Джейкоб. — Тут не фатализм, а просто ответственность: я решил кучу вопросов с аудитором, и с адвокатом, и...

— Благодарю тебя, — сказала Джулия.

— В общем, все довольно ясно прописано в документе, который я положил тебе на тумбочку — в запечатанном конверте, на случай, если кто-то из детей наткнется.

- Ты не погибнешь.
- Конечно, нет.
- Ты даже не поедешь.
- Поеду.

Джулия включила измельчитель, и Джейкоб подумал, что будь он режиссером звуковых эффектов, которому нужно изобразить голос Сатаны, воющего из ада, он просто записал бы вот этот звук.

- Еще кое-что, — сказал он.
- Что?
- Пусть прокрутит.

Джулия нажала кнопку "Стоп".

- Помнишь, я говорил про сценарий, над которым давно работаю?

- Твой тайный шедевр.
- Я никогда его так не называл.
- Про нас.
- Ну, очень приблизительно.
- Да, я поняла, о чем ты говоришь.
- В правом нижнем ящике моего стола лежит текст.
- Целиком?
- Да. А сверху библия.
- Библия?

— К тексту. Своего рода мануал, как читать сценарий. Для будущих актеров, для режиссера.

- Не должен ли текст сам говорить за себя?
- Ничего не может говорить за себя.
- Сэм точно может.
- Да, если бы сценарий был Сэмом, ему бы библия не понадобилась.
- А если бы ты был Сэмом, тебе бы не понадобился сценарий.
- Именно.

— Ладно. Значит, твой сценарий и библия лежат в правом нижнем ящике стола. И в случае, если ты действительно улетишь в Израиль и — что? — погибнешь в бою? Мне надо переслать его твоему агенту?

- Нет. Прошу тебя, Джулия.
- Сжечь?
- Я не *Кафка*.
- Так что?
- Я надеялся, ты его прочтешь.
- Если ты погибнешь.
- Да, только в таком случае.

— Я не знаю, то ли я тронута тем, какой ты открытый сейчас, то ли обижена тем, какой ты закрытый вообще.

— Ну ты же слышала Сэма: "Быть и не быть".

Джулия протерла стол и повесила посудное полотенце на кран.

— Что теперь?

— Ну, — сказал Джейкоб, вынимая телефон из кармана, чтобы посмотреть время. — Три часа, спать ложиться еще рано.

— Устал?

— Нет, — ответил Джейкоб. — Просто привык уставать.

— Не знаю, что это значит, но ладно.

— Воск топил мосты.

— А?

— По-моему, эти слова ничего не значат. — Джейкоб уперся ладонью в стол и продолжил: — Это ты, конечно. То, что Сэм сказал.

— Что он сказал о чем?

— Ты поняла. О том, кого бы он выбрал.

— Да, — сказала Джулия, по-доброму улыбнувшись. — Конечно я. Вопрос в том, кто из них перебежчик?

— Это вполне могло быть хитростью, средством психологической войны.

— Наверное, ты прав.

Они вновь посмеялись.

— Почему ты не попросила меня не лететь в Израиль?

— Потому что после шестнадцати лет и без слов все понятно.

— Смотри! Еврейский ребенок плачет.

— Смотри! Глухая дочь фараона.

Джейкоб сунул руки в карманы и сказал:

— Я знаю язык глухих.

Джулия рассмеялась:

— Что?

— Я вполне серьезно.

— Да ну тебя.

— Я знал его еще до того, как мы с тобой познакомились.

— Ты полное трепло.

— Не-ет.

— Покажи знаками: *Я полное трепло.*

Джейкоб показал на себя, затем провел открытой правой ладонью над сжатой в кулак левой, затем поставил правую ладонь вверх оттопыренным большим пальцем, захватил его в кулак левой рукой и движением вверх

снял кулак с пальца.

— И как я могу проверить, не дурачишь ли ты меня?

— Не дурачу.

— Покажи: *Жизнь длинна*.

Джейкоб сложил пальцы на обеих руках, как складывают дети, изображая пистолет, показал указательными пальцами себе на живот, затем провел ими вдоль туловища до горла. Потом вытянул левую руку, правый указательный поднес к левому кулаку и провел им от запястья до локтя.

— Постой, ты что, плачешь? — спросил Джейкоб.

— Нет.

— Но собираешься?

— Нет, — ответила Джулия. — А ты?

— Я-то всегда готов.

— Покажи: *Смотри! Еврейский ребенок плачет*.

Джейкоб поднес правый кулак к лицу примерно на уровне глаз, выставил указательный и средний пальцы и качнул рукой вперед — два глаза, движущихся в пространстве. Потом провел указательными пальцами по щекам по очереди — сначала одним, потом другим, будто рисуя слезы. Потом правой рукой огладил воображаемую бороду. Затем сложил колыбель из рук, скрестив их на уровне живота ладонями вверх, и покачал ее вперед-назад.

— Гладить бороду? Это знак для еврея?

— Для *еврея*, для *иудея*. Да.

— Этот знак умудряется быть одновременно антисемитским и мизогинным.

— Уверен, ты в курсе, что большинство нацистов были глухими.

— Да, я знала.

— И большинство французов, и англичан, и испанцев, и итальянцев, и скандинавов. Почти все, кроме нас.

— Вот поэтому твой отец постоянно кричит.

— Точно.

Джейкоб рассмеялся.

— И кстати, для скупого — тот же самый, что для еврея, только в конце еще сжимается кулак.

— Иисусе.

Джейкоб вытянул руки в стороны и наклонил голову к правому плечу.

Джулия засмеялась и сжала губку в кулаке так, что костяшки побелели.

— Я вообще не знаю, что сказать, Джейкоб. Не могу поверить, что ты держал в тайне целый язык.

— Я не держал в тайне. Просто никому не говорил.

— Почему?

— Когда сяду за мемуары, я назову их "Книга тысячи почему".

— От такого названия люди станут думать, будто там какие "почемудрости".

— Пусть думают.

— А я думала, ты их называешь "Библия". — Джулия выключила радио, которое неведомо сколько вещало на нулевой громкости. — В разных странах языки глухих разные, правильно?

— Да.

— И как будет *еврей* на еврейском языке глухих?

— Не имею понятия, — ответил Джейкоб.

Он вынул телефон и набрал в "Гугле": "Знак для еврея на еврейском языке глухих". Повернув телефон экраном к Джулии, он сказал:

— Такой же.

— Грустно.

— Вот да.

— Сразу в нескольких смыслах.

— А ты бы какой предложила? — спросил Джейкоб.

— Ну, звезда Давида потребовала бы феноменальной гибкости пальцев.

— Может, ладонь на макушке?

— Неплохо, — заметила Джулия, — но опять не включает женщин. И огромное большинство еврейских мужчин, которые, как и ты, не носят кипу. Может, ладони, сложенные, как книга?

— Совсем неплохо, — одобрил Джейкоб, — но разве неграмотные евреи не евреи? А младенцы?

— Я имела в виду не чтение, а книгу. Может, Тору. Или Книгу жизни. Как показывают *жизнь*?

— Ну, как *жизнь длинна*?

Джейкоб снова сложил из пальцев пистолеты и провел указательными пальцами вверх по торсу.

— Ну, вот, вроде такого, — сказала Джулия, складывая ладони перед собой, раскрывая их, будто книгу, и потом поднимая раскрытые ладони вдоль туловища, как бы проталкивая книгу сквозь собственные легкие.

— Я подниму вопрос на следующей конференции сионских мудрецов. А какой будет знак для нееврея?

— Для *нееврея*? Да на хер такой нужен?

Джулия рассмеялась, следом за ней и Джейкоб.

— Не могу поверить, что ты знал язык и ни с кем не поделился.

Элиэзер Бен-Йехуда в одиночку возродил иврит. Не в пример многим сионистам, он мечтал построить государство Израиль не как дом для еврейского народа. Он хотел, чтобы его язык обрел дом. Он знал, что без государства — где евреи будут торговаться и проклинать, принимать светские законы, заниматься сексом — язык не выживет. А без языка в конце концов не станет и народа.

Сын Бен-Йехуды, Итамар, стал первым после более чем тысячелетнего перерыва носителем иврита. В детстве ему запрещали говорить на других языках и слышать речь на других языках (отец однажды выбрал мать Итамара за колыбельную на русском языке). Родители не разрешали ему играть с другими детьми — ведь ни один из них не говорил на иврите, — но чтобы он не чувствовал себя совсем одиноким, подарили собаку по кличке Маэр, что на иврите значит "быстрый". Своего рода насилие над ребенком. И при том, может быть, он еще больше, чем его отец, сделал для того, чтобы современный еврей впервые рассказал похабный анекдот на иврите, впервые сказал другому еврею "Иди на хер!" на иврите, впервые стенографировал в суде на иврите, сгоряча выкрикнул обидные слова на иврите, застонал от наслаждения на иврите.

Джейкоб поставил последнюю вымытую чашку на полку вверх дном.

— Чего это ты? — спросила Джулия.

— Делаю, как ты.

— И тебя не бесит, что они вряд ли высохнут без циркуляции воздуха?

— Нет, но вдруг я не стал думать, что иначе их до краев заполнит пыль. Я просто устал спорить.

Бог велел Моисею положить в один ковчег и целые скрижали, и разбитые. Евреи несли их — и те и другие — все сорок лет своего скитания по пустыне и положили те и другие в Иерусалимском Храме.

Зачем? Почему они просто не погребли обломки с почтением, достойным священного текста? Или не бросили их, как скверну и проклятие?

Потому что это были наши скрижали.

VII

Библия

Как играть грусть

Ее не существует, так что прячьте ее, как опухоль.

Как играть страх

Не всерьез.

Как играть плач

На похоронах моего деда раввин рассказал историю Моисея, найденного в реке дочерью фараона. "Смотрите, — сказала она, открыв корзину. — Еврейский ребенок плачет". Раввин попросил детей объяснить, что сказала дочь фараона. Бенджи предположил, что Моисей "плакал по-еврейски".

Раввин спросил: "А как это — плакать по-еврейски?"

Макс шагнул вперед, к отверстой могиле, и сказал: "Может, так, как смеяться?"

Я сделал шаг назад.

Как играть смех

Применяйте юмор так же агрессивно, как химиотерапию. Смейтесь, пока волосы не вылезут. Нет ничего такого, чего нельзя сыграть смешно. Когда Джулия говорит: "Здесь только мы двое. Ты и я, говорим по телефону", — засмейся и скажи: "И Бог. И Национальное агентство безопасности".

Как играть гибель волос

Никто и близко не понимает, много ли у него волос — и потому, что все свои волосы нельзя увидеть (даже при помощи нескольких зеркал, уж поверьте), и потому, что глаза-то тоже свои.

Когда мальчики были еще малы и не задавались вопросом, зачем я их спрашиваю — и можно было надеяться, что они никому об этом не расскажут, — я спрашивал их, сильно ли я лысый. Я наклонялся, растрепывал волосы так, чтобы было видно, где мне мерещились залысины, и просил их описать мне меня.

— С виду нормально, — обычно говорили они. — Разве что-то не так?

— Да в общем, как у всех.

— Но разве не кажется, что вот тут они растут пореже?

— Да вроде нет.

— Вроде нет? Или нет?

— Нет?

— Это я вас прошу помочь. Можете вы нормально посмотреть и точно мне сказать?

А то, что они видели у меня на голове, — это был костыль, результат фармацевтического вмешательства — микроскопические ручки Арона и Гура удерживали корни моих волос изнутри. В своем облысении я винил гены и стресс. В этом смысле оно не отличалось от других недугов.

Эффект пропеции основан на угнетении тестостерона. Один из хорошо отслеженных и широко распространенных побочных эффектов — ослабление либидо. Это факт, а не просто вероятность, и не оправдание. Жаль, что я не говорил об этом Джулии. Но я не мог, поскольку не мог ей признаться, что принимаю пропецию, поскольку не мог признаться, что мне не все равно, как я выгляжу. Лучше пусть думает, что она меня не возбуждает.

Несколько месяцев спустя после того как дети начали у меня бывать, я однажды принимал ванну с Бенджи. Мы разговаривали про "Одиссею", детскую версию которой он недавно закончил читать, и о том, как невыносимо, видимо, было Одиссею скрывать, кто он такой, после того, как он наконец попал домой, и почему иначе было нельзя.

— Мало просто вернуться домой, — сказал Бенджи. — Надо быть в силах там остаться.

Я сказал:

— Ты так прав, Бенджи!

Я всегда называл его по имени, когда гордился им.

— Ты правда вроде лысеешь, — сказал он.

— Что?

— Лысеешь вроде.

— Правда?

— Ну, типа того.

— А раньше ты пытался меня щадить?

— Не знаю.

— А где я лысею?

— Не знаю.

— Ну потрогай пальцем в тех местах.

Я наклонил голову, но никаких прикосновений не почувствовал.

— Бенджи! — окликнул я его, глядя на воду.

— Ты не лысеешь.

Я поднял голову.

— Тогда зачем ты сказал?

— Мне хотелось, чтобы тебе было приятно.

Как играть настоящую лысость

Раньше мы на каждое Рождество ходили в ресторан сычуаньской кухни, впятером. Мы поднимали детей к аквариуму, держали, пока не задрожат руки, заказывали все горячие закуски, где только нет свинины. В последний из таких походов, на Рождество, в печенье с предсказаниями меня ждала записочка: "Ты не призрак". Мы эти записочки читали вслух, такой ритуал, а я, увидев фразу "Ты не призрак", прочел: "Всегда есть какой-то способ".

С десятков лет спустя я лишился всех волос всего за месяц. На Рождественский сочельник внезапно объявился Бенджи с вагоном китайской еды, которой хватило бы на семью из пяти человек.

— Ты прошелся по всему меню? — спросил я, смеясь от радости при виде такого забавного изобилия.

— Только трэфного^[42], — сказал он.

— Ты переживаешь, что мне одиноко?

— А ты переживаешь, что я переживаю?

Мы ели на диване, держа тарелки на коленях, загромоздив журнальный столик дымящимися коробками. Потянувшись за добавкой, Бенджи пристроил пустую тарелку на заставленный столик, взял мою голову в ладони и чуть наклонил вниз. Будь это хотя бы чуть менее неожиданно, я бы сообразил, как выкрутиться. Но когда это уже произошло, я сдался: положил руки на колени и закрыл глаза.

— Что, рук не хватает, да?

— Мне и не надо.

— Ох, Бенджи.

— Серьезно, — сказал он. — Полно волос, никакой лысины.

— Врач предупреждал меня, хотя и много лет назад, что так будет: как перестанешь принимать таблетки, сразу облысеешь, махом. Я тогда ему не поверил. Или подумал, что стану исключением.

— Ну и как оно?

— Когда стоит так, что орехи можно колоть?

— Пап, я ем.

— Когда можешь отжиматься, держа руки за спиной?

— Уже не рад, что спросил, — сказал Бенджи, не в силах сдержать улыбку.

— Знаешь, мне тут раз понадобилось яйцо.

— Да ну? — подыграл он.

— Да. Я тут кое-что затеял печь.

— Ты часто печешь.

— Все время. Удивляюсь, что не пеку сейчас, рассказывая тебе это. В общем, я чего-то пек и обнаружил, что мне не хватает одного яйца. Разве бывает что-то хуже?

— И помыслить невозможно ничего хуже.

— Ага? — Нам обоим уже не терпелось добраться до развязки. — Ну я решил: чем тащиться в магазин через снегопад и покупать одиннадцать лишних яиц, попробую-ка занять одно.

— Вот именно поэтому у тебя в кабинете висит диплом "Национальная премия за лучшую еврейскую книгу 1998 года".

— Идише копф, — сказал я, постучав себя пальцем по лбу.

— Жаль, что ты мне не настоящий отец, — сказал Бенджи с мокрыми от давленного смеха глазами.

— Ну, и я открыл окно. — Я не понимал, доведу ли этот рассказ до финала, который оформлялся у меня в голове прямо в тот момент. — Ну, открыл окно, написал, поставил и разыграл пятисекундную фантазию, на маркировку которой иксов пошло бы без, и своей набухшей булавой позвонил в дверь соседям через улицу.

Едва не корчась от сдерживаемого смеха, Бенджи спросил:

— И было у нее яйцо?

— У него.

— У него!

— И нет, яйца не оказалось.

— Вот кретин.

— И я нечаянно выткнул ему глаз.

— Оскорбление с тяжким телесным.

— Нет, постой. погоди. Давай заново. Спроси меня, нашлось ли у нее яйцо.

— У меня вопрос.

— Давай попробую ответить.

— Нашлось у нее яйцо?

— У твоей мамы? Имелось.

— Чудо из чудес!

— И я его по нечаянности оплодотворил.

Смех, который мы сдерживали, так и не прорвался на волю. Мы вздохнули, улыбнулись, откинулись и покивали без всякой причины.

Бенджи сказал:

— Наверное, такое облегчение.

— Что именно?

— Наконец выглядеть самим собой.

Я увидел "Ты побываешь в разных краях" и прочел: "Я не призрак".

Бенджи было пять, когда мы начали читать отрывки из "Одиссеи". Я читал ее и Сэму, и Максу, и оба раза, чем дальше мы продвигались, тем медленнее шло чтение, пока мы не опускались до одной страницы за вечер. С Бенджи мы в первый же вечер прочли всю историю о циклопах. Меня посетило редкое чувство, осознание происходящего: он был мой последний ребенок, и в последний раз я читал ребенку на ночь про Одиссея у циклопов. Все это ненадолго.

— "Что за беда приключилась с тобой, Полифем, — читал я, — что кричишь ты и сладкого сна нас лишаешь?"

Я выдерживал солидные паузы, как можно дальше оставляя фразу от фразы.

— "Иль самого тебя кто-нибудь губит обманом иль силой? — Им из пещеры в ответ закричал Полифем многомогущий: — Други, Никто!"^[43]

Как играть никого

Я сказал Джулии, что не хочу, чтобы она ехала с нами в аэропорт. Я уложу детей, как делаю каждый день, никаких душещипательных прощаний, скажу, что я буду, когда смогу, звонить по Фейстайму, а через неделю-другую вернусь с чемоданом, полным сувениров. И когда заснут, я уеду.

— Поступай как хочешь, — сказала Джулия. — Но могу ли я спросить — или спрашивал ли ты себя, — чего ты еще ждешь?

— Ты о чем?

— Для тебя — все пустяки. Ты и голос-то повысил раз в жизни, чтобы сказать, что я тебе ненавижна.

— Я не хотел.

— Я знаю. Но ты и промолчать не захотел. Если это пустяк — проститься с детьми перед отъездом на войну, — то что не пустяк? Какого важного события ты еще ждешь?

Отец отвез нас в аэропорт Макартура, что в Айслипе, на Лонг-Айленде. Я сидел на переднем сиденье, а позади Барак дремал, привалившись к груди Тамира. Пять часов езды. По радио шли репортажи о первом дне операции "Руки Моисея". Журналисты приехали во все упомянутые в речи аэропорты, но поскольку день едва начался, корреспонденты пока в основном строили догадки о том, многие ли откликнутся на призыв. Эта поездка была полной противоположностью той, всего несколько недель назад, из Национального аэропорта домой.

Разговоры на переднем и на заднем сиденье в этот раз не переплетались; я почти не слышал, о чем говорили Тамир с Бараком, а мой отец, у которого в голосе просто нет регистра для замкнутых пространств, перешел на шепот.

— Гейб Перельман будет там, — сказал он. — Я говорил вчера вечером с Хершем. — Мы встретим там много знакомых.

— Наверное.

— Гленна Мехлинга. Ларри Мувермана.

— У мамы все нормально? Утром она была какая-то слишком невозмутимая, мне прямо не по себе.

— Она мать. Но она не расклеится.

— А ты?

— Ну что сказать? Это цена неудобной правды. На домашнем телефоне я отключил звонок. Городская полиция поставила патрульную машину у нас на углу. Я просил не ставить. Меня не слушали, сказали, это не вопрос выбора. Но все временно.

— Я не о том. Я имел в виду, что я уезжаю.

— Ты же читал, что я написал. Я всей душой не хочу, чтобы ты ехал, но знаю, что ты уедешь.

— Вообще не верю, что это все на самом деле.

— Потому что последние двадцать лет ты меня совсем не слушаешь.

— Уже дольше.

Не отводя глаз от дороги, он положил руку мне на колено и сказал:

— И я не верю.

Остановились у бровки. Аэропорт был закрыт для любого иного сообщения, кроме рейсов, вылетающих в Израиль. Десятка два машин выгружали пассажиров, и никто не махал кургузым светящимся жезлом, не кричал: "Проезжаем, проезжаем", но стояли двое военных в камуфляже с автоматами на груди.

Мы выгрузили сумки из багажника и встали у машины.

— Барак не выходит? — спросил я.

— Он спит, — сказал Тамир. — Мы простились в машине. Так лучше.

Мой отец положил Тамиру руку на плечо.

— Ты храбрец, — сказал он.

— Это не называется храбростью, — ответил Тамир.

— Я любил твоего отца.

— И он тебя любил.

Мой отец кивнул. Положил вторую руку на другое плечо Тамира и сказал:

— Поскольку он уже не с нами...

И этих слов хватило. Как будто знание о том, что делать в этот момент, было вложено в него при рождении, Тамир опустил сумку наземь, свесил руки вдоль тела и слегка склонил голову и плечи. Мой отец положил ладони ему на макушку и произнес:

— Вэ йеварехеха адонай, вэ йшмерэха. — Благослови и защити тебя Господь. — Яэр адонай панав элеха вихунеха. — Да обратит Господь к тебе лице Свое и да будет к тебе милостив. — Йиса адонай панав элеха вэ ясем леха шалом. — Да воззрит Господь на тебя и да ниспошлет тебе мир.

Тамир поблагодарил моего отца и сказал мне, что немного пройдет и будет ждать меня в здании. Когда мы остались вдвоем, мой отец рассмеялся.

— Чего ты?

Он сказал:

— Ты же знаешь, какие были последние слова Лу Герига^[44], да?

— "Не хочу умирать"?

— "Черт возьми, болезнь Лу Герига, я должен был это предвидеть".

— Смешно.

— Мы должны были это предвидеть, — сказал отец.

— Ты и предвидел.

— Нет, я только говорил, что предвижу.

Проснулся Барак, спокойно огляделся, а затем, видимо думая, что это все во сне, снова закрыл глаза и уткнулся лбом в стекло.

— Ты будешь заходить к моим каждый день, да?

— Конечно, — сказал отец.

— И води куда-нибудь детей. Время от времени Джулии надо передохнуть.

— Конечно, Джейкоб.

— И смотри, чтобы мама ела.

— Ну, мы поменялись местами?

— Друг из "Таймс" сказал, что все вовсе не так плохо. Израиль намеренно старается показать ситуацию хуже, чем она есть, чтобы получить поддержку Америки. Он говорит, израильтяне втягивают Штаты, чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий перемирия.

— "Таймс" — это антисемитский трипперный мазок.

— Я просто говорю: не бойся.

Как будто знание о том, что делать в этот момент, было вложено в меня при рождении, я склонил голову и плечи. Отец положил ладони мне на макушку. Я ждал. Как будто знание о том, что делать в этот момент, было в

него вложено при моем рождении, его ладони стали сжиматься, он крепко обхватил мою голову, удерживая меня на месте. Я ждал благословения, но оно так и не прозвучало.

Как играть молчание

Сначала задайтесь вопросом: "Какое это молчание?" СМУЩЕННОЕ МОЛЧАНИЕ — совсем не то, что УСТЫЖЕННОЕ. БЕССЛОВЕСНОЕ МОЛЧАНИЕ — не то, что БЕЗМОЛВНОЕ, не то, что МОЛЧАНИЕ ОСТОРОЖНОГО НЕДОГОВАРИВАНИЯ. И так далее. Еще и еще.

Затем задайтесь вопросом: "Какого рода это самоубийство или жертвоприношение?"

Как играть повышенный голос

Два раза в жизни я повышал голос на другого человека. Первый, когда Джулия загнала меня в угол с телефоном, и я, потеряв самообладание, загнанный в себя самого, заорал: "Ты мне ненавистна!" Она не поняла, что это были ее слова. Когда она рожала Сэма — это были ее единственные роды без обезболивания, — то прошла сорокачасовую спираль, низводящую ко все более глубинной и засасывающей боли, и настал момент, когда мы с ней, находясь в одних и тех же стенах, оказались в разных комнатах. "Духовная акушерка" сказала какую-то нелепость (такое, что в любой другой момент Джулия отмела бы просто взмахом ресниц), я сказал что-то нежное (такое, от чего в любой другой момент Джулия прослезилась бы и сказала благодарные слова), а Джулия застонала, неженски и нечеловечески, вцепилась в поручень кровати, будто в защитную дугу на американских горках, посмотрела на меня глазами более жуткими, чем на фотографиях с красными зрачками, и прорычала: "Ты мне ненавистен!" Я не собирался цитировать ее спустя тринадцать лет, я и не понял в тот момент, что произошло, пока не стал позже описывать. Как и о многом другом, что было во время родов, Джулия об этом, судя по всему, не помнила.

Второй раз я повысил голос, тоже на Джулию, много лет спустя. Я понял, что гораздо легче отдать то, чего у тебя не просили или чего ты не должен. Может, я научился этому у Аргуса — заставить его выпустить из пасти принесенный мячик можно было, только изобразив полнейшее безразличие. Может, Аргус научился этому от меня. Хотя мы с Джулией стали жить врозь, протаскать мою внутреннюю жизнь по нашему все еще общему акведуку было не только можно, но мне этого страстно хотелось. Потому что она, казалось, относилась к этому безразлично, — *казалось* или так и *было*.

Прошло немало времени с тех пор, как мы последний раз говорили, но

с ней мне всегда хотелось поговорить. Я позвонил, она ответила, мы пообщались, как в былые времена не удавалось. Я сказал: "Наверное, мне нужно было доказательство". Она сказала: "Я добрая душа, которую ты призывал, помнишь?" Я сказал: "Помнишь, нам говорили, что мир открыт, как никогда?" Она спросила: "Что с тобой стало?" Она меня не осуждала и не бросала мне вызов. Она сказала это с тем самым безразличием, которое нужно, чтобы я отдал все.

Лишь два раза в жизни я повышал голос на человека. Оба раза на одного и того же человека. Иными словами: я знал в жизни лишь одного человека. Иными словами: я лишь одному человеку позволил узнать меня.

И скорее в тоске, чем в гневе, обиде или страхе, я завопил на Джулию: "Это нечестно! Нечестно!"

Как играть смерть языка

В моей детской синагоге — куда я перестал ходить, поступив в колледж, и снова начал, когда Джулия забеременела первый раз, — была мемориальная стена, на которой маленькие лампочки горели напротив имен тех, кто погиб в эту неделю года. Мальчиком я переставлял пластиковые буквы в именах, складывая их в другие слова. Отец учил меня, что нет дурных слов, а есть лишь дурное употребление. Став отцом, я то же говорил своим мальчикам.

Там было более тысячи четырехсот прихожан строевого возраста. Из шестидесяти двух, отправившихся в Израиль, двадцать четыре пали. По две десятиваттных лампочки-свечи с узким цоколем на каждое имя. Всего 480 ватт света. Меньше, чем дает люстра в моей гостиной. Никто не прикасается к этим именам. Но однажды они сложатся в слова. Или так я надеюсь.

Кажется, прошли века с тех пор, как я заходил в то здание. Но я помню запахи: сиддурим пахнут увядшими цветами, корзина с ермолками — мускусом, ковчег — новым автомобилем. И поверхности помню: стыки, где сходятся широкие полотнища льняных обоев; будто исписанные брайлем таблички на подлокотниках каждого бархатного кресла, увековечивающие великих людей, которые вряд ли когда-нибудь на них сидели; холодные стальные перила покрытой ворсистым ковром лестницы. Я помню тепло тех лампочек и шершавость тех букв. Сидя за столом, заваленным тысячами страниц, составляя комментарий к комментарию, я раздумываю, как следует оценить употребление слов, если слова сделаны из павших. И живых. Из всех живых и мертвых.

Как играть никого

В зале ожидания собралось несколько сотен мужчин. Несколько сотен

мужчин-евреев. Мы все были обрезаны, все несли в генах еврейские маркеры, напевали одни и те же древние песни. Сколько раз мальчиком я слышал: неважно, считаю ли я себя евреем, для немцев я еврей. Тогда, в зале ожидания аэропорта, может быть, впервые в жизни я перестал спрашивать себя, чувствую ли я себя евреем. Не потому что получил ответ, а потому что вопрос утратил всякую важность.

Я увидел знакомые лица: старых приятелей, людей, которых встречал в синагоге, известных персон. Я не увидел ни Гейба Перельмана, ни Ларри Мувермана, но Гленн Мехлинг там был. Мы кивнули друг другу из разных концов огромного зала. Разговоров было мало. Иные молча сидели или говорили по телефону — надо полагать, с женами и детьми. Иногда где-то принимались петь: "Йерушалаим шель захав..." "Атиква..." Эмоционально, но что *в основе*? Братство? Дистиллированная версия того узнавания, которое я ощутил в разговоре с глухим отцом на конференции? Общее дело? Внезапное осознание истории, как она велика и мала, как ничтожен и всемогущ на ее фоне человек? Страх?

Всю свою взрослую жизнь я сочинял книги и сценарии, но там я впервые почувствовал себя персонажем — увидел, что масштаб моего игрушечного существования, драма моей жизни наконец-то приличествуют великому везению быть живым.

Нет, это был второй раз. Первый — в вольере для львов. Тамир был прав: мои проблемы слишком мелки. Я трачу свой недолгий земной век, думая о мелочах, чувствуя по мелочи, прошмыгивая в щели под дверьми в пустые комнаты. Сколько часов я проводил в интернете, пересматривая безумные видео, копаясь в описаниях домов, которые не собирался покупать, щелкая мышью по небрежным письмам людей, на которых мне плевать? Какую часть себя, какой объем слов, чувств, действий я не выпускал на волю? Я уклонялся от самого себя немалые доли градуса, но после стольких лет возвращаться к себе нужно было уже на самолете.

В толпе пели, и песню я знал, но не знал, как присоединиться к хору.

Как играть зуд надежды

Я всегда думал: для того чтобы полностью изменить свою жизнь, нужно всего лишь полностью сменить индивидуальность.

Как играть дом

Конец истории об Одиссее опечалил Макса.

— Зачем? — вопрошал он, уткнувшись лицом в подушку. — Зачем она кончилась?

Я погладил его по спине и сказал:

— Но ведь ты бы не хотел, чтобы Одиссей странствовал вечно,

правда?

— Ну, тогда зачем он вообще уезжал из дому?

На следующий день я повел его на фермерский рынок в надежде, что пряничный ряд его немного утешит. У главного входа на рынок каждое второе воскресенье располагался мобильный собачий приют, и мы там частенько останавливались поглазеть. Максу в то утро понравился золотистый ретривер по кличке Стэн. Мы никогда не обсуждали возможность взять домой собаку, и я совершенно точно не собирался этого делать, я даже не знал, хочет ли Макс именно этого пса, но все же сказал:

— Если хочешь, можем забрать Стэна к себе.

Все, кроме меня, влетели в дом вприпрыжку. Джулия не давала выхода своей ярости, пока мы не остались на втором этаже одни. Она сказала:

— Ты опять вынудил меня выбирать: или смириться с глупой затеей, или выставить себя злыдней.

Внизу мальчишки вопили:

— Стэн, ко мне! Стэн, рядом!

Женщину из приюта я спросил, как пес получил такую кличку, — мне такой выбор имени для собаки показался странноватым. Она ответила, что собак у них называют исключенными именами атлантических ураганов. Когда столько собак, проще брать и называть по списку.

— Простите, исключенными именами чего?

— Вы знаете, как называют ураганы? Есть около сотни имен, которые все время тасуются. Но если выдается особенно разрушительный или смертоносный ураган, его имя впредь не используют — из почтения. Другого урагана Сэнди больше не будет.

Как не будет другого Исаака.

Мы не знаем имени деда моего деда.

Когда мой дед приехал в Америку, он сменил фамилию с Блуменберга на Блох.

А мой отец был первым в семье, у кого было "еврейское имя" и "английское имя".

Став писателем, я пытался по-разному выкручивать свое имя: брал разные инициалы, вставлял среднее имя, придумывал псевдонимы.

Чем сильнее мы удаляемся от Европы, тем больше имен и личностей, из которых надо выбирать себя.

"Никто не пытался убить меня! Никто не ослеплял меня!"

Переназвать Стэна придумал Макс. Я возразил, что он будет путаться. Макс ответил:

— Но надо же как-то сделать его своим.

Как играть никого

Нам раздали какие-то простые бланки для заполнения и объявили, что мы все должны пройти друг за другом мимо мужичка средних лет в белом халате. Он быстро оглядывал каждого и указывал, в какую из примерно десяти очередей ему стать, в некоем приблизительном соответствии с возрастом. Ассоциации с сортировкой узников, привезенных в концентрационный лагерь, были настолько явными и неизбежными, что трудно было представить, будто такое не планировалось.

Когда я дошел до конца своей очереди, коренастая женщина лет семидесяти предложила мне сесть напротив нее к складному пластиковому столу. Взяла мои бумаги и принялась заполнять один за другим какие-то бланки.

— Ата медабер иврит? — спросила она, не поднимая взгляда от бумаг.

— Простите?

— Ло медабер иврит, — сказала она, проставив галочку.

— Простите?

— Еврей?

— Конечно.

— Прочтите *Шма*^[45].

— "Шма, Исраэль, Адонаи..."

— Принадлежите еврейской общине?

— "Адас Исраэль".

— Службы часто посещаете?

— Может, раза два в году или раз в два года.

— По каким случаям?

— Рош а-Шана и Йом-кипур.

— Знаете языки кроме английского?

— Чуть-чуть испанский.

— Не сомневаюсь, это очень пригодится. Ограничения по здоровью?

— Нет.

— Астма? Высокое давление? Эпилепсия?

— Нет. Небольшая экзема только. Сзади под волосами.

— Кокосовое масло пробовали? — спросила она, все так же глядя в бумаги.

— Нет.

— Попробуйте. Военная подготовка, опыт?

— Нет.

— Приходилось стрелять?

— Даже *держат* не приходилось.

Она поставила несколько птичек сразу, очевидно не видя необходимости переходить к следующей серии вопросов.

— Можете обходиться без очков?

— При каких занятиях?

Еще птичка.

— Плавать умеете?

— Без очков?

— Умеете плавать?

— Разумеется.

— Участвовали когда-нибудь в соревнованиях по плаванию?

— Нет.

— Есть какой-нибудь опыт вязания узлов?

— Разве не у каждого он есть?

Она поставила две птички.

— Топографическую карту умеете читать?

— Ну, кажется, я понимаю, где там что, но не знаю, считается ли это умением читать.

Еще одна птичка.

— В электрике разбираетесь?

— Однажды я...

— Вы не можете разрядить простой боеприпас.

— Ну, *насколько* простой?

— Не можете разрядить простой боеприпас.

— Не могу.

— Самое продолжительное время, какое вы обходились без еды?

— На Йом-кипур, довольно давно.

— Как боль терпите?

— Вообще не понимаю, как отвечать на такой вопрос.

— Вы ответили. Шок когда-нибудь переживали?

— Пожалуй. Ну да. Даже часто.

— Подвержены клаустрофобии?

— Очень.

— Какой самый большой груз вы можете нести?

— Физически?

— Чувствительны ли вы к сильной жаре и холоду?

— А есть такие, кто нет?

— Аллергии на лекарства?

— У меня непереносимость лактозы, но вы, наверное, не об этом спрашиваете.

- Морфин?
- *Морфин?*
- Умеете оказывать первую помощь?
- Я про морфин не ответил.
- Аллергия на морфин есть?
- Представления не имею.

Она что-то написала, я безуспешно попробовал расшифровать.

- Я хочу получить морфин, когда мне понадобится морфин.
- Есть и другие болеутоляющие средства.
- Такие же сильные?
- Первая помощь?
- Немного умею.

— Это немного утешительно для того, кто немного нуждается в первой помощи.

Просматривая бумаги, заполненные мной в очереди, она сказала:

- Информировать в экстренном случае.
- Вот, здесь.
- Джулия Блох.
- Да.
- Кто это?
- В каком смысле?
- Вы не указали степень родства.
- Вроде бы указал.
- Ну, наверное, невидимыми чернилами.
- Это моя жена.
- Большинство жен предпочли бы нестираемый маркер.
- Я, наверное...
- Вы донор органов в США.
- Так.

— Если вас убьют в Израиле, разрешаете ли вы использовать ваши органы там?

- М-м, да, — ответил я, проскользив на "м" добрых полсотни метров.
- Да?
- Да, если меня убьют.
- Какая у вас группа крови?
- Группа крови?
- Кровь у вас есть?
- Есть.
- Группа? Первая? Вторая? Четвертая?

— Вы спрашиваете, если *давать* или *переливать*?

Впервые с начала разговора она посмотрела мне в глаза:

— Это все та же кровь.

Как играть годовые кольца суицида

Чтобы в роду наследовалась леворукость, близнецы или рыжие волосы — в моем все это есть, — необходимо наличие этих признаков более чем у одного. Чтобы наследовалось самоубийство, хватит единственного случая.

В Мэрилендском управлении регистрации мне выдали свидетельство о смерти моего деда. Я хотел убедиться, что я знал то, что уже знал. Почерк у coronera был четкий, как машинопись, полная противоположность врачебному: *асфиксия вследствие повешения*. Он оборвал собственную жизнь примерно в десять утра. В свидетельстве сказано, что сообщил о смерти сосед, мистер Ковальски. Что звали моего деда Исаак Блох. Что он родился в Польше. Что он повесился на ремне, зажатом между кухонной дверью и притолокой.

Но вечером в постели, когда я представлял это все, мне виделось, что он висит на дереве, в веревочной петле. Трава в тени его ступней медленно умирает и рассыпается в прах, образуя небольшую заплатку грязи в диком, густо заросшем саду.

Позже той же ночью я представлял, что растения тянутся снизу к его ногам, будто Земля пытается искупить грех притяжения. Мне виделось, как побеги папоротников, будто руки, поддерживают его и веревка провисает.

Еще позже — я почти не спал — я представлял, как иду с дедом через какой-то бор. У деда голубая кожа и ногти длиной в дюйм, но в остальном он тот же человек, за чьим кухонным столом я привык угощаться черным хлебом с мускусной дыней, тот же человек, который, выслушав замечание, что нельзя переодеваться в плавки на людях, спросил: "Почему нет?" Дед остановился возле толстого срубленного дерева и показал на годовые кольца.

— Вот это, здесь, свадьба моих родителей. Их сосватали. И вышло хорошо. А вот тут, — сказал он, показывая на другое кольцо, — Изер упал с дерева и сломал руку.

— Изер?

— Мой брат. Тебя назвали в его честь.

— Я думал, меня назвали в честь какого-то человека по имени Яков.

— Нет. Это мы тебе так говорили.

— Как же Изер стал Яковом?

— Изер — это сокращенное Израиль. Ангел боролся с Яковом всю ночь, а потом нарек его Израилем.

— Сколько ему было лет?

— А здесь, — указал он на другое кольцо, — я ушел из дому. Вместе с Бенни. Остальные остались: родители, бабушки с дедушками и пятеро наших братьев, — и я хотел остаться, но Бенни меня уговорил. Заставил меня. А вот здесь мы с Бенни сели на разные корабли, один в Америку, другой в Израиль.

Дед тронул кольцо, а потом его длинный ноготь пополз к внешнему краю, к коре, и он продолжил:

— Вот здесь ты родился. Здесь ты мальчишка. Вот ты женился. Здесь родился Сэм, здесь Макс, а здесь Бенджи. А здесь, — он поднес ноготь к краю дерева, как иглу звукописателя, — прямо сейчас. А там, — он перенес палец в пустоту, примерно на дюйм от ствола, — когда ты умрешь, и вот это, — он чуть двинул пальцем обратно к стволу, — твоя оставшаяся жизнь, а вот тут, — он довел палец почти до самого дерева, — то, что будет в следующий момент.

Тут я каким-то образом догадался, что это тяжесть его подвешенного тела повалила дерево и обнажила нашу историю.

Как играть семь кругов

Мне никогда не удавалось заранее сказать, какие религиозные ритуалы Джулии покажутся прекрасными, а какие — шовинистическими, этически отвратительными или просто дурацкими. Так что я удивился, когда она захотела семь раз обойти вокруг меня под хупой.

Читая о свадебных традициях, мы узнали — Джулия узнала, потому что мне довольно скоро наскучило это чтение, — что эти круги — отзвук библейской истории о том, как Иисус Навин завоевал для евреев Ханаан. Когда евреи подступили к окруженному высокими стенами Иерихону и готовились к первой битве на пути в Землю обетованную, Бог повелел Иисусу Навину семь раз провести войско вокруг городской стены. Едва они закончили седьмой круг, стены обрушились и евреи захватили город.

— Ты свою главную тайну скрываешь за крепостными стенами, — сказала она таким тоном, что предполагает иронию и серьезность одновременно, — а я окружу тебя любовью, и стены рухнут...

— И ты меня захватишь.

— Мы захватим себя.

— А мне надо просто стоять, и все?

— Стоять, а потом рухнуть.

— А какой мой главный секрет?

— Не знаю. Мы же только в начале.

Она узнала его, лишь когда мы были уже в конце.

Как играть последнее по-настоящему счастливое мгновение
За месяц до сорокового дня рождения Джулии я предложил:
— Давай устроим что-нибудь особенное. Чего обычно не делаем.
Вечеринку. Расколбас: музыкантов, машину с мороженым, фокусника.
— Фокусника?
— Или танцора фламенко.
— Нет, — сказала она. — Уж этого мне хотелось бы в последнюю очередь.
— Ну в очереди оно все-таки стоит!
Джулия рассмеялась:
— Мило, что ты предложил. Но давай устроим что-нибудь попроще.
Приятный домашний ужин.
— Да ладно тебе. Будет весело.
— Для меня веселее всего будет простой семейный ужин.
Я пытался уговорить ее несколько раз, но она ясно и все более решительно давала понять, что не хочет "никакой помпы".
— Ты уверена, что не переусердствовала с бурными протестами?
— Я вообще не протестую. Чего мне больше всего хочется, так это спокойного милого ужина в кругу семьи.
Утром в тот день мы с мальчиками принесли ей завтрак в постель: свежие вафли, капустно-грушевый мусс, яичница по-мексикански.
Мы прошептали пожелания в зоопарке на ухо слону (старый ритуал на день рождения, происхождение забыто), насобирали в Рок-Крик-парке листьев на засушку между страниц в Книге лет (еще один ритуал), обедали в ее любимом греческом ресторане на Дюпон-серкл, за столиком на открытой веранде. Потом отправились в галерею Филлипса, где Сэм с Максом так усердно и безуспешно изображали интерес, что растроганная Джулия сказала: "Я знаю, что вы меня любите. Можете скучать!" Уже темнело, когда мы добрались до дому, навьюченные пакетами с едой для приготовления праздничного ужина. (Я настоял не покупать больше, хотя мы купили не все, что было нужно. "Сегодня мы не о пропитании заботимся", — сказал я.) Я дал Сэму ключи, и мальчики устремились в дом впереди нас. На кухне мы с Джулией сгрузили покупки на стол и принялись убирать скоропортящиеся продукты. Мы встретились взглядами, и я увидел, что она плачет.
— Что ты? — спросил я.
— Если я скажу, ты меня возненавидишь.
— Уверен, что нет.
— Ты очень разозлишься.

— Насколько я помню, в дни рождения злиться запрещено.
И тут, уже не сдерживая катившихся слез, она сказала:
— На самом деле я хотела большой расколбас.
Я засмеялся.
— Не смешно.
— Нет, Джулия, *смешно*.
— И не то чтобы я чего-то хотела и скрыла от тебя. И я не пыталась избежать разочарования.
— Я знаю.
— Я думала то, что говорила. Правда. Вот до этого самого мгновения, до этой секунды, даже заходя в дом, я не понимала, что на самом деле хочу грандиозного праздника. Вот так. Ужасно глупо. Будто мне восемь лет.
— Тебе сорок.
— Сорок, неужели? Я человек, который в сорок лет не понимает своих желаний и упускает момент их воплотить. А для усугубления я это все вывалила на тебя, как будто это может вызвать у тебя что-то, кроме обиды и угрызений совести.
— Вот, — сказал я, подавая ей упаковку орекьетте. — Засунь туда.
— Вот и все твое сочувствие?
— А что случилось с мораторием на злость?
— Он не распространяется на виновника!
— Убери эти понтовые макароны.
— Нет, — сказала она. — Не буду. Только не сегодня.
Я рассмеялся.
— Не смешно, — сказала она, хлопая по столу.
— Ужасно смешно, — сказал я.
Она схватила коробку, оторвала крышку и высыпала макароны на пол.
— Ой, как я насорила, — сказала она, — и даже не знаю зачем.
Я сказал:
— Ну, убери пустую коробку.
— Коробку?
— Да.
— Зачем? — спросила она. — Чтобы сохранить как депрессивный сувенир?
— Нет, — ответил я, — чтобы осознать: понимание самого себя — предпосылка к тому, что тебя поймут и другие.
Она вздохнула, догадываясь о чем-то, и отворила дверь в кладовку. Оттуда вывалились мальчики, мои родители, Марк с Дженнифер, Дэвид с Ханной и Стив с Пэтти, кто-то врубил музыку, и зазвучал Стиви Уандер, и

кто-то выпустил из шкафа шары, и они, взлетая, забренчали о люстру, и Джулия посмотрела на меня.

Как играть экзистенциальный стыд

Встреча в "Икее" с Мэгги Силлиман преследовала меня много лет. Мэгги стала олицетворением моего стыда. Я не раз, проснувшись посреди ночи, принимался ей писать. Каждое письмо начиналось словами: "Вы ошиблись. Я не добрый человек". Если бы я смог стать олицетворением собственного стыда, мне бы не нужно было писать. Я даже мог бы стать добрым.

Как играть несломанные кольца

Для первого фокуса факир попросил Джулию вытянуть карту из невидимой колоды.

— Посмотрите, что это за карта, — сказал он, — но не показывайте мне.

С недоуменной гримасой она повиновалась.

— Запомнили карту?

Кивнув, она ответила:

— Да, запомнила.

— А теперь, пожалуйста, бросьте ее в дальний угол комнаты.

Театрально подкрутив кистью, Джулия швырнула невидимую карту. Ее жестом можно было залюбоваться: его наигранностью, великодушием, тем, каким быстрым он был и как долго выполнялся, траекторией обручального кольца на руке Джулии.

— Макс. Тебя ведь зовут Макс, верно? Можешь подобрать карту, которую бросила твоя мама?

— Но она невидимая, — сказал Макс, растерянно посмотрев на мать.

— А ты все равно подбери, — сказал факир, и Джулия ободрительно кивнула Макс.

Макс с довольным видом протопал через комнату.

— Ага, взял! — сообщил он громко.

— Скажи нам, будь любезен, что это за карта.

Макс посмотрел на мать и сказал:

— Но я же ее не вижу.

— А ты все равно скажи, — не сдавался факир.

— И я не помню, какие виды карт бывают.

— Черви, пики, трефы и бубны. Цифры от двойки до десятки. Джокер, валет, дама, король или туз.

— Ясно, — сказал Макс и вновь посмотрел на мать, которая опять подала ему знак, что все хорошо. Макс осмотрел невидимую карту, поднес

ее к глазам, прищурился. — Это семерка бубен.

Факиру не пришлось спрашивать Джулию, та ли это карта, потому что она плакала. Кивала и плакала.

Мы ели торт, потом освободили место в столовой и устроили дурацкие танцы, мы использовали бумажные тарелки и одноразовые приборы.

Фокусник ненадолго задержался, показывая фокусы индивидуально, тем, кто интересовался.

— Потрясающе у вас вышло, — сказал я ему, хлопая по спине, которая оказалась удивительно и омерзительно костлявой. — Просто идеально.

— Я рад. Не стесняйтесь меня рекомендовать друзьям. Именно так я получаю заказы.

— Обязательно порекомендую.

Мне он показал классический фокус с двумя кольцами. Я такое видел тысячу раз, но все равно было захватывающе.

— Когда мне исполнялось пять лет, у меня на празднике фокусы показывал мой отец, — сказал я. — И первым он показал этот.

— Значит, вы знаете секрет?

— Незамкнутые кольца.

Он подал кольца мне. Наверное, целых пять минут я не мог отыскать то, что в них должно было быть.

— А что бывает, если фокус не получается? — спросил я, не торопясь возвращать кольца.

— А как он может не получиться?

— Ну, возьмут не ту карту, или совернут, или колода рассыплется.

— Я не выполняю задачу, — ответил он, — я запускаю некоторый процесс. Мне не нужен какой-то заданный результат.

Ночью в постели я рассказал это Джулии:

— Ему не нужен заданный результат.

— Звучит как восточная мудрость.

— Но точно не восточноевропейская.

— Ага.

Я выключил лампу на тумбочке.

— А тот первый фокус. Или *процесс*. Макс правда называл твою карту?

— А я не стала вытаскивать карту.

— Нет?

— Хотела, но не смогла себя пересилить.

— Отчего же ты плакала?

— Оттого что Макс еще может.

Как играть никого

Ночью, вернувшись из Айслипа, я первым делом пошел в комнаты к детям. Было три часа. Бенджи вывернулся в одну из тех немыслимо странных поз, в которых спят малыши: высоко задрал попку, ноги выпрямлены, щека под тяжестью тела зарылась в подушку. От пота у него насквозь промокла простыня, и он храпел, будто мелкий человек-зверек. Я протянул руку, но не успел его коснуться, как он мгновенно открыл глаза.

— Я не сплю.

— Да все хорошо, — сказал я, ероша ему влажные волосы. — Закрывай глазки.

— Я не спал.

— У тебя было сонное дыхание.

— Ты дома.

— Да. Я не поехал.

Он улыбнулся. Глаза у него закрылись слишком медленно, явно против его воли, и он проговорил:

— Скажи мне.

— Что сказать?

Он открыл глаз, увидел, что я еще здесь, опять улыбнулся и произнес:

— Не знаю. Просто скажи.

— Я вернулся.

Закрыв глаза, он спросил:

— Ты победил на войне?

— Ты спишь.

Открыв глаза, он сказал:

— Нет, я думаю, как ты был на войне.

— Я не поехал.

— О. Хорошо.

Закрыв глаза, он сказал:

— Я знаю, что это такое.

— Что такое что?

— Слово на "н".

— Знаешь?

— Я погуглил.

— А. Ну и ладно.

Он открыл глаза. И хотя теперь он не улыбался, я слышал в самом его дыхании, что он снова радуется моей реальности.

— Я его никогда не буду говорить, — сказал он. — Никогда не буду.

— Спокойной ночи, мой хороший.

— А я не сплю.

— Ты сейчас уснешь.

Глаза у него закрылись. Я поцеловал его. Он улыбнулся.

— А "г" там читается как в "гоблине" или как в "джинджер"? — спросил он.

— Ты о чем?

— Слово на "н". Я не знаю, как оно произносится.

— Но ты же никогда не будешь его говорить?

— Но все равно хочу знать как.

— Зачем?

— Ты больше не собираешься уезжать, правда?

— Да, — ответил я, потому что не знал, что сказать — ни своему ребенку, ни себе.

Как играть любовь

Любовь — не позитивная эмоция. Это не благословение и не проклятие. Она благословение, которое в то же время и проклятие, однако и это не так. ЛЮБОВЬ К СВОИМ ДЕТЯМ — не то же, что ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ ВООБЩЕ, не то же, что ЛЮБОВЬ К ЖЕНЕ, не то же, что ЛЮБОВЬ К РОДИТЕЛЯМ, К ДАЛЬНЕЙ РОДНЕ, К ИДЕЕ СЕМЬИ. ЛЮБОВЬ К ИУДАИЗМУ — не то же, что ЛЮБОВЬ К ЕВРЕЙСТВУ, не то же, что ЛЮБОВЬ К ИЗРАИЛЮ, не то же, что ЛЮБОВЬ К БОГУ. ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ — не то же, что ЛЮБОВЬ К СЕБЕ. Место, где сходятся ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ НАРОДУ, ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И ЛЮБОВЬ К ДОМУ, — это нигде. ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ в таких же отношениях с ЛЮБОВЬЮ К ОЧЕРТАНИЯМ ТВОЕГО СПЯЩЕГО РЕБЕНКА, как ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ с ЛЮБОВЬЮ К ТВОЕЙ СОБАКЕ. ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ имеет столько же общего с ЛЮБОВЬЮ К БУДУЩЕМУ, как ЛЮБОВЬ К ЛЮБВИ — с ЛЮБОВЬЮ К ГРУСТИ — иначе говоря, всё. С другой стороны, ЛЮБОВЬ К ВЫСКАЗЫВАНИЮ ВСЕГО отнимает доверие.

Без любви ты умираешь. С любовью умираешь тоже. Не все смерти равноценны.

Как играть гнев

"Ты мне ненавистна!"

Как играть страх смерти

"Нечестно! Нечестно! Нечестно!"

Как играть пересечение любви, гнева и страха смерти

На ежегодном осмотре дантист необычно долго смотрел мне в рот, но не на зубы, а глубже, пока его пыточные снасти медленно тускнели нетронутыми на лотке. Он спросил, не трудно ли мне глотать.

— А почему вы спрашиваете?

— Так, любопытно.

— Ну вроде, немного.

— Давно ли?

— Пару месяцев?

— Вашему доктору вы об этом не говорили?

Он направил меня к онкологу в клинику Джонса Хопкинса.

Меня удивил мой порыв позвонить Джулии. Мы почти перестали разговаривать: она давно вышла замуж; дети сами строили свою логику, как и подобает взрослым людям; а чем старше становишься, тем у тебя меньше новостей, до самой последней информации, которую сообщают о тебе другие. Диалог в сценарии практически тождествен тому, который состоялся в действительности, за одним существенным исключением: в жизни я не плакал. Я заорал: "Нечестно! Нечестно! Нечестно!"

Джейкоб:

Это я.

Джулия:

Я узнаю твой голос.

Джейкоб:

Я давно не звонил.

Джулия:

И твой номер высвечивается у меня в телефоне.

Джейкоб:

Как "Джейкоб"?

Джулия:

А надо как-то иначе?

Джейкоб:

Послушай...

Джулия:

У тебя все хорошо?

Джейкоб:

Я был утром у дантиста.

Джулия:

Но я тебя не записывала.

Джейкоб:

Я стал довольно самостоятельным.

Джулия:

Необходимость — бывшая жена самостоятельности.

Джейкоб:

Он увидел у меня опухоль в горле.

Джулия плачет. Оба удивлены ее реакцией на не случившееся (пока), и она плачет дольше, чем каждый из них мог бы представить или вынести.

Джулия:

Ты умираешь?

Джейкоб:

Он *дантист*, Джулия.

Джулия:

Ты сказал, он увидел опухоль, и ты звонишь мне.

Джейкоб:

И опухоль, и телефонный звонок могут оказаться доброкачественными, понимаешь же.

Джулия:

И что теперь?

Джейкоб:

Я пойду на прием к онкологу в клинику Хопкинса.

Джулия:

Расскажи все.

Джейкоб:

Ты знаешь все, что знаю я.

Джулия:

У тебя есть еще какие-нибудь симптомы? Шея немеет? Глотать трудно?

Джейкоб:

Ты начала изучать медицину после нашего последнего разговора?

Джулия:

Я гуглю, разговаривая с тобой.

Джейкоб:

Да, у меня немеет шея. И да, мне трудно глотать. Теперь можешь обратить на меня все свое внимание безраздельно?

Джулия:

На Лорен можно рассчитывать?

Джейкоб:

Это тебе лучше спросить у того, с кем она сейчас встречается.

Джулия:

Печально это слышать.

Джейкоб:

И ты первая, кому я сказал.

Джулия:

Мальчики знают?

Джейкоб:

Я же говорю, ты первая.

Джулия:

Ну да.

Джейкоб:

Прости, что грузю тебя этим. Я знаю, ты давно за меня не отвечаешь.

Джулия:

Я никогда за тебя не отвечала.

(Пауза.)

И я все равно за тебя *отвечаю*.

Джейкоб:

Я не буду говорить детям, пока не будет о чем сказать.

Джулия:

Правильно. Правильно.

(Пауза.)

Как ты вообще?

Джейкоб:

Да нормально. Он же просто дантист.

Джулия:

Это нормально, что ты испугался.

Джейкоб:

Будь он такой умный, стал бы дерматологом.

Джулия:

Ты плакал?

Джейкоб:

18 ноября 1985 года, когда Лоренс Тейлор похоронил карьеру Джо Тайсмана.

Джулия:

Джейкоб, *хватит*.

Джейкоб:

Он просто дантист.

Джулия:

Ты знаешь, я, кажется, ни разу не видела, чтобы ты плакал. Ну кроме как от счастья, когда рождались дети. Может ли это быть?

Джейкоб:

На дедушкиных похоронах.

Джулия:

Это правда. Ты ревел.

Джейкоб:

Я всхлипывал.

Джулия:

Но то, что мы помним это как исключительный случай, лишь подтверждает...

Джейкоб:

Ничего не подтверждает.

Джулия:

Все эти подавленные слезы дают метастазы.

Джейкоб:

Да, именно так, по мнению моего дантиста, и подумает онколог.

Джулия:

Рак горла.

Джейкоб:

Разве кто-то что-то говорил о раке?

Джулия:

Злокачественная опухоль.

Джейкоб:

Спасибо.

Джулия:

Наверное, слишком рано будет восхититься тем, как это поэтично?

Джейкоб:

Слишком рано. Мне еще даже диагноз не поставили, не говоря уж про то, чтобы пройти всю веселуху с химией и восстановлением, а потом узнать, что вычистили не все.

Джулия:

И все-таки ты облысеешь.

Джейкоб:

Я уже.

Джулия:

Ну да.

Джейкоб:

Нет, правда. Я перестал пить пропедию. Я сейчас как Мистер Чистый. Спроси Бенджи.

Джулия:

Давно вы виделись?

Джейкоб:

Он заезжал перед Рождеством с китайской едой.

Джулия:

Это мило. Как он выглядит?

Джейкоб:

Огромный. И старый.

Джулия:

Я и не знала, что ты принимал пропецию. Впрочем, откуда мне теперь знать, что ты там пьешь.

Джейкоб:

Я вообще-то долго на ней сидел.

Джулия:

Сколько?

Джейкоб:

Примерно с рождения Макса.

Джулия:

Нашего Макса?

Джейкоб:

Я стыдился. Хранил ее рядом с поясом для смокинга.

Джулия:

Слушай, это так меня печалит.

Джейкоб:

Да, и меня.

Джулия:

Почему ты никак не заплачешь, Джейкоб?

Джейкоб:

Да мне раз плюнуть.

Джулия:

Нет, серьезно.

Джейкоб:

Это не "Дни нашей жизни". Это *жизнь*.

Джулия:

Ты боишься сказать лишнее, потому что тогда услышишь что-то нехорошее. Я тебя знаю. Но здесь только мы двое. Мы с тобой говорим по телефону.

Джейкоб:

И Бог. И Агентство национальной безопасности.

Джулия:

Это вот таким человеком ты хочешь быть? Только шуточки? Все время ускользать, прятаться, маскироваться? Никогда не быть полностью собой?

Джейкоб:

Ты знаешь, я ведь, позвонив тебе, охотился за твоим сочувствием.

Джулия:

И ты его добыл без единого выстрела. Так и бывает с настоящим сочувствием.

Джейкоб:

(После долгой паузы.)

Нет.

Джулия:

Что нет?

Джейкоб:

Я не такой, каким хочу быть.

Джулия:

Что ж, ты в правильной компании.

Джейкоб:

Перед тем как позвонить, я сидел и спрашивал себя — буквально, вслух, снова и снова: "Где доброе сердце? Где доброе сердце?"

Джулия:

Зачем?

Джейкоб:

Думаю, хотел доказательств.

Джулия:

Существования доброты?

Джейкоб:

Доброты для меня.

Джулия:

Джейкоб.

Джейкоб:

Серьезно. У тебя есть Дэниел. У мальчиков свои жизни. А у меня так: пока соседи не почуют запах из-под двери, никто и не узнает, что околел.

Джулия:

Помнишь то стихотворение? "Доказательства твоего бытия? Никаких, лишь само оно"?

Джейкоб:

Боже... Помню. Мы купили ту книжку в магазине "Шекспир и компания". Читали ее на берегу Сены, с багетом и с сыром, но без ножа. Такое было счастье. Так давно.

Джулия:

Посмотри вокруг, Джейкоб. Повсюду множество доказательств того, насколько ты любим. Мальчики тебя боготворят. Друзья все время рядом. Спорю, что и женщины...

Джейкоб:

А ты? Ты-то что?

Джулия:

Я добрая душа, которую ты призывал, забыл?

Джейкоб:

Прости.

Джулия:

За что?

Джейкоб:

У нас сейчас Дни Покаяния.

Джулия:

Я знаю, знаю, что это такое, просто не могу вспомнить.

Джейкоб:

Дни между Рош а-Шана и Йом-кипуром. Мир открыт, как никогда.

Слух Господа отверст, Его глаза, Его сердце. И люди тоже.

Джулия:

Ты прямо становишься евреем.

Джейкоб:

Я ничему из этого не верю, но я верю в это.

(Пауза.)

Как бы там ни было, именно в эти десять дней положено просить у близких прощения за все нанесенные им обиды — "вольные и невольные".

(Пауза.)

Джулия...

Джулия:

Он всего лишь дантист.

Джейкоб:

Я искренне и сильно сожалею обо всех случаях, когда я тебя осознанно или неосознанно обижал.

Джулия:

Ты меня не обижал.

Джейкоб:

Обижал.

Джулия:

Мы совершали ошибки, причем мы оба.

Джейкоб:

На иврите слово, означающее *грех*, переводится как "промах мимо цели". Прости меня за те случаи, когда я согрешил перед тобой, немного уклонившись от цели, и за те случаи, когда я бежал прочь от того, к чему

должен был спешить.

Джулия:

Там была еще другая строчка: "И все, что прежде было бесконечно далеким и неизъяснимым, по-прежнему неизъяснимо, и в комнате рядом с тобой".

Полная тишина, оба думают, что связь прервалась.

Джейкоб:

Ты дверь открыла, не сознавая. Я, не сознавая, закрыл.

Джулия:

Какую дверь?

Джейкоб:

Рука Сэма.

Джулия принимается беззвучно плакать.

Джулия:

Я прощаю тебя, Джейкоб. Прощаю. За все. За все, что мы прятали друг от друга, и за все, чему позволили встать между нами. Придирки. Умолчания и упрямство. Подсчеты. Все это теперь не важно.

Джейкоб:

И всегда было не важно.

Джулия:

Нет, было важно. Но не настолько, как мы думали.

(Пауза.)

И надеюсь, ты меня тоже простишь.

Джейкоб:

Я да.

(Еще одна долгая пауза.)

Я полностью с тобой согласен. Было бы лучше, если бы я мог дать выход своей тоске.

Джулия:

И гневу.

Джейкоб:

Я не гневаюсь.

Джулия:

Гневаешься же.

Джейкоб:

Правда, нет.

Джулия:

Что тебя так злит?

Джейкоб:

Джулия, я...

Джулия:

Что с тобой случилось?

Они молчат. Но это не то молчание, к которому они привыкли. Не то, каким оно бывает, когда отшучиваются, ускользают и маскируются. Не молчание стены, а молчание, создающее пустоту, которую нужно заполнить.

С каждой секундой — а секунды сыплются и сыплются — возникает все больше пустоты. Она принимает форму дома, куда они могли бы переехать, если бы решили попробовать еще раз, вполне и без оговорок взяться за труд вновь найти счастье вместе. Джейкоба засасывает пустое пространство, и он до боли хочет, чтобы его допустили туда, в эту распахнутую для него дверь.

Он плачет.

Когда он плакал последний раз? Когда усыплял Аргуса? Когда разбудил Макса сообщить, что не улетел в Израиль, и Макс сказал: "Я знал, что ты не поедешь"? Или когда, стараясь поддержать проснувшийся у Бенджи интерес к астрономии, повез его в Техас, в Обсерваторию Макдоналда, где они смотрели в телескоп, и в их глазах, словно океаны в раковинах, помещались галактики, и когда ночью они лежали на крыше арендованного домика и смотрели в небо и Бенджи спросил: "А почему мы говорим шепотом?", а Джейкоб ответил: "Я и не заметил", а Бенджи сказал: "Когда смотришь на звезды, невозможно говорить громко. Интересно, почему?"

Как играть последние воспоминания

Мое первое воспоминание: отец, убирающий с крыльца мертвую белку.

Мое последнее воспоминание о том доме: оставляем ключ в почтовом ящике, запечатанный в конверт с маркой без обратного адреса.

Мое последнее воспоминание о матери: я кормлю ее с ложечки йогуртом. Я безотчетно изобразил звук самолета, хотя уже пятнадцать лет никого не кормил с ложечки. От смущения я не смог даже извиниться: я как бы не заметил. И она подмигнула, я в этом уверен.

Мое последнее воспоминание об Аргусе: его дыхание становится все глубже, пульс все реже, и в его закатывающихся глазах я вижу собственное отражение.

Несмотря на письма и сообщения, которыми мы обменивались и после, мое последнее воспоминание о Тамире — Айслип. Я сказал ему:

— Оставайся.

А он в ответ спросил:

— Тогда кто же полетит?

Я сказал:

— Никто.

И он спросил:

— Тогда что спасет положение?

А я сказал:

— Ничего не спасет.

— И махнуть рукой? — спросил он.

Мое последнее воспоминание о семье до землетрясения: мы на крыльце, родители забирают Бенджи к себе до завтра, Джулия с Сэмом отправляются на конференцию "Модель ООН". Бенджи спрашивает: "А если я не буду скучать?" Он, конечно, не знает, что вскоре произойдет, но могу ли я вспоминать эти слова иначе как пророчество?

Мое последнее воспоминание об отце: я привез их с подружкой в аэропорт Даллеса, откуда он собирался совершить свое предсмертное путешествие в Варшавское гетто — свой Куперстаун, — и говорю ему: "Кто бы мог подумать? Возвращение к истокам, да с шиксой?" Мне всегда казалось, что отец прячет от меня смешок, но тут он рассмеялся от души. Потрепал меня по щеке и сказал: "Жизнь удивляет". Конечно, он не знал, что не дойдет до самолета, но могу ли я вспоминать его слова иначе как иронию?

Мое последнее воспоминание о нашем с Джулией браке: полированная ручка выдвижного ящика на кухне; тонкая линия стыка двух плит из мыльного камня; наклейка "За особую храбрость" на нижней стороне выступающего края столешницы, подаренная Максу за последний, о чем тогда никто не знал, выдернутый зуб: наклейка, которую Аргус видел каждый день по многу раз, и не видел никто, кроме Аргуса. Джулия сказала: "Вот об этом говорить уже поздно".

Как играть "Как тебя зовут?"

Макс захотел пройти бар-мицву. Даже если так отозвалось что-то глубоко потаенное, даже если это был какой-то непостижимо тонкий и сложный акт агрессии, нас с Джулией это все равно порадовало. Год в Еврейской школе прошел без единой жалобы или пропуска, церемония прошла прекрасно, с Джулией стояли у ковчега вместе, и это было здорово и правильно, вечеринка обошлась без какой-то особой темы и вышла живой и веселой, и Макс собрал довольно облигаций, чтобы приобрести что-нибудь действительно существенное к тому времени, когда бумаги созреют до их номинальной стоимости, то есть через двадцать лет, когда вдвое

большая сумма уже не составит и половины.

Отрывком у Макса был "*Вайишлах*" — то место, где на Якова, последнего из патриархов, посреди ночи внезапно нападает кто-то неведомый. Яков повергает его наземь и отказывается отпустить, требуя благословения. Напавший — ангел или сам Бог — спрашивает: "Как тебя зовут?" Яков, изо всех сил удерживая противника, называет свое имя (а Яков означает "хватающий за пятку": он при рождении удерживал за пятку своего старшего брата Исава, желая первым появиться на свет). И тогда ангел говорит: "Отныне не будешь Яковом, а будешь Израилем, что значит "борется с Богом"".

С самообладанием, не соответствовавшим ни своему, ни даже моему возрасту, Макс начал говорить с бимы:

— Яков боролся с Богом за благословение. Он и с Исавом боролся за благословение, и с Лаваном, и каждый раз он в конце концов одерживал верх. Он боролся, потому что понимал: благословение стоит, чтобы за него драться. Он знал, что удержать можно лишь то, что ты не согласен отпустить. *Израиль*, название исторической родины евреев, буквально означает "борется с Богом". Не "славит Бога", не "читит Бога", не "любит Бога" и даже не "повинуется Богу". По сути дела, в этом имени звучит *противоположность* повиновению. "Борьба — это не только наше состояние, это наша суть, наше имя".

Последняя фраза вполне могла быть произнесена Джулией.

— Но что такое борьба?

А так бы мог сказать доктор Силверс.

— Существует борьба греко-римская, борьба за сохранение дикой природы, реслинг и армреслинг, сумо, луча либре, потом есть борьба идей, борьба вероучений... У них всех есть общее: близкое соприкосновение.

И вот я, адресат и слушатель этой речи, сидел так близко к своей бывшей жене, что наши одежды соприкасались, на одной скамье с детьми, половина жизни которых проходила без меня.

— Нужно только держать то, что ты не согласен отпускать, — продолжал Макс.

"Еврейский кулак может больше, чем дробить и держать карандаш", — сказал однажды мой отец.

"Чтобы увидеть страховочный канат, надо его отпустить" — такое рождественское предсказание я однажды вытащил из печенья.

Макс становился все умнее и умнее. Нам с Джулией всегда казалось, что в этой стае главный мозг — Сэм, Макс — художник, а Бенджи будет вечным лапочкой, но именно Макс всерьез занялся шахматами (завоевал

третье место в окружном турнире шахматистов до 16 лет), Макс захотел два раза в неделю заниматься с репетитором китайским языком (пока сознание еще "пластичное"), и это Макса приняли в Гарвард еще в старшей школе. (Пока он не решил поступать на год раньше, я и не понимал, что все эти увлечения — дополнительные курсы, летние школы — были средством держаться подальше и поскорее уехать.)

— Близость, — продолжил он, оглядывая свою аудиторию. — Легко быть к кому-то близко, но *оставаться* близко почти невозможно. Вот, к примеру, друзья. Увлечения. Даже идеи. Они нам близки — иногда настолько, что мы считаем их частью себя, и вдруг в какой-то момент это больше не так. Они уходят. И единственный способ сохранить что-то поблизости — удерживать. Цепляться. Валить наземь, как Яков ангела, и не давать вырваться. То, с чем не борешься, упустишь. Любовь — это не мир. Любовь — это борьба.

Так мог сказать человек, которым я хотел быть, но не мог. И так сказал Макс.

Как играть никого

Я услышал спуск затвора, прежде чем увидел фотографа. Это был первый и единственный фотоснимок моей войны.

— Эй! — сказал я, устремляясь к нему. — Какого рожна вы тут?

Какого рожна я так обозлился?

— Я снимаю для "Таймс", — сказал он, показывая мне бейдж, висевший у него на шее.

— Вам разрешили?

— Да, консульство аккредитовало, если вы об этом.

— Что ж, но я вам не разрешал снимать меня.

— Хотите, чтобы я удалил фото? — спросил он без вызова, но и без желания уступить.

— Ладно, пусть, — сказал я, — но больше не снимайте.

— Мне не нужно скандалов. Я с радостью сотру.

— Оставьте, — сказал я. — Но это все.

Он отошел снимать другие группы. Где-то ему позировали. Где-то его не замечали или не хотели замечать. Моя внезапная ярость — если это вообще была ярость — удивила меня. Но еще труднее было объяснить мою настойчивость в том, чтобы он оставил уже сделанное фото, но не снимал больше. На каких двух стульях я пытался усидеть?

Мои мысли потекли к школьным снимкам, что делались из года в год: смоченные слюной ладони, прилизывающие вихры под видом ласкового поглаживания; мультики, которые включались, пока мальчиков втискивали

в неудобную элегантную одежду; неуклюжие попытки подсознательно внушить ценность "непринужденной" улыбки. Снимки всегда выходили одинаковыми: натянутая усмешка со сжатыми губами, отсутствующий взгляд в пустоту — что-то из мусорной корзины Дианы Арбус. Но мне они были по сердцу. Я любил их за ту правду, которую они в себе несли: дети еще не умеют притворяться. Или еще не могут прятать свою неискренность. Они же такие чудесные улыбки, лучшие на свете, но притом худшие в мире исполнители фальшивых улыбок. Неспособность имитировать улыбку — определяющее свойство детства. Сэм стал мужчиной в тот момент, когда благодарил меня за свою комнату в моем новом доме.

Один раз Бенджи не на шутку расстроил его школьный портрет: он не хотел поверить ни в то, что ребенок на снимке — он сам, ни в то, что это не он. Макс решил взять миссию усугубления на себя: он объяснил Бенджи, что у каждого человека есть живая и мертвая параллельные личности — "ну вроде как твой собственный призрак" — и что единственный случай, когда можно увидеть свою мертвую личность, — это школьные портреты. Бенджи, недолго думая, разревелся. Пытаясь его успокоить, я вынул альбом со своей бар-мицвой. Мы уже пролистали не один десяток фоток, как Бенджи вдруг сказал:

— Но я думал, бар-мицва Сэма еще в будущем.

На празднике по случаю моей бар-мицвы родные, друзья родителей и вовсе не знакомые люди вручали мне конверты с облигациями. Когда карманы пиджака начали оттягиваться, я отдал конверты матери, которая сложила их в сумочку и поставила под стул. Поздно вечером на кухне мы с отцом подсчитали "честно награбленное". Я не помню точную цифру, но помню, что она делилась без остатка на восемнадцать.

Помню альбуминовые архипелаги на лососе. Помню, как певец слепил ве-нисмеха в "Хава Нагиле", будто ребенок, декламирующий алфавит и думающий, что *эл-эм-эн-о* — это одна буква. Помню, как меня поднимали на стуле, высоко над толпой евреев: коронация одноглазого. Когда меня вернули на пол, отец велел мне пойти и уделить несколько минут дедушке. Дедушку я почитал, как учили, но общался с ним всегда из-под палки.

— Привет, дедуля, — сказал я, наклоня макушку для поцелуя.

— Я перевел немного денег тебе на колледж, — сказал он, похлопав по свободному стулу рядом.

— Спасибо.

— Папа сказал тебе сколько?

— Нет.

Он оглянулся по сторонам, знаком поманил меня поближе и прошептал на ухо:

— Тысячу четыреста сорок долларов.

— Ого! — сказал я, вновь отодвигаясь на комфортное расстояние.

Я и представления не имел, оправдывает ли такая сумма подобный способ сообщения, но знал, как должен ответить:

— Это такой щедрый подарок! Спасибо.

— Но вот еще что, — сказал он, приподнимаясь и подбирая с пола брошенную сумку для продуктов. Положив на стол, он вынул из нее какой-то предмет, завернутый в платок. Я думал, там пачка денег — дед частенько припрятывал такие в сумках, завернув в платок, — но сверток оказался тяжелым.

— Смелей, — сказал дед.

В платке оказался фотоаппарат, "Лейка".

— Спасибо, — сказал я, подумав, что дед дарит мне ее.

— В сорок шестом, после войны, мы с Бенни вернулись домой. Мы думали, может быть, кому-то из семьи удалось уцелеть. Ну хоть кому-то. Но не уцелел никто. Один сосед, друг нашего отца, увидел нас и привел к себе. Он сберег кое-какие наши вещи на случай, если мы когда-нибудь вернемся. Он сказал нам, что, хотя война и окончена, здесь небезопасно и нам лучше уехать. И мы уехали. Я взял только кое-что, в том числе эту "Лейку".

— Спасибо.

— Деньги и фотографии я зашил под подкладку пиджака, в котором плыл в Америку. Я очень боялся, что меня обкрадут. Я обещал себе не снимать пиджак всю дорогу, но было жарко, нестерпимо жарко. Я спал с пиджаком в руках, и однажды утром, когда я проснулся, чемодан по-прежнему стоял рядом, а вот пиджак исчез. И потому я не виню человека, который его взял. Будь он вором, он прихватил бы и чемодан. А он просто замерз.

— Но ты говоришь, было жарко.

— Жарко было мне. — Он опустил палец на кнопку спуска, будто это взрыватель противопехотной мины. — Из Европы у меня остался только один снимок. Это мой портрет. Он у меня служил закладкой в дневнике, который лежал в чемодане. Карточки моих братьев и родителей были зашиты в пиджак. Исчезли. Но вот фотоаппарат, которым их снимали.

— А где твой дневник?

— Я его забросил.

Что мог бы я увидеть на тех пропавших фотографиях? Что я прочел бы

в дневнике? Бенджи не узнал себя на школьном портрете, но что увидел, глядя на него, я? И что я увидел, глядя на сонограмму Сэма? Идею? Человека? *Моего* человека? Самого себя? Идею самого себя? Нужно было в него верить, и я верил. Никогда не переставал в него верить, а вот в себя переставал.

Сэм на своей бар-мицве сказал: "Мы не просили себе атомную бомбу, не хотели ее, и вообще ядерное оружие с любой точки зрения ужасно. Но есть причина, по которой человечество им обладает, и эта причина — чтобы никогда не пришлось его использовать".

Билли закричала что-то, я не расслышал, но я увидел счастливый блеск в глазах Сэма. Теперь центром напряжения в комнате стали бумажные тарелки и пластиковые стаканы; речь Сэма делили и разменивали на разговоры и болтовню. Я принес ему какую-то еду и сказал:

— Ты гораздо лучше, чем я был в твои годы. Или чем я сейчас.

— Это не соревнование, — ответил он.

— Нет, это развитие. Пойдем со мной на минутку.

— Куда?

— Что значит "куда"? Разумеется, на гору Мориа.

Я повел его наверх, к своему шкафу, и вынул из нижнего ящика дедову "Лейку".

— Это твоего прадеда. Он ее привез из Европы. Он подарил ее мне на бар-мицву и сказал, что у него не осталось снимков братьев и родителей, но остался фотоаппарат, которым их снимали. Я знаю, он хотел, чтобы его "Лейка" досталась тебе.

— Он говорил тебе?

— Нет. Но я это знаю.

— Значит, это ты хочешь, чтобы она мне досталась.

— Ну и кто кого направлял?

— Да, я, — ответил я.

Сэм взял "Лейку" в руки, повертел.

— Она работает?

— Боже, я не знаю. Не уверен, что это главное.

— Но в этом же смысл? — спросил он.

Сэм отремонтировал "Лейку": он вернул ей жизнь, а она вытащила его из "Иной жизни".

В колледже он изучал философию, но только в колледже.

"Лейку" он забыл в поезде в Перу во время медового месяца с первой женой.

В тридцать девять он стал самым молодым судьей, когда-либо назначенным в Апелляционный суд федерального округа Колумбия.

На мой шестьдесят пятый день рождения мальчики повели меня в "Великую стену", ресторан сычуаньской кухни. Сэм, подняв бутылку "Циндао", произнес прекрасный тост, закончив его словами: "Пап, ты всегда смотришь". Я не понял, имел он в виду мою *осторожность* или, наоборот, *любопытство*.

Тамир сидел на полу, привалившись спиной к стене, и глядел в телефон, который держал перед собой. Я сел рядом.

— Я засомневался, — сказал я.

Он улыбнулся, кивнул.

— Тамир?

Он снова кивнул.

— Ты можешь на секунду отвлечься от сообщений и послушать меня?

— Да никаких сообщений, — сказал он, показывая мне экран: мозаика превьюшек семейных снимков.

— Я засомневался.

— Только засомневался?

— Ты можешь со мной обсудить?

— А что тут обсуждать?

— Ты возвращаешься к семье, — сказал я, — а я бы свою бросил.

— Бы?

— Давай без этого. Я тебя о помощи прошу.

— По-моему, нет. По-моему, ты просишь прощения.

— За что? Я же ничего пока не сделал.

— Любые сомнения в принятом решении приведут тебя прямиком на Ньюарк-стрит.

— Не обязательно.

— Не обязательно?

— Я здесь. Я простился с детьми.

— Ты не должен передо мной извиняться, — сказал Тамир. — Это не твоя страна.

— Может, я ошибался.

— Да нет, очевидно, ты был прав.

— Ну, и как ты сказал, пусть это не мой дом, но это твой дом.

— Джейкоб, ты кто?

Три года подряд у Макса на школьных портретах были закрытые глаза. В первый раз это вызвало легкое разочарование, но все равно посмешило.

На второй год объяснить это случайностью было уже труднее. Мы

поговорили о том, чем милы школьные фотографии, как трепещут над ними родители и бабушки с дедушками и что намеренно их портить — это выбрасывать на ветер семейные деньги. Утром в день съемки на третий год мы попросили Макса, глядя нам в глаза, пообещать, что он не будет закрывать глаза во время съемки.

— Я постараюсь, — сказал он, ошалело моргая, будто смаргивал попавшую в глаз мошку.

— Что там стараться, — сказала Джулия, — просто не закрывай, и все.

Когда мы увидели фотографии, глаза были закрыты у всех троих. Но я никогда не видел более искренних улыбок.

— Может, вот это и есть я, — ответил я Тамиру.

— Ты так говоришь, будто не сам выбираешь, кем тебе быть.

— Может, я это и выбираю.

— Может?

— Я не понимаю, что должен делать, и прошу тебя поговорить со мной.

— Ну так давай поговорим. Ты кто?

— Что?

— Ты сказал: "Может, вот это и есть я". Так кто, может, ты есть?

— Хватит, Тамир.

— Что? Я прошу объяснить, что ты имел в виду. Кто ты?

— Ну это не такого плана вещи, что можно взять и высказать.

— Попробуй. Кто ты?

— Ладно, замнем. Напрасно я сюда приехал.

— Кто ты, Джейкоб?

— Кто *ты*, Тамир?

— Я тот, кто спешит домой наперекор всему.

— Ну вот, ты снял слова у меня с языка.

— Может, так. Но они не из твоего сердца. Куда бы ты ни шел, ты не домой пойдешь.

Когда моя мать заболела, она упомянула, что отец раз в месяц ходит на могилу Исаака. Я спросил его об этом, и он смутился, будто я уличил его в пристрастии к азартным играм.

— Это как епитимья за то, что похоронил его в Америке, — сказал он.

— А что ты там делаешь?

— Да просто торчу как дурак.

— Можно мне в следующий раз пойти с тобой?

Я сказал Тамиру:

— Оставайся.

— Тогда кто же полетит? — спросил он.

— Никто.

— Тогда что спасет положение?

— Ничего не спасет.

— И махнуть рукой?

— Да.

Я оказался прав: отец убрал с могилы веточки и листья, выполол сорняки; он протер надгробный камень влажной тряпкой, которую принес с собой в кармане, положив в пакетик на молнии; у него был с собой и другой такой же пакет: с фотографиями.

— Мальчики, — сказал он, на мгновение показав карточки мне, а потом уложил их на могилу изображением вниз, над глазами своего отца.

Я мечтал натянуть эрув вокруг самоубийц и освободить их от стыда, но как я вынесу свой собственный стыд? Как, вернувшись из Айслипа, я посмотрю в глаза Джулии и ребятам?

— Кажется, будто мы похоронили его пять минут назад, — сказал я отцу.

Я сказал Тамиру:

— Кажется, что мы тебя встречали в Национальном аэропорту пять минут назад.

Отец ответил:

— Кажется, что все было пять минут назад.

Тамир наклонился к моему уху и прошептал:

— Ты невинный.

— Что? — шепотом спросил я, как будто смотрел на звезды.

— Ты невинный.

— Спасибо.

Он откинулся обратно и сказал:

— Нет, в смысле слишком доверчивый. Как ребенок.

— Что, *неискушенный*?

— Я не знаю этого слова.

— А что ты хочешь сказать?

— Конечно, в туалете не было никакого Спилберга.

— Ты все выдумал?

— Разумеется.

— И ты знал, кто это такой?

— По-твоему, у нас в Израиле электричества нет?

— Ты здорово притворялся, — сказал я.

— Я тебя вижу, — бывало, говорил мой дед, находясь с

противоположной стороны стекла.

— Ты такой невинный, — сказал Тамир.

— Ну, еще свидимся, — говорил мой дед.

— И притом мы никогда не были старше, — сказал отец и принялся читать кадиш.

Как играть последнее, что видит человек перед самоубийством

Шесть закрытых глаз, три искренние улыбки.

Как играть последнее, что видит человек перед реинкарнацией

Аварийный выход из терминала в аэропорту Макартура; аварийный вход в мир.

Как играть самоубийство

Расстегните поясной ремень. Вытяните его из пяти петель на поясе брюк. Захлестните на горле и затяните, застегните сзади на шее. Закиньте свободный конец на дверь. Затворите дверь, чтобы ремень оказался плотно зажат между дверным полотном и притолокой. Посмотрите на холодильник. Подогните колени. Восемь закрытых глаз.

Как играть реинкарнацию

Через несколько месяцев после переезда, в очередное утро без писем в почтовом ящике на двери моей спальни, я выгружал детскую корзину для белья и нашел испачканные какашками трусы Макса. Ему было тогда одиннадцать. В следующие недели такие сигналы поступали еще несколько раз. Иногда можно было, вывернув трусы над унитазом, счистить засохшее и бросить трусы в стирку. Чаше дело было безнадежно.

Я не стал рассказывать об этом доктору Силверсу по той же причине, по какой не рассказал о постоянной боли в горле своему нынешнему врачу: я подозревал симптом чего-то такого, что не хотелось бы вытаскивать на свет. Я не говорил об этом Джулии, потому что не хотел услышать, что у нее Макс такого никогда не делал. И я не говорил об этом Макс, потому что в моей власти было избавить его от такого разговора. Избавить нас.

Ребенком я, бывало, ронял какашки на сиреневый ковер в ванной у дедушки, в нескольких дюймах от унитаза. Я делал это намеренно. Зачем я проделывал такое? А Макс зачем?

В детстве я отчаянно хотел собаку, но мне говорили, что от собак много грязи. В детстве меня учили мыть руки перед туалетом, потому что в мире полно грязи. Но при этом меня учили мыть руки и после.

Дедушка лишь раз упомянул мои какашки на ковре. Он улыбнулся, приложив огромную ладонь к моей голове, и сказал:

— Это хорошо. Отлично.

Зачем он так сказал?

Макс никогда не заговаривал о какашках в белье, только однажды, застав меня у сушилки, когда я вешал туда его трусы, отстиранные вручную, он сказал:

— Аргус умер в тот день, когда мы начали ездить в этот дом. Ты думаешь, для него этот дом мог бы когда-нибудь стать своим?

Как играть темы смерти и перерождения

Никогда о них не говорить.

Как играть веру

На второй сонограмме мы увидели ручки и ножки Сэма (хотя тогда он еще не был Сэмом, а был "орешком"). Так начался переход от идеи к предмету. В то, о чем ты постоянно думаешь, но не можешь — без особых инструментов — увидеть, услышать, понюхать, попробовать или потрогать, приходится верить. Всего через несколько недель, когда Джулия уже стала чувствовать присутствие и движения орешка, можно было уже не только верить в него, его можно было уже *знать*. Месяц за месяцем — он ворочался, пинался, икал — мы все больше о нем узнавали и все меньше должны были верить. А потом Сэм явился на свет, и вера отпала — в ней больше не было необходимости.

Но она не исчезла совсем. Остался некоторый осадок. И необъяснимые, безрассудные, алогичные эмоции и поступки родителей можно объяснить, пусть хотя бы отчасти, тем, что большую часть года они должны только верить. Родители лишены роскоши быть рассудительными, так же как и верующие. Верующие и родители такие несносные придурки от того же, от чего религия и родительство так бесконечно прекрасны: это ставка на все или ничто. Вера.

Я смотрел, как рождался Сэм, в видеоискатель видеокамеры. Врач подал мне Сэма, я положил камеру на кровать и начисто забыл о ней, пока сестра не унесла Сэма взвешивать, или отогревать, или еще для каких-то первоочередных процедур, требующихся новорожденному, подтверждая тот самый важный жизненный урок: все, даже родители, отпустят тебя.

Но мы провели с ним двадцать минут, и у нас есть двадцатиминутное видео темного окна, озвученное новой жизнью — Сэма и нашей. Я там говорю Сэму, какой он чудесный. Джулии говорю, какой у нас чудесный мальчик. Говорю ей, как чудесна она сама. Беспомощные и приблизительные слова, все неточно — одно и то же неподходящее слово я использовал, чтобы передать три совершенно разных фундаментальных смысла: *чудесный, чудесный, чудесный*.

Там слышен плач — всех троих.

Слышен смех — Джулии и мой.

Слышно, как Джулия первый раз называет меня "папа". Слышно, как я шепчу благословения Сэму, молюсь: *будь здоров, будь счастлив, живи в мире*. Я это повторял снова и снова — *будь здоров, будь счастлив, живи в мире*. Это были совсем не те слова, которые я сказал бы, я не собирался этого говорить; эти слова поднялись из колодца куда более глубокого, чем моя жизнь, и руки, крутившие ворот, были не мои. Последнее, что слышно на видео, когда медсестра стучит в дверь, — я говорю Джулии:

— Не успеем оглянуться, и он будет нас хоронить.

— Джейкоб...

— Ладно, сначала будем гулять на его свадьбе.

— Джейкоб!

— На бар-мицве?

— Можно это как-то постепенно?

— Постепенно что?

— Отпускать.

Я ошибся почти во всем. Но не ошибся в том, как быстро все уходит. Были моменты бесконечно долгие — первые мучительные ночи приучения к режиму сна; суровое (как казалось) отстранение его от маминой ноги в первый день в детском саду; необходимость удерживать его, пока доктор, который не сшивал его пальцы, говорил мне: "Сейчас не время быть ему другом", — но годы промелькнули так быстро, что мне приходилось искать видео и фотографии, доказывающие, что у нас была общая жизнь. Это было. Должно было быть. Мы все это прожили. И все-таки нужны доказательства или вера.

Вечером после Сэмовой операции я сказал Джулии, что для счастья у нас слишком много любви. Я любил своего мальчика сильнее, чем вообще был способен любить, но я не любил любовь. Потому что она ошеломяла. Потому что она была неизбежно жестокой. Потому что она не умещалась в мою физическую оболочку и оттого деформировалась в какую-то мучительную супербдительность, которая осложняла то, чему следовало быть самым простым в мире, — воспитание и игру. Потому что любви было слишком много для счастья. Потому что это было и в самом деле так.

Первый раз внося Сэма в дом, я велел себе запоминать до мелочей свои ощущения и детали происходящего. Однажды мне понадобится вспомнить, как выглядел сад в тот миг, когда мой первый ребенок увидел его в первый раз. Мне понадобится знать, с каким звуком отстегнулся ремень в машине. Моя жизнь будет зависеть от моей способности вспоминать жизнь — придет день, когда я соглашусь променять год из тех, что мне остались, на возможность час побыть со своими детьми. Я и здесь

оказался прав тоже, даже не зная, что нам с Джулией однажды предстоит развестись.

И я *запомнил*. Я помнил все: засохшие капли крови на марле вокруг обрезанной плоти; запах его затылка; как складывать тент над прогулочной коляской одной рукой; как одной рукой держать его лодыжки у него над головой, а другой отирать изнутри его ляжечки; вязкость мази от ожогов и порезов; призрачность замороженного грудного молока; пощелкивание видеоняни, переставленной не на тот канал; как выгоднее покупать памперсы; прозрачность век новорожденного; как ручонки Сэма, всякий раз, как его клали на спину, рывком взлетали вверх, как у его предков из "падающих обезьянок"; душераздирающую неритмичность его дыхания; свою собственную неспособность простить себе, что отвернулся на секунду, и тут-то как раз и случилось что-то совершенно необъяснимое, но случилось. И случалось. Все случалось. И все это в итоге сделало меня верующим.

Как играть слишком много любви

Прошептать в ухо, ждать эха.

Как играть молитву

Прошептать в ухо, не ждать эха.

Как играть никого

Ночь, когда я вернулся из Айслипа, была последней ночью, когда я лежал в одной постели с Джулией. Когда я влез под простыню, она подвинулась.

— Недолгая была война, — пробормотала Джулия.

— Я сейчас был у детей, — сказал я.

— Мы победили? — спросила Джулия.

— Как оказалось, *нас*-то и нет, — сказал я.

— А я победила?

— Победила?

Поворачиваясь на бок, она пояснила:

— Уцелела.

Как играть "Вот я"

Где-то ближе к концу нашего бракоразводного соглашения был пункт, гласивший, что в случае, если любой из нас будет в дальнейшем иметь других детей, наши общие дети получают "не менее благоприятные условия" финансово как при нашей жизни, так и по завещанию. В соглашении было немало шипов и поострее, но Джулия зацепилась за этот. Но вместо того чтобы признать истину, которая, как я тогда думал, и была главной причиной негодования Джулии — в силу нашего возраста иметь еще детей

было реально лишь для меня, — она прицепилась к положению, которого даже не было в тексте.

— Я и через миллион лет больше не выйду замуж, — сказала она юристу.

— Здесь говорится не о браке, а лишь о новых детях.

— Если я буду еще рожать, а я не буду, это может быть только в контексте брака, а такого не произойдет.

— Жизнь долгая, — сказал юрист.

— А вселенная еще больше, но не похоже, что нам стоит ждать визитов разумных пришельцев.

— Это только потому, что мы еще не в Еврейском доме, — сказал я, пытаясь одновременно успокоить Джулию и установить некоторое бескорыстное товарищество с посредником, который бросил на меня озадаченный взгляд.

— Да и не долгая она, — продолжила Джулия. — Будь жизнь долгой, я бы не отмахала уже половину.

— Мы еще не отмахали половину, — сказал я.

— Ты нет, потому что ты мужчина.

— Женщины живут дольше мужчин.

— Только номинально.

Посредник, как всегда, не заглотил наживку. Он покашлял, как будто взмахнул несколько раз мачете, которым собрался прорубить тропу в диких зарослях нашего брака, и объявил:

— Этот пункт, который, я должен заметить, абсолютно стандартен для соглашений типа вашего, никак не затронет вас в случае, если вы не будете больше иметь детей. Он только защищает вас и ваших детей на тот случай, если дети появятся у Джейкоба.

— Я хочу его исключить, — сказала Джулия.

— Может, мы перейдем к действительно спорным моментам? — предложил я.

— Нет, — сказала она. — Я хочу его исключить.

— Даже если это означает лишиться защиты закона? — спросил посредник.

— Я доверяю Джейкобу, он не будет обеспечивать других детей лучше, чем наших.

— Жизнь долгая, — сказал я, подмигивая посреднику, хотя мои веки оставались неподвижны.

— Это такая шутка? — спросила она.

— Вроде как.

Посредник опять покашлял и перечеркнул абзац длинной линией.

Но Джулия не смирилась, даже после того как мы исключили из соглашения то, чего там и так не было. Во время обсуждения совершенно далеких вопросов — как отмечать День благодарения, Хэллоуин и дни рождения, нужно ли специально оговорить запрет на установку рождественской елки в домах каждого из нас — она могла заявить: "Развод несправедливо гнобят. Виноват-то во всем брак". Такие не относившиеся к предмету разговора замечания стали частью наших встреч — они были непредсказуемыми и не удивляющими в одно и то же время. Юрист к ее туреттическим вспышкам относился с поистине аутическим терпением, пока однажды во время разбора деталей по принятию медицинских решений в ситуации, когда со вторым родителем нельзя связаться, она не заявила: "Я скорее буквально умру, чем выйду замуж", и он, без всякого откашливания и без малейшей паузы, спросил: "Хотите, чтобы я сформулировал соответствующий пункт соглашения?"

Она начала встречаться с Дэниелом года через три после развода. Насколько я знал — а мое знание было сильно ограничено добротой детей, старавшихся меня щадить, — до него она особо-то ни с кем не встречалась. Похоже, она наслаждалась одиночеством и покоем, как всегда мне обещала, а я не верил. Ее архитектурная карьера расцвела: по ее проектам построили два дома (один в Бетезде, другой на побережье), и она получила заказ на перестройку большой усадьбы на Дюпон-серкл под музей, где местный олигарх, владелец супермаркетов, собирался выставить свою коллекцию современного искусства. Бенджи — добрый, как и братья, но более простодушный — все чаще упоминал какого-то Дэниела, обычно в контексте того, что Дэниел умеет монтировать видео на компьютере. Этот скромный навык, которым можно овладеть за полдня, если есть желание потратить на это полдня, перевернул всю жизнь Бенджи. "Малышковые" видео, что он снимал на водонепроницаемую цифровую камеру, подаренную мной на позапрошлую Хануку, внезапно стали превращаться в настоящие "взрослые фильмы". (Я никогда не настаивал, чтобы камера хранилась у меня, и мы не пытались исправлять его терминологию.) Однажды, когда я отводил детей домой к Джулии после особенно веселых выходных с приключениями, которые я планировал две недели, Бенджи схватил меня за ногу и спросил: "А тебе обязательно уходить?" Я ответил ему, что да, но что он и без меня не заскучает, а всего через пару дней мы увидимся снова. Он повернулся к Джулии и спросил: "А Дэниел здесь?" "У него дела, — сказала она. — Но он вернется с минуты на минуту". "Фу, опять дела? Хочу делать взрослый фильм". Отъезжая от дома, я увидел на

скамейке мужчину примерно моего возраста, одетого, как мог бы одеваться и я, — он сидел, ничего не читая и явно с одной только целью — подождать.

Я знал, что он ездил с ними на сафари.

Я знал, что он водил Макса на матчи "Визардс".

В какой-то момент он к ним переехал. Я не знал, когда именно: мне эту новость не объявили.

— А чем Дэниел занимается? — спросил я мальчиков как-то вечером в индийском ресторане. В те времена мы частенько ели в городе, потому что у меня не получалось выкроить достаточно времени на покупку продуктов и готовку, но в основном потому, что я вбил себе в голову, будто должен доказать им: мы по-прежнему можем "развлекаться". А поесть в городе — это развлечение. Пока не начинаются вопросы: "Куда сегодня идем ужинать?" Тогда это начинает угнетать.

— Он ученый, — сказал Сэм.

— Ну, не нобелевский лауреат или там что, — сказал Макс. — Просто ученый.

— А что за ученый?

— Не знаю, — сказали Сэм и Макс хором, сами того не заметив.

— Он астрофизик, — сказал Бенджи. И добавил: — Ты расстроился?

— Что он астрофизик?

— Ага.

Джулия несколько раз спрашивала, не хочу ли я с ним познакомиться, выпить вместе. Говорила, это важно и для нее, и для Дэниела, и мальчикам так будет только лучше. Я отвечал ей "конечно". И сам себе верил, когда отвечал. Но этого так и не прозвучало.

Когда мы прощались после очередного родительского собрания в классе Макса, Джулия сообщила, что они с Дэниелом решили пожениться.

— Значит, ты умерла?

— Что?

— Ты же скорее умрешь, чем снова выйдешь замуж.

Она засмеялась:

— Нет, я не умерла. Я реинкарнировала.

— В себя самое?

— В себя самое плюс время.

— В себя плюс время — это мой отец.

Она снова рассмеялась. Невольно или чтобы сделать мне приятное?

— Реинкарнация хороша тем, что жизнь из события превращается в процесс.

— Серьезно, что ли?

— Так йога говорит.

— Ну, это просто пощечина тому, что говорит наука.

— И я так говорю. Жизнь из события превращается в процесс. Как фокусник тебе говорил про фокусы и результаты. Не нужно достигать просветления, просто двигайся в ту сторону. Учись принимать все как есть.

— Эту жизнь по большей части вообще принимать нельзя.

— Принимать мир...

— Да, я живу в мире.

— Или самого себя.

— Это уже труднее.

— Если жизнь всего одна, это слишком тяжелый груз.

— В Марианской впадине тоже слишком большое давление, но такова реальность. И кстати, что это была за фигня про то, что Макс гиперответственный?

— На переменах делает уроки?

— Он прилежный.

— Стремится контролировать все, что можно.

— Это тоже йога говорит?

— Я завела себе доктора Силверса.

Почему от этого во мне разыгралась ревность? Потому что мои эмоции по поводу ее замужества были слишком сильны, чтобы обойтись без ревности?

— Ну, — сказал я, — я во многое верю. Но в списке того, во что не верю, реинкарнация на первом месте.

— Мы всегда возвращаемся, Джейкоб. Всегда остаемся самими собой.

Я не спросил, сказали ли они детям раньше, чем мне, и если да, то насколько раньше. Она не сказала мне, когда будет свадьба и пригласят ли меня.

Я спросил:

— Значит, у меня теперь менее благоприятные условия?

Она рассмеялась. Я ее обнял, сказал, что очень за нее рад, потом пошел домой и заказал игровую видеоприставку, которую мы с ней договаривались никогда не покупать.

Свадьба состоялась через три месяца, меня пригласили, детям сказали раньше, чем мне, но всего на один день. Я запретил им рассказывать Джулии о видеоприставке, и это был мой промах.

Не могу не сравнивать ту свадьбу с нашей. Гостей было меньше, но многие из них были те же люди. Что они думали, глядя на меня?

Те, кому хватило храбрости подойти, притворялись, будто в происходившем не было никакой неловкости и мы просто мило беседовали на свадьбе нашей общей приятельницы, или клали мне руку на плечо.

У нас с Джулией всегда прекрасно получалось встречаться глазами, даже после развода. Мы как-то умели находить друг друга. Шутили: "Как мне найти тебя в толпе?" — "Просто будь собой". Но в тот день такого ни разу не случилось. Она, конечно, была занята, но наверняка следила, где я. Я то и дело думал сбежать, но, конечно, это было недопустимо.

Мальчики, все втроем, произнесли чудесную речь. Я попросил красного.

Дэниел говорил глубокомысленно и с любовью. Он поблагодарил меня за то, что я пришел его поздравить. Я кивал, я улыбался. Он удалился.

Я попросил красного.

Я вспоминал речь мамы на моей свадьбе: "В болезни и болезни. Вот этого я вам и желаю. Не ищите и не ждите чудес. Их нет. Их больше не будет. И нет лекарства от той боли, что всех больней. Есть только одно лечение: верить в боль другого и быть рядом, когда ему больно". Кто поверит моей боли? Кто будет рядом?

Из-за своего столика я смотрел на хору, смотрел, как мальчики подняли кресло с матерью. Она так упоенно хохотала, и я не сомневался, что уж с такой высоты она поймает мой взгляд, но нет.

Передо мной поставили салат.

Джулия и Дэниел переходили от столика к столику, желая убедиться, что со всеми поздоровались, и сфотографироваться. Я видел, как они приближаются, словно волна на стадионе, и мне ничего не оставалось делать, кроме как участвовать.

Я встал с краю. Фотограф скомандовал: "Скажите "сиськи"", но я не сказал. Он для верности сделал три снимка. Джулия что-то шепнула Дэниелу, поцеловала его. Он удалился, и она села рядом со мной.

— Я рада, что ты пришел.

— Да пустяки.

— Не пустяки. Ты решил прийти, и я понимаю, что это было непросто.

— Я рад, что ты захотела меня видеть.

— Ты всем доволен?

— Абсолютно.

— Отлично.

Я оглядел зал: обреченные цветы, потеющие бокалы с водой, губная помада в косметичках, оставленных на стульях, прислоненные к колонкам расстроенные гитары, ножи, повидавшие тысячи свадеб.

— Хочешь, скажу тебе что-то грустное? — спросил я. — Я всегда думал, что это я счастливчик. То есть что из нас двоих я счастливее. Хотя счастливым я никогда себя не считал.

— Хочешь, скажу тебе что-то еще более грустное? Я думала, что из нас счастливее ты.

— Похоже, мы оба ошибались.

— Нет, — сказала она, — мы оба были правы. Но только в контексте нашего брака.

Я положил руки на колени, словно стараясь поплотнее прижать себя к земле.

— Ты слышала, как мой отец сказал: "Без контекста мы все чудовища"?

— Кажется, нет. Или забыла.

— А нас контекст превратил в чудовищ.

— Да нет, — сказала Джулия. — Мы были хорошей парой и вырастили троих чудесных детей.

— И теперь ты счастлива, а я — по-прежнему я.

— Жизнь длинная, — сказала она, призывая меня вспоминать.

— А Вселенная еще больше, — сказал я, подтверждая, что помню.

Передо мной поставили морского окуня.

Я взял вилку, словно хотел к чему-то ею прикоснуться, и сказал:

— Можно задать тебе один вопрос?

— Конечно.

— Что ты отвечаешь, когда спрашивают, почему мы развелись?

— Никто давно уже не спрашивает.

— А когда спрашивали?

— Говорила, что мы поняли, что мы всего лишь хорошие друзья, хорошие родители.

— Разве это не причина не разводиться?

Она улыбнулась:

— Это было нелегко объяснять.

— Мне тоже. Это всегда звучало так, будто я что-то скрывал. Или в чем-то виноват. Или просто увиливал.

— Вообще-то это не их дело.

— А себе ты что отвечаешь?

— Давно уже не спрашиваю.

— А когда спрашивала?

Она взяла мою ложку и сказала:

— Мы развелись, потому что развелись. Это не тавтология.

Когда официанты доносили горячее до последних столиков, на первые уже подавали десерт.

— А мальчики? — спросил я. — Им ты как объяснила?

— Они меня особенно и не спрашивали. Иногда они видят границу, а пересекать ее не спешат. А тебя?

— Ни разу. Разве не странно?

— Нет, — ответила она, невеста в подвенечном платье. — Не странно.

Я посмотрел, как мои парни по-детски дурачатся на танцполе, и сказал:

— Почему мы допустили, чтобы они задавались этим вопросом?

— Наша любовь к ним помешала нам быть хорошими родителями.

Я провел пальцем по кромке бокала, но не раздалось ни звука.

— Если бы можно было все начать снова, я был бы гораздо лучшим отцом.

— Ты можешь попробовать, — сказала она.

— Я больше не буду заводить детей.

— Знаю.

— И машины времени у меня нет.

— Знаю.

— И в реинкарнацию я не верю.

— Знаю.

— Думаешь, у нас бы получилось? — спросил я. — Если бы мы лучше старались? Начали бы новый отсчет?

— Получилось бы что?

— Жизнь.

— Мы создали три жизни, — сказала она.

— А одну?

— В этом ли дело?

— А в чем?

— Получилась жизнь, ты говоришь. Получилась — не получилась. Вообще-то можно брать прицел и повыше.

— Правда?

— Я надеюсь.

По пути на свадьбу я слушал в машине подкаст об астероидах и о том, насколько Земля беззащитна в случае столкновения. Физик, у которого брали интервью, разъяснял, почему ни один из предлагаемых способов защиты не сработает: если попробовать взорвать астероид ядерной ракетой, он просто превратится из космического пушечного ядра в заряд космической картечи (а под действием гравитации обломки, скорее всего,

через несколько часов снова собьются в кучу); астероид могли бы оттолкнуть в сторону своими реактивными двигателями космические челноки-роботы, если бы такие существовали, но их нет и не предвидится; так же невыполнимо предложение послать к астероиду гигантский космический корабль — "гравитационный трактор", который собственной массой оттянет астероид от Земли. "Так что же делать?" — спросил ведущий. "Наверное, все-таки взрывать", — ответил физик. "Но вы сами сказали, что от этого он только развалится на множество астероидов, которые все равно ударят по нам". — "Верно". — "Но это не сработает". — "Почти наверняка не сработает, — сказал физик. — Но только это и дает нам надежду".

Только это и дает нам надежду.

Тогда это выражение не тронуло меня. Лишь когда ко второй клемме моего рассудка присоединилось *надеюсь* Джулии, закрутились шестерни моей грусти.

— Помнишь, как я разбивал лампочку? На нашей свадьбе?

— Ты серьезно спрашиваешь?

— Тебе понравилось?

— Смешной вопрос, — сказала она. — Но да, понравилось.

— Мне тоже.

— Я даже не знаю, что это должно символизировать.

— Я рад, что ты спросила.

— Я знала, что ты обрадуешься.

— Так вот, одни считают, что это напоминание о бедствиях, которые были необходимы, чтобы мы пришли к моменту величайшего счастья. Другие считают, что это вроде молитвы: пусть мы будем счастливы до тех пор, пока эти осколки снова не срастутся воедино. Третьи — что это символ хрупкости. Но я ни разу не слышал самого очевидного объяснения: это то, на что похожи мы сами. Мы — разбитые личности в разбитом мире, вступающие в союз, который тоже разобьется.

— Твоя интерпретация не сильно обнадеживает.

Нет, подумал я. Она как раз и обнадеживает.

Я сказал:

— Нет ничего более целого, чем разбитое сердце.

— Это Силверс?

— На самом деле это Коцкий раввин.

— Ушам своим не верю.

— Я учусь у раввина, который хоронил моего деда.

— Любопытство воцерковило кошку.

— Мяу-зл тов^[46].

Как же я любил ее смех.

Я смотрел на Джулию и понимал, что у нас никогда бы не получилось сделать жизнь. Но и понимал, что только она давала мне надежду.

— Разве не странно? — спросил я. — Мы были вместе шестнадцать лет. Тогда эти годы казались нам всем, но теперь, когда проходит время, они значат для нашей жизни все меньше и меньше. Все это было только лишь... чем? Главой?

— Я вижу по-другому.

Жестом, который я видел десятки тысяч раз, она убрала за ухо прядь волос.

Я спросил:

— Почему ты плачешь?

— Почему я плачу? А почему ты не плачешь? Это жизнь. Я плачу, потому что это моя жизнь.

Как Аргус, где бы в доме он ни был, всегда прибегал вприпрыжку на звук совка, зачерпывающего корм, так появились мальчики, телепатически уловив мамины слезы.

— Почему все плачут? — спросил Сэм. — Что, кому-то дали золотую медаль?

— Ты расстроился? — спросил меня Бенджи.

— За меня не переживай, — сказал я ему.

— Все хорошо, — сказала Джулия. — Пусть все будет хорошо.

Ничего не может быть более, чем стать центром внимания на свадьбе собственной жены, — ну разве что продолжать думать о ней как о своей жене.

— Радость переполняет? — спросил Макс, передавая Бенджи засахаренную вишенку из своего коктейля "Ширли Темпл".

— Нет.

— Ошарашен? Переклинило? Расфокусировался?

Я рассмеялся.

— Так что же? — спросил Сэм.

Что же? Что это были за чувства? Мои чувства?

— Помнишь, мы говорили об абсолютных величинах? Кажется, в физике?

— В математике.

— Так ты помнишь, что это такое?

— Расстояние от нуля.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Бенджи.

Джулия подсадила его себе на колени и сказала:

— Я тоже.

Я сказал:

— Вот и эмоции бывают такими: не положительными и не отрицательными, просто огромными.

Никто не понимал, о чем я говорю. Я сам не понимал, о чем говорю. Мне хотелось позвонить доктору Силверсу, включить громкую связь и попросить его объяснить меня мне самому и моей семье.

После развода у меня было несколько недолгих романов. Мне повезло, что я встретил тех женщин. Они были умные, сильные, веселые и душевно щедрые. Мои объяснения, почему у нас не склеивается, всегда сводились к тому, что я не мог жить с ними абсолютно честно. Доктор Силверс требовал, чтобы я прояснил, что имею в виду под словами "абсолютно честно", но никогда не сомневался в моих объяснениях, никогда не предполагал, что я сам себе противоречу или выдвигаю требования, которые невозможно исполнить. Он жалел, но уважал меня. Или мне хотелось так думать.

— Жить так было бы очень трудно, — сказал он. — Абсолютно честно.

— Я знаю.

— Вы не только открылись бы для страданий, но и другим причинили бы лишние страдания.

— Я знаю.

— И я не думаю, что от этого вы стали бы счастливее.

— Я тоже не думаю.

Он повернулся на стуле и посмотрел в окно, как часто делал, когда думал, словно мудрость можно было разглядеть только вдалеке. Повернулся обратно и сказал:

— Но если бы вы могли так жить... — и умолк. Снял очки. За двадцать лет, что я его знал, это был единственный раз, когда он при мне снял очки. Потер двумя пальцами переносицу. — Если бы вы могли так жить, наша с вами работа была бы закончена.

Я никогда не мог бы так жить, но наша с ним работа закончилась через год, когда на пробежке у него случился смертельный сердечный приступ. Мне позвонила одна психотерапевт, у которой был кабинет на том же этаже. Пригласила меня прийти к ней и поговорить об этом, но я не хотел с ней говорить. Я хотел говорить с ним. Я чувствовал, будто меня предали. Это он должен был сообщить мне о своей смерти.

А я должен был сообщить детям о том, почему мне грустно. Но как

смерть доктора Силверса не дала ему сообщить мне о ней, так же и моя грусть не давала мне поделиться своей грустью с ними.

Музыканты встали по местам и без всякого вступления заиграли "Танец на потолке". Морского окуня передо мной больше не было: видимо, его унесли. И бокал с вином, что стоял передо мной, тоже исчез: видимо, я его выпил.

Мальчики побежали танцевать.

— Я тихонько сбегу, — сказал я Джулии.

— Как из Айслипа?

— Что?

— Сбежишь, как из Айслипа? — И тут же: — Извини. Я не хотела...

Когда мы были в Масаде, отец набил карманы камнями, и я, не понимая, что он делает, только чувствуя, что хочу его одобрения, тоже стал совать камни в карманы. Шломо велел нам положить их на место. Впервые на моей памяти он сказал мне и отцу "нет". Он сказал, что, если каждый будет уносить по камню, Масаду всю растащат по каминным полкам, книжным шкафам и журнальным столикам, и не будет больше Масады. Даже мальчишкой я понимал, что это смешно — уж если что и вечно на свете, так это горы.

Как из Айслипа.

Я шагал к машине под небом, в котором сгущались околосемные объекты.

Где-то в свадебной гостевой книге стоят подписи моих детей. Почерк они выработали сами. Но это я дал им имена.

Я припарковался, въехав двумя колесами на бордюр. Кажется, я даже не закрыл за собой входную дверь.

И вот я пишу в своем захлавленном кабинете, а моя семья где-то танцует.

Сколько синагог удалось построить Сэму? Сохранилась ли хоть одна? Хотя бы одна стена?

Моя синагога сложена из слов. Пробелы между словами позволяют ей спружинить и устоять, когда под ней дрожит земля. У входа в святилище висит мезуза, к дверному косяку приколот еще один дверной косяк — годовые кольца моей семьи. Внутри ковчега спрятано разбитое и целое: раздробленная рука Сэма — рядом с рукой, которой он тянулся за карточкой игры "Я знаю"; Аргус, лежащий в собственном дерьме, — рядом с неугомонным, виляющим хвостом щенком, который писался каждый раз, как Макс входил в дом; послевоенный Тамир — рядом с довоенным Ноамом; неразгибающиеся колени моего деда — рядом с несуществующей

вавочкой его правнука, которую я целую; отражение отца в занавешенном черной тканью зеркале — рядом с отражением в зеркале заднего вида моих засыпающих сыновей, рядом с человеком, который никогда не прекратит писать эти слова, который провел жизнь, разбивая кулаки о двери своей синагоги, умоляя его впустить, рядом с мальчиком, который фантазировал о том, как люди во имя спасения мира разбегаются из огромного бомбоубежища, с мальчиком, который понял бы, что эти тяжелые, тяжелые двери открываются наружу, что я с самого начала был в святая святых.

VIII

Дом

Одним из отдаленных последствий разрушения Израиля стал переезд Джейкоба в новый дом. Это была милая, может чуть менее милая, версия прежнего дома: потолки чуть ниже; половые доски чуть новее и уже; на кухне утварь, которую "дизайнерской" назвали бы разве что в "Хоум-дипо"; ванна, которая, скорее всего, выделяла бисфенол-А и скорее всего была из "Хоум-дипо", но воду удерживала; меламиновые шкафчики с почти ровными полками, которые соответствовали своему назначению и выглядели достаточно мило; едва уловимый неприятный запах чердака в доме без чердака; дверные ручки из "Хоум-дипо"; средних лет подгнившие окна почти-"Марвин", служившие скорее обозначением границы, чем защитой от стихии или звука; стены, волнистые от впитавшейся несимпатичной влаги; зловещее шелушение в углах; слегка садистский цвет стен; выступающие панели выключателей; туалетный столик из "Хоум-дипо" с раковиной из поддельного фарфора и меламиновыми ящиками под дерево в ванной цвета экскрементов, где дотянуться до туалетной бумаги мог бы лишь тот, кого привезли из Африки вколачивать мяч в корзину, даже не подпрыгивая; повсюду зловещее расставание: между деталями лепнины, между потолочным бордюром и потолком, между плинтусом и полом, расставание раковины со стеной, полки над неработающим камином со стеной, выступающих выключателей со стеной, дверных косяков со стеной, потолочных розеток из "Хоум-дипо", что пластмассовее пластмассы, с потолком, досок пола друг с другом. В общем, не большая важность, но не заметить нельзя. Джейкобу пришлось признать, что он буржуазнее, чем хотел бы думать, но он понимал, что важно. Все эти вещи тоже разводились.

У Джейкоба появилось время, внезапно появилась целая жизнь, и потребности Джейкоба отливались в форму его потребностей, а не его способности их удовлетворить. Он заявлял о своей независимости, и все это: от бесконечного, как прихода Мессии, ожидания горячей воды до выступающей панели выключателя, за которой чуть-чуть виднелись провода и ниппели, — наполняло его надеждой. Или чем-то вроде надежды. Может, Джейкоб и направлял руку Джулии, но выбрала расставание все-таки именно она. И хотя в его возвращении из Айслипа

можно было увидеть обретение собственного "я", с не меньшим основанием можно было увидеть здесь и его утрату. Так что он, может, и не писал свою декларацию независимости, но с радостью поставил подпись. Это была его версия счастья.

Сорок два — это молодость, твердил он себе, как болван. Прекрасно понимая собственный идиотизм, Джейкоб не мог его не провозглашать. Напоминал себе о прогрессе медицины, о своих стараниях питаться правильнее, о спортклубе, членом которого был (пусть и чисто номинально), и о факте, которым однажды поделился с ним Сэм: каждый год средняя продолжительность жизни увеличивается на год. Любой, кто не курит, доживет до ста. Кто занимается йогой, переживет Моисея.

Со временем этот дом кое в чем станет домашним: где-то коврики, электрика и сантехника получше, цвет стен, не нарушающий Женевской конвенции, картины, фотографии, эстампы, мягкое освещение, книги по искусству, сложенные стопками на столах и полках, покрывала, не кинутые, а сложенные ровными квадратами на диванах и креслах, возможно, настоящий камин в углу. Со временем все возможное превратится в реальное. Он заведет себе подружку или не заведет. Неожиданно купит машину или, скорее, не купит. Наконец, что-то сделает со сценарием, который уже больше десяти лет высасывает из него душу. (Душа — единственное, чему нужно распыляться, чтобы сконцентрироваться.) Теперь, когда больше не нужно щадить деда, Джейкоб перестанет писать библию и вернется к самому сценарию. Он отнесет его кому-нибудь из продюсеров, что интересовались его текстами, когда он еще мог показать, над чем работал. Давно это все было, но они наверняка его еще помнят.

Было много причин хранить сценарий в запертом ящике стола, а не только ради того, чтобы пощадить чувства близких. Но теперь, когда терять стало нечего, даже Джулия увидит, что его сериал — это не попытка убежать от семейных неурядиц, а искупление, контрибуция за разрушенную семью.

Израиль не *погиб* — по крайней мере, в буквальном смысле. Он остался еврейским государством с еврейской армией, а его границы после землетрясения сдвинулись на какие-то пяди. Бесконечно кипели дебаты о том, насколько эти новые границы *хороши для евреев*. Хотя американские евреи неслучайно предпочитали формулировку для израильтян. И это, по мнению израильтян, было *плохо для евреев*.

Израиль ослаб, но его враги ослабили и того больше. Разгребая бульдозерами свои руины, не особо утешисься мыслью, что враг разгребает свои руками. Но все же это хоть какое-то утешение. Как сказал

бы Исаак, "могло бы быть и хуже". Нет, он бы сказал: "Это и есть хуже".

Возможно, он был прав. Возможно, выжить и впрямь хуже, если, чтобы продолжать быть, нужно убивать сам повод быть. Не то чтобы американским евреям стало все равно. Они по-прежнему приезжали в Израиль в отпуск, на мицвы и *искать себя*. Они вздрагивали, когда вода Мертвого моря впервые касалась их порезов и царапин, вздрагивали, когда гимн Израйля, "Хатиква", впервые касался их сердец, засовывали сложенные бумажки с просьбами в развалины Стены Плача, рассказывали о хумусных в узких переулочках, о том, как тревожат звуки дальних ракетных разрывов, морщились, неустанно восторгались зрелищем евреев-мусорщиков, евреев-пожарных и евреев-бездомных. Но чувство, что ты приехал, наконец нашел место успокоения, что ты дома, исчезало.

У некоторых из-за того, что они не могли простить Израйлю его действия во время войны — даже резню-другую простить было бы легче, чем полный и демонстративный отказ от ответственности за судьбы неевреев — отзыв войск, полиции и спасателей, складирование гуманитарной помощи, которой так не хватало везде, не предоставление оборудования и машин, продуктовые карточки даже там, где продовольствия в избытке, блокаду гуманитарных конвоев в Газу и на Западный берег. Ирв — чей ежедневно обновляемый блог, прежде лишь изредка воспалявшийся, превратился в бурный поток провокаций — защищал каждый шаг Израйля: "Если бы в беде была не страна, а семья, никто бы не осудил родителей за то, что они не раздают направо и налево еду из холодильника и лекарства из аптечки. Всякое случается, особенно когда ваши любящие смерть соседи смертельно вас ненавидят, и нет ничего неэтичного в том, чтобы заботиться в первую очередь о своих детях".

— Если бы эта семья жила только в своем доме, ты был бы почти прав, — сказал Джейкоб. — И ты был бы почти прав, если бы все семьи были в равной мере способны позаботиться о себе. Но мы живем в другом мире, и ты это знаешь.

— Это мир, который создали они.

— Но когда ты видишь эту девочку, Адию, разве твое сердце не разрывается от жалости?

— Конечно, разрывается. Но, как и любое сердце, мое ограничено в размерах. И если бы пришлось выбирать между Адией и Бенджи, я бы отнял у нее еду и отдал Бенджи. Я даже не говорю, хорошо это или правильно. Я лишь говорю, что это не плохо, потому что это не вопрос выбора. Должен подразумевает *можешь*, так? Ты морально обязан что-то сделать, только если имеешь возможность это сделать. Я люблю Ноама,

Иаиль, Барака, но не могу любить их так сильно, как люблю Сэма, Макса и Бенджи. Это невозможно. Я люблю своих друзей, но не могу любить их так же сильно, как семью. И — хочешь верь, хочешь не верь — я вполне могу любить арабов, но не так сильно, как евреев. Это не вопрос выбора.

Ирв истово и настойчиво призывал всех американских евреев строевого возраста ехать в Израиль. Без вариантов. За исключением тех, кого он не мог не любить больше, чем прочих. Он был лицемер, его отец.

— И все же некоторые делают другой выбор, — сказал Джейкоб.

— Например?

— Ну, первый пример, что приходит на ум, — это первый еврей: Авраам.

— Сенатор, я служил с Авраамом. Я знал Авраама. Авраам был моим другом. Сенатор, вы не Авраам.

— Я не говорю, что смог бы сделать другой выбор. Ясно, что не смог бы.

Так ли это было ясно? Ирв сузил круг ближних, о которых заботился, до детей, но был ли там центр? А что же он сам? Джулия когда-то спросила Джейкоба, не огорчает ли его, что своих детей они любят больше, чем друг друга. Но любил ли Джейкоб детей больше, чем себя? Должен был, но мог ли?

У других американских евреев эмоциональное отторжение вызывали не действия Израиля, а то, как они воспринимались: те, на чью лояльность к Израилю всегда можно было рассчитывать, либо перешли на другую сторону, либо затаились, и от этого американские евреи скорее испытывали одиночество, чем праведное негодование.

Некоторым становилось неудобно от того, что Израиль не оказался ни побитой собакой, ни карликовой сверхдержавой, готовой своими бомбами отправить соседей-троглодитов в каменный век и даже дальше. Давид — хорошо. Голиаф — хорошо. Но лучше не быть тем и другим сразу.

Премьер-министр поставил задачу призвать в Израиль на операцию "Руки Моисея" миллион евреев из Америки. В первый день прилетели двадцать тысяч — немного не то, что ожидалось, но, по крайней мере, игра пошла. Однако наперекор расчетам к третьему дню трехсот тысяч число добровольцев не достигло, и с каждым разом количество прибывших уменьшалось вдвое, как сборы от кинопроката. По данным "Таймс", в итоге добровольцев из Штатов набралось меньше тридцати пяти тысяч, и из них три четверти были старше сорока пяти лет. Израиль устоял и без них — армия отступила на хорошо укрепленные рубежи и предоставила уничтожение агрессора эпидемиям; эта трагедия длилась в телеэфире

пятьсот часов. Но ни израильтяне, ни американские евреи не могли отрицать той правды, которая обнажилась.

Джейкоб по-прежнему считал Тель-Авив ярким и утонченным, а Иерусалим немыслимо одухотворенным. Он по-прежнему ощущал почти сексуальное наслаждение, вспоминая реальные места, где с почти выдуманными людьми происходили почти выдуманные события. Женщины с автоматами по-прежнему вызывали в нем настоящее половое томление. По-прежнему его бесили ультраортодоксы, и по-прежнему он не мог отвязаться от какой-то необъяснимой признательности им. Но что-то изменилось.

Чем был для него Израиль? Кем были израильтяне? Это были его агрессивные, несносные, безумные, волосатые и мускулистые братья... *где-то там*. Они были нелепы, и они были его братья. Они были храбрее, красивее, циничнее и шальнее, проще к себе, безрассуднее, естественнее. *Где-то там*. Вот где они такими были. *Его* братья.

Теперь, когда Израиль едва не пал, они все еще оставались *где-то там*. Но больше не были *его*.

По ходу событий Джейкоб пытался обосновать каждый шаг Израиля — если не оправдать, то хотя бы простить. И сам верил в то, что говорил. Правильно ли было регулировать поставки гуманитарной помощи, даже если это замедляло ее распределение? Так было нужно, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Правильно ли было захватить Храмовую гору? Необходимо, чтобы ее защитить. Правильно ли было не предоставлять равную медицинскую помощь людям, одинаково в ней нуждавшимся? Иначе не было возможности как следует позаботиться о гражданах Израиля, которым, в отличие от арабских соседей, помощи ждать неоткуда. "Должен подразумевает можешь". И все же за этими решениями, которые можно было оправдать или хотя бы простить, вставал образ Израиля, не позволявшего распределить помощь нуждавшимся, захватившего самый священный для мусульман клочок земли во всем мире, заставившего матерей с умирающими детьми, которые могли бы выжить, биться в закрытые двери больниц. Даже если другого выхода не было, он должен был быть.

Если бы за ночь береговая линия океана отступила на фут, заметил бы это кто-нибудь утром? А если на милю? На полмили? Горизонт скрадывает расстояние, как и само расстояние скрадывает себя. Американские евреи не считали, что отступились, и никогда не сказали бы так о своем отношении к Израилю — ни себе, ни другим. Но пусть они выказывали облегчение и радость после победы Израиля, пусть выходили с флагами и выписывали

неприлично крупные щеки на восстановление: все равно израильские волны стали дольше катиться до американских берегов.

Неожиданно расстояние между Ирвом и Джейкобом сократилось. Целый год они вместе ездили в шуле читать кадиш по Исааку, трижды в день или — чаще так — хотя бы раз в день. А в дни, когда они туда не ездили, наплевав на миньян, читали кадиш в гостинной у Ирва, лицом к книжным полкам, не заботясь о том, куда нужно обращать взгляд. Они нашли новый язык общения — не лишенный шуток, иронии и споров, но не держащийся только на них. Возможно, они обрели этот язык заново.

Не было большего профана в вопросах переезда, чем Ирв — он не отличил бы простыню от противня, но никто больше него не помог Джейкобу с переездом. Они вместе ездили в "Икею", в "Поттери барн", в "Хоум-дипо" и детский "Гэп". Купили две швабры и, выметая нескончаемую пыль, говорили о переменах, о начинаниях, о непостоянстве. Или подметали молча.

— Нехорошо быть одному, — сказал Ирв, пытаясь разобраться с пылесосом.

— Я еще попробую, — сказал Джейкоб. — Я просто пока не готов.

— Я себя имел в виду.

— У вас с мамой что-то случилось?

— Нет, твоя мать лучшая из всех. Просто я думаю о людях, которых оттолкнул.

Собрать вещи оказалось эмоционально легче, чем боялся Джейкоб, но вот логистика оказалась на удивление непростой. Трудность была не в количестве вещей — хотя они копились шестнадцать лет, их оказалось у него на удивление немного. Трудность — в конечном счете, в последний час их брака — состояла в том, чтобы решить, по какому признаку считать вещь твоей, а не чьей-то еще. Как могла жизнь привести их туда, где этот вопрос приходится задавать? И почему они шли туда так долго?

Если бы знал заранее, что будет разводиться, Джейкоб лучше бы подготовился к финалу — обзавелся каким-нибудь винтажным экслибрисом "Библиотека Джейкоба Блоха" и пометил титульные страницы всех своих книг; может, откладывал бы деньги, по чуть-чуть, незаметными суммами; начал бы перевозить вещи, исчезновения которых никто не заметит, но которые в его новом доме и впрямь многое поменяют.

Оказалось, что переписать или перезаписать его прошлое можно пугающе быстро. Пока шли все эти годы, дни казались насыщенными, но стоило провести несколько месяцев по другую сторону от них, и они показались чудовищной пустотой и тратой времени. Жизни. Мозг упорно

стремился во всем, что не сложилось, видеть худшее. Видеть не состоявшееся, а не то, что крепко стояло до последнего момента. Защищался ли он так от потери, отрицая, что ему было что терять? Или просто пытался таким равнодушием добиться некой жалкой эмоциональной ничьей?

Зачем Джейкоб упорно отпирался, когда кто-нибудь из друзей принимался ему сочувствовать? Зачем раздиргивал полтора десятилетия брака на глупые шуточки и ехидные комментарии? Почему он не мог признаться одному-единственному человеку — себе, — что даже если он понимает, что разводиться нужно, даже если на многое надеется в будущем, даже если впереди ждет счастье, это все равно больно? Жизнь может меняться к лучшему и к худшему одновременно.

Через три дня по возвращении в Израиль Тамир написал Джейкобу имейл с позиций в пустыне Негев, где их танковая часть ждала приказа: "Сегодня я стрелял из пушки, и мой сын стрелял. Я никогда не сомневался в своем праве стрелять ради защиты своего дома, как и в праве Ноама. Но то, что мы оба это делаем в один и тот же день, определенно неправильно. Ты понимаешь?"

"Ты водишь танк?" — спросил Джейкоб.

"Ты прочел, что я написал?"

"Извини. Не знаю, что сказать".

"Я заряжающий".

Спустя пять дней, когда они с Ирвом отвернулись к книжным полкам, чтобы читать кадиш, Ирв сказал: "Значит, вот что", и Джейкоб понял: случилась беда. Более того, он понял, что беда с Ноамом. Он ничего не предчувствовал, но, словно человек, глядящий на рельсы из заднего окна поезда, теперь видел, что иначе быть не могло.

Ноама ранили. Тяжело, но не смертельно. Ривка была с ним. Тамир ехал к ним.

— Как ты узнал? — спросил Джейкоб.

— Тамир позвонил вчера ночью.

— Он просил тебя мне сказать?

— Думаю, я для него как бы вместо отца.

Первым инстинктивным порывом Джейкоба было рвануть в Израиль и позвать с собой отца. Он не сел в самолет, чтобы сражаться плечом к плечу с братом, но полетел бы, чтобы сидеть у постели его сына, помогать изо всех сил, что только есть у сердечной мышцы.

Первым инстинктивным порывом Тамира было броситься к Ривке. Если бы месяцем, или годом, или десятилетием раньше кто-то сказал ему,

что Ноама ранят на войне, он бы предсказал, что это станет концом их брака. Однако когда непредставимое случилось, все вышло ровно наоборот.

Когда среди ночи дом затрясся от стука в дверь, Тамир был на передовой под Димоной; командир разбудил его известием. Позже они с Ривкой попытаются определить точное время, когда каждый из них узнал, что случилось, словно бы что-то важное зависело от того, кто узнал первым и сколько времени один родитель уже знал, а другой еще верил, что у Ноама все хорошо. В эти первые пять или тридцать минут они оказались бы друг от друга дальше, чем были до своего знакомства. Возможно, будь Тамир дома, общий опыт разделит бы их, заставив соперничать в страдании, выплескивать гнев не на тех, обвинять друг друга. Но разделенность объединила их.

Сколько раз в эти первые недели он входил в комнату и останавливался у двери, онемев? Сколько раз она спрашивала: "Тебе что-то нужно?"

А он ответил бы: "Нет".

А она спросила бы: "Ты уверен?"

А он бы сказал: "Да", но подумал: *Спроси еще раз.*

А она бы сказала: "Я знаю", но подумала: *Иди ко мне.*

А он бы сказал: "Спроси еще раз".

А она бы сказала: "Иди ко мне".

И он без слов пошел бы.

Они сидели бы бок о бок, ее рука лежала бы на его бедре, его голова покоилась на ее груди. Будь они подростками, это выглядело бы как начало любви, но они были тридцать лет женаты, и это была эксгумация любви.

Когда пришло известие о ранении Ноама, Тамиру дали недельный отпуск. Через три часа он был в госпитале с Ривкой, а когда стемнело, им сказали, что надо идти домой. Ривка инстинктивно отправилась спать в гостевую комнату. Среди ночи Тамир вошел и застыл у двери.

— Тебе что-то нужно? — спросила она.

А он сказал:

— Нет.

А она сказала:

— Ты уверен?

А он сказал:

— Да.

А она сказала:

— Я знаю.

А он сказал:

— Спроси еще раз.

А она сказала:

— Иди ко мне, — и он без слов пошел к ней.

Ему нужно было преодолевать расстояние. И она давала ему эту возможность. Каждую ночь она уходила в гостевую комнату. Каждую ночь он приходил к ней.

Когда Тамир сидел у постели сына, он вспоминал рассказ Джейкоба о том, как тот бдел над телом Исаака и как Макс хотел оказаться поближе. Лицо Ноама стало бесформенным, странного лилового цвета, какого нет в природе, от отека щеки и брови слились в одну массу. Почему здоровье не шокирует так, как болезнь или увечье, почему не так понуждает к молитве? Тамир раньше мог неделями не говорить с сыном, но ни за что не оставил бы его бесчувственное тело.

Ноам вышел из комы за день до перемирия. Не сразу станет ясно, насколько он пострадал: каких способностей лишилось его тело, как пострадала психика. Он не сгорел, его не раздавило и не засыпало землей. Но его сломало.

Когда подписали перемирие, на улицах не ликовали. Не запускали фейерверки, не передавали по кругу бутылки, не пели из открытых окон. Ривка в эту ночь спала в спальне. Любовное расстояние, которое между ними пролегло в войну, мир устранил. По всему Израилю и по всей планете евреи уже строчили передовицы, кляня других евреев, — которым не хватило предусмотрительности, мудрости, моральных принципов, сил, помощи. Коалиционное правительство развалилось, и назначили выборы. Тамир не мог заснуть, взял с прикроватной тумбочки телефон и написал Джейкобу эсэмэску из одной фразы: Мы победили, но мы проиграли.

В округе Колумбия было девять вечера. Джейкоб находился в небольшой квартирке, которую понедельно снимал через "Эйрбиэнби", в трех кварталах от своих спящих детей. Он уходил, уложив детей спать, и возвращался раньше, чем они просыпались. Они знали, что отец не ночует дома, и он знал, что они знают, но казалось, продолжать эту игру необходимо. И не было для Джейкоба ничего тяжелее в тот продлившийся полгода период между домами. Все необходимое было больно: притворяться, вставать чуть свет, ощущать одиночество.

Джейкоб непрерывно тыкал большим пальцем в список контактов, словно оттуда мог материализоваться какой-то новый человек, с кем он мог бы разделить печаль, в которой не смел себе признаться. Он хотел позвонить Тамиру, но это было невозможно: после Айслипа и после беды с Ноамом. Поэтому когда от Тамира пришло сообщение — Мы победили, но

мы проиграли, — Джейкоб обрадовался и испытал признательность, однако постарался не показать своего стыда, чтобы не усугубить его.

Победили в чем? Проиграли что?

Победили в войне. Проиграли мир.

Но, похоже, все принимают условия Израиля?

Мир с самими собой.

Как Ноам?

Он поправится.

Я так рад это слышать.

Когда мы сидели удолбанные у тебя на кухне,
ты мне говорил что-то про дневную дыру в ночном небе.

Не помнишь, что?

Про динозавров?

Да, точно.

Вообще-то это была ночная дыра в дневном небе.

Это как?

Представь, что выстрелил в воду.

О, вот оно. Теперь вспомнил.

Почему ты об этом подумал?

Спать не могу. Лежу и думаю вместо сна.

Я тоже мало сплю.

Люди, которые столько жалуются на усталость, как мы,
могли бы спать и побольше.

Мы не переезжаем.

Я и не верил, что вы всерьез.

Собирались.

Ривка передумала.

Больше не собираемся.

Что поменялось?

Все. Ничего.

Ясно.

Мы те, кто мы есть.

Мы это признали, вот что изменилось.

Я сам над этим работаю.

Что, если это было ночью?

Что?

Астероид.

Значит, они вымерли ночью.

Но что они видели?

Ночную дыру в ночном небе?

А как думаешь, на что это было похоже?

Может, на ничто?

Следующие несколько лет они будут обмениваться короткими текстовыми сообщениями и электронными письмами, сообщать друг другу обо всех обязательных новостях, в основном насчет детей, без эмоций, по деловому. Тамир не приехал ни на бар-мицву Макса, ни на бар-мицву Бенджи, ни на свадьбу Джулии (хотя она сердечно приглашала, а Джейкоб настаивал), ни на похороны Деборы и Ирва.

После того как дети впервые побывали у Джейкоба в новом доме — в первый и худший день его оставшейся жизни, — он, запершись, полчаса лежал с Аргусом, нашептывая ему, какой он хороший пес, самый лучший пес, а потом сидел с чашкой кофе, отдававшей тепло комнате, пока он писал Тамиру длинное письмо, которое никогда не отправит, потом поднялся с ключами в руке, наконец собравшись с духом поехать к ветеринару. Письмо начиналось так: "Мы проиграли, но мы проиграли".

Порой поражения — это когда ты сам отдаешь. Порой — когда у тебя отбирают. Джейкоба нередко удивляло, за что он цеплялся, а что отпускал без сожаления, хотя считал своим и нужным.

Вот, например, это издание "Бесчестья". Это он его купил — помнил, как нашел его в летний день у букиниста в Грейт-Бэррингтоне; помнил даже прекрасное собрание пьес Теннесси Уильямса, которое не купил, потому что рядом была Джулия, он не хотел, чтобы она заставила его признаться в стремлении иметь книги, которых он не собирается читать.

Джулия убрала "Бесчестье" с его прикроватной тумбочки на том основании, что оно уже больше года лежало нетронутым. (Нетронутым — это ее слово. Он бы сказал нечитанным.) Если он купил книгу, значит ли это, что она ему принадлежит? А Джулия зато ее читала — значит, трогала? А может, то, что она ее читала и трогала, лишало Джулию собственности на книгу, потому что теперь трогать и читать ее будет Джейкоб? Такие мысли были унижительны. Отделаться от них можно только одним способом — всё раздать, но Джейкоб был не настолько просветленным и не настолько глупым, чтобы, хлопнув ладонью в ладонь, сказать: Это всего лишь вещи.

А голубая ваза на каминной полке? Ему подарили ее родители Джулии. Не им двоим, а именно *ему*. На день рождения. На День отца. По крайней мере, он помнил, что это был подарок, который ему вручили лично, что к нему была прикреплена карточка с его именем, что этот подарок для него тщательно выбирали, потому что они гордились, что знают его, и, надо признать, правда знали.

Не будет ли низостью присваивать себе право собственности на вещь, за которую заплатили ее родители и которая, хотя и была подарена несомненно ему самому, очевидно, предназначалась для их общего дома? И как бы красива ни была ваза, хотел ли он переместить эту душевную энергию в свое убежище, в свой символ новых начинаний? Точно ли его цветы расцветут в ней лучше всего?

Большинство вещей он мог отпустить.

Он любил Большое Красное Кресло: свернувшись в его бархатных объятиях, он добрый десяток лет читал только тут. Ведь оно что-нибудь впитало? Стало больше, чем просто креслом? Или пятно от пота на спинке — все, что осталось от того чтения? Что застряло в широких рубчиках обивки? Отпускаю, подумал он.

Столовое серебро. Эти приборы доносили еду до его рта, до ртов детей. Действие, совершенно необходимое для человека, без которого нельзя жить. Он ополаскивал их в раковине, прежде чем загрузить в посудомоечную машину. Он разгибал ложки после неуклюжего психокинеза Сэма; ножами поддевал крышки жестянок с краской и отскребал от раковины затвердевшее бог-знает-что; вилками дотягивался, чтобы почесать, до труднодоступных мест на спине. Отпускаю. Всё отпускаю, *пусть не будет ничего*.

Фотоальбомы. Некоторые ему нравились. Но их же нельзя разделять, как нельзя разделять тома Энциклопедии искусства Гроува. И к тому же никак не отменишь того, что почти все снимки сделала Джулия: вот почему ее самой почти не было на них. Было ли ее отсутствие притязанием на право собственности?

Отметки роста детей на косяке кухонной двери. Каждый Новый год и каждый еврейский Новый год Джейкоб созывал всех измерить рост. Они вставали спиной к косяку, распрямившись, и никогда не поднимались на мысочки, хотя всегда хотели казаться выше. Джейкоб прижимал им к макушке черный маркер и делал на косяке двухдюймовую метку. Потом подписывал инициалы и дату. Первая отметка была "СБ 01.01.05". Последняя — "ББ 01.01.16". Между ними — еще две дюжины черточек. На что это было похоже? На миниатюрную лестницу, по которой могли бы спускаться и подниматься крошечные ангелы? На лады инструмента, который играет мелодию проходящей жизни?

Он бы с радостью вообще ничего с собой не брал и начал бы на пустом месте. Всего лишь вещи. Но это не было честно. Более того, это было бы нечестно. Честность и нечестность очень быстро стали важнее самих вещей. Чувство обиды достигло пика, когда Джейкоб с Джулией

заговорили о каких-то денежных суммах, которые вообще ничего не значили. Однажды весенним днем, когда в окно уткнулись цветы, доктор Силверс сказал ему: "Независимо от условий жизни, вы никогда не будете счастливы, если и дальше будете так часто употреблять слово "нечестно"". Потому-то Джейкоб и пытался все отпустить — и вещи, и то, что они для него значили. Он должен был начать все заново.

Первой покупкой в новый дом стали кровати для мальчиков. У Бенджи комната была маловата, и требовалась кровать с ящиками для белья. Может, такую и правда нелегко было найти, а может, Джейкоб сам усложнил задачу. Он три дня убил, роаясь на сайтах и катаясь по магазинам, но наконец купил приличную кровать (в фирме, оскорбительно для здравого смысла называвшейся "Доступный дизайн"), из дуба, по цене больше трех тысяч долларов. *Плюс* налоги *плюс* доставка.

Кровать очевидно требовала матраса — кстати, об очевидном, — и матрас очевидно нужен был органический — кстати, о неочевидном, — потому что Джулия наверняка спросит, а потом, не доверяя ответу, задерет простыню и проверит. Он что, умрет, если скажет: "Я выбрал, что попроще"? Да, умрет. Но почему? Из страха ее разочаровать? Потому что боится ее? Оттого, что она права, и это действительно важно, к каким химическим соединениям ребенок прижимается почти половину своей жизни? Еще тысяча долларов.

Матрас требовал постельного белья, это очевидно, но в первую очередь он требовал наматрасника, потому что, хоть Бенджи уже почти вышел из возраста ночных конфузов, он еще не переступил этот порог, и Джейкоб считал, что развод родителей может даже вызвать регресс, а один такой конфуз мог запросто испортить тысячедолларовый органический матрас. Итак, еще сто пятьдесят долларов. И теперь белье. Простыни, наволочки, пододеяльники. Множественное число означает не только разные виды белья, из которых состоит постельный комплект, но и второй комплект, ведь положено иметь два. Джейкоб нередко оказывался заложником этой логики: нужно делать так-то и так-то, потому что так надо, так делают люди. Люди покупают по два резервных комплекта столового серебра на каждый используемый. Покупают немислимые укусы для салата, который приготовят один раз в жизни, если вообще приготовят. Почему так недооценена функциональность вилки, а? Если у тебя есть простая вилка, тебе не нужны ни венчик, ни лопаточка, ни щипцы для салата (их заменяют две вилки), ни картофелемялка, ни множество другой узкоспециализированной кухонной утвари, чье настоящее предназначение в том, чтобы ее купили. Джейкоб успокоился на том, что

если уж будет покупать ненужные вещи, то по крайней мере в дешевом варианте.

Представь, что ты умер и не понимаешь, в рай попал или в ад.

— Извините, — спрашиваешь ты проходящего мимо ангела, — где я?

— Вам следует обратиться к ангелу на стойке информации.

— А это где?

Но он уже ушел.

Смотришь вокруг. Очень похоже на рай. Очень похоже на ад. Вот так чувствуешь себя в "Икее".

К тому моменту, как новый дом был готов принять мальчиков, Джейкоб уже полдюжины раз побывал в "Икее" и все равно не разобрался, любит он ее или ненавидит.

Он терпеть не мог ДСП и стеллажи, которые без книг просто сдует сквозняком.

Но любил прикидывать, с какой дотошностью рассчитана каждая мелочь — минимальная рабочая длина штифта, который размножится в восьмидесяти миллионах экземпляров, чтобы продавать вещи по ценам на грани фантастики.

Он терпеть не мог встречать других покупателей, у которых в тележке было не только то же самое, что и у него, но и так же уложено. И сами тележки терпеть не мог: колеса — три смертельных врага и один паралитик, а радиусы поворота словно радуги — не просто по форме, а на самом деле.

Ему нравились неожиданно попадавшиеся предметы — прекрасно сделанные, удачно названные, из материала плотнее, чем пена для бритья. Вот ступка с пестиком "Эдельстен" из черного мрамора. Что это — рекламная приманка? Акт любви?

Он ненавидел машину, которая хлестала и хлестала несчастное кресло, избивала его каждый день, весь день и, наверное, всю ночь, подтверждая как прочность кресла, так и существование зла.

Джейкоб уселся на диван — зеленый псевдобархат, набитый какой-то противоположностью водорослей и конского волоса, — и закрыл глаза. Ему было трудно засыпать. Давно уже. Но здесь ему было хорошо. Несмотря на то что мимо него рекой текли чужие люди и то и дело присаживались рядом, чтобы оценить удобство дивана, он нисколько не волновался. Он был в собственном мире в этом мире, который сам был отдельным миром в большом мире. Всем что-нибудь нужно, но запасы на складе неисчерпаемы, так что никому не приходится лишать чего-то других — нет необходимости драться или даже спорить. Подумаешь — всё до предела бездушно? Может

быть, рай не населен душами, может, там нет ни души? Может, это и есть справедливость?

Он проснулся оттого, что сначала принял за удар той злобной машины: ему показалось, будто его снова и снова проверяют на прочность. Но его просто похлопала по плечу приветливая ангелица.

— Мы закрываемся в десять, — сообщила она.

— О, прошу прощения, — сказал он.

— За что? — спросила она.

Перед землетрясением Джейкоб, спускаясь каждое утро вниз, гадал не о том, наделал Аргус на пол или нет, а лишь о том, где и насколько жидко. Не лучшее начало дня, и Джейкоб понимал, что Аргус не виноват, но когда времени было в обрез, а дети не очень-то торопились помочь, собачьи кучи сразу в четырех местах могли вызвать взрыв.

— Господи, Аргус!

Тут кто-нибудь из детей вставал на защиту:

— Он же не нарочно.

И Джейкоб чувствовал себя ничтожеством.

Аргус оставлял на персидских ковриках кляксы Роршаха, перемещал набивку мягкой мебели в шкафы и к себе в желудок и скреб деревянные полы, что твой Великий Волшебник Теодор пластинку. Но он был их пес.

Все было бы намного проще, если бы Аргус страдал — испытывал не просто дискомфорт, а настоящую боль. Или если бы ветеринар нашел у него рак, болезнь сердца или даже почечную недостаточность.

Когда Джейкоб сообщил Джулии, что летит в Израиль на войну, та сказала, что сначала он должен усыпить Аргуса. Джейкоб этого не сделал, и она больше не напоминала. Но когда он вернулся после своего неотъезда, это оставалось открытой, пусть и невидимой раной.

В следующие несколько месяцев состояние Аргуса ухудшалось, как и все остальное. Он стал без видимых причин скулить, топтался, прежде чем сесть, и ел все меньше и меньше, пока почти совсем не перестал есть.

Джулия с мальчиками могли появиться с минуты на минуту. Джейкоб бродил по дому, подмечая недостатки, пополняя мысленный список недоделок: треснувший цемент в протекающем душе; вылезший с пола на стену мазок краски в коридоре; кривоватая вентиляционная отдушина в потолке столовой; капризное окно в спальне.

Зазвенел звонок. Еще звонок. И еще.

— Иду, иду!

Он открыл дверь и увидел их улыбки.

— Твой звонок странно звенит, — сказал Макс.

Твой звонок.

— И правда, странновато. Но приятно странновато или неприятно?

— Наверное, приятно странновато, — сказал Макс, и это могло быть его мнение, а могла быть и любезность.

— Входите, — сказал Джейкоб. — Входите. У меня столько вкусного: сырные крекеры; трюфельный сыр, как ты любишь, Бенджи; твои, Макс, любимые лаймовые чипсы. И всякая итальянская газировка: аранчиата, лимоната, помпельмо и клементина.

— Неплохо, — сказал Сэм, улыбаясь, словно для семейной фотографии.

— Про помпельмо я даже никогда не слышал, — сказал Макс.

— Я тоже, — сказал Джейкоб. — Но она у нас есть.

— Мне здесь нравится, — сказала Джулия искренне и убедительно, хотя фраза явно была заготовлена заранее. Они репетировали этот визит так же, как репетировали разговор о разводе и расписание новой жизни на два дома, и еще множество всего, слишком болезненного, чтобы пережить их даже один раз.

— Что, парни, провести вам экскурсию? Или сами осмотритесь?

— Может, сами? — сказал Сэм.

— Валяйте. На дверях комнат написаны имена, так что не ошибетесь.

Он слышал свой голос.

Мальчики зашагали вверх по лестнице, не спеша, целенаправленно. Они молчали, но Джейкоб слышал, как они прикасаются к вещам.

Джулия отстала и, выждав, пока дети поднимутся, сказала:

— Пока все отлично.

— Думаешь?

— Да, — сказала она. — Но на все нужно время.

Джейкоб задумался, что бы сказал о доме Тамир, если бы когда-нибудь его увидел. Что сказал бы Исаак? Он избавил себя от переезда в Еврейский дом, не зная, что тем самым избавил себя и от переезда Джейкоба — и от самого Джейкоба.

Джейкоб провел Джулию в будущую гостиную — там было пока еще так пусто, что убри стены — пустоты не добавишь. Они сели на единственный предмет мебели: зеленый диван, на котором Джейкоба несколько недель назад сморил сон. Не тот самый диван, но один из двух миллионов его братьев-близнецов.

— Пыльно здесь, — сказала она и спохватилась. — Извини.

— Да и правда ведь, пыльно. Ужасно.

— У тебя есть пылесос?

— Да, такой же, как у нас, — сказал Джейкоб. — Как был у нас? Как у тебя? И я еще и протираю. Все время, как кажется.

— Это от работ пыль в воздухе. Она осядет.

— Как избавиться от пыли в воздухе?

— Просто продолжаешь делать, что делаешь, — сказала она.

— И ждать иного результата? Это же безумие по определению.

— У тебя есть метелочка для пыли?

— Не понял?

— Я тебе привезу. Полезная штука.

— Я сам могу купить, если пришлешь мне ссылку.

— Сейчас проще мне привезти тебе.

— Спасибо.

— Ты не переживаешь из-за Аргуса?

— Переживаю.

— Не надо.

— Моим чувствам всегда было плевать на то, какими они должны быть.

— Ты добрый, Джейкоб.

— В сравнении с кем?

— В сравнении с другими мужиками.

— Такое чувство, будто черпаю воду решетом.

— Если бы жизнь была простой, все бы справлялись.

— Все и справляются.

— Подумай, сколько триллионов триллионов нерожденных людей приходится на каждого рожденного.

— Или просто подумай о бабушке.

— Я часто думаю. — Она подняла глаза и обвела взглядом комнату. — Не знаю, помогают тебе или раздражают мои замечания, но...

— К чему такая бинарность?

— Ну да. Угу. Стены тут темноватые.

— Я знаю. Темноваты, это да.

— Тоскливые.

— У меня был колорист.

— Да ты шутишь?

— Я взял краску, которая тебе нравилась. "Фэрроу" и что-то там.

— "Фэрроу и Болл".

— И мне предложили услуги колориста, я сначала подумал, бесплатно, в довесок к батарее краски по дикой цене. А потом получил счет на две с половиной тысячи долларов.

— О нет.

— Да. Две тысячи пятьсот. И теперь я живу, будто под юнионистской каскеткой.

— Что?

— Ну шапка из Гражданской войны, я слушал эту историю...

— Надо было попросить меня.

— Ты для меня дороговата.

— Я бы про вопо.

— Разве мой папа тебя не учил, что бесплатных колористов не бывает?

— Тут везде бумага, — сказал Бенджи, спускаясь по лестнице. Вид у него был бодрый и невозмутимый.

— Это просто чтобы прикрыть пол, пока идет ремонт.

— Я буду все время спотыкаться.

— Когда ты сюда поселишься, ее не будет. Бумаги на полу, стремянки, пыли. Все уберут.

Спустились Макс и Сэм.

— Можно мне в комнату мини-холодильник? — спросил Макс.

— Конечно, — сказал Джейкоб.

— Зачем? — спросила Джулия.

— Правда, тут слишком много бумаги на полу? — спросил Бенджи братьев.

— Для всех этих итальянских газировок.

— Я думаю, папа их купил, чтобы отпраздновать ваш первый визит.

— Пап?

— Конечно, мы их будем пить не каждый день.

— Сэм, ну это же плохо, столько бумаги на полу?

— Ладно, тогда я буду там хранить мертвых крыс.

— Мертвых крыс?

— Я разрешил ему завести питона, — сказал Джейкоб. — а они их едят.

— Вообще-то их, наверное, лучше хранить в морозильнике, — предположил Макс. — А в мини-холодильниках вряд ли морозилки есть.

— Зачем тебе питон? — спросила Джулия.

— Я всегда хотел питона, потому что они классные, а папа сказал, что теперь, в новом доме, можно завести и питона.

— Почему никому не жалко, что я все время буду спотыкаться? — спросил Бенджи.

И тут Сэм, уже непривычно долго молчавший, сказал:

— Моя комната мне нравится. Спасибо, папа.

Вот это и было Джейкобу тяжелее всего слышать. Видя, что без помощи ему не обойтись, Джулия поспешила подставить плечо.

— Ну, — сказала она, хлопнув в ладоши и нечаянно взметнув новое облако пыли, — мы с папой подумали, что неплохо бы этот дом как-нибудь назвать.

— Разве это не просто Папин дом?

— Верно, — сказал Джейкоб, беря себя в руки и изображая оптимизм. — Но мы все хотим считать его одним из двух домов нашей семьи.

— Ну да, тот, в котором ты живешь. В отличие от того, где живет мама.

— Мне этот дом не нравится, — сказал Бенджи, перерезав тем самым Джейкобу тросики эмоциональных тормозов.

— Еще понравится, — сказала Джулия.

— Мне не нравится.

— Понравится, обещаю.

Джейкоб почувствовал, что уходит в занос. Нечестно, что он должен переезжать, нечестно, что ему досталась роль того, кто ушел из семьи, что вся эта пыль — его. Но он также чувствовал, что зависит от помощи Джулии. Без нее он не справится. Без нее у него не получится жить без нее.

— Все будет отлично, — сказала Джулия, как будто вдыхая свою жизнерадостность в лопнувший шарик счастья Бенджи, она могла не позволить ему сдуться. — Папа говорит, наверху есть даже комната с теннисным столом.

— Абсолютно верно, — подтвердил Джейкоб. — А еще я затроллил весь "Е-бэй" в автомата для скибола.

— Ты хотел сказать *протралил*, — поправил Макс, — а не *затроллил*.

— Вообще-то, — вступил Сэм, внезапно оживившись, — вы знаете, что троллить происходит от слова трал? А вообще не от "тролля"?

— Нет, — сказал Макс, благодарный за крупицу нового знания. — Я всегда думал, что от "тролля".

— Правда?

Обычный разговор — как будто обычная жизнь продолжается.

— Что такое скибол? — спросил Бенджи.

— Такая помесь боулинга и дартса, — сказал Сэм.

— Представить себе не могу.

— Ну как в "Чак-И-Чизе"?

— А, понятно.

Обычная жизнь? Так весь этот кавардак ради нее?

— А может, Дом с автоматами? — предложил Макс.

— Еще скажи "Arcade Fire", — сказал Сэм.
— Очень пыльно, — сказал Бенджи.
— Пыли не будет.
— Может, усадьба Дайвенпорт?
— Почему?
— Потому что он на улице Дайвенпорт.
— Это название для какого-нибудь старинного особняка.
— Не понимаю, почему не называть его Папиным домом, — сказал Сэм.
— Можно притворяться, что это что-то другое, но это же папин дом.
— Бумажный дом, — сказал Бенджи не то сам себе, не то никому.
— Что?
— Потому что здесь везде бумага.
— Когда вы поселитесь, бумаги уже не будет, — повторил Джейкоб.
— Бумага — это на чем пишут, а ты же писатель.
— Он на компьютере пишет, — сказал Сэм.
— А бумага легко рвется и горит.
— И зачем называть дом в честь того, что легко рвется и горит?
— Не гноби его, Макс.
— А что я такого сказал?
— Да бог с ним, — сказал Джейкоб. — Можем называть его просто 2328, по адресу.

— Нет, — сказала Джулия, — не "бог с ним". Идея отличная, а нас тут пятеро умных. Надо справиться.

Пятеро умных задумались. Они пытались умом решить задачу не для ума: как если бы крестовой отверткой решали кроссворд.

Есть религии, упирающие на мир в душе, есть — на уклонение от греха, есть — на молитву. Иудаизм упирает на ум: в текстах, в обрядах, в культуре. Всё — познание, всё — подготовка, непрерывное пополнение умственного инструментария, чтобы его можно было применить к любой ситуации (и тогда станет слишком тяжело нести). Евреи составляют 0,2 процента населения Земли, и на их долю приходится 22 процента Нобелевских премий — или 24, если не считать Нобелевскую премию мира. И при отсутствии Нобеля за уничтожаемость было десятилетие, когда евреи не имели особых шансов на получение этой премии, а то бы доля была еще больше. Почему? Не потому, что евреи умнее всех прочих, а потому, что евреи прикладывают силы именно к тому, за что награждают в Стокгольме. Евреи тысячелетиями готовились к соревнованию за Нобелевку. Но если бы была еще Нобелевская премия за Довольство Жизнью, за Чувство Устроенности, за Способность Отпускать, эти 22

процента — 24 без учета Премии мира — рухнули бы со свистом.

— Я все-таки думаю, надо его назвать "Папин дом", — сказал Сэм.

— Но это не только мой дом. Это наш дом.

— Мы не можем звать его "Наш дом", — сказал Сэм, — потому что другой дом тоже наш.

— Дом с часами?

— Почему?

— Не знаю.

— Помпсельмовый дом?

— Безымянный дом?

— Пыльный дом?

— Продолжение следует, — сказала Джулия, сверившись с часами в телефоне. — Ребятам пора в парикмахерскую.

— Ладно, — сказал Джейкоб, понимая неизбежность, но желая оттянуть ее хоть на несколько минут. — Кто-нибудь хочет перекусить или попить?

— Мы опаздываем, — сказала Джулия. И добавила: — Все попрощайтесь с Аргусом.

— Пока, Аргус.

— Чао, Арго.

— Хорошенько попрощайтесь, — сказала она.

— Почему?

— Он впервые будет ночевать в новом доме, — сказал Джейкоб.

— "Новый дом"? — предложил Сэм.

— Может быть, — сказал Джейкоб, — хотя он недолго будет новым.

— Тогда мы его и переименуем, — сказал Сэм.

— Как Староновая синагога в Праге, — сказала Джулия.

— Или переедем, — сказал Бенджи.

— Всё, никаких больше переездов, — сказал Джейкоб.

— Идем, — сказала Джулия детям.

Дети попрощались с Аргусом, и Джулия опустилась на колени, чтобы посмотреть глаза в глаза.

— Ну, бывай, парень.

Она ничем не выдала себя, ни для кого, кроме Джейкоба. Но Джейкоб видел. Он не мог объяснить, в чем это выражалось — ничего особенного не было ни в ее лице, ни в позе, ни в голосе, — и все же она выдала себя. Джейкоб кое-как умел себя давить. А Джулия умела собраться. И это в ней восхищало. Она делала это для детей. Она делала это для Аргуса. Но как ей удавалось?

— Ладно, — сказал Джейкоб.

— Ладно, — сказала Джулия.

— Я знаю, что нам надо сделать, — сказал Бенджи.

— Нам надо идти, — сказала Джулия.

— Нет. Надо обойти дом с закрытыми глазами. Как мы делали на Шаббат.

— Может, в следующий раз? — сказал Джейкоб.

Сэм шагнул вперед — шаг во взрослую жизнь:

— Пап, сделаем это для него.

Джулия поставила сумку. Джейкоб вынул руки из карманов. Они не проверяли друг друга, кто как закрывает глаза, ведь это убило бы суть ритуала. Но никто и не жульничал, потому что включался мотив, сильнее, чем инстинкт подсмотреть.

Поначалу было весело, это было развлечением. Сладкая и ничем не омраченная ностальгия. Дети нарочно натыкались на предметы, гикали, хохотали. Но потом, нечаянно и незаметно для всех, установилась тишина. Никто не прекращал говорить — но разговоры смолкли. Никто не сдерживал смеха — но смех стих. Надолго — для каждого по-своему долго — они стали привидениями, или первооткрывателями, или новорожденными. Они не знали, вытянул ли кто-нибудь руки вперед, страхуясь. Не знали, идет ли кто-нибудь мелкими приставными шажками, возит ли ногой по полу, нащупывая препятствие, или ведет пальцем по стене, которая все время должна быть справа. Нога Джулии коснулась ножки складного стула. Сэм нашел выключатель, взял его большим и указательным пальцами, поискал ход между "Вкл." и "Выкл.". Макс, содрогаясь, ощупывал кухонную плиту. Джулия открыла глаза и встретила взглядом с Джейкобом.

— Я придумал, — сказал Бенджи, уже доросший до понимания, что мир не исчезает, когда на него не смотришь.

— Что ты придумал? — спросила Джулия из другого конца комнаты, не глядя на него, чтобы не нарушить правила.

— Дом плача.

Последний раз Джейкоб поехал в "Икею" без особой надобности. Просто он уже привык, что "Икея" удовлетворяет все его запросы — полотенца для ванной наверху, кустик окопника в горшочке, акриловые рамки для фото на подставках, — и стал думать, что там лучше него знали, что еще нужно: точно так же он регулярно ходил на осмотр к врачу, потому как врач лучше знает, здоров Джейкоб или болен.

Он прихватил ярко-красный табурет-стремянку, давилку для чеснока,

три ершика для унитаза, сушилку для белья, сушилку для тарелок, полдюжины войлочных коробок, которые чудно для чего-нибудь пригодятся, хотя пока еще неизвестно, для чего, уровень (ни разу за сорок два года ему не нужен был уровень), придверный коврик, два лотка для бумаг, прихватки, несколько герметично закрывающихся стеклянных банок, чтобы хранить (и красиво выставлять) всё, вроде фасоли, чечевицы, колотого гороха, попкорна, киноа и риса, еще несколько вешалок, светодиодную гирлянду — натянуть в комнате Бенджи, урны с педалью для каждой ванной, хлипкий зонтик, что не переживет и двух дождей, но один выдюжит. Он стоял в отделе текстиля, запустив пальцы в искусственную овечью шкуру, когда его окликнули.

— Джейкоб?

Обернувшись, он увидел красивую женщину: теплые карие глаза цвета старой кожи; золотой кулон, направивший его взгляд к началам упругих матовых грудей; браслеты, свободно болтающиеся на запястьях, будто она еще недавно была крупнее. Что у нее в медальоне? Он с ней знаком или когда-то ее знал.

— Мэгги, — сказала она. — Силлиман.

— Привет, Мэгги.

Она улыбнулась, и эта улыбка могла бы вернуть к причалам тысячу кораблей.

— Дилан и Сэм вместе ходили в детский садик. В группу Леи и Мелиссы.

— Точно. Ну, конечно же.

— Десять лет прошло, — мягко сказала она.

— Нет-нет, я помню.

— Я вас, кажется, заметила еще там, в отделе для гостиной. Но потеряла в толпе, да и не была точно уверена. А тут смотрю — это вы.

— А...

— Я так рада, что вы дома.

— О, я здесь не живу, — сказал Джейкоб, инстинктивно флиртуя, и тут же подумал, не та ли это женщина, мужа которой в середине учебного года настигла аневризма. — Просто покупаю кое-что для дома.

Она не засмеялась. Она очевидно умилилась. Не для нее ли Джулия устраивала все те званые обеды?

— У нас висел список всех, кто поехал.

— Поехал?

— В Израиль. Его повесили у молельни.

— Я не знал, — сказал Джейкоб.

— Я никогда не молилась. Никогда. А тут вот начала. И многие начали. Почти каждое утро в молельне был народ. В общем, каждый день я его читала.

Джейкоб подумал: *Я еще могу сказать правду, но только прямо сейчас. Потом нелепое недоразумение превратится в ложь, которая еще хуже того, что она скрывает.*

— Я и понятия не имел, — сказал он.

Можно же обойтись малой ложью (меня развернули в аэропорту) или даже полуправдой (что в семье был кризис, и там я был нужнее, чем даже на войне за морем).

— Списков вообще-то было два: имена тех, кто поехал, и тех, кто погиб. Все фамилии из второго списка, конечно, были и в первом.

— Что ж, приятно было снова повидаться, — сказал Джейкоб, ненавидя правду, ненавидя ложь и не находя ничего посередине.

— Список так и не сняли. Может, это будет такой мемориал? А может, хоть война и кончилась, в каком-то смысле она еще идет?

— Трудно сказать.

— А вы где были? — спросила она.

— В каком смысле?

— В Израиле. Снабжение? Пехота? Я не знаю военную терминологию.

— Я был в танковой части.

Ее глаза округлились.

— Сидеть в танке, наверное, страшно.

— Не так страшно, как снаружи.

Она не засмеялась. Она поднесла ладонь к губам:

— Но вы не управляли им?

— Нет. Для этого нужна спецподготовка и хороший опыт. Я заряжал орудие.

— Наверное, очень тяжело.

— Ну, в общем.

— А вы видели бой? Так можно сказать? Видеть бой?

— Я тоже не знаю, как правильно сказать. Я был просто организмом. Но да, бой я видел. Думаю, все его видели.

Он продолжал говорить, но его мысли застряли на Я был просто организмом.

— Было ли ощущение смертельной опасности?

— Да я и не знаю, что я там вообще чувствовал. Звучит банально, но бояться было некогда.

Она, не глядя, сжала медальон большим и указательным пальцами. Ее

рука точно знала, где его искать.

— Простите, — сказала она. — Я задаю слишком много вопросов.

— Да ничего страшного, — отмахнулся он, уцепившись за ее извинение как за ручку аварийного выхода. — Мне пора, надо успеть забрать Сэма.

— Как он, хорошо?

— У него все отлично. Спасибо, что спросили. А...

— Дилан.

— Да-да.

— У Дилана сейчас трудный период.

— О нет. Жаль, что так.

— Может быть... — начала она, но тут же, тряхнув головой, прогнала мысль.

— Что?

— Я просто хотела сказать, может быть, если я не слишком много прошу, может, вы бы к нам как-нибудь зашли?

— Я уверен, Сэм будет рад.

— Нет, — сказала она, и на шее у нее внезапно проступила или внезапно стала заметна Джейкобу вена. — Вы. Я имела в виду вас.

Джейкоб растерялся. Она что, правда такая беспардонная? Или перепутала его с другим родителем, детским психологом, как он перепутал ее с женой больного аневризмой? Мэгги понравилась ему, она волновала, но ничего у них не выйдет.

— Конечно, — сказал он. — Как-нибудь зайду.

— Может, если вы поделитесь своим опытом, для него все станет не таким абстрактным. Не таким страшным. Мне кажется, сейчас так тяжело еще и потому, что мы не знаем подробностей.

— Резонно.

Хотя никакого резона.

— Совсем ненадолго. Я не прошу вас его воспитывать или что-то еще.

— Я понял.

— Вы добрый человек, — сказала она.

— Нет, — возразил он.

Тут она наконец засмеялась:

— Ну, думаю, только вы знаете точно. Но вы кажетесь добрым.

Однажды, когда он уже уложил Бенджи, тот снова позвал его к себе в комнату и спросил:

— А бывают вещи без имен?

— Конечно, — ответил Джейкоб, — и немало.

— Например?
— Например, эта спинка кровати.
— Она и называется спинка.
— Спинка — это то, что она есть. Но своего собственного имени у нее нет.

— Точно.
— Спокойной ночи, мой милый.
— Давай дадим им имена.
— Знаешь, этим занимался первый человек.
— А?
— Адам. Помнишь Адама и Еву? Господь повелел ему дать имена животным.

— Мы дали имя Аргусу.
— Именно.
— Но первый человек же был обезьяной? Он и себя назвал?
— Может быть.
— Я хочу всему дать имена.
— Это будет немалый труд.
— Ну и что?
— Ладно. Но начнем завтра.
— Ладно.

Джейкоб вышел за порог и, как обычно, задержался, а Бенджи, как обычно, снова его позвал.

— Что?
— А бывают имена без вещей?

Такие, как на могильных камнях в гетто самоубийц. Такие, как на стене памяти, в которых Джейкоб перемешивал буквы. Такие, как в его сценарии, которым он никогда ни с кем не поделится. Джейкоб написал тысячи и тысячи страниц о своей жизни, но лишь в тот момент, когда на шее Мэгги проступила жилка, когда его выбор наконец стал виден, он задумался, достоин ли хоть одного слова.

— Ладно, — сказала она, улыбнулась, кивнула и отступила на полшага. — Передайте привет Джулии.

— Непременно, — сказал Джейкоб.

Он бросил тележку с товарами, прошел по стрелкам обратно сквозь отделы для гостиной, для кабинета, для кухни, для столовой и для спальни и вышел на стоянку. И поехал прямо к синагоге. Списки там и в самом деле висели. Но его фамилии не было в списке ушедших воевать. Он проверил во второй и в третий раз.

И как же понять разговор в "Икее"?

У нее ложные воспоминания?

Или, может, она в газете видела фото из Айслипа, а когда вспомнила его фамилию, решила, что видела фамилию?

Может, она открыла Джейкобу неисчерпаемый кредит доверия?

Может, она все знала и крушила ту жизнь, которую он спас?

Рукой, перерезавшей три пуповины, он коснулся имен мертвецов.

"Только вы знаете точно", — сказала она.

Десятки ветеринаров принимали гораздо ближе, чем в Гейтерсберге, штат Мэриленд, Джейкобу лучше было пойти к одному из них, но ему необходимо было уехать подальше от дома.

По пути они с Аргусом остановились в придорожном "Макдоналдсе". Джейкоб набрал еды и сел с Аргусом на зеленом холме над стоянкой, пытался накормить пса наггетсами, но тот только отворачивался. Джейкоб чесал его шею, как тот любил.

Жизнь бесценна, думал Джейкоб. Нет мысли важнее, нет мысли очевиднее, но как же легко мы об этом забываем. Он подумал: *Насколько иначе сложилась бы моя жизнь, если бы я осознал это раньше, чем мне пришлось.*

Окна в машине были приоткрыты, на полную гремел подкаст Дэна Карлина "Жестокая история: сценарий Армагеддона-2". Рассуждая о значении Первой мировой войны, Карлин прибегает к теории Большого фильтра — момента, когда цивилизация в состоянии себя уничтожить. Многие считают Большим фильтром человечества 1945 год и первое применение ядерного оружия. Карлин же выбирает 1914-й, когда в мире получила распространение механизированная война. Дальше он со свойственной ему легкостью перескакивает к парадоксу Ферми. В 1950 году на обеде в Лос-Аламосе небольшая компания величайших физиков мира шутила об участвовавших в последнее время появлениях НЛО. Иронично-серьезно подойдя к вопросу, они развернули бумажную салфетку и попробовали просчитать вероятность существования разумной жизни вне Земли. Приняв за данность, что в обозримой части Вселенной 10^{24} звезд — по десять тысяч звезд на каждую земную песчинку. По самым скромным оценкам, существует примерно 10^{20} планет, подобных Земле, — по сотне на каждую земную песчинку. Если за миллиарды лет их существования хоть на одном проценте этих планет развилась жизнь, а на одном проценте из тех — разумная жизнь, то во Вселенной должно быть 10^{16} разумных цивилизаций — из них сто тысяч только в нашей галактике.

Определенно, мы не одни во Вселенной.

Но тут впервые подал голос Энрико Ферми — великий и самый прославленный физик за тем столом: "Так где же они все?" Если они должны быть, а их нет, то почему их нет? Определенно, мы одни во Вселенной.

Существует множество решений этого парадокса: что во Вселенной много видов разумной жизни, просто мы об этом не знаем, потому что цивилизации находятся слишком далеко друг от друга и не могут вступить в контакт; что люди просто не умеют слушать; что другие цивилизации слишком отличаются от нашей, чтобы мы могли их распознать, а они нас; что все только слушают, но никто не пытается ничего передать. Каждое предположение казалось Джейкобу невыносимо поэтичным: *мы слишком далеко, и послания не доходят; мы не умеем слушать; никто к нам не обращается на понятном языке.* Потом Карлин вернулся к теории Большого фильтра. В какой-то момент любая цивилизация получает способность к самоуничтожению (случайному или преднамеренному) и держит экзамен на "сдал — не сдал": можно ли обладать способностью покончить с собой и не воспользоваться ей.

Когда Исаак достиг барьера Большого фильтра?

Когда Израиль?

Когда брак Джейкоба и Джулии?

Когда сам Джейкоб?

Выбравшись из машины, они с Аргусом двинулись к дверям клиники. Поводок больше был не нужен. Аргус шел в никуда. И все-таки Джейкобу хотелось, чтобы был поводок, чтобы не думать, что Аргус, не зная того, сам шагает навстречу смерти. Вести его туда на поводке было бы дико, но все же не так дико, как без.

Клиника называлась "Надежда". Джейкоб об этом как-то позабыл, а может, не удосужился узнать. Ему вспомнилась цитата из Кафки: "О, надежда есть, надежды океан, только не для нас". Только не для тебя, Аргус.

Они подошли к стойке регистратуры.

— Вы на осмотр? — спросила девушка за стойкой.

— Да, — ответил Джейкоб.

Он просто не мог. Он был не готов. Он лучше еще раз поговорит с ветеринаром.

Джейкоб, не глядя, листал журнал. Вспомнил, как кто-то из детей в первый раз возмутился, что он смотрит в телефон, а не на них.

— Ты мой мальчик, — сказал он Аргусу, почесывая ему шею. Он

когда-нибудь раньше называл его своим *мальчиком*?

Пришел санитар и повел их в смотровую в конце коридора. Ждать ветеринара пришлось целую вечность, и Джейкоб предлагал Аргусу лакомства из стеклянной вазы на стойке. Но пес лишь отворачивался.

— Ты молодец, — сказал ему Джейкоб, стараясь, чтобы голос звучал успокаивающе, как у Макса. — Ты молодчина.

Мы живем на свете, думал Джейкоб. Эта мысль всегда являлась непрошенной, и обычно в противовес слову "идеально". В идеальном мире мы бы каждые выходные делали бутерброды в приюте для бездомных, под конец жизни осваивали бы музыкальные инструменты, не считали бы, что середина жизни — это уже поздно, и использовали бы еще какие-нибудь интеллектуальные ресурсы, кроме "Гугла", и физические, кроме "Амазона", навсегда отказались бы от макарон с сыром, уделяли бы стареющим родственникам хотя бы четверть того внимания и заботы, которых они заслуживают, и никогда не бросали бы ребенка перед экраном. Но мы живем в реальном мире, а в нем есть футбольные секции, и логопед, и хождение за продуктами, и домашние задания, и необходимость содержать дом в чистоте, и деньги, и перепады настроения, и усталость, и еще мы всего лишь люди, а людям не только нужны, но и положены такие вещи, как кофе и газеты, а еще свидания с друзьями и передышки, и в общем, как бы хороша ни была идея, ее просто невозможно воплотить. Надо, но способа нет.

Еще, и еще, и еще раз: *Мы живем в таком мире.*

Наконец пришел ветеринар. Это был старик, наверное, под восемьдесят. Старый и старомодный: в нагрудном кармашке белого халата виднелся уголок платка, на шее — стетоскоп. Его рукопожатие обволакивало: пальцы Джейкоба долго тонули в мякоти, пока не ощутили под ней кость.

— С чем пожаловали?

— Вам не объяснили?

— Кто?

— Я звонил.

— Почему бы вам самому не рассказать?

Может, это психологический прием? Как женщине перед абортом дают послушать сердцебиение плода?

Джейкоб не был готов.

— Моя собака уже давно страдает.

— О, понятно, — сказал ветеринар и щелкнул кнопкой ручки, которой уже собирался заполнять бланк. — А как зовут вашу собаку?

— Аргус.

— "Эта собака далеко умершего мужа"^[47], — нараспев прочел ветеринар.

— Впечатляет.

— В прошлой жизни я был профессором классической литературы.

— С фотографической памятью?

— Такого в реальности не бывает. Но я очень любил Гомера. — Он медленно опустился на одно колено. — Привет, Аргус. — Он обхватил ладонями морду Аргуса и посмотрел ему в глаза. — Не самое мое любимое выражение, — сказал он, не отводя глаз. — Усыпить. Я предпочитаю говорить "отпустить".

— Я тоже, — сказал Джейкоб, испытывая небывалую признательность.

— Тебе больно, Аргус?

— Он очень часто скулит, иногда всю ночь напролет. И ему трудно вставать и садиться.

— Нехорошо.

— Это с ним уже довольно давно, но в последние полгода стало хуже. Он почти ничего не ест. И у него недержание.

— Все это очень неважные известия.

"Известия". Впервые после землетрясения Джейкоб услышал это слово не о Ближнем Востоке.

— Наш ветеринар в округе Колумбия давал ему пару месяцев, но прошло уже почти полгода.

— Ты у нас борец, — сказал Аргусу ветеринар. — Борец, да?

Джейкобу все это не нравилось. Ему не хотелось думать, что Аргус борется за жизнь, которую у него сейчас отнимут. И хотя он понимал, что Аргус борется со старостью и болезнью, здесь собрались трое: Аргус, Джейкоб и ветеринар, который исполнит желание Джейкоба в ущерб желанию Аргуса. Но на самом деле все не так просто. Джейкоб это понимал. Но он также понимал, что в каком-то смысле все именно предельно просто. Нет способа сказать собаке: жаль, что мы живем в этом мире, но другого места для жизни нет. Или, может, нет способа этого не сказать.

Ветеринар еще несколько мгновений смотрел Аргусу в глаза, теперь уже молча.

— Что вы думаете? — спросил Джейкоб.

— Что я думаю?

— Обо всем этом?

— Я думаю, что вы знаете свою собаку лучше, чем кто бы то ни было, и уж конечно лучше, чем старик ветеринар, который знаком с ней всего пять минут.

— Угу, — сказал Джейкоб.

— По моему опыту, а опыт у меня немалый, люди понимают, когда приходит пора.

— Не представляю, чтобы когда-нибудь мог это понять. Но это ведь больше говорит обо мне, чем о состоянии Аргуса.

— Возможно.

— Я чувствую, что пора. Но я не знаю, что пора.

— Ладно, — сказал ветеринар, вставая. — Ладно.

Он взял шприц из стеклянной банки на стойке — рядом с вазой с лакомствами — и вынул из шкафчика маленький флакончик.

— Процедура очень простая, и могу вас заверить, что Аргус не почувствует и не испугается никакой боли, кроме самого укола шприца, но от этого я хорошо умею отвлекать. Через пару секунд он потеряет сознание. Должен предупредить, что сам момент смерти может быть неприятен. Обычно они как будто засыпают, и большинство владельцев говорят, что животное вроде бы испытывает облегчение. Но все собаки разные. Нередко у собаки опорожняется кишечник или закатываются глаза. Иногда бывают судороги. Это все абсолютно нормально и не значит, что Аргус что-то почувствует. Для Аргуса это будет как уснуть.

— Хорошо, — сказал Джейкоб, но подумал: *Я не хочу, чтобы так было. Я не готов. Этому нельзя случиться.* Он уже дважды такое чувствовал: когда держал Сэма, а врач пришивал ему пальцы, и за мгновение до того, как они с Джулией сказали детям, что расходятся. Это было чувство нежелания жить в этом мире, даже если мир — единственное место для жизни.

— Лучше всего, если Аргус ляжет на пол. Может, вы сумеете положить его голову вам на колени. Чтобы ему было спокойнее.

Он говорил и наполнял шприц, держа его так, чтобы Аргус не видел. Аргус тут же лег, словно понял, чего от него хотят, а может, и зачем. Все происходило быстро, и Джейкоб не мог унять панику оттого, что еще не готов. Он усыпительно почесал Аргусу брюшко, как учили на их единственном уроке дрессировки, но пес не засыпал.

— Аргус уже старый, — сказал Джейкоб. Говорить это было незачем, только чтобы потянуть время.

— Старичок, — сказал ветеринар. — Наверное, поэтому мы с ним так хорошо ладили. Постарайтесь, чтобы он смотрел на вас.

— Еще секунду, — сказал Джейкоб, глядя бок Аргуса по всей длине, пробегая пальцами по ребрам и впадинам между ними. — Я не знал, что все будет так быстро.

— Хотите, я оставлю вас вдвоем еще на несколько минут?

— Что будет с телом?

— Если у вас нет других планов, мы его кремируем.

— А какие могут быть другие планы?

— Похоронить.

— Нет.

— Тогда кремируем.

— Сразу?

— Что?

— Вы его сразу кремируете?

— Мы кремируем два раза в неделю. Печь примерно в двадцати минутах отсюда.

Аргус тихонько заскулил, и Джейкоб сказал ему:

— Молодец, ты мой хороший. — Потом спросил ветеринара: — И где мы в этом графике?

— Не уверен, что понял вас.

— Я знаю, это не важно, но мне бы не хотелось, чтобы тело Аргуса лежало здесь еще четыре дня.

Сидят ли люди шмиру по собакам? Никто не должен оставаться один.

— Сегодня четверг, — сказал ветеринар. — Так что можно сегодня во второй половине дня.

— Хорошо, — сказал Джейкоб. — Так мне легче.

— Хотите побыть с ним еще несколько минут? Мне не сложно.

— Нет, все в порядке.

— Я прижму Аргусу вену, чтобы точно ввести иглу. Вы можете его придерживать. Через несколько минут Аргус станет дышать глубже, а потом как бы уснет.

Джейкоба раздражало, что ветеринар все время повторяет кличку Аргуса, словно избегая говорить "он", "ему". Это казалось жестоким, постоянно напоминало, что Аргус — личность и что это Джейкоб дал ему имя.

— Аргус ничего не будет чувствовать, но может еще какое-то время продолжать дышать. Почему-то чем старше собака, тем дольше она дышит без сознания.

— Интересно, — сказал Джейкоб, и сразу, как только последний слог сорвался с языка, раздражение на ветеринара, все время звавшего Аргуса

по имени, превратилось в злость на самого себя: злость, которую он скрывал, нередко обращая на кого-то другого, но которая вечно была с ним. Интересно. Какая глупость это говорить в такой момент. Какое ненужное, пошлое, подлое замечание. Интересно. Весь день ему было страшно и грустно, и чувство вины одолевало за то, что он не мог помочь Аргусу прожить подольше, и в то же время он гордился, что помог ему так долго протянуть, но теперь, когда час настал, он испытывал только злобу.

— Вы готовы его отпустить? — спросил ветеринар.

— Извините. Еще нет.

— Конечно.

— Ты молодец, — сказал Джейкоб, оттягивая кожу у Аргуса между лопаток: Аргусу всегда это нравилось.

Видимо, Джейкоб просительно взглянул на ветеринара, потому что тот повторил:

— Вы готовы?

— А вы не дадите ему успокоительное или, я не знаю, обезболивающее, чтобы он не почувствовал укол?

— Некоторые врачи дают. Я нет. От этого им часто становится, наоборот, тревожнее.

— А...

— Многие хотят, чтобы им сначала дали несколько минут побыть вдвоем.

Джейкоб показал на флакон в руках ветеринара и спросил:

— А почему раствор такой яркий?

— Чтобы его ни с чем нельзя было перепутать.

— Логично.

Ему необходимо было отбросить гнев и все остальное, но ему требовалась для этого помощь, хотя больше всего он хотел сейчас остаться один.

— Можно я побуду с его телом? До кремации?

— Конечно, можно.

— Аргус, — произнес Джейкоб, словно второй раз нарекая его: один раз в начале, второй раз в конце.

Аргус поднял глаза и встретился взглядом с Джейкобом. В его глазах не было принятия. Не было прощения. Не было осознания, что происходит то, что должно произойти. Что так надо, так лучше. Их отношения определяло не то, что они могли разделить, а то, чего не могли. Между двумя существами всегда есть непреодолимое расстояние, запретная зона. Иногда оно принимает форму одиночества. Иногда оно принимает форму

любви.

— Давайте, — сказал Джейкоб ветеринару, продолжая смотреть Аргусу в глаза.

— Помните, как все заканчивается? — спросил ветеринар, поднося иглу. — Аргус умирает счастливым. Его хозяин наконец вернулся домой.

— Но после стольких страданий.

— Теперь он обретает покой.

Джейкоб не сказал Аргусу: "Все хорошо".

Он сказал:

— Посмотри на меня.

Он сказал себе: *Жизнь бесценна, и я живу на свете.*

Он сказал ветеринару:

— Я готов.

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Примечания

Гафтара (*ивр.*) — отрывок из Книги пророков, который в некоторых иудейских общинах читает посвящаемый во время мицвы.

2

Одна из главных молитв в иудаизме.

3

Если можно (*исп.*).

Маття — дорогой сорт японского порошкообразного чая.

В анекдоте обыгрывается созвучие shihtzu (ши-т-цу) и shit zoo (шитзу) — говенный зоопарк (*англ.*).

Лулав — ветвь (финиковой) пальмы; букет из четырех видов растений, который надлежит собирать на Суккот — еврейский паломнический праздник.

Ваера — четвертая по счету глава Торы; название "Ваера" дано по первым словам: *Ваера* (И явил...).

Бытие. 22:7, 22:8.

Бытие. 22:9–12.

Автор обыгрывает оборот "the one and only" — единственный и неповторимый (*англ.*).

Обыгрывается американская пословица "Котел чайнику говорит: ты чумазый".

Touché — удар, означающий поражение в фехтовании (*фр.*).

Леводопа — лекарство от паркинсонизма.

Шеварим, теруа — названия отрывистых звуков, извлекаемых из ритуального рога — шофара.

Энди Голдсуорти (р. 1956) — английский художник, представитель ленд-арта.

Non sequitur — нелогичное замечание, вывод, действие (*лат.*).

Камера поцелуев — игра на спортивных состязаниях: камера выхватывает в толпе двух сидящих рядом разнополых зрителей и выдает изображение на огромный экран ("джамботрон"), после чего попавшие в кадр двое должны поцеловаться.

Джон Уильямс (р. 1932) — американский композитор, автор музыки к ряду фильмов Стивена Спилберга.

Игра слов: у автора — satchel — 1) ранец, наплечная сумка; 2) задница, зад, женские половые органы (*англ.*).

Merde — дерьмо (*фр.*).

"Château Sang de Juif" — "Шато Кровь еврея" (*фр.*).

Антидиффамационная лига — американская еврейская общественная организация, имеющая целью борьбу с антисемитизмом.

Бен Шан (1989–1969) — знаменитый американский художник и фотограф.

Сэнди Коуфакс (р. 1935) — знаменитый американский бейсболист, еврей. Нередко прибегал к запрещенным и рискованным приемам.

Mais oui — но да (*φp.*).

Schwartze — черный (*нем.*).

27

По Фаренгейту; примерно 41 °C.

Ктуба — еврейский брачный договор.

"Железный купол" — тактическая система ПВО Израиля.

Намек на прием Геймлиха, когда путем нажатия на диафрагму выталкивают застрявший кусок из трахеи пострадавшего.

Кугель — питательное блюдо еврейской кухни. Готовится из овощей, картофеля, макарон или риса.

Кегель — комплекс упражнений для укрепления мышц тазового дна, разработанный доктором А. Кегелем.

Алия — возвращение евреев в Израиль.

Велбутрин — антидепрессант.

Вакуф — в мусульманском праве имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели.

Макс перечисляет причудливые термины, придуманные в XV веке английскими аристократами для обозначения стай разных видов птиц.

Киддуш (кидуш) — обряд благословения вина перед трапезой.

Мезуза — свиток с фрагментом Торы, закрепляемый в футляре на косяке входной двери еврейского дома.

Афикоманы — кусочки пасхальной мацы, которые заворачивают и прячут в доме; дети ищут афикоманы, за что получают подарки.

Талит — молитвенное облачение иудеев, покрывало.

Т. е. Иерусалим.

Трефное — недозволенное иудейской религией.

Гомер. Одиссея. *Перевод В. Вересаева.*

Лу Гериг (1903–1941) — американский бейсболист. Умер от бокового амиотрофического склероза, также называемого по имени знаменитого больного болезнью Лу Герига.

"Шма" ("Шема") — еврейский литургический текст.

По традиции, когда на еврейской свадьбе жених разбивает бокал, гости кричат: "Мазаль тов" — "На удачу!".

Гомер. Одиссея. Перевод *В. Вересаева*.